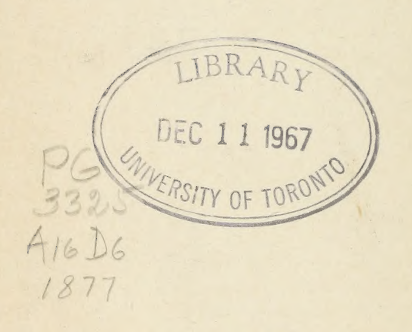


Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЗА 1877 ГОД

YMCA-PRESS
ПАРИЖ


LIBRARY
DEC 11 1967
UNIVERSITY OF TORONTO
PG
3325
A16 D6
1877

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ за 1877 год

ЯНВАРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Три идеи

Я начну мой новый год с того самого, на чем остановился в прошлом году. Последняя фраза в декабрьском «Дневнике» моем была о том, «что почти все наши русские разъединения и обособления основались на одних лишь недоумениях, и даже прегрубейших, в которых нет ничего существенного и непереходимого». Повторяю опять: все споры и разъединения наши произошли лишь от ошибок и уклонений ума, а не сердца, и вот в этом-то определении и заключается все существенное наших разъединений. Существенное это довольно еще отрадно. Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца; излечиваются же не столько от споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикою событий живой, действительной жизни, которые весьма часто, сами в себе, заключают необходимый и правильный вывод и указывают прямую дорогу, если и не вдруг, не в самую минуту их появления, то во всяком случае в весьма быстрые сроки, иногда даже и

не дожидаясь следующих поколений. Не то с ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом, при чем происходит даже так, что скорее умрет вся нация, сознательно, то есть даже поняв слепоту свою, но **не желая** уже излечиваться. Пусть не смеются надо мной заранее, что я считаю ошибки ума уже слишком легкими и быстро изгладимыми. И уж смешнее всего было бы, даже кому бы то ни было, а не то что мне, принять на себя в этом случае роль изглаживателя, твердо и спокойно уверенного, что словами проймешь и перевернешь убеждения данной минуты в обществе. Я это все сознаю. Тем не менее стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть говорит, не боясь, что его не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются, и что он не произведет никакого впечатления на ум своих современников. В этом смысле «Дневник писателя» никогда не сойдет с своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтет их несправедливыми, не будет подлаживаться, льстить и хитрить. После целого года нашего издания нам кажется уже позволительно это высказать. Ведь мы очень хорошо и вполне сознательно понимали и в прошлом году, что многим из того, о чем писали мы с жаром и убеждением, мы в сущности вредили только себе, и что гораздо более получили бы, напротив, выгоды, если бы с таким же жаром попадали в другой унисон.

Повторяем: нам кажется, что теперь надо как можно откровеннее и прямей **всем** высказываться, не стыдясь наивной обнаженности иной мысли. Действительно нас, то есть всю Россию, ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события. «Могут вдруг наступить великие факты и застать наши интеллигентные

силы врасплох, и тогда не будет ли поздно?» — как говорил я, заканчивая мой декабрьский «Дневник». Говоря это, я не одни политические события разумел в этом «ближайшем будущем», хотя и они не могут не поражать теперь внимание даже самых скудных и самых «жидовствующих» умов, которым ни до чего кроме себя дела нет. В самом деле, что ожидает мир не только в остальную четверть века, но даже (кто знает это?) в нынешнем, может быть, году? В Европе неспокойно, и в этом нет сомнения. Но временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации. Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно. С одной стороны, — с краю Европы — идея католическая, осужденная, ждущая в великих муках и недоумениях, быть ей иль не быть, жить ей еще или пришел ей конец. Я не про религию католическую одну говорю, а про всю **идею католическую,** про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетия, проникнутых ею насквозь. В этом смысле Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение католической идеи в продолжение веков, глава этой идеи, унаследованной, конечно, еще от римлян и в их духе. Эта Франция, даже и потерявшая теперь, **почти вся,** всякую религию (иезуиты и атеисты тут все равно, все одно), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого Бога, эта Франция, развившая из идей 89 года свой особенный французский социализм, то есть успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа и вне Христа, как хотело да не сумело устроить его во Христе католичество, — эта самая Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних комунарах своих, — все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: Liberté, Egalité, Frater-

nité — ou la mort, то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать liberté, égalité, fraternité католическую — его слогом, его духом, настоящим слогом и духом папы средних веков. Самый теперешний социализм французский, — повидимому, горячий и роковой протест против идеи католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без католичества и без богов его, — самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше), есть ни что иное как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками. Ибо социализм французский есть ни что иное, как **насильственное** единение человечества — идея еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся. Таким образом идея освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его.

С другой стороны, восстает старый протестантизм, протестующий против Рима вот уже девятнадцать веков, против Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, против мировой его мысли владеть человеком на всей земле, и нравственно и материально, против цивилизации его, — протестующий еще со времен Арминия и Тевтобургских лесов. Это — Германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не в цивилизации католической. Во всю историю свою он только и грезил, только и жаждал объединения своего для провозглашения своей гордой идеи, — сильно формулирующейся и объединившейся еще в Лютерову ересь; а теперь, с разгромом Франции, передовой, главнейшей и христианнейшей католической нации, пять лет тому назад, — Германец уверен уже в своем торжестве всецело и в том, что никто не мо-

жет стать вместо него в главе мира и его возрождения. Верит он этому гордо и неуклонно; верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире, и что Германия лишь одна может изречь его. Ему смешно даже предположить, что есть хоть что-нибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия. Между тем очень не лишнее было бы заметить, хотя бы только в скобках, что во все девятнадцать веков своего существования Германия, только и делавшая, что протестовавшая, сама своего **новаго слова** совсем еще не произнесла, а жила лишь все время одним отрицанием и протестом против врага своего, так что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего девятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, **не будет против чего протестовать.** Пусть это покамест моя химера, но зато Лютеров протестантизм уже факт: вера эта есть протестующая и лишь **отрицательная,** и чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится. Но это, положим, пока еще моя химера. Идею славянскую Германец презирает так же, как и католическую, с тою только разницею, что последнюю он всегда ценил как сильного и могущественного врага, а славянскую идею не только ни во что не ценил, но и не признавал ее даже вовсе до самой последней минуты. Но с недавних пор он уже начинает коситься на славян весьма подозрительно. Хоть ему и до сих пор смешно предположить, что у них могут быть тоже хоть какие-нибудь цель и идея, какая-то там надежда тоже «сказать что-то миру», но, однако же, с самого разгрома Франции мнительные подозрения его усилились, а прошлогодние и текущие события уж, конечно, не могли облегчить его недоверчивости. Теперь положение Гер-

мании несколько хлопотливое: во всяком случае и прежде всяких восточных идей ей надо кончить свое дело на Западе. Кто станет отрицать, что Франция, недобитая Франция, не беспокоит и не беспокоила Германца во все эти пять лет после своего погрома именно тем, что он не добил ее. В семьдесят пятом году это беспокойство достигло в Берлине чрезвычайного даже предела, и Германия наверно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконного своего врага, но помешали некоторые чрезвычайно сильные обстоятельства. Теперь же, в этом году, сомнения нет, что Франция, усиливающаяся материально с каждым годом, еще страшнее пугает Германию, чем два года назад. Германия знает, что враг не умрет без борьбы, мало того, когда почувствует, что оправился совершенно, то сам задаст битву, так что через три года, через пять лет, может быть, будет уже очень поздно для Германии. И вот, в виду того, что Восток Европы так всецело проникнут своей собственной, вдруг восставшей, идеей и что у него слишком много теперь дела у себя самого — в виду того весьма и весьма может случиться, что Германия, почувствовав свои руки на время развязанными, бросится на западного врага окончательно, на страшный кошмар, ее мучающий, и — все это даже может случиться в слишком и слишком недалеком будущем. Вообще же можно так сказать, что если на Востоке дела натянуты, тяжелы, то чуть ли Германия не в худшем еще положении. И чуть ли у ней еще не более опасений и всяких страхов в виду, несмотря на весь ее непомерно гордый тон, — и это, по крайней мере, нам можно взять в особенное внимание.

А между тем на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея — идея славянская, идея нарождающаяся, — может быть, третья грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы. Всем ясно теперь, что с разрешением Восточного вопроса вдвинется в человечество новый элемент, новая стихия, которая лежала до сих пор пассивно и косно, и которая, во всяком случае и наименее говоря, не может не

повлиять на мировые судьбы чрезвычайно сильно и решительно. Что это за идея, что несет с собою единение славян? — все это еще слишком неопределенно, но что действительно что-то должно быть внесено и сказано новое, — в этом почти никто не сомневается. И все эти три огромные мировые идеи сошлись, в развязке своей, почти в одно время. Все это уж, конечно, не капризы, не война за какое-нибудь наследство или из-за пререканий каких-нибудь двух высоких дам, как в прошлом столетии. Тут нечто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не решающее **все** судьбы человеческие, но, без сомнения, несущее с собою начало конца всей прежней истории европейского человечества, — начало разрешения дальнейших судеб его, которые в руках Божиих и в которых человек почти ничего угадать не может, хотя и может предчувствовать.

Теперь вопрос, невольно представляющийся всякому мыслящему человеку: могут ли такие события остановиться в своем течении? Могут ли идеи такого размера подчиняться мелким, жидовствующим, третьестепенным соображениям? Можно ли отдалить их разрешение и полезно это или нет, наконец? Мудрость, без сомнения, должна хранить и ограждать нации и служить человеколюбию и человечеству, но иные идеи имеют свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшуюся и падающую вершину скалы не удержишь рукой. У нас, русских, есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, — это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом. Последнее, конечно, неоспоримо, но идею народную не только не понимают, но и не хотят совсем понять «ободнявшие Петры» наши.

II

Миражи. Штунда и Редстокисты

Но одни ли «европейcтвующие» и «ободнявшие Петры» не хотят понять? Есть и другие, гораздо злокачественнее. «Петры» признают, по крайней мере, на-

ше народное движение в этом году в пользу славян, а те нет. Петры даже хвалят это движение, по-своему, конечно, хотя многое им в нем не нравится; но те самое движение отрицают, вопреки свидетельству России: «не было, дескать, ничего да и только. Мало того, что не было, но и не могло-де быть». «Народ, дескать, нигде не кричал и не заявлял, что войны хочет». Да народ наш никогда и не кричит и не заявляет, народ наш разумен и тих, а к тому же вовсе не хочет войны, вовсе даже, а лишь сочувствует своим угнетенным братьям за веру Христову от всей души и от горячего сердца, но уж коли надо будет, коли раздастся великое слово Царя, то весь пойдет, всей своей стомиллионной массой, и сделает все, что может сделать этакая стомиллионная масса, одушевленная одним порывом и в согласии, как един человек. Так что этакую силу единения, в виду таинственного будущего близких судеб всей Европы, нельзя не ценить и нельзя не созерцать перед собою в минуты некоторых невольных соображений и гаданий наших. Да и Бог с ней, с войной; кто войны хочет, хотя, в скобках говоря, пролитая кровь «за великое дело любви» много значит, многое очистить и омыть может, многое может вновь оживить и многое, доселе приниженное и опакощенное в душах наших, вновь вознести.

Но это лишь «слова и мысли». Я всегда только говорил, что есть исторические события, увлекающие все за собой и от которых не избавишься ни волей, ни хитростью, точно так же, как не запретишь морскому приливу остановиться и возвратиться вспять. Но все же обиден этот торжествующий теперь после летних восторгов цинизм, обидна эта радость цинизма, радость чему-то гадкому, будто бы восторжествовавшему над восторгом людей, обидны эти торжествующие речи людей, не то что уж презирающих, но чуть ли не совсем отрицающих даже весь народ наш, и признающих в нем, кажется, попрежнему всего лишь одну косную массу и рабочие руки, точь-в-точь как признавали это два века сряду до великого дня девятнадцатого февраля. «Стану я подражать этому народу? Какая это у

него идея, где вы ее отыскали?» — вот что слышишь теперь почти поминутно. Это неверие в духовную силу народа есть, конечно, неверие и во всю Россию. Без сомнения, замешалось тут чрезвычайно много всяких и разнообразных причин, руководящих отрицателями, но верите ли — в них много и искреннего! А главное и прежде всего — совершенное незнание России. Ну, можно ли представить себе, что иной из них почти рад нашей штунде, рад для народа, для выгоды и для блага его: «все же де это несколько выше прежних народных понятий, все же это может хоть несколько облагородить народ». И не думайте, чтоб это были только редкие и единичные рассуждения. Кстати, что такое эта несчастная штунда? Несколько русских рабочих у немецких колонистов поняли, что немцы живут богаче русских и что это от того, что порядок у них другой. Случившиеся тут пасторы разъяснили, что лучшие эти порядки от того, что вера другая. Вот и соединились кучки русских темных людей, стали слушать, как толкуют Евангелие, стали сами читать и толковать и — произошло то, что всегда происходило в таких случаях. Несут сосуд с драгоценною жидкостью, все падают ниц, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: «слепцы! чего вы сосуд целуете: дорога лишь живительная влага, в нем заключающаяся, дорого содержимое, а не содержащее, а вы целуете стекло, простое стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете всю святость, так что забываете про драгоценное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!» И вот разбивается сосуд и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся в землю, подымается суматоха: чтобы что-нибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках, начинают кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, как и из чего его сделать. Спор начинают уже **с самого начала;** и тотчас же, с самых первых двух слов спор уходит в

букву. Этой букве они готовы поклониться еще больше чем прежней только бы поскорее добыть новый сосуд; но спор ожесточается, люди распадаются на враждебные между собою кучки, и каждая кучка уносит для себя по нескольку капель остающейся драгоценной влаги в своих особенных разнокалиберных, отовсюду набранных чашках и уже не сообщается впредь с другими кучками. Каждый своею чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной кучке начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько раз, на сколько черепков разбился сосуд. История вечная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизменным историческим законам почти точь-в-точь та же история и в нашей штунде: известно, что они уже распадаются, спорят о буквах, толкуют Евангелие всяк на свой страх и на свою совесть, и, главное, **с самого начала,** — бедный, несчастный, темный народ! При этом столько чистосердечия, столько добрых начинаний, столько желаний выдержать даже хоть муки и при всем этом однако — столько самой беспомощной глупости, столько маленького педантского лицемерия, самолюбия, усладительной гордости в новом чине «святых», даже плутовства и крючкотворства, а главное — все «с самого начала», с самого то есть сотворения мира, с того, что такое есть человек и что женщина, что хорошо и что дурно и даже: есть ли Бог или нет Его? И как вы думаете: именно то, что они так беспомощны и так принуждены начинать с начала, именно это-то и нравится многим и особенно некоторым: «своим-де умом начнут жить, стало быть, непременно договорятся до чего-нибудь». Вот рассуждение! Так что добытое веками драгоценное достояние, которое надо бы разъяснить этому темному народу в его великом истинном смысле, а не бросать в землю, как ненужную старую ветошь прежних веков, в сущности пропало для него окончательно. Развитие, свет, прогресс отдаляются опять для него на много назад, ибо наступит теперь для него уединенность, обособленность и закрытость раскольничества, а вместо ожидаемых «разумных» новых идей воздвигнутся лишь

старые, древнейшие, всем известные и поганейшие идолы, — и попробуйте-ка их теперь сокрушить! А, впрочем, бояться штунды совсем нечего, хотя жалеть ее очень можно. Эта штунда не имеет никакого будущего, широко не раздвинется, скоро остановится и наверно сольется с которой-нибудь из темных сект народа русского, с какой-нибудь хлыстовщиной, — этой древнейшей сектой всего, кажется, мира, имеющей бесспорно свой смысл и хранящей его в двух древнейших атрибутах: верчении и пророчестве. Ведь и Тамплиеров судили за верчение и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуют, и Пифия в древности вертелась и пророчествовала, и у Татариновой вертелись и пророчествовали, и Редстокисты наши, весьма может быть, кончат тем, что будут вертеться, а пророчествуют они уж, кажется, и теперь. Да не обижаются Редстокисты сравнением. Кстати, многие смеются совпадению появления обеих сект у нас в одно время: штунды в черном народе и Редстокистов в самом изящном обществе нашем. Между тем тут много и не смешного. Что же до совпадения в появлении двух наших новых сект, — то уж, без сомнения, они вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии.

III

Фома Данилов, замученный русский герой

В прошлом году, весною, было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском Инвалиде», о мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утонченнейших истязаний, 21 ноября 1875 года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может и, как царский под-

данный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его батырем, то есть по-русски богатырем. Тогда это известие, хотя и сообщенное всеми газетами, прошло как-то без особенного разговора в обществе, да и газеты, сообщив его в виде обыкновенного газетного entre-filet, не сочли нужным особенно распространиться о нем. Одним словом, с Фомой Даниловым «было тихо», как говорят на бирже. Потом, как известно, наступило славянское движение, явились Черняев, сербы, Киреев, пожертвования, добровольцы, и об Фоме замученном позабыли совсем (то есть в газетах), и вот недавно только получились к прежнему известию дополнительные подробности. Сообщают опять, что самарский губернатор навел справки о семействе Данилова, происходившего из крестьян села Кирсановки, Самарской губернии, Бугурусланского уезда, и оказалось, что у него остались в живых жена Евфросинья 27 лет и дочь Улита шести лет, находившиеся в бедственном положении. Им помогли по благородному почину самарского губернатора, обратившегося к некоторым людям с просьбою помочь вдове и дочери замученного русского героя и к самарскому губернскому земскому собранию с предложением, не пожелает ли оно поместить дочь Данилова стипендиаткой в одно из учебных заведений. Затем собрали 1.320 рублей и из них шестьсот отложили дочери до совершеннолетия, а остальную сумму выдали самой вдове на руки, а дочь Данилова приняли в учебное заведение. Кроме того начальник Главного штаба уведомил губернатора о всемилостивейше назначенной вдове Данилова пожизненной пенсии из государственного казначейства, по сто двадцати рублей в год. Затем, — затем дело, вероятно, опять будет забыто в виду текущих тревог, политических опасений, огромных вопросов, ждущих разрешения, крахов и пр., и пр.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось к этому поразительному поступку равнодушно, как к не стоящему внимания. Факт лишь тот, что не-

много говорили, или, лучше, почти никто не говорил об этом **особенно.** Впрочем, может быть, и говорили где-нибудь про себя, у купцов, у духовных, например, но не в обществе, не в интеллигенции нашей. В народе, конечно, эта великая смерть не забудется; этот герой принял муки за Христа и есть великий русский; народ это ценит и не забудет, да и никогда он таких дел не забывает. И вот я как будто уже слышу некоторые столь известные мне голоса: «Сила-то, конечно, сила, и мы признаем это, но ведь все же — темная, проявившаяся слишком уже, так сказать, в допотопных, оказенившихся формах, а потому — что же нам **особенно**-то говорить? Не нашего это мира; другое бы дело сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другие страдальцы и другие силы, есть и идеи безмерно высшие — идеи общечеловечности, например»...

Несмотря на эти разумные и интеллигентные голоса, мне все же кажется позволительным и вполне извинительным сказать нечто **особенное** и об Данилове; мало того, я даже думаю, что и самая интеллигенция наша вовсе бы себя не столь унизила, если б отнеслась к этому факту повнимательнее. Меня, например, прежде всего удивляет, что не обнаружилось никакого удивления; именно удивления. Я не про народ говорю: там удивления и не надо, в нем удивления и не будет; поступок Фомы ему не может казаться необыкновенным, уже по одной великой вере народа в себя и в душу свою. Он отзовется на этот подвиг лишь великим чувством и великим умилением. Но случись подобный факт в Европе, то есть подобный факт проявления великого духа, у англичан, у французов, у немцев, и они наверно прокричали бы о нем на весь мир. Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, — эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чув-

ства. Послушайте, ведь вы все же не эти циники, вы всего только люди интеллигентно-европейсствующие, то есть в сущности предобрейшие: ведь не отрицаете же и вы, что летом народ наш проявил местами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и детей и шли умирать за веру, за угнетенных, Бог знает куда и Бог знает с какими средствами, точь-в-точь как первые крестоносцы девять столетий тому назад в Европе — те самые крестоносцы, которых появление вновь, Грановский, например, считал бы чуть ли не смешным и обидным «в наш век положительных задач, прогресса» и проч., и проч. Пусть это летнее движение наше, по вашему, было слепое и даже как бы неразумное, так сказать «крестоносное», но ведь твердое же и великодушное, в этом нельзя не сознаться, если чуть-чуть пошире посмотреть. Проспалась великая идея, вознесшая, может быть, сотни тысяч и миллионов душ разом над косностью, цинизмом, развратом и безобразием, в которых купались до того эти души. Ведь вы знаете, народ наш считают до сих пор хоть и добродушным и даже очень умственно-способным, но все же темной стихийной массой, без сознания, преданной поголовно порокам и предразсудкам, и почти сплошь безобразником. Но, видите ли я осмелюсь высказать одну даже, так сказать, аксиому, а именно: чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар родившийся вместе с народом и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа.

Фома Данилов с виду, может, был одним из самых обыкновенных и неприметных экземпляров народа рус-

ского, неприметных как сам народ русский. (О, он для многих еще совсем не приметен!) Может быть, в свое время не прочь был погулять, выпить, может быть, даже не очень молился, хотя, конечно, Бога всегда помнил. И вот вдруг велят ему переменить веру, а не то — мученическая смерть. При этом надо вспоминать, что такое бывают эти муки, эти азиатские муки! Пред ним сам хан, который обещает ему свою милость, и Данилов отлично понимает, что отказ его непременно раздражит хана, раздражит самолюбие кипчаков тем, «что смеет, дескать, христианская собака так презирать ислам». Но несмотря на все, что его ожидает, этот неприметный русский человек принимает жесточайшие муки и умирает, удивив истязателей. Знаете что, господа, ведь из нас никто бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но ведь тут произошло в совершенной безвестности, в глухом углу; никто-то не смотрел на него; да и сам Фома не мог думать и наверно не предполагал, что его подвиг огласится по всей земле Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первых веков христианских, отчасти все же были утешены и облегчены, принимая свои муки, тем убеждением, что смерть их послужит примером для робких и колеблющихся и еще больших привлечет к Христу. Для Фомы даже и этого великого утешения быть не могло: кто узнает, он был один среди мучителей. Был еще он молод, там где-то у него молодая жена и дочь, никогда-то он их теперь не увидит, но пусть: «где бы я ни был, против совести моей не поступлю и мучения приму», — подлинно уж правда для правды, а не для красы! И никакой кривды, никакого софизма с совестью: «Приму-де ислам для виду, соблазна не сделаю, никто ведь не увидит, потом отмолюсь, жизнь велика, в церковь пожертвую, добрых дел наделаю». Ничего этого-то не было, честность изумительная, первоначальная, стихийная. Нет, господа, вряд ли мы так поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторяю, подвиг Данилова, может быть, даже и не удивителен. В том-то и дело, что тут именно — как бы портрет, как бы все-

целое изображение народа русского, тем-то все это и дорого для меня, и для вас, разумеется. Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красы. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой жесточайшей и мученической смерти. И все это он сделает и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь: «Во что верую, то и исповедаю». Тут даже самые ожесточенные спорщики насчет «ретроградства» идеалов народных не могут иметь никакого слова, ибо дело вовсе уже не в том: ретрограден идеал или нет? А лишь в способности проявления величайшей воли ради подвига великодушия. (Эту смешную идейку о «ретроградстве» идеалов я ввел здесь ради полного беспристрастия).

Знаете, господа, надо ставить дело прямо: я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить такой народ. Это софизм, разумеется, но он иногда приходит на ум. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы однако научим его — вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания, — этому и немцы заезжие по найму научат, если мы не научим, нет, а мы-то чему? Мы ведь русские, братья этому народу, а стало быть, обязаны **просветить** его. Нравственное-то, высшее-то, что ему передадим, что разъясним и чем осветим эти «темные» души? Просвещение народа — это, господа, наше право и наша обязанность, — право это в высшем христианском смысле: кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, блуждающему во тьме брату своему, так по Евангелию. Ну, и что же мы сообщим блуждающему, чего бы он сам не знал лучше нашего? Прежде всего, конечно, что учение полезно, и что надо учиться, так ли? Но народ еще прежде нашего сказал, что «ученье — свет, неученье — тьма». Уничтожению предрассуд-

ков, например, низвержению идолов? Но ведь в нас самих такая бездна предрассудков, а идолов мы столько себе наставили, что народ прямо скажет нам: «Врачу — исцелися сам». (А идолов наших он отлично умеет уже разглядывать!) Что же, самоуважению, собственному достоинству? Но народ наш весь, в целом своем, гораздо более нашего уважает себя, гораздо глубже нашего чтит и понимает свое достоинство. В самом деле, мы самолюбивы ужасно, но ведь мы совсем не уважаем себя, и собственного достоинства в нас вовсе нет никакого и даже ни в чем. Ну, нам ли, например, научить народ уважению к чужим убеждениям? Народ наш доказал еще с Петра Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что кто так легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя. Ну, нам ли учить народ вере в себя самого и в свои силы? У народа есть Фомы Даниловы и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну, чему же, наконец, мы научить можем? Мы гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и чтит народ наш и к чему рвется его сердце. Ну, какие же мы народолюбцы? Возразят, что тем больше, стало быть, любим народ, коли гнушаемся его невежеством, желая ему лучшего. О нет, господа, совсем нет: если б мы вправду и на деле любили народ, а не в статейках и книжках, то мы бы поближе подошли к нему и озаботились бы изучить то, что теперь совсем наобум, по европейским шаблонам, желаем в нем истребить: тогда, может, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можем.

Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности,

а, стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну, вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения — и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж.

Но что же это за пункт примирения?

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Примирительная мечта вне науки

Прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положение и с него начинаю:

«Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной».

Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, иметь в свои сроки огромное влияние на судьбы человечества. Так бесспорно было с древним Римом, так потом было с Римом в католическое время его существования. Когда католическую идею его унаследовала Франция, то то же самое сталось и с Францией и, в продолжение почти двух веков, Франция, вплоть до самого недавнего погрома и уныния своего, все время и бесспорно — считала себя во главе мира по крайней мере нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущего. Но о том же мечтала всегда и Германия, выста-

вившая против мировой католической идеи и ее авторитета знаменем своим протестантизм и бесконечную свободу совести и исследования. Повторяю, то же бывает и со всеми великими нациями, **более или менее** в зените развития их. Мне скажут, что все это неверно, что это ошибка, и укажут, например, на собственное **сознание** этих же самых народов, на сознание их ученых и мыслителей, писавших именно о совокупном значении европейских наций, участвовавших купно в создании и завершении европейской цивилизации, и я, разумеется, отрицать такого сознания не буду. Но не говоря уже о том, что такие окончательные выводы сознания и вообще составляют как бы уже конец живой жизни народов, укажу хотя бы лишь на то, что самые-то эти мыслители и сознаватели, как там ни писали о мировой гармонии наций, все же, в то же самое время, и чаще всего, непосредственным, живым и искренним чувством **продолжали веровать,** точь-в-точь как и массы народа их, что в этом хоре наций, составляющих мировую гармонию и выработанную уже сообща цивилизацию, — они (то есть французы, например) и есть голова всего единения, самые передовые, те самые, которым предназначено вести, а те только следуют за ними. Что они, положим, если и позаимствуют у тех народов что-нибудь, то все же немножко; но зато те народы, напротив, возьмут у них все, все главнейшее, и только их духом и их идеей жить могут, да и не могут иначе сделать, как сопричаститься их духу в конце концов и слиться с ним рано или поздно. Вот и в теперешней Франции, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь еще одна из таких идей, представляющая новый, но, по-нашему, совершенно естественный фазис ее же прежней мировой католической идеи и развитие ее, и чуть не половина французов верит и теперь, что в ней-то и кроется спасение, не только их, но и мира, — это именно их французский социализм. Идея эта, то есть ихний социализм, конечно, ложная и отчаянная, но не в качестве ее теперь дело, а в том, что она теперь существует, живет живой жизнью, и что в исповедующих ее нет сомнения и уныния,

как в остальной огромной части Франции. С другой стороны, взгляните на каждого почти англичанина, высшего или низшего типа, лорда или работника, ученого или необразованного, и вы убедитесь, что каждый англичанин прежде всего старается быть англичанином, сохраниться в виде англичанина во всех фазисах своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловеческой, и даже любить человечество старается не иначе, как в виде англичанина. Мне скажут, что если б даже и так, если б и было все это как я утверждаю, то все-таки такое самообольщение и самомнение было бы даже унизительно для тех великих народов, умалило бы значение их эгоизмом, нелепым шовинизмом, и не то чтобы придало им жизненной силы, а, напротив, повредило бы и растлило бы их жизнь в самом начале. Скажут, что подобные, безумные и гордые идеи достойны не подражания, а, напротив, искоренения светом разума, уничтожающего предрассудки. Положим, что с одной стороны это очень правда; но все же тут надо непременно посмотреть и с другой стороны, и тогда выйдет не только не унизительно, а даже совсем напротив. Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем? Поверьте, что такие, пожалуй, гордые и заносчивые мечты могут, быть гораздо живительнее и полезнее этому юноше, чем иное благоразумие того отрока, который уже в шестнадцать лет верит премудрому правилу, что «счастье лучше богатырства». Поверьте, что жизнь этого юноши даже после прожитых уже бедствий и неудач в целом будет все-таки краше, чем успокоенная жизнь мудрого товарища детства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Так точно и в народах: пусть есть народы благоразумные, честные и умеренные, спокойные, без всяких порывов, торговцы и кораблестроители, живущие богато и с чрезвычайною опрятностью; ну и Бог с ними, все же далеко они не пойдут; это непременно выйдет средина, которая ничем не сослужит человечеству: этой энергии в них нет, великого самомнения этого в них нет, трех

этих шевелящихся китов под ними нет, на которых стоят все великие народы. Вера в то, что хочешь и **можешь** сказать последнее слово миру, что обновишь, наконец, его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь. Древний легендарный рыцарь верил, что пред ним падут все препятствия, все призраки и чудовища, и что он победит все и всех и всего достигнет, если только верно сохранит свой обет «справедливости, целомудрия и нищеты». Вы скажете, что все это легенды и песни, которым может верить один Дон-Кихот, и что совсем не таковы законы действительной жизни наций. Ну, так я вас, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такие же Дон-Кихоты, что у вас самих есть такая же идея, которой вы верите и через которую хотите обновить человечество!

В самом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей? И главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни у какого, например, народа в Европе, где личности наций чрезвычайно резко очерчены, где если есть эта вера, то не иначе как на степени какого-нибудь еще умозрительного только сознания, положим, пылкого и пламенного, но все же не более как кабинетного. А у вас, господа, то есть не то что у вас, а у нас, у нас всех, русских, — эта вера есть вера все-

общая, живая, главнейшая; все у нас этому верят и сознательно и просто, и в интеллигентном мире и живым чутьем в простом народе, которому и религия его повелевает этому самому верить. Да, господа, вы думали, что вы только одни «общечеловеки» из всей интеллигенции русской, а остальные только славянофилы да националисты? Так вот нет же: славянофилы-то и националисты верят точь-в-точь тому же самому как и вы, да еще крепче вашего!

Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали они устами своих деятелей, основателей и представителей своего учения? Они прямо, в ясных и точных выводах заявляли, что Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу, во главе свободного всеславянского единения Европе. Вы скажете мне, что вы вовсе не тому верите, что все это кабинетные умозрения. Но дело тут вовсе не в вопросе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разноголосицу, все же сходятся и сводятся к этой одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная национальная идея: именно **национальная.** Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое

единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. Все спасение наше лишь в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу.

Но вот тут-то и пункт.

II

Мы в Европе лишь стрюцкие

Ведь вы как переходили к делу? Вы ведь давно начали, очень давно, но что, однако, вы сделали для общечеловечности, то есть для торжества вашей идеи? Вы начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только. Целое восемнадцатое столетие мы только и делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: «вот, дескать, какой я англичанин, ничего без каенского перцу есть не могу». Вы думаете, я издеваюсь? Ничуть. Я слишком понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московских еще царях и патриархах один тогдашнии молодой московский франт, из передовых, надел французский костюм и к боку прицепил европейскую шпагу. Мы именно должны были начать с презрения к своему и к своим, и если пробыли целые два века на этой точке, не двигаясь ни взад, ни вперед, то, вероятно, таков уже был наш срок от природы. Правда, мы и двигались: презрение к своему и к своим все более и более возрастало, особенно, когда мы посерьезнее начали понимать Европу. В Европе нас, впрочем, никогда не смущали резкие разъединения национальностей и резко определившиеся типы народных характеров. Мы с того и начали, что прямо «сняли все противоположности» и получили общечеловеческий тип «европейца» — то есть с самого начала подметили

общее, всех их связующее, — это очень характерно. Затем, с течением времени, поумнев еще более, мы прямо ухватились за цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человечество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на нас, на чужих и пришельцев, этой восторженной вере нашей, тем более, что сами они, увы, стали уж и тогда помаленьку терять эту веру в себя. Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера, мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созванию «Национальных Штатов» в 89 году, и если мы и приходили потом в отчаяние, в конце первой четверти нынешнего века, вместе с передовыми европейцами над их погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то веры нашей все-таки не потеряли и даже самих европейцев утешали. Даже самые «белые» из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же красными — чревычайно характерная тоже черта. Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму и приняли его, без малейших колебаний, за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас доселе мечты нашей. Таким образом, за достижение цели мы приняли то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничтожения всякой свободы людей, но это нас не смущало нисколько. Напротив, видя грустное недоумение иных глубоких европейских мыслителей, мы с совершенною развязностью немедленно обозвали их подлецами и тупицами. Мы вполне поверили, да и теперь еще верим, что положительная наука вполне способна определить **нравственные** границы между личностями единиц и наций (как будто наука, — если б и могла это сделать, — может открыть эти тайны раньше **завершения опыта,** то есть раньше завершения всех судеб человека на земле). Наши помещики продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные

журналы, а наши Рудины умирали на баррикадах. Тем временем мы до того уже оторвались от своей земли русской, что уже утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение рознится с душой народа русского. Впрочем, русский народный характер мы не только считали ни во что, но и не признавали в народе никакого характера. Мы забыли и думать о нем и с полным деспотическим спокойствием были убеждены (не ставя и вопроса), что народ наш тотчас примет все, что мы ему укажем, то есть в сущности прикажем. На этот счет у нас всегда ходило несколько смешнейших анекдотов о народе. Наши общечеловеки пребыли к своему народу вполне помещиками, и даже после крестьянской реформы.

И чего же мы достигли? Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: Grattez, дескать, le Russe et vous verrez le Tartare, и так и доселе. Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли пред ними, мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы все у них «не так поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les Tartares), никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотим, чего-то им страшного и опасного; поняли, что нас много, восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем все европейские идеи,

а что они наших русских идей не знают, а если и узнают, то не поймут; что мы говорим на всех языках, а что они говорят лишь на одних своих, ну и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, — и я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам **почти** так же **всем** дорога, как Россия; в ней все Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим, наконец, облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международного обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем — есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали.

Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе никто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уж с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, — единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов...

А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но — слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...

III

Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания.

Занимался я в этот месяц и литературой, то есть, беллетристикой, «изящной литературой», и кое-что прочел с увлечением. Кстати, недавно прочел я одно иностранное мнение о русской сатире, то есть о современной нашей сатире, теперешней. Оно высказано было во Франции. Замечателен тут один вывод, — забыл подлинные слова, но вот смысл: «Русская сатира как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор, пока не прищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обрадуется и закричит: «Это вовсе не хороший поступок, радоваться совсем нечему, видите сами, тут тоже подлец сидит!»

Справедливо ли это мнение! Не верю, чтоб было справедливо. Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. Публика очень любит сатиру, и однако, мое убеждение, по крайней мере, что та же самая публика несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее. Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики, всех оттенков.

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает некоторой неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней у самой нет никакой подкладки, но может ли это быть? Чему она сама-то верит, во имя чего обличает, — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать, что сама она считает хорошим.

И вот над вопросом этим странно задумываешься.

Прочел **«Новь»** Тургенева и жду второй части. Кстати: вот уже тридцать лет как я пишу, и во все эти тридцать лет мне постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчеты за весь истекший год), — то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «в наше время, когда русская литература в таком застое», «в наше литературное безвремение», «странствуя в пустынях русской словесности», и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере, префталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности». Впрочем, это только забавное наблюдение мое, да и вещь-то совершенно невинная и

не имеющая никакого значения. А так, усмехнуться можно.

Об «Нови» я, разумеется, ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. Замечу лишь одно: на 92-й странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных Записок». Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных зна-

комсів я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «принесите рукопись (сам он еще не читал ее): Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных Записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих «Бедных людей!» — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, —все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых Душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «а не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, створил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем,

не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг, я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то. И этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили итти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь: говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитируя из «Ревизора» и из «Мертвых Душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего не написал такого размера, как удалось ему вскоре через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с 16-ти лет. О

знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У вас Гоголи-то как грибы растут», строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб: я представлял его себе почему-то совсем другим, — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он

раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог пожалеть «их превосходительство», не его превосходительство, а «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!»...

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим другим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель). «И неужели вправду я так велик», стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, «они одни, но у них одних истина, а истина,

добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о, к ним, с ними!».

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об вас тогда написал» — сказал он мне. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

> Песни вещие их не допеты,
> Пали жертвою злобы, измен
> В цвете лет; на меня их портреты
> **Укоризненно смотрят со стен.**

Тяжелое здесь слово это: **укоризненно.** Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..

IV

Именинник

Помните ли вы «Детство и Отрочество» графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы. Но это не простой мальчик, не как другие дети, не как брат его Володя. Ему всего каких-нибудь лет двенадцать, а в голову и в сердце его уже заходят мысли и чувства не такие, как у его сверстников. Мечтам и чувствам своим он уже отдается страстно и уже знает, что их лучше хранить ему про себя. Обнаруживать их

уже мешает ему стыдливое целомудрие и высшая гордость. Он завидует брату и считает его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красоте лица, а между тем он втайне предчувствует, что брат гораздо ниже его во всех отношениях, но он гонит свою мысль и считает ее низостью. Он смотрит на себя в зеркало слишком часто и решает, что он уродливо нехорош собою. У него мелькают мечты, что его никто не любит, что его презирают... Одним словом, это мальчик довольно необыкновенный, а между тем именно принадлежащий к этому типу семейства средне-высшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой. И вот в их доме, в большом семейном московском доме собираются гости; именинница сестра; съезжаются с большими и дети, тоже мальчики и девочки. Начались игры, танцы. Наш герой мешковат, танцует хуже всех, хочет отличиться остроумием, но ему не удается, — а тут как раз столько хорошеньких девочек и — вечная мысль его, вечное подозрение, что он хуже всех. В отчаянии он решается на все, чтоб всех поразить. При всех девочках и при всех этих гордых, старших мальчиках, считавших его ни во что, он вдруг, вне себя, с тем чувством, с которым бросаются в раскрывшуюся под ногами бездну, выставляет гувернеру язык и ударяет его изо всех сил кулаком! «Теперь все узнали, каков он, он показал себя!» Его позорно тащут и запирают в чулан. Чувствуя себя погибшим, и уже навеки, мальчик начинает мечтать: вот он бежал из дому, вот он поступает в армию, на сражении он убивает множество турок и падает от ран. Победа! Где наш спаситель, кричат все, целуют и обнимают его. Вот он уже в Москве, он идет по Тверскому бульвару с подвязанной рукой, его встречает Государь... И вдруг мысль, что дверь отворится и войдет гувернер с розгами, рассеивает эти мечты, как пыль. Начинаются другие. Он вдруг выдумывает причину, почему его «все так не любят»: вероятно, он подкидыш и от него это скрывают... Вихрь разрастается: вот он умирает, входят в чулан и находят его труп: «Бедный мальчик!»

его все жалеют. «Он добрый мальчик! Это вы его погубили», — говорит отец гувернеру... и вот слезы душат мечтателя... Вся эта история кончается болезнью ребенка, лихорадкой, бредом. Чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный.

Я нарочно припомнил этот этюд в такой подробности. Я получил письмо из К—ва, в котором мне описывают смерть одного ребенка, тоже двенадцатилетнего мальчика, и — и очень может быть, что тут нечто похожее. Впрочем, выпишу местами письмо, не изменяя в выписываемом ни слова. **Сюжет** любопытен.

«8 ноября, после обеда, разнеслась по городу весть, что случилось **самоубийство** — повесился **12—13-летний отрок,** воспитанник прогимназии. Обстоятельства дела таковы. — Классный наставник, по предмету которого не знал в этот день урока погибший мальчик, наказал его тем, что оставил в заведении до 5 часов вечера. Походил, походил ученик, отвязал от попавшегося на глаза блока бечевку, привязал ее к гвоздю, на котором обыкновенно висит так называемая золотая или красная доска, для чего-то в этот день вынесенная, и удавился. Сторож, мывший в соседних комнатах полы, увидав несчастного, побежал к инспектору; прибежал инспектор, сняли с петли самоубийцу, но возвратить его к жизни не могли... Где причина самоубийства? Мальчик буйства и зверонравства не проявлял, учился вообще хорошо, только у своего классного наставника в последнее время получил несколько неудовлетворительных отметок, за что и был наказываем... Говорят, и отец мальчика, человек очень строгий, и сам он, были в этот день именинники. Быть может, с детским восторгом мечтал молодой именинник о том, как его встретят дома — мать, отец, братишки, сестренки... И вот, сиди один-одинешенек, голодный в пустом доме и раздумывай о страшном гневе отца, который придется встретить, об унижении, стыде, а быть может и наказании, которое предстоит перенесть.

О возможности покончить самому с собою он знал (да и кто из детей нашего времени не знает этого). Страшно жаль погибшего, жаль инспектора, человека и педагога прекраснейшего, которого воспитанники обожают, страшно за школу, которая в стенах своих видит подобные явления. Что почувствовали товарищи погибшего и другие дети, обучающиеся там, между которыми в приготовительных классах есть совершенные крошки, когда они узнали о случившемся? Не слишком ли сильна такая наука? Не слишком ли много придается значения — двойкам, единицам, золотым и красным доскам, на гвоздях от которых вешаются воспитанники? Не слишком ли много формализма и сухой бессердечности вносится у нас в дело воспитания?»

Конечно, страшно жаль бедного маленького именинника, но я не стану распространяться о вероятных причинах этого горестного **случая,** и в особенности на тему «о двойках, о баллах, об излишней строгости» и проч. Все это и прежде было и обходилось без самоубийств, и причина, очевидно, не тут. Эпизод из «Отрочества» графа Толстого я взял из сходства обоих случаев, но есть и огромная разница. Без сомнения, именинник Миша убил себя не от злости и не от страху только. Оба чувства эти — и злость, и болезненная трусливость — слишком просты и скорее всего нашли бы **исход сами в себе.** Впрочем, действительно мог повлиять и страх наказания, особенно при болезненной мнительности, но все же чувство могло быть и при этом гораздо сложнее, и опять-таки очень может быть, что происходило нечто вроде того, что описал граф Толстой, то есть подавленные, еще не сознательные детские вопросы, сильное ощущение какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущение собственной ничтожности, болезненно развившийся вопрос: «Почему меня так **все** не любят», страстное желание заставить жалеть о себе, то есть то же, что страстное желание любви от **них всех** — и множество, множество других осложнений и оттенков. Дело в том, что те или другие из этих оттенков непременно были, но — есть и черты какой-то новой дей-

ствительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средне-высшего круга, **историком**, которого явился у нас граф Лев Толстой, и как раз, кажется, в ту пору, когда для прежнего русского дворянского строя, утверждавшегося на прежних помещичьих основаниях, пришел какой-то новый, еще неизвестный, но радикальный перелом, по крайней мере, огромное перерождение в новые и еще грядущие, почти совсем неизвестные формы. Есть тут, в этом случае с именинником одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как **они** войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь **мечтать:** строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы **мечту** до **дела,** а тут — **помечтал, да и сделал.** Я, впрочем, замечая это, не об одной только теперешней эпидемии самоубийств говорю. Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без **историка.** По крайней мере, ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто же будет **историком** остальных уголков, кажется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и Шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников. У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть необходимое и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их под-

мени, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то все ли было отмечено?

От редакции.

I

Несмотря на категорическое заявление мое в прошлом декабрьском «Дневнике» моем, мне все еще продолжают присылать письма с вопросами: «Буду ли я или нет издавать новый журнал «Свет», и прилагают марки для ответов. Уведомляю еще раз и навсегда всех спрашивающих, что журнал «Свет» издаю не я, а Ник. Пет. Вагнер, и в редактировании его ничем не участвую.

II

Очень просят г-жу О—гу А—ну Ан—ову, писавшую в редакцию о своих занятиях по экзамену, сообщить свой адрес вернее. Прежний, данный ею в Моховой улице, оказался ошибочным.

ФЕВРАЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей.

Восточный вопрос попрежнему у всех перед глазами. Как ни старались мы забыть его и развлечь себя всем, что было под рукой, — масленицей, «Новью», крахами, червонными валетами, — как ни нагоняли мы на себя цинизм, уверяя всех и себя прежде всех, что «ничего ровно не было, что все выдумано и подделано», как ни прятали мы голову в подушку, как маленькие дети, чтоб только не видеть грозного привидения, а привидение все-таки перед нами, никуда не ушло, стоит и грозит, как и прежде. Всякий — и злобствующий циник, и искренний гражданин, и безмятежно развлекающийся гуляка, и просто ленивец, — всякий чувствует и помнит, что есть это нечто, — нечто отнюдь еще не решенное и не поконченное, а вместе с тем неотложное и необходимое, нечто, что непременно позовет нас и потребует, рано ли, поздно ли, к развязке, и что тут непременно —

Надо что-нибудь да сделать,
Надо чем-нибудь да кончить...

И уж это по меньшей мере, если что-нибудь сделать или чем-нибудь кончить, а что всего бы лучше,

если б кончить получше. А между тем время идет да идет, на дворе весна и — что-то даст нам весна? Иные кричат, что ушло уже время; это Бог знает; для хорошего дела всегда есть время. Да не выработается ли что-нибудь хоть к весне, не скажется ли что-нибудь окончательно, то есть хоть бы на год? Ведь в Восточном вопросе теперь в Европе дальше как на год никто и не рассчитывает, тем более, что и сама Турция вряд ли год простоит. Но дело не в ней, а в том, что после нее останется. Эти окончательные решения на год Европе, может быть, и выгодны; ну, а другим не очень; и что-то будет с другими, особенно с теми другими, там за Дунаем? Но об них думает лишь русский народ.

Да, думает, и воля ваша, как ни отрицали мы изо всех сил всю зиму наше летнее движение, но, по-моему, оно продолжалось и во всю зиму, точно так же как и летом, по всей России, неуклонно и верно, но уже спокойно и с надеждой на решение Царя. И уж, конечно, продолжаться будет до самого конца, несмотря на пророков наших, умевших разглядеть (и именно в это лето) в лице России лишь спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, с колоссальным штофом в руках. По-моему, если и не видят эти пророки наши, чем живет Россия, так тем даже и лучше: не будут вмешиваться и не будут мешать, а и вмешаются — так не туда попадут, а мимо. Видите ли: тут дело в том, что наш европеизм и «просвещенный» европейский наш взгляд на Россию — это все та же еще луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и все так же прескверно делает, что и доказывает поминутно; вон он и на-днях доказал; впредь же будет делать еще сквернее, — ну, и пусть его: немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание.

Да и какое дело России до таких пророков? Теперь и не почешемся, прежнее время прошло.

В газетах упоминалось как-то, что в Москву в эту зиму привезли из славянских земель не одну партию бедных маленьких детей из разрушенных войною

семейств, совершенных сирот. Их размещают по разным рукам и заведениям. Хорошо, кабы это все не прерывалось и организовалось, наконец, по всей России в самом обширном размере: что же, ведь это только благодеяние; а деток этих надо беречь, ведь это все будущие славяне. Кстати, я несколько раз спрашивал себя: чем так-таки прокормились эти несколько сот тысяч ртов из болгар, босняков, герцеговинцев и прочих, бежавших от своих мучителей, после избиения и разорения, в Сербию, Черногорию, Австрию и куда попало. Соображая сколько нужно денег, чтоб их прокормить, и зная, что ни у сербов, ни у черногорцев нет таких денег, да и самим теперь есть почти нечего, не понимаешь, чем эти сотни тысяч могли прокормиться с маленькими своими детьми и во что в зиму одеть себя и детей. Говорят, недавно в Москву привезли еще «партию деток», от трех до тринадцати лет, и которых приняла к себе Покровская община сестер милосердия. Рассказывают, что этих маленьких сербских девочек покровские сестры милосердия поместили вместе с прибывшими прежде болгарками, и что за ними надзирает одна из сестер, знающая по-сербски, так что дети рады и детям весело. Детям, конечно, хорошо и тепло, но я слышал недавно от одного воротившегося из Москвы приятеля прехарактерный анекдот про этих самых малюток: сербские девочки сидят-де в одном углу, а болгарки в другом, и не хотят ни играть, ни говорить друг с дружкой, а когда спрашивают сербок, отчего они не хотят играть с болгарками, то те отвечают: «мы им дали оружие, чтоб они шли с нами вместе на турок, а они оружие спрятали и не пошли на турок». Это очень, по-моему, любопытно. Если восьми-, девятилетние малютки говорят таким языком, то, значит, переняли от отцов, и если такие слова отцов переходят уже к детям, то, значит, между балканскими славянами несомненная и страшная рознь. Да, вечная рознь между славянами! Они запоминают ее в своих преданиях и сохраняют в песнях, и без единящего огромного своего центра России — не бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России сла-

вянам, исчезнуть славянам с лица земли вовсе, — как бы там ни мечтали люди сербской интеллигенции, или там разные цивилизованные по-европейски чехи... Много у них еще мечтателей. Да почти все еще мечтатели...

Помните ли вы у Пушкина, в «Песнях Западных славян», «Песню о битве у Зеницы Великой»? Там восставшие собрались с Радивоем в поход на турок.

А Далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
Набекрень надели свои шапки
И сказали: «Возьмите нас с собою»...
.. ..
Беглербей с своими Босняками
Против нас пришел из Банялуки:
Но лишь только заржали их кони,
И на солнце их кривые сабли
Засверкали у Зеницы Великой, —
Разбежались изменники далматы!

Кстати, я спросил: «Помните ли вы в «Песнях Западных славян»...» и т. д., и я вперед за всех отвечаю, что никто не помнит ни «Песни о битве у Зеницы Великой», ни даже и самих «Песен Западных славян» Пушкина. Ну, кроме специалистов там каких-нибудь, словесников, али старых-старых каких-нибудь стариков. Пусть я гнусно ошибаюсь, но все же я в этом твердо уверен. А между тем знаете ли, господа, что «Песни западных славян» это — шедёвр из шедёвров Пушкина, между шедёврами его шедёвр, не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов, еще пятьдесят лет тому назад появившихся. Факт тогдашнего появления у нас этих песен важен: — это предчувствие славян русскими, это пророчество русских славянам о будущем братстве и единении. Ни в одной критике, однако же, я никогда не читал про эти «сочинения Пушкина», что они его шедёвры. Считали их так себе, а между тем они именно шедёвры и все, что есть высшего по значению. По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание еще слишком надолго. — Это был уж русский, настоящий русский, сам, силою своего гения, переделавшийся в русского, а мы и теперь все

еще у хромого бочара учимся. Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вырвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьев славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет и не было еще у нас ни у кого из русских. Но я об этом распространяться пока не стану, а про «Песни» лишь скажу, что, как всем известно, они взяты у Пушкина с французского, из книжки Мериме «La Gouzla», книжки, сочиненной Мериме, по его собственному признанию, наобум, не выезжая из Парижа. Этот преталантливый французский писатель, впоследствии sénateur и чуть не родственник Наполеона III, теперь уже умерший, в этой «Gouzla» изобразил, под видом славян, конечно, лишь французов, да еще и французов-то парижан; иначе они и не умеют: для настоящего француза кроме Парижа ничего на свете не существует. Пушкин, прочтя книжку и послав об ней автору в Париж запрос, сочинил по ней свои песни, то есть из французов, изображенных Мериме, возстановил славян, и — уж, конечно, теперь это — «Песни Западных славян», настоящих славян, славян даже породнившихся уже с русскими. Конечно, этих песен нет в Сербии, поются у них другие, но это все равно: Пушкинские песни — это песни всеславянские, народные, вылившиеся из славянского сердца, в духе, в образе славян, в смысле их, в обычае и в истории их. Я бы тем высокообразованным сербам, из которых многие столь недоверчиво смотрели нынешним летом на русских, показал бы, например, песню Пушкина о «Георгии Черном» или эту «Песню о битве при Зенице Великой». Это два шедёвра из этих песен, бриллианты первой величины в поэзии Пушкина, — и непременно потому-то они совершенно неведомы в наших школах не только ученикам, но, весьма вероятно, и учителям, которые с удивлением услышат теперь в первый раз, что это такие шедёвры, а не «Кавказский пленник» и не «Цыгане». А между тем, хоть бы в прошлом году-то, по крайней мере, пустить эти песни в

ход в наших школах. Впрочем, судя по ходу дел, вряд ли сербы скоро узнают этого неизвестнейшего из всех великих русских людей, — так, я думаю, можно определить нашего великого Пушкина, про которого у нас тысячи и десятки тысяч из нашей интеллигенции до сих пор не знают, что это был таких великих размеров поэт и русский человек, и которому до сих пор не могли мы еще собрать денег на памятник, — черта эта войдет в нашу историю. А сербы, прочтя эти «песни», конечно, увидали бы, как думаем мы об их свободе, чтим мы ее или нет, радуемся ли ей или нет и хотим или нет захватить их в свою власть и лишить их этой свободы. Впрочем, довольно о поэзии. И пусть не улыбаются надо мной свысока: «вот, дескать, об каких мелочах заговорил». Это не мелочь; о Пушкине еще много и долго у нас говорить надо.

II

Доморощенные великаны и приниженный сын «кучи». Анекдот о содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации и «да будут они прокляты, если их надо покупать такою ценой».

Сербская скупщина, собравшаяся в прошлом месяце в Белграде на одно мгновение (на полтора часа, как писали в газетах), чтоб только решить: «Заключить мир или нет?» — скупщина эта, как слышно, высказала вовсе не такое слишком уж поспешно миролюбивое настроение, какого от нее ждали, принимая в соображение обстоятельства. Говорят, и на мир-то согласилась вследствие какой-то передержки, министерской какой-то интриги. Во всяком случае, если чуть-чуть правда, что скупщина не трусила продолжения войны, то взяв в соображение их отчаянное положение, невольно спросишь себя: «Что ж это у нас так кричали о трусости сербов?» Я получал из Сербии письма и говорил с приезжавшими оттуда, и особенно запомнил одно письмо от одного юного русского, который там и остался, и который пишет о сербах с восторгом и с

негодованием на то, что в России находятся-де люди, думающие про них, что они трусы и эгоисты. Восторженный русский эмигрант даже извиняет членовредительство сербских солдат у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нежный сердцем народ, до того любят свою «кучу», где каждый оставил жену, детей, или мать, сестер, невесту, братьев, коня и собаку, что бросают все, уродуют себя, отстреливают себе пальцы, чтобы не годиться к службе и поскорей воротиться в свое милое гнездо! Представьте себе, я эту нежность сердца понимаю и весь этот процесс понимаю, и уж, конечно, в таком случае это слишком нежный сердцем народ, хотя — хотя это в то же время довольно туповатые дети своей отчизны, так что сами не понимают, чего у них сердце хочет. По нежности сердца своего сербский обитатель «кучи» похож очень, по-моему, на тех детей, которых, очень может быть, и вы запомнили еще с детства: вдруг из семьи, или из разрушенного и разбредшегося вдруг семейства, попадают они в школу. Доселе мальчик жил только дома и ничего кроме своего дома не знал, и вдруг — сто человек товарищей, чужие лица, шум, гам, совсем все другое, чем дома, — Боже, какая мука! Дома ему, пожалуй, было холодно и голодно, но зато его любили, а хоть и не любили, то все-таки там было **дома,** он был один у себя и с собой, а здесь — ни одного-то слова ласки от начальства, строгости от учителей, такие мудреные науки, такие длинные коридоры и такие бесчеловечные сорванцы, обидчики и насмешники, безжалостные его товарищи: «точно у них сердца нет, точно у них не было ни отца, ни матери!» Ему говорили до сих пор, что лгать и обижать страшно и позорно, а вот они здесь все лгут, обманывают, обижают, да еще смеются над его ужасом. Вот они за что-то не взлюбили его, за то, что он плачет о своем гнезде, «класс марает». Вот они принимаются его колотить без пощады, всем классом, все время, и даже так, без злобы, для развлечения. Я замечу про себя, что таких несчастных детей я довольно встречал в моем детстве в разных школах, — и какие преступления соверша-

ются иногда в этом роде в наших воспитательных заведениях, всех разрядов и наименований, — именно преступления! Попробуй мальчик сдуру пожаловаться, и его убьют чуть не до смерти (да и до смерти убьют); школьники бьют без жалости и без осторожности. Они задразнят его фискалом на целые годы, говорить с ним не захотят, а сделают из него парию, — и что за бессердечность, какое безжалостное равнодушие при этом в начальстве! Я не помню в моем детстве ни одного педагога и не думаю, чтоб их и теперь было много: все лишь чиновники, получающие жалованье. А между тем, вот эти-то дети, которые, поступая в школу, тоскуют по семье и родимом гнезде, — вот именно из таких-то и выходят потом всего чаще люди замечательные, со способностями и с дарованиями. А те, которые, взятые из семьи, быстро уживаются в каком угодно новом порядке, в один миг ко всему привыкают, которые ни о чем никогда не тоскуют и даже сразу становятся во главе других, — эти всего чаще выходят лишь бездарностью, или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще с восьмилетнего возраста. Разумеется, я сужу слишком вообще, но все-таки, по-моему, тот плохой ребенок, который, поступая в школу, не тоскует про себя по своей семье, разве что семьи у него вовсе не было, или была слишком плохая.

С таким страдающим, в первые дни своей школы, мальчиком, я еще летом читая о них сравнивал невольно сербского новобранца-членовредителя, — иначе как тем же самым чувством и объяснить не мог его несчастного, нерассуждающего, животного почти желания бросить ружье и бежать скорей домой. Разница лишь в том, что при этом желании объявлялась и невероятная, феноменальная как бы тупость. Он как бы отмахивался от всякого соображения о том, что если все, как он, разбегутся, то и землю защищать будет некому, а стало быть, придут турки когда-нибудь и к ним в «кучу» и разорят эту дорогую, возлюбленную его «кучу», и зарежут и мать его, и невесту, и сестру его, и коня и собаку их. Действительно, слишком во многих, может быть, сербских сердцах это страдание

по родному гнезду своему не возвысилось до страдания по родине, что представило собою именно странный феномен. Правда, теперь, когда уж кончилась у них война и заключен мир, можно заметить и то, что и сердца высшей сербской интеллигенции далеко не всегда возвышались до страдания по родине, но, однако, по другой причине, чем сердца низшие. Сверху это объясняется у них слишком сильным, может быть, политическим честолюбием. Так что из-за «высших» интересов родины этим высшим сердцам было даже почти и не время заниматься интересами низшими, народными, столь обыденными. Но о низшем сербе, мне кажется, все-таки можно сделать одно довольно любопытное замечание. Нельзя же объяснить его членовредительство и побеги с поля битвы лишь одною нежностью сердца и тупостью соображения. Мне кажется, что, дезертируя домой, он в состоянии был очень понять, что делает худо, и очень может быть, что не хвалил себя первый сам, но в то же время никогда и не полагал, что родина его останется без защиты и без прикрытия, если он убежит: «О, останутся герои, Киреевы, останется Черняев, русские, да и свои строгие сербские начальники, а он — что такое он? Незаметная пылинка, так дрянь, и больше ничего; он уйдет и никто его не хватится»... По-моему, именно это чувство и было в нем, и это очень любопытно, и рисует народ: сверху бахвалы, цивилизованные европейцы, мечтающие завоевать всех славян в одну Сербию, интригующие даже против России, словом, настоящие цивилизованные европейцы, Хорватовичи и Мариновичи, то есть все равно как бы Мольтке и Бисмарки. С другой стороны, рядом с этими великанами — приниженный сын кучи, и именно приниженный четырьмя веками рабства: от вековой этой приниженности он и считает себя ни во что, за пылинку: «Останутся, дескать, великаны, а меня и не приметят. Я такой маленький, а они такие строгие господа»... Где-то я читал, что иные из этих строгих господ, так-таки сразу, завидев иного низшего серба, собиравшегося бежать из-под ружья, прямо отстреливали ему голову револьвером, — «вот, дескать,

какими тоже могли бы мы быть железными князьями!» Они свой низший народ третируют там, кажется, несколько свысока.

Вообще эти высшие славяне, «с столь славною будущностью» — во всяком случае чрезвычайно любопытный народ в политическом, гражданском, историческом и во всевозможных отношениях.

Теперь, когда уже Черняев оттуда выехал, а добровольцев выслали, у них, то есть от их военных людей, послышалась одна военная мысль, о которой мы прежде, летом, не слыхивали. Именно, утверждают они, что их серб и вовсе неспособен служить в регулярном войске и действовать в чистом поле, а что народная сербская война — это «малая война», то есть партизанская, война шайками, в лесах, в теснинах, за камнями, за скалами. Что же, и это очень может быть; но так как мир у них уже заключен, то вряд ли это можно теперь проверить. По крайней мере, они останутся с этим военным убеждением, ну и то утешение в несчастии. Долго ли протянется этот мир? Но чтоб сказать прощальное слово об этой сербской войне, в которой мы, русские, чуть не все до единого так участвовали нашим сердцем, то мне кажется, что сербы расстаются с нами и с помощью нашею еще с большею недоверчивостью, чем с какою встречали нас в начале войны. Заключить можно тоже, что недоверчивость эта к нам будет в них итти увеличиваясь все время, пока они будут умственно расти и развиваться сами; стало быть, очень долго, и что нам, стало быть, прежде всего надо не обращать никакого внимания на их недоверчивость и делать свое дело, как сами знаем. Нам в Восточном вопросе необходимо иметь в виду неустанно одну истину: что славянская главная задача не в том только, чтоб освободиться от своих мучителей, а и в том, чтоб освобождение это совершить, хоть и с помощью русских (нельзя же иначе, и — если б только они могли обойтись без русских!), но, по крайней мере, оставаясь как можно меньше обязанными русским.

Между этими привезенными в Москву славянскими

детьми есть, говорят, — рассказывал мне все тот же воротившийся из Москвы приятель, — один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О, цивилизация! О, Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики, — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но — но «да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!» Это восклицание не мое, это воскликнули «Московские Ведомости», и я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию: да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но, однако же, это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!

III

О сдирании кож вообще, разные аберрации в частности. Ненависть к авторитету при лакействе мысли.

«С людей? С каких людей? С крошечной только части людей, где-то там в уголке, с турецкой райи, о которой никто бы и не услыхал ничего, если б не прокричали русские. Зато огромная остальная часть организма жива, здорова и благоденствует, торгует и фабрикует!».

Этот анекдот о маленькой болгарке, падающей в обморок, мне рассказали утром, и в тот же день мне

случилось проходить по Невскому проспекту. Там, в четвертом часу, матери и няньки водили детей, и невольная мысль вдруг веско легла мне на душу: «Цивилизация! — думал я, — кто же смеет сказать против цивилизации? Нет, цивилизация что-нибудь да значит: не увидят, по крайней мере, эти дети наши, мирно гуляющие здесь на Невском проспекте, как с отцов их сдирать будут кожу, а матери их — как будут вскидывать на воздух этих детей и ловить их на штык, как было в Болгарии. По крайней мере, хоть это-то приобретение наше да останется за цивилизацией! И пусть это только в Европе, то есть в одном уголке земного шара, и в уголке довольно малом сравнительно с поверхностью планеты (мысль страшная!), но все же это есть, существует, хоть в уголке да существует, положим, дорогою ценой, сдиранием кож с родных наших братьев где-то там на краю, но за то у нас-то, по крайней мере, существует. Подумать только, что прежде, да и недавно еще нигде этого не было в твердом виде, даже и в Европе, и что если есть это теперь у нас в Европе, то ведь в первый раз с тех пор как существует планета. Нет, все же это уже достигнуто и, может быть, назад уже никогда не воротится, — соображение чрезвычайно важное, невольно в душу направляющееся, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило бы обращать внимания, тем более, что мир — мир все-таки попрежнему загадка, несмотря на цивилизацию и ее приобретения. Бог знает чем чреват еще мир, и что может дальше случиться, даже и в ближайшем будущем.

И вот, только лишь я хотел воскликнуть про себя в восторге: «да здравствует цивилизация!» — как вдруг во всем усомнился: «Да достигнуто ли даже это-то, даже для этих Невского проспекта детей? Уж не мираж ли, полно, и здесь, и только глаза отводят?»

Знаете, господа, я остановился на том, что мираж, или, помягче, почти что мираж, и если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, «по независящим от публики обстоятельствам», ну и, разумеется, потому

еще, что городовые стоят. О, я спешу оговориться: я вовсе не аллегорию какую-нибудь подвожу, не на страдания какого-нибудь пролетария в наш век намекаю, не на родителя какого-нибудь, который говорит своему семилетнему сыну: «Вот тебе мой завет: украдешь пять рублей — прокляну, украдешь сто тысяч — благословлю». О, нет, — слова мои я разумею буквально. Я разумею буквальное сдирание кож, вот то самое которое происходило летом в Болгарии и которым, оказывается, так любят заниматься победоносные турки. И вот про это-то сдирание я и утверждаю, что если его нет на Невском, то разве «случайно, по независящим от нас обстоятельствам» и, главное, потому, что еще пока запрещено, а что за нами, может быть, дело бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацию.

По-моему, если уж все говорить, так просто бояться какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка; но если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же «цель оправдывает средства», — если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых. О пусть, пусть это смешнейший мой парадокс! Я первый подписываюсь под этим определением обеими руками, но тем не менее уверяю вас, что это точь-в-точь так бы и было. Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть, но — явись лишь новая мода, и тотчас же множество людей изменилось бы. Конечно, не все, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы с вами, читатель, удивились бы, и даже еще неизвестно, где бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями? Мне, разумеется, закричат в глаза, что это все дребедень и что никогда такой моды не может быть, и что этого-то по крайней мере, уже достигла цивилизация. Господа, какое легковерие с вашей стороны! Вы смеетесь? Ну, а во Франции (чтоб не заглядывать куда поближе) в 93-м году,

разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи, да еще под видом самых священнейших принципов цивилизации, и это после-то Руссо и Вольтера! Вы скажете, что все это было вовсе не то и очень давно, но заметьте, что я прибегаю к истории единственно, может быть, чтоб не заговорить о текущем. Поверьте, что самая полная аберрация и в умах, и в сердцах всегда у людей возможна, а у нас, и именно в наше время, не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей. Посмотрите, много ли согласных в том, что хорошо, что дурно. И это не то что в каких-нибудь там «истинах», а в самом первом встречном вопросе. И с какой быстротой происходят у нас перемены и вольтфасы? Что такое в Москве червонные валеты? Мне кажется, это всего лишь та часть той фракции русского дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помещики, но они дети помещиков. После крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуку и засвистали. Да тут и не одна крестьянская реформа была причиною: просто «новых идей» не вынесли: «Если-де все, чему нас учили, были предрассудки, то зачем же за ними следовать? Коли **ничего** нет, значит, можно **все** делать, — вот идея!» Заметьте — идея до невероятности распространенная, девять десятых из последователей новых идей ее исповедуют, другими словами, девять десятых прогрессистов и не умеют у нас иначе понимать новых идей. У нас Дарвин, например, немедленно обращается в карманного воришку, — вот что такое червонный валет. О, конечно, у человечества чрезвычайно много накоплено веками выжитых правил гуманности, из которых иные слывут за незыблемые. Но я хочу лишь сказать только, что несмотря на все эти правила, принципы, религии, цивилизации, в человечестве спасается ими всегда только самая незаметная кучка, — правда, такая, за которой и остается победа, но лишь в конце концов, а в злобе дня, в текущем ходе истории люди остаются как бы все те же навсегда, то есть в огромном большинстве своем не имеют накикого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чув-

стве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчас побежали бы все нагишом, да еще с удовольствием. Правила есть, да люди-то к правилам не приготовлены вовсе. Скажут: да и не надо готовиться, надо только правила эти отыскать! Так ли, и удержатся ли долго правила, какие бы там ни были, коли так хочется побежать нагишом?

По-моему, одно: осмыслить и почувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители: «слишком-де много уж было деспотизму, надо свободы», а свобода эта ведет огромное большинство лишь к лакейству перед чужой мыслью, ибо страх как любит человек все то, что подается ему готовым. Мало того: мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с **недоделанными** людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин. С этой-то великодушной работы над собой и начинать надо, чтоб поднять потому нашу «Новь», а то не-зачем выйдет и подымать ее.

Да? Но что хорошо и что дурно — вот ведь чего, главное, мы не знаем? Всякое чутье в этом смысле потеряли. Все прежние авторитеты разбили и наставили новых, а в новые авторитеты, чуть кто из нас поумнее, тот и не верует, а кто посмелее духом, тот из гражданина в червонного валета обращается. Мало того, ей-Богу начнет сдирать со спин кожу, да еще провозгласит, что это полезно для общего дела, а стало быть, свято. Как же, в каком же смысле приступить к работе-то над собой, если не знаешь, что хорошо, что худо?

IV

Меттернихи и Дон-Кихоты

Но чтоб не говорить отвлеченно, обратимся к данной теме. Вот мы действительно не сдираем кож, мало того, даже не любим этого (только один Бог знает: любитель часто прячется, любитель мало известен, до времени стыдится, «боится предрассудка»), но если и не любим у себя и **никогда не делаем,** то должны ведь ненавидеть и в других. Мало того, что ненавидеть, должны просто не дать сдирать кож никому, так-таки взять и не дать. А между тем так ли на деле? Самые негодующие из нас вовсе не так негодуют, как бы следовало. Я даже не про одних славян говорю. Если мы уж так сострадаем, так и поступать должны бы в размере нашего сострадания, а не в размере десяти целковых пожертвования. Мне скажут, что ведь нельзя же отдать все. Я с этим согласен, хотя и не знаю почему. Почему же бы и не все? В том-то и дело, что тут решительно ничего не понимаешь даже в собственной природе. А тут вдруг, с огромным авторитетом, возникает вопрос об **«интересах цивилизации».**

Вопрос ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. «Интересы цивилизации — это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу. Нужно огромное, беспрерывное, и прогрессивное производство по уменьшенной цене, в видах страшного наращения пролетариев. Доставляя заработок пролетарию, доставляем ему и предметы потребления по уменьшенной цене. Чем спокойнее в Европе, тем более по уменьшенной цене. Стало быть, именно нужно в Европе спокойствие. Шум войны прогонит производство. Капитал труслив, он забоится войны и спрячется. Если ограничить право турок сдирать со спин райи кожу, то надобно затеять войну, а затей войну — сейчас выступит вперед Россия, — значит, может наступить такое усложнение войны, при котором война обнимет весь свет; тогда прощай производство, и пролетарий пойдет на улицу. А пролетарий опасен на улице. В ре-

чах палатам уже упоминается прямо и откровенно, вслух на весь мир, что пролетарий опасен, что с пролетарием неспокойно, что пролетарий внимает социализму. «Нет, уж лучше пусть, где-то там в глуши сдирают кожу. Неприкосновенность турецких прав должна быть незыблема. Надо потушить Восточный вопрос и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоят ли две, три каких-нибудь кожицы спокойствия всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысяч кож, — не все ли равно? Захотим, так и не услышим вовсе, стоит уши зажать»...

Вот мнение Европы (решение, может быть); вот — **интересы цивилизации**, и — да будут они опять-таки прокляты! И тем более прокляты, что аберрация умов (а русских преимущественно) — предстоит несомненная. Ставится прямо вопрос: что лучше — многим ли десяткам миллионов работников итти на улицу, или единицам миллионов райи пострадать от турок? Выставляют числа, пугают цифрами. Кроме того, выступают политики, мудрые учители: есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А, стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости!

Это учение очень распространено и давнишнее, но — да будет и оно проклято! Главное, пусть не пугают нас цифрами. Пусть там в Европе как угодно, а у нас пусть будет другое. Лучше верить тому, что счастье нельзя купить злодейством, чем чувствовать себя счастливым, зная, что допустилось злодейство. Россия никогда не умела производить настоящих, своих собственных Меттернихов и Биконсфильдов; напротив, все время своей Европейской жизни она жила не для себя, а для чужих, именно для «общечеловеческих интересов». И действительно, бывали случаи в эти двести лет, что она, может быть и старалась, кой-когда, подражать Европе и заводила и у себя Меттернихов, но как-то

всегда обозначалось в конце концов, что русский Меттерних оказывался вдруг Дон-Кихотом и тем ужасно дивил Европу. Над Дон-Кихотом, разумеется, смеялись: но теперь, кажется, уже восполнились сроки, и Дон-Кихот начал уже не смешить, а пугать. Дело в том, что он несомненно осмыслил свое положение в Европе и не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он остался верным рыцарем, а это-то всего для них и ужаснее. В самом деле, в Европе кричат о «русских захватах, о русском коварстве», но единственно лишь, чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь тому не верят, да и никогда не верили. Напротив, их смущает теперь и страшит, в образе России, скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, честное, гнушающееся и захватом и взяткой. Они предчувствуют, что подкупить ее невозможно и никакой политической выгодой не завлечь ее в корыстное или насильственное дело. Разве обманом, — но Дон-Кихот хоть и великий рыцарь, а ведь и он бывает иногда ужасно хитер, так что ведь и не даст себя обмануть. Англия, Франция, Австрия, — да есть ли там хоть одна такая нация, с которой нельзя было бы соединиться при удобном случае из политической выгоды с насильственною корыстною целью: стоит лишь не пропустить ту минуту, в которую подкупаемая нация всего дороже может продать себя. Одну Россию ничем не прельстишь на неправый союз, никакой ценой. А так как Россия в то же время страшно сильна, и организм ее очевидно растет и мужает не по дням, а по часам, что отлично хорошо понимают и видят в Европе (хотя подчас и кричат, что колосс расшатан), — то как же им не бояться?

Кстати, этот взгляд на неподкупность внешней политики России и на вечное служение ее общечеловеческим интересам даже в ущерб себе оправдывается историею, и на это слишком надо бы обратить внимание. В этом наша особенность сравнительно со всей Европой. Мало того, этот взгляд на характер России так мало распространен, что и у нас вряд ли многие ему поверят. Разумеется, **ошибки** русской политики при

этом не должны быть поставлены в счет, потому что дело идет теперь лишь о духе и нравственном характере нашей политики, а не об удачах ее в прошедшем и давнопрошедшем. В последнем случае действительно бывали в старину ветряные мельницы, но, повторяю, кажется, их время совсем прошло.

Нет, серьезно: что в том благосостоянии, которое достигается ценою неправды и сдирания кож! Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации — и нация несомненно более выиграет, даже и материально. Заметим, что Европа бесспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живут они там всего только день за днем, одной только настоящей минутой, и сами не знают, что с ними станется завтра; мы же, Россия, мы все еще верим в нечто незыблемое, у нас созидающееся, а следственно ищем выгод постоянных и существенных. А потому мы, и как политический организм, всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней. Поверьте, что Дон-Кихот свои выгоды тоже знает и рассчитать умеет: он знает, что выиграет в своем достоинстве и в сознании этого достоинства, если по-прежнему останется рыцарем; кроме того, убежден, что на этом пути не утратит искренности в стремлении к добру и к правде, и что такое сознание укрепит его на дальнейшем поприще. Он уверен, наконец, что такая политика есть, кроме того, и лучшая школа для нации. Надо, чтоб червонный валет не смел сказать мне в глаза: «ведь и у вас все условно, ведь и у вас на выгоде». Надо, чтоб и юноша энтузиаст возлюбил свою нацию, а не шел бы искать правды и идеала на стороне и вне общества. И он кончит тем, что возлюбит свою нацию, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы пройдет. Правда — как солнце: ее не спрячешь; назначение России станет, наконец, ясно

самым кривым умам, и у нас, и в Европе. У нас почему теперь возможны такие аберрации умов, как нигле? Потому, что полуторавековым порядком вся интеллигенция наша только и делала, что отвыкала от России, и кончила тем, что раззнакомилась с ней окончательно и сносилась с нею только через канцелярию. С реформами нынешнего царствования начался новый век. Дело пошло и остановиться не может.

А Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила, — не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим, если надо, меч во имя угнетенных и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас еще тверже вера, что в том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда ее, и что жертва собою за угнетенных и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации.

Нет, надо чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: все затемнится, замешается и потонет в цинизме. Иначе не сдержите нравственности и отдельных граждан, а в таком случае как же будет жить целый-то организм народа? Надобен авторитет, надобно солнце, чтоб освещало. Солнце показалось на Востоке, и для человечества с Востока начинается новый день. Когда просияет солнце совсем, тогда и поймут, что такое настоящие «интересы цивилизации». А то выставится знамя с надписью на нем: «Après nous le déluge» (после нас хоть потоп)! Неужели столь славная «цивилизация» доведет европейского человека до такого девиза, да тем с ним и покончит? К тому идет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Один из главнейших современных вопросов

Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой «Дневник писателя», стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем, в этом добровольном воздержании моем — какая неправда! Я — писатель, и пишу «Дневник писателя», — да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе: как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления? «Сам, дескать, литератор-беллетрист, а стало быть, всякое суждение твое о беллетристической литературе, кроме безусловной похвалы, почтется пристрастным; разве говорить лишь о давно прошедших явлениях» — вот соображение, меня останавливавшее.

И все же я рискну на этот раз нарушить это соображение. Правда, в чисто беллетристическом и критическом смысле я и не буду говорить ни о чем, а разве лишь, в случае нужды, «по поводу». Повод вышел и теперь. Дело в том, что месяц назад я попал на одну до того серьезную и характерную в текущей литературе вещь, что прочел ее даже с удивлением, потому что давно уже ни на что подобное в таких размерах не рассчитывал в беллетристике. У писателя-художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочел три-четыре страницы настоящей «злобы дня», — все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку. И главное, — со всем характернейшим оттенком настоящей нашей минуты, именно так, как ставится у нас этот вопрос в данный момент, ставится и оставляется неразрешенным... Я говорю про несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого, в январском № Русского Вестника.

Собственно обо всем этом романе скажу лишь полслова и то лишь в виде самого необходимого предисловия. Начал я читать его, как и все мы, очень давно. Сначала мне очень понравилось; потом, хоть и продолжали нравиться подробности, так что не мог оторваться от них, но в целом стало нравиться менее. Все казалось мне, что я где-то уже читал, и именно в «Детстве и Отрочестве» того же графа Толстого и в «Войне и Мире» его же, и что там даже свежее было. Все та же история барского русского семейства хотя, конечно, сюжет не тот. Лица, как Вронский, например (один из героев романа), которые и говорить не могут между собою иначе как об лошадях, и даже не в состоянии найти об чем говорить кроме как об лошадях — были, конечно, любопытны, чтоб знать их тип, но очень однообразны и сословны. Казалось, например, что любовь этого «жеребца в мундире», как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в ироническом тоне. Но когда автор стал вводить меня во внутренний мир своего героя серьезно, а не иронически, то мне показалось это даже скучным. И вот вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) — и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда, и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились, но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих лю-

дей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, — все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни так и никогда даже. Момент этот был отыскан и нам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходно и воочию. Кажется, именно это-то и хотел доказать нам поэт, начиная свою поэму. Русскому читателю об этой вековечной правде слишком надо было напомнить: многие стали у нас об ней забывать. Этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник.

Затем опять потянулся роман, и вот, к некоторому удивлению моему, я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей «злобе дня» и, главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа. Тем не менее, повторяю это, для меня это было неожиданно и несколько меня удивило: такой «злобы дня» я все-таки не ожидал. Я почему-то не думал, что автор решится довести своих героев в их развитии до таких «столпов». Правда, в столпах-то этих, в этой крайности вывода и весь смысл действительности, а без того роман имел бы вид даже неопределенный, далеко не соответствующий ни текущим, ни существенным интересам русским: был бы нарисован какой-то уголок жизни, с намеренным игнорированием самого главного и самого тревожного в этой же жизни. Впрочем, я, кажется, пускаюсь решительно в критику, а это не мое дело. Я только хотел указать на одну сцену. Больше ничего как обо-

значились два лица с той именно стороны, с которой они наиболее для нас теперь могут быть характерны, и, тем самым, тот тип людей, к которому принадлежат эти два лица, поставлен автором на самую любопытнейшую точку в наших глазах в их современном социальном назначении.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помещики, оба взяты после крестьянской реформы. Оба были «крепостными помещиками» и теперь вопрос: что остается от этих дворян, в смысле дворянском, после крестьянской реформы? Так как тип этих двух помещиков чрезвычайно общ и распространен, то вопрос отчасти и разрешен автором. Один из них Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член Английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуиров, приятных эгоистов, никому не мешающих, остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает часто и многочисленное семейство; с женой и детьми они ласковы, но мало об них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованы они мало, но любят изящное, искусства, и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформы этот дворянин тотчас же понял в чем дело: он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться не-зачем и **après moi le déluge** (после меня хоть потоп). Об судьбе жены и детей он не заботится думать. Остатками состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета; но если б состояние его рушилось и нельзя бы было получать даром жалованья, то, может быть, он и стал бы валетом, разумеется, употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и великосветским. В старину, конечно, для уплаты карточного долга или любовнице, ему случалось отдавать людей в солдаты; но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе. Хоть он и аристократ, но дворянство свое он всегда считал ни во что, а по устранении крепостных отношений — так даже исчезнувшим: для него из людей оста-

лись лишь **человек в случае,** затем чиновник с известного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношения и дружбу. Да и разговор начался с упрека ему Левиным, родственником его и помещиком (но уже совершенно обратного типа и живущим в своем поместье), за то, что он ездит к железнодорожникам, на их обеды и праздники, к людям двусмысленным, по убеждению Левина, вредным. Облонский опровергает его с едкостью. Да и вообще между ними, с тех пор как они породнились, установились довольно едкие отношения. При том, в наш век, негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный походя на идеалиста, имеет вид шута. Разговор происходит на охоте, в летнюю ночь. Охотники на ночлеге, в крестьянской риге и почуют на сене. Облонский доказывает, что презрение к железнодорожникам, к их интригам, к их скорой наживе, вымаливанью концессий, перепродажам — не имеет смысла, что это такие же люди, действуют трудом и умом, как и все, а в результате — дают дорогу.

« — Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду — не честно, — говорит Левин.

— Да кто ж определит соответствие? — продолжает Облонский... — Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело — это бесчестно?

— Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника...

. . . .

— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получаю пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего именья, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини меня, это парадокс.........

....

Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, **как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.**

— Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, **по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».**

II

«Злоба дня»

Вот разговор. И уж согласитесь, что это «злоба дня», даже все, что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто-русских черт! Во-первых, лет сорок назад все эти мысли и в

Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны Сен-Симон и Фурье — первоначальные «идеальные» толкователи этих идей, а у нас, — у нас знали тогда о начавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих «вопросах» помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что, по крайней мере, отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно. Правда, это помещики высшего света, говорят в Английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из других источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, — эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов. Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. «Я, дескать, с этим совершенно согласен». Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок, личность, семейство, — о, это ему ничего не стоит. Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки, и что они начали говорить об этом всего лишь вчера, и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта: этот господин прямо говорит: «Надо одно из двух, или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, **или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимущества-**

ми, как я и делаю, и пользовать ими с удовольствием». То есть в сущности он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: «Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. Après moi le déluge». Оне потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет — почему же ему не стать валетом, — самая прямая дорога. Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек — какая характернейшая чисто-русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидали мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных, с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме après moi le déluge (после меня потоп).

Но всего любопытнее то, что рядом с этим, многочисленнейшим и владычествующим типом, стоит другой, — другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно-противоположный тому, — все что есть противоположного. Это Левин, но Левиных в России — тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве:

«Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, **по**

крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».

И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то, в противоположность Стиве, который говорит: «хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие», — он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха.

И сбирать на построение
Храма Божьего пошел.

И если не на построение храма пойдет сбирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревностью. Заметьте, опять повторяю и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым **нужна правда,** одна правда без условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности, они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующе, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое и не нарушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю — обратится в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столь-

ко честности и **искания честности.** Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видать и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором, общество русское с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст все, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных. Но самая характернейшая, самая русская черта этой «Злобы дня», указанной автором, состоит в том, что его новый человек, его Левин, **не умеет** решить смутивший его вопрос. То есть он уже и решил его **почти,** в сердце своем, и не в свою пользу, **подозревая,** что он **виноват,** но что-то твердое, прямое и реальное восстает из всей его природы и удерживает его пока от последнего приговора. Напротив, Стива, которому все равно, виноват он или нет, — решает без малейшего колебания, это ему даже на руку: «коли все нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно все делать, а с меня еще времени хватит, не сейчас ведь придет страшный суд». Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина и поставила его втупик, и это чисто по-русски и совершенно верно отмечено автором: все дело в том, что все эти мысли и вопросы у нас в России — одна лишь теория, все к нам занесенные с чужого строя и с чужого порядка вещей, из Европы, где они имеют давно уже свою историческую и практическую сторону. Что ж делать: оба наши дворянина — европейцы, и от европейского авторитета освободиться им не легко, надо и тут отдать дань Европе. И вот Левин, русское сердце, смешивает

чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим «правом». Представим, для ясности, себе такую картинку:

Стоит Левин, стоит, задумавшись после ночного разговора своего на охоте с Стивой, и мучительно, как честная душа, желает разрешить смутивший и уже прежде, стало быть, смущавший его вопрос.

— Да, — думает он, полурешая, — да, если по-настоящему, то за что мы, как сказал давеча Весловский, «едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а бедный вечно, вечно в труде?» Да, Стива прав, я **должен** разделить мое имение бедным и пойти работать на них.

Стоит подле Левина «бедный» и говорит:

— Да, ты действительно должен и обязан отдать свое имение нам, бедным, и пойти работать.

Левин выйдет совершенно прав, а «бедный» совершенно неправ, разумеется, решая дело, так сказать, в высшем смысле. Но в том-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное решение его нельзя смешивать с историческим; не то — безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в теоретических русских головах, и в головах негодяев Стив и в головах чистых сердцем Левиных. В Европе жизнь и практика уже поставили вопрос — хоть и абсурдно в идеале его исхода, но все же реально в его текущем ходе, и уже не смешивая двух разнородных взглядов, нравственного и исторического, по крайней мере, по возможности. Разъясним нашу мысль еще, хоть двумя словами.

III

Злоба дня в Европе

В Европе был феодализм и были рыцари. Но в тысячу слишком лет усилилась буржуазия и, наконец, задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и — встала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: ôte-toi de là, que je m'y mette (убирай-

ся, а я на твое место). Но став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска хлеба. Наш русский Стива решает про себя, что он неправ, но сознательно хочет оставаться негодяем, потому что ему жирно и хорошо: заграничный Стива с нашим не согласен и признает себя совершенно правым, и уж, конечно, он в этом по-своему логичнее, ибо, по его мнению, тут вовсе и нет никакого **права,** а есть только **история,** исторический ход вещей. Он стал на место рыцаря, потому что победил рыцаря силой, и он отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший во время борьбы его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот совсем усилится, то сковырнет его с места, как он когда-то рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему: «убирайся, а я на твое место». Где же тут право, тут одна история. О, он бы готов был на компромисс, как-нибудь поладить с врагом, и даже пробовал. Но так как он отлично догадался, да и на опыте знает, что враг ни за что не расположен мириться, делиться не хочет, а хочет **всего;** кроме того, что если он и уступит что, то только себя ослабит — то и решил не уступать ничего и — готовиться к битве. Положение его, может быть, безнадежно, но по свойству человеческой природы укрепляться духом перед борьбою, — он не отчаивается, напротив, укрепляется на бой все более и более, пускает все средства в ход, изо всей силы, пока сила есть; ослабляет противника и пока только это и делает.

Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже, была и там **нравственная** постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты об разных весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария все это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе: «А там, после по-

беды, все само собою устроится практически, хотя, очень может быть, что после рек пролитой крови». Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом, и что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И, однако, между и теперешними даже предводителями случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов собственно для красы, чтобы скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих «нравственных» коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве и им прямо ставит на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение — палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе: «братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества». Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство бредни, и что будущее человечество устроится на основаниях научных. Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество, на основаниях научных, чистая фантазия, что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа; что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы; что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности; что устроить так человека можно только страшным насилием и поставить над ним страшное шпионство и беспрерывный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают

указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек, и что сам он, чтоб спасти себя от разрушения и смерти, согласится добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своеволия и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы, и что все это, стало быть, попрежнему гадательно. Что если б они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий и слушать бы их не стал, а если идет за ними теперь и организуется в битву, то единственно потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективою разрушения и битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надобно совсем устранить, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою.

Вот европейская постановка дела. И та и другая сторона страшно не правы, и та и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас русских то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единственно возможное решение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества — есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там, рано ли, поздно ли, после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.

IV

Русское решение вопроса.

Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту» и если вы действительно это почувствовали и действительно так вам жаль, «бедных», которых так много, то отдайте

им свое имение, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всех и «получите сокровище на небеси, там, где не копят и не посягают». Пойдите, как Влас, у которого

Сила вся души великая
В дело Божие ушла.

И если не хотите сбирать, как Влас, на храм Божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, учите его. Если б и все роздали, как вы, свое имение «бедным», то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастии, ему и детям его. И не говорите, что вы лишь слабая единица, и что если вы один раздадите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже раздавать **непременно** имения, — ибо всякая **непременность** тут, в деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лености. Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение — отдайте, велит итти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «дескать, я не барин, я хочу работать как мужик». Тачка опять-таки мундир.

Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем, как ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательна и не надеванье зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь **решимость ваша делать все ради деятельной любви,** все что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» — лишь одно только пе-

реряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого «опрощения». Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «один в поле не воин» и пр. Всякий кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и пр., и пр. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам — любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но ведь вы делаете дело любви, а, стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не скажет вам, что вы и без любви должны были сделать все это, из собственной так сказать, пользы, и что иначе вас бы заставили силой. Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть

не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах гарантирующих денежное обеспечение: «Есть деньги, стало быть, могу делать все что угодно, есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечивать себя деньгами, а «разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить». Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени — то он ли после того не свободен? Это уж высочайшее проявление воли! Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: «Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унизить его, истребить его». Между тем настоящее равенство говорит: «Какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня? Напротив, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека я уважаю себя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».

Если так будут говорить все люди, то уж, конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви.

Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» — есть «царство небесное» и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стивы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фан-

тастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал притти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, a **priori**, из одних мечтаний сердца и «научных» цифр, взятых при том из прежнего строя общества, — то с неготовыми, с невыделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществятся, а, напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающихся людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагери в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его, наконец, то увлекут за собою и всех, и не насилием, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу «Новь». Прежде чем проповедывать людям: «как им быть» — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем подымаются и в нашей среде — и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага.

Ответ на письмо.

В редакцию «Дневника писателя» пришло следующее письмо:

Милостивый государь
Федор Михайлович!

12-го января я послал на ваше имя 2 р. 50 к., прося вас выслать мне ваше издание «Дневник писателя»; из газет я узнал, что 1-й нумер вышел 1-го февраля; сегодня уже 25 число — меж тем я еще не получал его! Крайне интересно знать, что за причина этому факту? Не знаю как для вас, — а для меня подобный образ отношений к подписчикам кажется более чем оригинальным!

Если вы вздумаете когда-нибудь выслать мне ваше издание — прошу адресовать: Г. Новохоперск, врачу при городской земской больнице, В. В. К—ну.

В. К—н.

Г. Новохоперскъ.

25
18—77
II

Вот ответ редакции:

Милостивый государь.

К сожалению, жалобы на неполучение выпусков приходят к нам довольно часто, и особенно в начале года. Справляясь по книгам, всегда находим, что номера эти давно уже отправлены и теряются, стало быть, в дороге. Процент этих потерь, конечно, очень невелик сравнительно с числом подписчиков, но он существует неизменно, и не у одних у нас, а и в других изданиях. Обыкновенно мы, не вступая в объяснения, и чтоб удовлетворить скорее подписчиков, высылаем вторые номера: где уж разыскивать пропавший номер! В середине года дело налаживается, а в конце года пропаж почти не бывает.

Но вы, милостивый государь, изо всех предположений: почему мог не дойти к вам номер, — выбрали не колеблясь одно, именно обман со стороны редакции.

Это ясно из тона вашего письма и особенно из слов: «Если вы **когда-нибудь вздумаете** выслать мне ваше издание, прошу» и т. д. Стало быть, прямо предполагаете, что редакция сознательно удержала ваш номер, и не удерживаетесь выразить ваше сомнение в том, что его даже хоть когда-нибудь получите. Вследствие чего редакция спешит выслать вам ваши 2 р. 50 к. обратно и просит уже более ее не беспокоить. Принуждена же сделать это из понятного и естественного побуждения, которому вы, милостивый государь, вероятно, не удивитесь.

МАРТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш.

Прошлого года, в июне месяце, в июньском № моего «Дневника», я сказал, что Константинополь, «рано ли, поздно ли, должен быть наш». Тогда было горячее и славное время: подымалась духомъ и сердцемъ вся Россия, и народ шел «добровольно послужить Христу и православию противъ неверных, за наших братьев по вере и крови славян». Я хоть и назвал тогдашнюю статью мою «утопическим пониманием истории», — но сам я твердо верил в свои слова и не считал их утопией, да и теперь готов подтвердить их буквально. Вот что я написал тогда о Константинополе:

«Да, Золотой Рог и Константинополь, — все это будет наше... И, во-первых, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то действительно время уже близко, все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело еще время».

Затем я тогда разъяснил мою мысль, почему не созрело, да и не могло созреть прежде время. Если б Петру Великому (писал я) и пришла тогда мысль «вместо основания Петербурга захватить Константинополь,

то, мне кажется, он, по некотором размышлении, оставил бы эту мысль тогда же, если б даже и имел настолько силы, чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дело это было несвоевременно и могло бы принести даже гибель России.

«Уж когда в чухонском Петербурге мы не избегли влияния соседних немцев, хотя и бывших полезными, но за то и весьма парализовавших русское развитие, прежде чем выяснилась его настоящая дорога, то как в Константинополе, огромном, своеобразном, с остатками могущественной и древнейшей цивилизации, могли бы мы избежать влияния греков, людей несравненно более тонких, чем грубые немцы, людей, имеющих несравненно более общих точек соприкосновения с нами, чем совершенно непохожие на нас немцы, людей многочисленных и царедворных, которые тотчас же бы окружили трон и прежде русских стали бы и учены и образованы, которые и Петра самого очаровали бы в его слабой струне уж одним своим знанием и умением в мореходстве, а не только его ближайших преемников. Одним словом, они овладели бы Россией политически, они стащили бы ее немедленно на какую-нибудь новую Азиатскую дорогу, на какую-нибудь опять замкнутость и уж, конечно, этого не вынесла бы тогдашняя Россия. Ее русская сила и ее национальность были бы остановлены в своем ходе. Мощный великорусс остался бы в отдалении на своем мрачном снежном севере, служа не более как материалом для обновленного Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть, совершилось бы распадение самого православия на два мира; на обновленный царьградский и старый русский... Одним словом, дело было в высшей степени несвоевременное. Теперь же совсем иное».

Теперь (писал я), теперь Россия уже могла бы завладеть Константинополем и не перенося в него свою столицу, чего тогда, при Петре, и даже долго после него, было бы нельзя миновать. Теперь Царьград мог бы быть нашим и не как столица России, но (прибав-

лял я) и не как столица всеславянская, как мечтают некоторые:

«Всеславянство, без России, истощится там в борьбе с греками, если бы даже и могло составить из своих частей какое-нибудь политическое целое. Наследовать же Константинополь одним грекам теперь уже совсем невозможно: нельзя отдать им такую важную точку земного шара, слишком уж было бы им не по мерке».

Но во имя чего же, во имя какого **нравственного** права могла бы искать Россия Константинополя? Опираясь на какие высшие цели могла бы требовать его от Европы?

«А вот именно (писал я) — как предводительница православия, как покровительница и охранительница его, — роль, предназначенная ей еще с Ивана III, поставившего в знак ее и царьградского двуглавого орла выше древнего герба России, но обозначившаяся уже несомненно лишь после Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже и стала действительной и единственной покровительницей и православия и народов, его исповедующих. Вот эта причина, вот это **право** на древний Царьград и было бы понятно и не обидно даже самым ревнивым к своей независимости славянам, или даже самим грекам. Да и тем самым обозначилась бы и настоящая сущность тех политических отношений, которые и должны неминуемо наступить у России ко всем прочим православным народностямъ, — славянам ли, грекам ли, все равно: Она — покровительница их и даже, может быть, предводительница, но не владычица; мать их, а не госпожа. Если даже и государыня их когда-нибудь, то лишь по собственному их провозглашению, с сохранением всего того, чем сами они определили бы независимость и личность свою».

Все эти соображения само собою представлялись мною в июньской прошлогодней статье отнюдь не как подлежащие немедленному исполнению, а лишь как долженствующие несомненно исполниться, когда придет к тому историческое время и восполнятся сро-

ки, близость и отдаленность которых хотя невозможно предсказать, но все же можно предчувствовать. С тех пор прошло девять месяцев. Про эти девять месяцев вспоминать, я думаю, нечего: всем нам известно это восторженное время, в начале полное надежд, а потом странное и тревожное, и которое до сих пор еще не заключилось ничем, так что один Бог знает — (я думаю так лишь можно выразиться) — чем оно разрешится: обнажим ли мы меч, или дело еще раз оттянется каким-нибудь компромиссом в долгий ящик. Но что бы ни случилось, мне как раз почему-то именно теперь захотелось высказать несколько дополнительных и пояснительных слов к моим июньским мечтам о судьбе Царьграда. Что бы там теперь ни случилось — мир ли, вновь ли уступки со стороны России, но рано ли, поздно ли, а Царьград будет наш, — вот что хочется мне именно теперь опять подтвердить, но уже с некоторой новой точки зрения.

Да, он должен быть наш не с одной точки зрения знаменитого порта, пролива, «средоточия вселенной», «пупа земли»; не с точки зрения давно сознанной необходимости такому огромному великану как Россия выйти, наконец, из запертой своей комнаты, в которой он уже дорос до потолка, на простор, дохнуть вольным воздухом морей и океанов. Я хочу поставить на вид лишь одно соображение, тоже самой первой важности, по которому Константинополь не может миновать России. Это соображение я потому преимущественно перед другими выставлю на вид, что, как мне кажется, такой точки зрения никто теперь не берет в расчет, или, по крайней мере, давно позабыли брать в расчет, а она-то, пожалуй, что и из самых важных.

II

Русский народ слишком дорос до здравого понятия о Восточном вопросе с своей точки зрения.

Хоть и дико сказать, но четырехвековый гнет турок на Востоке с одной стороны был даже полезен там

христианству и православию, — отрицательно, конечно, но, однако же, способствуя его укреплению, а главное, его единению, его единству, точно так же, как двухвековая татарщина способствовала некогда укреплению церкви и у нас в России. Придавленное и измученное христианское население Востока увидало во Христе и в вере в Него единое свое утешение, а в церкви — единственный и последний остаток своей национальной личности и особности. Это была последняя единая надежда, последняя доска, оставшаяся от разбитого корабля; ибо церковь все таки сохраняла эти населения как национальность, а вера во Христа препятствовала им, то-есть хотя части из них, слиться с победителями воедино, забыв свой род и свою прежнюю историю. Все это чувствовали и хорошо понимали сами угнетенные народы и единились около креста теснее. С другой стороны, с самого покорения Константинополя, весь огромный христианский Восток невольно и вдруг обратил свой молящий взгляд на далекую Россию, только-что вышедшую тогда из своего татарского рабства, и как бы предугадал в ней будущее ее могущество, свой будущий всеединящий центр себе во спасение. Россия же немедленно и не колеблясь приняла знамя Востока и поставила царьградского двуглавого орла выше своего древнего герба и тем как бы приняла обязательств перед всем православием: хранить его и все народы, его исповедующие, от конечной гибели. В то же время и весь русский народ совершенно подтвердил новое назначение России и царя своего в грядущих судьбах всего Восточного мира. С тех пор главное, излюбленное наименование царя своего народ твердо и неуклонно поставил и до сих пор видит в слове: «православный», «Царь православный». Назвав так царя своего, он как бы признал в наименовании этом и назначение его, — назначение охранителя, единителя, а когда прогремит веление Божие, — и освободителя православия и всего христианства, его исповедующего, от мусульманского варварства и западного еретичества. Два века назад, и особенно начиная с Петра Великого, верования и надежды народов Востока на-

чали сбываться уже на деле: меч России уже несколько раз сиял на Востоке в защиту его. Само собою, что и народы Востока не могли не видеть в царе России не только освободителя, но и будущего царя своего. Но в эти два века явилось и у них европейское просвещение, европейское влияние. Высшая, просвещенная часть народа, интеллигенция его, как у нас, так и на Востоке, мало-по-малу стала к идее православия равнодушнее, стала даже отрицать, что в этой идее заключается обновление и воскресение в новую великую жизнь как для Востока, так и для России. В России, например, в огромной части ее образованного сословия перестали и даже как бы отучились видеть в этой идее главное назначение России, завет будущего и жизненную силу ее; в противоположность тому стали находить все это в новых указаниях. В церкви, по-западному, многие стали видеть лишь мертвенный формализм, особность, обрядность, а с конца прошлого века так даже предрассудок и ханжество: о духе, об идее, об живой силе было забыто. Явились идеи экономические, характера западного, явились новые учения политические, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать выше ее. Явилась, наконец, наука, не могшая не внести безверия в прежние идеи... В народах же Востока стали пробуждаться кроме того, и главнейшим образом, идеи национальные: явилась вдруг боязнь, освободясь от турецкого ига, подпасть под иго России. Зато в простом, многомиллионном народе нашем и в царях его идея освобождения Востока и Церкви Христовой не умирала никогда. Движение, охватившее народ русский прошлым летом, доказало, что народ не забыл ничего из своих древних надежд и верований, и даже удивило огромную часть нашей интеллигенции, до того, что та прямо не поверила этому движению, отнеслась к нему скептически и насмешливо, стала всех уверять, и себя прежде всех, что движение это выдумано и подделано неблаговидными людьми, желавшими выдвинуться вперед на красивое место. В самом деле, кто бы мог, в наше время, в нашей интеллигенции, кроме неболь-

ной отделившейся от общего хора части ее, допустить, что народ наш в состоянии **сознательно** понимать свое политическое, социальное и нравственное назначение? Как можно было им допустить, чтоб эта грубая черная масса, недавно еще крепостная, а теперь опившаяся водкой, знала бы и была уверена, что назначение ее — служение Христа, а царя ее — хранение Христовой веры и освобождение православия. «Пусть эта масса всегда называла себя не иначе как христианством (крестьянством), но ведь она все таки не имеет понятия ни о религии, ни о Христе даже, она самых обыкновенных молитв не знает». Вот что говорят обыкновенно про народ наш. Кто говорит это? Вы думаете — немецкий пастор, обработавший у нас штунду, или заезжий европеец, корреспондент политической газеты, или образованный какой-нибудь высший еврей из тех, что не веруют в Бога и которых вдруг у нас так много теперь расплодилось, или, наконец, кто-нибудь из тех поселившихся за границей русских, воображающих Россию и народ ее лишь в образе пьяной бабы, со штофом в руках? О нет, так думает огромная часть нашего русского и самого лучшего общества; а и не подозревают они, что хоть народ наш и не знает молитв, но суть христианства, но дух и правда его, сохранились и укрепились в нем так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего, несмотря даже на пороки его. Впрочем, атеист или равнодушный в деле веры русский европеец и не понимает веры иначе, как в виде формалистики и ханжества. В народе же они не видят ничего подобного ханжеству, а потому и заключают, что он в вере ничего не смыслит, молится, когда ему надо, доске, а в сущности равнодушен, и дух его убит формалистикою. Духа христианского они в нем не приметили вовсе может быть, и потому еще, что сами этот дух давно уже потеряли, да и не знают, где он находится, где он веет. Этот «развратный» и темный народ наш любит однако же смиренного и юродивого: во всех преданиях и сказаниях своих он сохраняет веру, что слабый и приниженный, несправедливо и напрасно Христа ради терпящий, будет возне-

сей превыше знатных и сильных, когда раздается суд и веление Божие. Народ наш любит тоже рассказывать и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря Ильи-Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого. И имея, чтя и любя такого богатыря, — народу ли нашему не веровать и в торжество приниженных теперь народов и братьев наших на Востоке? Народ наш чтит память своих великих и смиренных отшельников и подвижников, любит рассказывать истории великих христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и изучил, и я сам их впервые от народа услышал, рассказанные с проникновением и благоговением и оставшиеся у меня на сердце. Кроме того, народ ежегодно и сам выделяет из себя великих кающихся «Власов», идущих с умилением, раздав все имение свое, на смиренный и великий подвиг правды, работы и нищеты... Но впрочем о народе русском потом; когда-нибудь добьется же он того, что начнут понимать и, по крайней мере, принимать его во внимание. Поймут, что и он что-нибудь да значит. Поймут, наконец, и то важное обстоятельство, что ни разу еще в великие, или даже в чуть-чуть важные моменты истории русской, без него не обходилось, что Россия **народна,** что Россия не Австрия, что в каждый значительный момент нашей исторической жизни дело всегда решалось народным духом и взглядом, царями народа в высшем единении с ним. Это чрезвычайно важное историческое обстоятельство обыкновенно у нас пропускается почти без внимания нашей интеллигенцией, и вспоминается всегда как-то вдруг, когда грянет исторический срок. Но я отвлекся, я заговорил о Константинополе...

III

Самые подходящие в настоящее время мысли.

Восточная церковь, ее предстоятели, вселенский патриарх, во все эти четыре века порабощения их цер-

кви, жили с Россиею и между собою мирно — в деле веры, то-есть: больших смут, ересей, расколов не было, не до того было. Но вот в нынешнем веке, и особенно в последнее двадцатилетие, после великой Восточной войны, как бы пахнуло у них тленным запахом разлагающегося трупа: предчувствие смерти и разложения «больного человека» и гибели его царства стало ощущением главным, насущным. О, конечно, освободить может окончательно все-таки лишь одна Россия, та самая Россия, которая и теперь, и в настоящую минуту всеобщих разговоров о Востоке все таки лишь одна разговаривает за них въ Европе, тогда как все остальные народы и царства просвещенного европейского мира были бы, конечно, рады, чтобы их всех, этих угнетенных народов Востока, хотя бы и вовсе на свете не было. Но увы, чуть ли не вся интеллигенция восточной райи хоть и зовет Россию на помощь, но боится ее, может быть, столько же, сколько и турок: «Хоть и освободит нас Россия от турок, но поглотит нас, как и «больной человек», и не даст развиться нашим национальностям» — вот их неподвижная идея, отравляющая все их надежды! А сверх того у них и теперь уже все сильней разгораются и между собою национальные соперничества: начались они, чуть лишь просиял для них первый луч образования. Столь недавняя у них греко-болгарская церковная распря, под видом церковной, была, конечно, лишь национальною, а для будущего как бы неким пророчеством. Вселенский патриарх, порицая ослушание болгар и отлучая их и самовольно выбранного ими экзарха от церкви, выставлял на вид, что в деле веры нельзя жертвовать уставами церкви и послушанием церковным «новому и пагубному принципу национальности». Между тем, сам же он, будучи греком и произнося это отлучение болгарам, без сомнения, служил тому же самому принципу национальности, но только в пользу греков против славян. Одним словом, можно даже с вероятностью предсказать, что умри «больной человек», и у них у всех тотчас же начнутся между собою смятения и распри на первый случай именно характера

церковного, и которые нанесут несомненный вред даже и самой России; нанесут даже и в том случае, если б та совершенно устранилась или была устранена обстоятельствами от участия в решении Восточного вопроса. Мало того, смуты эти, может быть, отозовутся даже еще тяжелее для России, если она устранит себя от деятельного и первенствующего участия в судьбах Востока. А тут вдруг кричат — (и не только в Европе, но и у нас многие высшие политические наши умы) — что случись умереть туркам как государству, то Константинополь должен возродиться не иначе, как городом «международным», то-есть каким-то серединным, общим, вольным, чтобы не было из-за него споров. Ошибочнее мысли нельзя было и придумать.

И во-первых, уже по тому одному, что такой великолепной точке земного шара просто не дадут стать международной, то-есть ничьей; непременно и сейчас же явятся хоть бы англичане со своим флотом, в качестве друзей, и именно охранять и оберегать эту самую «международность», а в сущности, чтоб овладеть Константинополем в свою пользу. А уж где они поселятся, оттуда их трудно выжить, народ цепкий. Мало того: греки, славяне и мусульмане Царьграда призовут их сами, ухватятся за них обеими руками и не выпустят их от себя, а причина тому — все та же Россия: «защитят, дескать, они нас от России, нашей освободительницы». И добро бы они не видели и не понимали, что такое для них англичане, да и вообще вся Европа? О, они и **теперь** знают лучше всех, что англичанам (да и никому в Европе кроме России) до их счастья, то-есть до счастья всей христианской райи, нет ровно никакого дела. Вся эта райя знает отлично, что если б возможно было повторить болгарские летние ужасы (а это, кажется, очень возможно) как-нибудь неслышно и втихомолку, то в Европе англичане первые пожелали бы повторения этих убийств хоть раз десять — и не из кровожадности, вовсе нет: там народы гуманные и просвещенные, — а потому, что такие убийства, повторенные десять раз, истребили бы

окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на Балканском полуострове делать против турок восстания, — а в этом-то и вся главная суть: остались бы одни милые турки, и турецкие бумаги повысились бы разом на всех европейских биржах, а России «с ее честолюбием и завоевательными планами» пришлось бы откочевать поглубже во-свояси за неимением кого защищать. Райя слишком хорошо знает, что только этих чувств она и может ожидать теперь от Европы. Но совсем другое дело явилось бы мигом на свете, если б каким-нибудь образом, сам собою или от меча России, умер бы, наконец, больной человек». Тотчас же вся Европа возгорелась бы к обновленным народам нежнейшею любовью и тотчас же бросилась бы «спасать их от России». Надо думать, что идею о «международности» Европа первая и внесет в их новое устройство. Европа поймет, что над трупом «больного человека» у освобожденных народов немедленно возгорится смута, распря и соперничество, а ей это и на руку: предлог вмешательства, главное, предлог возбудить их против России, которая наверно не захочет им дать ссориться из-за наследства больного человека. И не будет такой клеветы, которую бы не пустила в ход против нас Европа. «Из-за русских-то мы вам и против турок не помогали», скажут им тогда англичане. Увы, народы Востока и теперь это понимают отлично, и знают, что «Англия никогда не примет участия в их освобождении и никогда не даст на это своего согласия, если б оно считалось нужным, потому что она ненавидит этих христиан за их духовную связь с Россией. Англии нужно, чтоб Восточные христиане возненавидели нас всею силою той ненависти, какую она сама питает к нам»... («Московские Ведомости» № 63). Вот что знают и покамест запоминают про себя эти народы, и вот что они уж и теперь, конечно, поставили на будущий счет России. А мы-то думаем, что они нас обожают.

В международном городе, мимо покровителей англичан, все таки будут хозяевами греки — исконные хозяева города. Надо думать, что греки смотрят на сла-

вян еще с большим презрением, чем немцы. Но так как славяне будут и страшны для греков, то презрение сменится ожесточением. Воевать между собою, объявлять друг другу войну, они, конечно, не смогут, потому что их все же не допустят до того покровители, по крайней мере, в смысле серьезном. Ну, вот именно за невозможностью открытой и откровенной драки, у них и пойдут всякие другие распри и прежде всего примут характер церковных смут. С того и начнется, потому что это всего сподручнее; и вот это я и хотел указать.

Я потому так говорю, что уж программа была дана: болгаре и Константинополь. С этой точки и греки сильны, и они понимают это. А между тем, ничего страшнее в грядущем не может быть для всего Востока, а вместе и для России, как еще раз подобная церковная распря, которая, увы, так возможна, устранись хоть на миг Россия с своим покровительством и с строгим над ними надзором. Хоть это и всего только будущее и даже лишь гадания, но непростительно было бы выпустить это из виду даже хотя бы только как гадание. В самом деле, неужели уж и нам желать продолжения владычества турок и здоровья «больному человеку»? Неужели и нам дойти до того? Неужели не ясно, что умри этот больной человек, а главное, отстранись Россия хоть на половину от окончательного и первенствующего влияния на судьбы Востока, сделай она эту уступку Европе, и — более чем вероятно, что на Балканском полуострове пошатнется церковное единение стольких веков, а, может быть, и еще далее на Востоке. Даже так можно сказать: будут эти распри или нет, но умри «больной человек», то весьма вероятно, что, может быть, дело не обойдется, **во всяком случае,** без великого церковного собора, для уложения дел вновь возрождающейся церкви. Почему бы это не предвидеть заранее? В эти четыре века гонений и гнета предстоятели Восточной церкви всегда слушались советов России; но освободись они завтра от турецкого гнета и окажи им к тому же покровительство Европа, — они тотчас же заявят себя в дру-

гих отношениях к России. Предстоятели Восточной церкви, то-есть главное греки, чуть лишь Россия взяла бы сторону славян, тотчас же, может быть, пожелали бы ей заявить, что в ней и в советах ее они более совсем не нуждаются. Именно потому поспешат заявить, что четыре века смотрели на нее сложа в мольбе руки. А положение России будет почти всех труднее. Те же болгаре тотчас же закричат, что в Константинополе воцарился новый Восточный папа и — кто знает, может быть, правы будут. Международный Константинополь, действительно, может послужить, хоть на время, подножием нового папы. Тогда России стать за греков будет значить потерять славян, а стать за славян, в этой будущей и столь вероятной между ними распре, значит нажить и себе, может быть, пренеприятные и пресерьезные церковные хлопоты. Ясно, все это может быть избегнуто лишь «заблаговременною» стойкостью России в Восточном вопросе и неуклонным следованиям все тем же великим преданиям нашей древней вековой русской политики. Никакой Европе не должны мы уступать ничего в этом деле ни для каких соображений, потому что дело это наша жизнь и смерть. Константинополь должен быть наш, рано ли, поздно ли, хоть бы именно во избежание тяжелых и неприятных церковных смут, которые столь легко могут возродиться между молодыми и не жившими народами Востока и которым пример уже был в споре болгар и вселенского патриарха, весьма плохо окончившемся. Раз мы завладеем Константинополем, и ничего этого не может произойти. Народы Запада, столь ревниво следящие за каждым шагом России, еще не знают и не подозревают в настоящую минуту всех этих новых еще мечтательных, но слишком возможных будущих комбинаций. Если б и узнали их теперь, то не поняли бы их и не придали бы им особенной важности. Зато слишком поймут и придадут важности потом, когда будет уже поздно. Русский народ, понимающий Восточный вопрос не иначе как в освобождении всего православного христианства и в великом будущем единении церкви, если увидит, напротив, новые

смуты и новый разлад, то будет слишком потрясен, и, может быть, глубоко отзовется и на нем, и на всем быте его всякий новый исход дела, особенно, если оно в конце концов получит характер церковный по преимуществу. Вот по этому одному мы ни за что и никак не можем оставлять или ослаблять степень нашего векового участия в этом великом вопросе. Не один только великолепный порт, не одна только дорога в моря и океаны связывают Россию столь тесно с решением судеб рокового вопроса, и даже не объединение и возрождение славян... Задача наша глубже, безмерно глубже. Мы, Россия, действительно, необходимы и неминуемы и для всего Восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его. Так всегда понимали это наш народ и государи его... Одним словом, этот страшный восточный вопрос — это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нем и окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с нею, но уже на новых, могучих, плодотворных началах. О, где теперь понять Европе всю ту роковую жизненную важность для нас самих в решении этого вопроса! Одним словом, чем бы ни кончились теперешние, столь необходимые, может быть, дипломатические соглашения и переговоры в Европе, но рано ли, поздно ли, а **Константинополь должен быть наш,** и хотя бы лишь в будущем только столетии! Это нам русским надо всегда иметь в виду, всем неуклонно. Вот что мне хотелось заявить, особенно в настоящий европейский момент...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

«Еврейский вопрос»

О, не думайте, что я, действительно, затеваю поднять «еврейский вопрос»! Я написал это заглавие в шут-

ку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России, и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев — я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах. Но некоторое суждение мое я все же могу иметь, и вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них нападаю, «что я ненавижу жида», ненавижу не за пороки его, «не как эксплуататора», а именно как племя, то-есть вроде того, что: «Иуда, дескать, Христа продал». Пишут это «образованные» евреи, то-есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) — которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они при своем образовании давно уже не разделяют «предрассудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в Бога, дескать, не веруем. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из «высших евреев», которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову и отступаться от него. И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других, весьма высокого размера причин. Да и странное дело: еврей без Бога как-то немыслим; еврея без Бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставимъ. Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея, как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но — но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея? Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею, как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение сни-

маю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю иногда еврея «жидом»? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово «жид», сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «Жид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. Выпишу одно место из письма одного весьма образованного еврея, написавшего мне длинное и прекрасное, во многих отношениях, письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею, как к народу. Само собою разумеется, что имя г. NN., мне писавшего это письмо, остается под самым строгим анонимом.

...«но я намерен затронуть один предмет, который я решительно не могу себе объяснить. Это ваша ненависть к «жиду», которая проявляется почти в каждом выпуске вашего «Дневника».

«Я бы хотел знать, почему вы восстаете против жида, а не против эксплуататора вообще; я не меньше вашего терпеть не могу предрассудков моей нации, — я не мало от них страдал, — но никогда не соглашусь, что в крови этой нации живет бессовестная эксплуатация.

«Неужели **вы** не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что **все** без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться **всеми** правами и выгодами его существования, и что для отступников от закона, для вредных членов общества, должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех?.. Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь все таки русские поданные): немцев, англичан, греков, которых в Рос-

сии такая пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, которых так много расплодилось во **всей** России, лучше таковых из жидов, которые все таки действуют в ограниченном кругу? Чем такой-то лучше такого-то»...

(Здесь почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулаков с еврейскими в том смысле, что русские не уступят. Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени соглашаемся, что и те и другие не хороши).

«Таких вопросов я бы мог вам задавать тысячами.

«Между тем, вы, говоря о «жиде», включаете в это понятие всю страшно-нищую массу трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона 900.000, по крайней мере, ведет отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других народностей но и обоготворяемого вами русского народа. В это название вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни; берите хоть...»

(Тут опять несколько имен, которых я, кроме Гольдштейнов, считаю не в праве напечатать, потому что некоторым из них, может быть, неприятно будет прочесть, что они происходят из евреев).

«Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею) и работающих на пользу общества и человечества. Ваша ненависть к «жиду» простирается даже на Дизраэли... который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который уж, конечно, не руководит английской консервативной политикой с точки зрения «жида» (?).

«Нет, к сожалению, вы не знаете ни еврейского **народа**, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, потому что вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно чест-

ный, а наносите бессознательно вред громадной массе нищенствующего народа, — сильные же «жиды», принимая сильных мира сего в своих салонах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете! Вряд ли я вас убежду в моем взгляде, — но мне крайне желательно было бы, чтобы убедили меня».

Вот этот отрывок. Прежде чем отвечу что-нибудь (ибо не хочу нести на себе такое тяжелое обвинение) — обращу внимание на ярость нападения и степень обидчивости. Положительно у меня, во весь год издания «Дневника», не было таких размеров статьи против «жида», которая бы могла вызвать такой силы нападение. Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и до русского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного не проплеванного места (словечко Щедрина), а еврею тем «простительнее». Но во всяком случае ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это, действительно, человек образованный и талантливый (не думаю только, чтоб без предрассудков); чего же ждать, после того, от необразованного еврея, которых так много, каких чувств к русскому? Я не в обвинение это говорю: все это естественно! Я только хочу указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и не один русский народ, и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно на какой стороне в большей степени. Отметив это, выскажу несколько слов в мое оправдание и вообще, как я смотрю на это дело. И хоть вопрос этот, повторяю, мне и не по силам, но что же нибудь ведь и я могу выразить.

II

Pro и contra

Положим, очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа, как евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а, стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств. Пусть благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею. Но все таки, не будь так сильна еврейская идея в мире, и, может быть, тот же самый «славянский» (прошлогодний) вопрос давно бы уже решен был в пользу славян, а не турок. Я готов поверить, что лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем происхождении, когда-то, от испанских жидов (наверно однако не забыл); но что он «руководил английской консервативной политикой», за последний год **отчасти** с точки зрения жида, в этом, по-моему, нельзя сомневаться. «Отчасти-то» уж нельзя не допустить.

Но пусть все это, с моей стороны, голословие, легкий тон и легкие слова. Уступаю. Но все таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолюдин, несет тягостей чуть ли не больше еврея. Мой корреспондент пишет мне в другом уже письме:

«Прежде всего **необходимо** предоставить им (евреям) все гражданские права (подумайте, что они лишены до сих пор самого коренного права: свободного выбора местожительства, из чего вытекает множество страшных стеснений для всей еврейской массы), как и всем другим чужим народностям в России, а потом уже требовать от них исполнения своих обязанностей к государству и к коренному населению».

Но подумайте и вы, г. корреспондент, который са-

ми пишете мне, в том же письме, на другой странице, что вы «не в пример больше любите и жалеете трудящуюся массу русского народа, чем еврейскую» — (что уже слишком для еврея сильно сказано) — подумайте только о том, что когда еврей «терпел в свободном выборе местожительства», тогда двадцать три миллиона «русской трудящейся массы» терпели от крепостного состояния, что уж, конечно, было потяжелее «выбора местожительства». И что же, пожалели их тогда евреи? Не думаю; в Западной окраине России и на Юге вам на это ответят обстоятельно. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики, и что когда им дадут больше прав, «тогда и спрашивайте с нас исполнения обязанностей к государству и коренному населению». Но вот пришел Освободитель и освободил коренной народ, и что же, кто первый бросился на него, как на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же заместил, где только мог и поспел, упраздненных помещиков, с тою разницею, что помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощить рабочей силы, а еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчас же закричат, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому верю всем этим глупостям, что «не знаю сорокавековой истории» этих чистых ангелов, которые несравненно «нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого мною русского народа» (по словам корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всех народов в мире, а русского уж, разумеется, а между тем, я только что прочел в мартовской книжке «Вестника Европы» известие о том, что евреи в Америке, в Южных Штатах, уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим «золотым промыс-

лом», и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени. Представьте же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще пять лет тому приходило это самое на ум, именно то, что вот ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столь много на свете. Подумал я это, и, уверяю вас, несколько раз потом в этот срок мне вспадало на мысль: «да что же там ничего об евреях не слышно, что в газетах не пишут, ведь эти негры евреям клад, неужели пропустят?» И вот дождался, написали в газетах, прочел. А дней десять тому назад прочел в «Новом Времени» (№ 371) корреспонденцию из Ковно, прехарактернейшую: «дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». Просвещенный корреспондент, правда, сильно краснеет за свое население, до сих пор верующее в ксендзов и в муки ада, но он сообщает при этом, что поднялись вслед за ксендзами и просвещенные местные экономисты, начали устраивать сельские банки, именно чтобы спасти народ от процентщика-еврея, и сельские рынки, чтобы можно было «бедной трудящейся массе» получать предметы первой потребности по настоящей цене, а не по той, которую назначает еврей. Ну, вот я это все прочел и знаю, что мне в один миг закричат, что все это ничего не доказывает, что это от того, что евреи сами угнетены, сами бедны, и что все это лишь «борьба за существование», что только глупец разобрать этого не может, и не будь евреи так сами бедны, а, напротив, разбогатей они, то мигом показали бы себя с самой гуманной стороны, так что мир бы весь удивили. Но ведь, конечно, все эти негры и литовцы еще беднее евреев, выжимающих из них соки, а ведь те (прочтите-ка корреспонденцию) гнушаются такой торговлей, на которую так падок еврей; во-вторых, не трудно быть гуманным и нравственным, когда самому жирно и весе-

ло, а чуть «борьба за существование», так и не подходи ко мне близко. Не совсем уж это, по-моему, такая ангельская черта. А в-третьих, ведь я, конечно, не выставляю эти два известия из «Вестника Европы» и «Нового Времени» за такие уж капитальные и всерешающие факты. Если начать писать историю этого всемирного племени, то можно тотчас же найти сто тысяч таких же и еще крупнейших фактов, так что один или два факта лишних ничего особенного не прибавят, но ведь что при этом любопытно: любопытно то, что чуть лишь вам — в споре ли, или просто в минуту собственного раздумья, — чуть лишь вам понадобится справка о еврее и делах его, — то не ходите в библиотеки для чтения, не ройтесь в старых книгах или в собственных старых отметках, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя с места, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку к какой хотите первой, лежащей подле вас газете, и поищите на второй или на третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях и непременно то, что вас интересует, непременно самое характернейшее и непременно одно и то же — то-есть все одни и те же подвиги! Так ведь это, согласитесь сами, что-нибудь да значит, что-нибудь да указует, что-нибудь открывает же нам, хотя бы вы были круглый невежда в сорокавековой истории этого племени. Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. Конечно, очень может случиться, что все до единого лгут, но в таком случае рождается тотчас другой вопрос: если все до единого лгут и обуреваемы такою ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, «ведь что-нибудь значит же слово **все!**», как восклицал некогда Белинский.

«Свободный выбор местожительства!» Но разве русский «коренной» человек уж так совершенно свободен в выборе местожительства? Разве не продолжаются и до сих пор еще прежние, еще от крепостных времен оставшиеся и нежелаемые стеснения в полной свободе выбора местожительства и для русского

простолюдина, на которые давно обращает внимание правительство? А что до евреев, то всем видно, что права их в выборе местожительства весьма и весьма расширились в последние двадцать лет. По крайней мере, они явились по России в таких местах, где прежде их не видывали. Но евреи все жалуются на ненависть и стеснения. Пусть я не тверд в познании еврейского быта, но одно-то я уже знаю наверно и буду спорить со всеми, именно: что нет в нашем простонародьи предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев — и никто не **презирал** их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились (а евреи молятся с криком, надевая особое платье), то никто не находил этого странным, не мешал им и не смеялся над ними, чего, впрочем, именно надо бы было ждать от такого грубого, по вашим понятиям, народа, как русские; напротив, смотря на них, говорили: «это у них такая вера, это они так молятся» и проходили мимо с спокойствием и почти с одобрением. И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? — в остроге!) и вообще выражали гадливость и брезгливость к русскому, к «коренному» народу. То же самое и в солдатских казармах и везде по всей России: наведайтесь, спросите, обижают ли в казармах еврея как еврея, как **жида,** за веру, за обычай? Нигде не обижают, и так во всем народе. Напротив, уверяю вас, что и в казармах, и везде русский простолюдин слишком видит и понимает (да и не скрывают этого сами евреи), что еврей с ним есть не захочет, брезгает им, сторонится и ограждается от него сколько может, и что же, — вместо того, чтоб обижаться на это, русский простолюдин спокойно и ясно говорит: «это у него вера такая, это он по вере

своей не ест и сторонится» (то-есть не потому, что зол) и, сознав эту высшую причину, от всей души извиняет еврея. А между тем, мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов — ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем! Не избили ли бы до тла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей.

III

Status in statu. **Сорок веков бытия.**

Ненависть, да еще от предрассудков — вот в чем обвиняют евреи коренное население. Но если уже зашла речь о предрассудках, то как вы думаете: еврей менее питает предрассудков к русскому, чем русский к еврею? Не побольше ли? Вот я вам представлял примеры того, как относится русское простолюдье к еврею; а у меня перед глазами письма евреев, да не из простолюдья, а образованных евреев, и — сколько ненависти в этих письмах к «коренному населению»! А главное, — пишут, да и не примечают этого сами.

Видите ли, чтоб существовать сорок веков на земле, то-есть во весь почти исторический период человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении; чтоб терять столько раз свою территорию, свою

политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться **в прежней идее,** хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы и почти веру — нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ, не мог существовать без status in statu , который он сохранял всегда и везде во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений своих. Говоря про status in statu, я вовсе не обвинение какое-нибудь хочу возвести. Но в чем, однако, заключается этот status in statu, в чем вековечно-неизменная идея его, и в чем суть этой идеи?

Излагать это было бы долго, да и невозможно в коротенькой статье, да и невозможно еще и по той даже причине, что не настали еще **все времена и сроки,** несмотря на протекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хотя некоторые признаки этого status in statu, по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но все равно, надо считать, что как бы их и не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты **един у Бога,** остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над все миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами — все равно, — верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда, верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай»... Вот суть идеи этого status in statu, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть и таинственные законы, ограждающие эту идею.

Вы говорите, господа образованные евреи и оппо-

ненты, что уж это-то все вздор, и что «если и есть **status in statu** (то-есть был, а теперь-де остались самые слабые следы), то единственно лишь гонения привели к нему, гонения породили его, религиозные, с средних веков и раньше, и явился этот **status in statu** единственно лишь из чувства самосохранения. Если же и продолжается, особенно в России, то потому, что еврей еще не сравнен в правах с коренным населением». Но вот что мне кажется: если б он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего **status in statu**. Мало того: приписывать **status in statu** одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнесть своего последнего слова как сказал я выше. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу — это-то уже несомненно. Что свой Промыслитель, под именем прежнего первоначального Иеговы, с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой — это-то уже ясно. Да и нельзя, повторяю я, даже и представить себе еврея без Бога, мало того, не верю я даже и в образованных евреев безбожников: все они одной сути, и еще Бог знает чего ждет мир от евреев образованных! Еще в детстве моем я читал и слыхал про евреев легенду о том, что они-де и теперь неуклонно ждут Мессию, все, как самый низший жид, так и самый высший и ученый из них, философ и кабалист-раввин, что они верят все, что Мессия соберет их опять в Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к их подножию; что потому-то-де евреи, по крайней мере в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию, — торг золотом и много что обработку его, и это все будто бы для того, что когда явится Мессия, то чтоб не иметь нового отечества, не быть прикреплен-

ным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда

Загорит, заблестит луч денницы:
И кимвал, и тимпан, и цевницы,
И сребро, и добро, и святыню,
Понесем в Старый Дом, в Палестину.

Все это, повторяю, слышал я как легенду, но я верю, что суть дела существует непременно, особенно в целой массе евреев, в виде инстинктивно-неудержимого влечения. Но чтоб сохранялась такая суть дела, уж, конечно, необходимо, чтоб сохранялся самый строгий status in statu. Он и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гонение было и есть ему причиною, а другая **идея...**

Если же существует вправду такой особый внутренний, строгий строй у евреев, связующий их в нечто цельное и особое, то ведь почти еще можно задуматься над вопросом о совершенном сравнении во всем их **прав** с правами коренного населения. Само собою, все что требует гуманность и справедливость, все что требует человечность и христианский закон — все это должно быть сделано для евреев. Но если они, во всеоружии своего строя и своей особности, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии своих правил и принципов, совершенно противоположных той идее, следуя которой, доселе, по крайней мере, развивался весь европейский мир, потребуют совершенного уравнения **всевозможных** прав с коренным населением, то — не получат ли они уже тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения? Тут, конечно, укажут на других инородцев, «что вот, дескать, сравнены или почти сравнены в правах, а евреи имеют прав меньше всех инородцев, и это-де потому, что боятся нас, евреев, что мы-де будто бы вреднее всех инородцев. А между тем, чем вреден еврей? Если и есть дурные качества в еврейском народе, то единственно потому, что сам русский народ таковым способствует,

по русскому собственному невежеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей к самостоятельности, по малому экономическому развитию своему. Русский-де народ сам требует посредника, руководителя, экономического опекуна в делах, кредитора, сам зовет его, сам отдается ему. Посмотрите, напротив, в Европе: там народы сильные и самостоятельные духом, с сильным национальным развитием, с привычкой давнишней к труду и с уменьем труда, и вот там не боятся дать все права еврею! Слышно ли что-нибудь во Франции о вреде от status in statu тамошних евреев?»

Разсуждение, повидимому, сильное, но однако же прежде всего тут мерещится одна заметка в скобках, а именно: стало быть, еврейству там и хорошо, где народ еще невежествен, или несвободен, или мало развит экономически, — тут-то, стало быть, ему и лафа! И вместо того чтоб, напротив, влиянием своим поднять этот уровень образования, усилить знание, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ, там еще больше приникало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем, и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: **безжалостность;** «двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью». И действительно, вся деятельность евреев в этих наших окраинах заключалась лишь в постановке коренного населения сколь возможно в безвыходную от себя зависимость, **пользуясь местными законами.** О, тут они всегда находили возможность пользоваться **правами и законами.** Они всегда умели водить дружбу с теми, от которых зависел народ, и уж не им бы роптать хоть тут-то на малые свои права сравнительно с **коренным населением.** Довольно они их получали у нас, этих прав, над коренным населением. Что становилось,

в десятилетия и столетия, с русским народом там, где поселялись евреи — о том свидетельствует история наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы равняться в этом смысле с евреем? Не найдете такого; в этом смысле еврей сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а причина тому, конечно, этот status in statu его, дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей. И что в том за оправдание, что вот на Западе Европы не дали одолеть себя народы, и что, стало быть, русский народ сам виноват? Потому что русский народ в окраинах России оказался слабее европейских народов (и единственно вследствие жестоких вековых политических своих обстоятельств), потому только и задавить его окончательно эксплуатацией, а не помочь ему?

Если же и указывают на Европу, на Францию, например, то вряд ли и там так безвреден был status in statu. Конечно, христианство и идея его там пали и падают не по вине еврея, а по своей вине, тем не менее нельзя не указать и в Европе на сильное торжество еврейства, заменившего многие прежние идеи своими. О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил материализм и наклонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасенными всеми средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип как в нашем девятнадцатом веке. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя», — вот нравственный принцип большинства теперешних людей*), и даже не дурных людей, а, на-

*) Основная идея буржуазии, заместившей собою в конце прошлого столетия прежний мировой строй, и ставшая главной идеей всего нынешнего столетия во всем европейском мире.

против, трудящихся, не убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим массам а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, — о, конечно, все это было и прежде и всегда, но — но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, не даром же все таки царят там повсеместно евреи на биржах, не даром они движут капиталами, не даром же они властители кредита и не даром, повторяю это, они же властители и всей международной политики, и что будет дальше — известно и самим евреям: близится их царство, полное их царство! Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив материализм, слепая, плотоядная жажда **личного** материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей. Засмеются и скажут, что это там вовсе не от евреев. Конечно, не от одних евреев, но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала даже до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут своего влияния. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не девять десятых их буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут где бы урвать копейку на хлеб. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев (то-есть огромного большинства их, по крайней мере), в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару.

Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но все же это пока ничего не изменяет: зато верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Евреи все кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О Боже ! Да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о **хороших** или дурных людях теперь говорим. И разве между теми нет тоже хороших людей? Разве покойный парижский Джемс Ротшильд был дурной человек? Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о **жидовстве** и об **идее жидовской,** охватывающей весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...

IV

Но да здравствует братство

Но что же я говорю и зачем? Или и я враг евреев? Неужели правда, как пишет мне одна, безо всякого для меня сомнения (что уже видно по письму ее и по искренним, горячим чувствам письма этого) благороднейшая и образованная еврейская девушка, — неужели и я, по словам ее, враг этого «несчастного» племени, на которое я «при всяком удобном случае (будто бы) так жестоко нападаю». «Ваше презрение к жидовскому племени, которое «ни о чем кроме себя не думает» и т. д., и т. д., очевидно». — Нет, против этой очевидности я восстану, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что «все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон — все это должно быть сделано для евреев». Я написал эти слова выше, но теперь я еще прибавлю к ним, что, несмотря на все соображения, уже мною выставленные, я окончательно стою, однако же, за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением (**NB.**, хотя, может быть,

в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав, или, лучше сказать, **возможности ими пользоваться,** чем само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: «Ну, что если пошатнется каким-нибудь образом и от чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бедного коренника-мужика от стольких зол, — ну, что если тут же, к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умеющему сдержать себя от соблазна, и которого именно опекала доселе община, — нахлынет всем кагалом еврей — да, что тут: тут мигом конец его: все имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина».

Но несмотря на все «фантазии» и на все, что я написал выше, я все таки стою за полное и окончательное уравнение прав — потому что это Христов закон, потому что это христианский принцип. Но если так, то для чего же я писал столько страниц и что хотел выразить, если так **противоречу** себе? А вот именно то, что я не противоречу себе и что с русской, с коренной стороны нет и не вижу препятствий в расширении еврейских прав, но утверждаю зато, что препятствия эти — лежат со стороны евреев несравненно больше, чем со стороны русских, и что если до сих пор не созидается того, чего желалось бы всем сердцем, то русский человек в этом виновен несравненно менее, чем сам еврей. Подобно тому, как я выставлял еврея-простолюдина, который не хотел сообщаться и есть с русскими, а те не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротив, разом осмыслили и извинили его, говоря: «это он потому, что у него вера такая» — подобно тому, то-есть этому еврею простолюдину, мы и в интеллигентном еврее видим весьма часто такое же безмерное и высокомерное предубеждение против русского. О, они кричат, что они любят русский народ; один так даже писал мне, что он именно скорбит о том, что русский народ не имеет религии и ничего не понимает в своем христианстве. Это уже слиш-

ком сильно сказано для еврея, и рождается лишь вопрос: понимает ли что в христианстве сам-то этот высокообразованный еврей? Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера. Кто из нас, русский, или еврей, более неспособен понимать друг друга? Клянусь, я оправдаю скорей русского: у русского, по крайней мере, нет (положительно нет!) религиозной ненависти к еврею. А остальных предубеждений где, у кого больше? Вон евреи кричат, что они были столько веков угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь, и что это, по крайней мере, надобно взять в расчет русскому при суждении о еврейском характере. Хорошо, мы и берем в расчет и доказать это можем: в интеллигентном слое русского народа не раз уже раздавались голоса за евреев. Ну, а евреи: брали ли и берут ли они в расчет, жалуясь и обвиняя русских, столько веков угнетений и гонений, которые перенес сам русский народ? Неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол «в свою историю», чем евреи где бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ, и сам обращался в его гонителя? Ведь это все было же, существовало, ведь это история, исторический факт, но мы нигде не слыхали, чтоб еврейский народ в этом раскаивался, а русский народ он все таки обвиняет за то, что тот мало любит его.

Но «буди! буди!». Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав! А для этого я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя «скорбная брезгливость» евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», **а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя,** — то да рассеется все это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и

отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все таки для братства, для полного братства **нужно братство с обеих сторон.** Пусть еврей покажет ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтоб ободрить его. Я знаю, что в еврейском народе и теперь можно отделить довольно лиц, ищущих и жаждущих устранения недоумений, людей при том человеколюбивых, и не я буду молчать об этом, скрывая истину. Вот для того-то, чтоб эти полезные и человеколюбивые люди не унывали и не падали духом и чтоб сколько-нибудь ослабить предубеждения их и тем облегчить им начало дела, я и желал бы полного расширения прав еврейского племени, по крайней мере, по возможности, именно насколько сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению. Даже бы можно было уступить вперед, сделать с русской стороны еще больше шагов вперед... Вопрос только в том: много ли удастся сделать этим новым, хорошим людям из евреев, и насколько сами они способны к новому и прекрасному делу **настоящего** братского единения с чуждыми им по вере и по крови людьми?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Похороны «Общечеловека»

Мне о многом хотелось поговорить в этот раз в этом мартовском № моего «Дневника». И вот опять как-то так случилось, что то, об чем хотел сказать лишь несколько слов, заняло все место. И сколько тем, на

которые я уже целый год собираюсь говорить и все не соберусь. Об ином именно надо бы много сказать, а так как весьма часто выходит, что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему.

Хотелось мне в этот раз тоже, мимо всех этих «важных» тем, сказать хоть мимоходом слова два об искусстве. Видел я Росси в «Гамлете» и вывел заключение, что вместо Гамлета я видел господина Росси. Но лучше и не начинать говорить, если не намерен всего сказать. Хотелось бы поговорить (немножко) о картине Семирадского, а пуще всего хотелось бы ввернуть хоть два слова об идеализме и реализме в искусстве, о Репине и о господине Рафаэле, — но видно придется отложить все это до более удобного времени.

Потом хотелось бы мне, но уже несколько побольше, написать по поводу некоторых из полученных мною за все время издания «Дневника» писем, и особенно анонимных. Вообще я не могу отвечать на все письма, которые получаю, а на анонимные само собою, а между тем, за все эти почти полтора года, я вывел из этой корреспонденции (все об общих наших темах) несколько наблюдений, может быть, и любопытных, на мой взгляд, по крайней мере. По крайней мере, можно сделать несколько особых отметок уже на основании опыта о нашем русском умственном теперешнем настроении, о том, чем интересуются и куда клонят наши не праздные умы, кто именно наши не праздные умы, при чем выдаются любопытные черты по возрастам, по полу, по сословиям и даже по местностям России. Думаю, что можно бы отделить несколько места, в каком-нибудь из будущих «Дневников», по поводу хоть бы одних анонимов, например, и их характеристики, и не думаю, чтоб это вышло так уж очень скучно, потому что тут довольно всевозможного разнообразия. Разумеется, обо всем нельзя сказать и всего нельзя передать и даже, может быть, самого любопытного. А потому и боюсь приниматься, не зная, совладаю ли с темой.

Однако хочу привести теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мне г-жи Л., очень моло-

дой девицы, еврейки, с которой я познакомился в Петербурге, и которая пишет мне теперь из М. С уважаемой мною г-жою Л. мы никогда почти не говорили на тему о «еврейском вопросе», хотя она, кажется, из строгих и серьезных евреек. Вижу, что очень странно подошло письмо это к сейчас только дописанной мною целой главе о евреях. Было бы слишком много все на одну и ту же тему. Но тут не на ту тему, а если отчасти и на ту, то выставляется как бы совсем другая, именно противоположная сторона вопроса, а при этом и как бы даже намек на разрешение его. Пусть извинит меня великодушно г-жа Л., что я позволю себе передать здесь ее словами всю ту часть письма ее о похоронах доктора Гинденбурга в М., под первым впечатлением которых она и написала эти столь искренние и трогательные в правде своей строки. Не хотелось мне тоже утаить, что писано это еврейкой, что чувства эти — чувства еврейки...

«Это я пишу под свежим впечатлением похоронного марша. Хоронили доктора **Гинденбурга,** 84-х лет от роду. Как протестанта, его сначала отвезли в кирку, а уже затем на кладбище. Такого сочувствия, таких от души вырвавшихся слов, таких горячих слез я еще никогда не видела на похоронах... Он умер в такой бедности, что не на что было похоронить его.

«Уже 58 лет как он практикует в М... и сколько добра он сделал за это время. Если бы вы знали, Федор Михайлович, что это был за человек! Он был доктор и акушер: его имя перейдет здесь в потомство, о нем уже сложились легенды, весь простой народ звал его отцом, любил, обожал и только с его смертью понял, что он потерял в этом человеке. Когда он еще стоял в гробу (в церкви), то не было, кажется, ни одного человека, который бы не пошел поплакать над ним и целовать его ноги, в особенности бедные еврейки, которым он так много помогал, плакали и молились, чтоб он попал прямо в рай. Сегодня пришла бывшая наша кухарка, ужасно бедная женщина, и говорит, что, при рождении последнего ее ребенка, он, видя что ничего дома нет, дал 30 коп., чтоб сварить суп, а затем каждый

день приходил и оставлял 20 коп., а видя, что она поправляется, прислал пару куропаток. Также будучи позван к одной страшно бедной родильнице (такие к нему и обращались), он, видя, что не во что принять ребенка, снял с себя верхнюю рубаху и платок свой (голова у него была повязана платком), разорвал и отдал.

«Еще вылечил он одного бедного еврея дровосека, затем заболела его жена, затем дети, он каждый Божий день приезжал два раза и когда всех поставил на ноги, спрашивает еврея: чем ты мне заплатишь? Тот говорит, что у него ничего нет, только последняя коза, которую он сегодня продаст. Он так и сделал, продал за 4 руб. и принес ему деньги; тогда доктор дал лакею своему еще 12 руб. к этим 4-м и отправил купить корову, а дровосеку велел идти домой; через час тому приводят корову и говорят, что доктор признал козье молоко для них вредным.

Так он прожил всю жизнь. Бывали примеры, что он оставлял 30 и 40 руб. у бедных; оставлял и у бедных баб в деревнях.

«Зато хоронили его как святого. Все бедняки заперли лавки и бежали за гробом. У евреев есть мальчики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается провожать иноверца этими псалмами. Тут перед гробом, во время процессии, ходили мальчики и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах молились за его душу, также колокола **всех** церквей звонили все время процессии. Был хор военной музыки, да еще еврейские музыканты пошли к сыну усопшего, просить, как чести, позволение играть во все время процессии. Все бедные принесли кто 10, кто 5 коп., а богатые евреи дали много и приготовили великолепный, огромный венок свежих цветов с белыми и черными лентами по сторонам, где золотыми буквами были вычислены его главные заслуги, так, напр., учреждение больницы и т.п. — я не могла разобрать, что там, да и разве возможно вычислить его заслуги?

«Над его могилой держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали, а он себе лежал в стареньком,

истертом вицмундире, старым платком была обвязана его голова, эта милая голова, и казалось, он спал, так свеж был цвет его лица»...

II

Единичный случай

Единичный случай, скажут. Что ж, господа, я опять виноват: опять вижу в единичном случае чуть не начало разрешения всего вопроса... ну хоть того же самого «еврейского вопроса», которым я озаглавил мою вторую главу этого «Дневника». Кстати, почему я назвал старичка доктора «общечеловеком»? Это был не общечеловек, а скорее общий человек. Этот город М. — это большой губернский город в западном крае, и в этом городе множество евреев, есть немцы, русские, конечно, поляки, литовцы, и все-то, все эти народности признали праведного старичка каждая за своего. Сам же он был протестант, и именно немец, вполне немец: манера как он купил и отослал бедному еврею корову —это чисто немецкий виц. Сперва озадачил того: «чем уплатишь?» И уж, конечно, бедняк, продавая последнюю козу, чтоб уплатить «благодетелю», не роптал нимало, а, напротив, горько страдал в душе, что всего-то коза стоит 4 целковых, а ведь и «бедному работающему на них всех бедняков старичку тоже ведь жить надо, а что такое четыре целковых за все-то его благодеяния семейству?» Ну, а старичок себе на уме, посмеивается, а сердце горит у него: «вот же я ему, бедняку, наш немецкий виц покажу!» И ведь как, должно быть, хорошо смеялся про себя, когда повели к еврею корову, как приободрился духом и, пожалуй, всю ту ночь, может быть, провозился в нищей лачуге какой-нибудь бедной еврейки-родильницы. А ведь восьмидесятилетнему старичку хорошо бы и поспать ночку, попокоить старые, усталые кости. Если б я был живописец, я именно бы написал этот «жанр», эту ночь у еврейки-родильницы. Я ужасно люблю реализм в искусстве, но у иных современных реалистов

наших **нет нравственного центра** в их картинах, как выразился на-днях один могучий поэт и тонкий художник, говоря со мной о картине Семирадского. Тут, в предлагаемом мною сюжете для «жанра», мне кажется, был бы этот центр. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первых, идеальная, невозможная, смраднейшая нищета бедной еврейской хаты. Тут можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати: юмор ведь есть остроумие глубокого чувства, и мне очень нравится это определение. С тонким чувством и умом можно много взять художнику в одной уже перетасовке ролей всех этих нищих предметов и домашней утвари в бедной хате, и этой **забавной** перетасовкой сразу оцарапать вам сердце. Да и освещение можно бы сделать интересное: на кривом столе догорает оплывшая сальная свечка, а сквозь единственное, заиндевевшее и обледеневшее оконце уже брезжит рассвет нового дня, нового трудного дня для бедных людей. Трудные родильницы часто родят на рассвете: всю ночь промучаются, а к утру родят. Вот усталый старичок, на миг оставив мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленок нет, ни тряпки нет (бывает этакая бедность, господа, клянусь вам, бывает, чистейший реализм, — реализм, так сказать доходящий до фантастического), и вот праведный старичок снял свой старенький вицмундирчик, снял с плеч рубашку и разрывает ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бедный новорожденный еврейчик копошится перед ним на постели, христианин принимает еврейчика в свои руки и обвивает его рубашкой с плеч своих. Разрешение еврейского вопроса, господа: восьмидесятилетний обнаженный и дрожащий от утренней сырости торс доктора может занят видное место в картине, не говорю уже про лицо старика и про лицо молодой, измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденного и на проделки с ним доктора. Все это видит сверху Христос, и доктор знает это: «этот бедный жидок вырастет и может снимет и сам с плеча рубашку и отдаст христианину, вспоминая рассказ о рождении своем» — с наивной и благородной верой

думает старик про себя. Сбудется ли это? Вероятнее всего что нет, но ведь сбыться может, а на земле лучше и делать-то нечего, как верить в то, что **это** сбыться может и сбудется. А доктор вправе верить, потому что уж на нем сбылось: «исполнил я, исполнит и другой; чем я лучше другого?» подкрепляет он себя аргументом. Усталая старуха еврейка, — мать родильницы, в лохмотьях суетится у печки. Еврей, выходивший за вязанкой щепок, отворяет дверь хаты и мерзлый пар клубом врывается на миг в комнату. На полу, на войлочной подстилке крепко спят два малолетних еврейчика. Одним словом, аксессуар мог бы выйти хороший. Даже тридцать копеек медью на столе, отсчитанные доктором на суп родильнице, могли бы составить деталь: медный столбик трехкопеечников, методически сложенных, отнюдь не разбросанных. Даже перламутр мог бы быть написан как и в картине Семирадского, в которой удивительно написан кусок перламутра: докторам ведь дарят же иногда (чтобы не платить много деньгами) хорошенькие вещицы, и вот перламутровая докторская сигарочница лежит тут же подле медной кучки. Нет, ничего, картинка бы вышла с «нравственным центром». Приглашаю написать.

Единственный случай! Года два тому назад откуда-то (забыл) с юга России писали про какого-то доктора, только что вышедшего утром в жаркий день из купальни, освежившегося, ободрившегося и поспешавшего поскорее домой напиться кофею, а потому и не захотевшего помочь тут же вытащенному из воды утопленнику, несмотря на приглашение толпы. Его, кажется, за это судили. А ведь это, может быть, был человек образованный и новых идей, прогрессист, но «разумно» требовавший новых общих законов и прав для всех, пренебрегая единичными случаями. Полагавший, может быть, что единичные случаи даже скорее вредят, отдаляя общее решение вопроса, и что в отношении единичных случаев «чем хуже, тем лучше». Но без единичных случаев не осуществишь и общих прав. Этот общий человек, хоть и единичный случай, а соединил же над гробом своим весь город. Эти рус-

ские бабы и бедные еврейки целовали его ноги в гробу вместе, теснились около него вместе, плакали вместе. Пятьдесят восемь лет служения человечеству в этом городе, пятьдесят восемь лет неустанной любви соединили всех хоть раз над гробом его в общем восторге и в общих слезах. Провожает его весь город, звучат колокола **всех** церквей, поются молитвы на всех языках. Пастор со слезами говорит свою речь над раскрытой могилой. Раввин стоит в стороне, ждет, и как кончил пастор, сменяет его и говорит свою речь и льет те же слезы. Да ведь в это мгновение почти разрешен хоть бы этот самый «еврейский вопрос!» Ведь пастор и раввин соединились в общей любви, ведь они почти обнялись над этой могилой в виду христиан и евреев. Что в том, что, разойдясь, каждый примется за старые предрассудки: капля точит камень, а вот эти-то «общие человеки» побеждают мир, соединяя его; предрассудки будут бледнеть с каждым единичным случаем и, наконец, вовсе исчезнут. Про старичка останутся легенды, пишет г-жа Л., тоже еврейка и тоже плакавшая над «милой головой» человеколюбца. А легенды — уж это первый шаг к делу, это живое воспоминание и неустанное напоминание об этих «победителях мира», которым принадлежит земля. А уверовав в то, что это действительно победители, и что такие действительно «наследят землю», вы уже почти соединились во всем. Все это очень просто, но мудрено кажется одно: именно убедиться в том, что вот без этих-то единиц никогда не соберете всего числа, сейчас все рассыплется, а вот эти-то все соединят. Эти мысль дают, эти веру дают, живой опыт собою представляют, а стало быть, и доказательство. И вовсе нечего ждать, пока все станут такими очень хорошими, как и они, или очень многие: нужно очень немного таких, чтоб спасти мир, до того они сильны. А если так, то как же не надеяться?

Нашим корреспондентам

Новочеркасск. Ю. Г. О штунде высылайте.

* *
*

Г-жу **NN.**, предлагающую извещать о событиях из крестьянской жизни и из земской деятельности края, просят приступить к обещанному.

* *
*

Всех, приславших нам объявления о своих изданиях для напечатания в «Дневнике», покорнейше просим на этот раз извинить нас: мы не могли исполнить поручений за недостатком места.

АПРЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Война. Мы всех сильнее.

«Война! Объявлена война», — восклицали у нас две недели назад. «Будет ли война?» спрашивали тут же другие. «Объявлена, объявлена!» отвечали им. «Да, объявлена, но будет ли?» продолжали те спрашивать...

И, право, были такие вопросы, может быть, есть и теперь. И это не от одной только долгой дипломатической проволочки разуверились так люди, тут другое, тут инстинкт. Все чувствуют, что началось что-то окончательное, что наступает какой-то конец чего-то прежнего, долгого, длинного прежнего, и делается шаг к чему-то совсем уже новому, к чему-то преломляющему прежнее надвое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шаг этот делает Россия! Вот в этом-то и неверие «премудрых» людей. Инстинктивное предчувствие есть, а неверие продолжается: «Россия! Но как же она может, как она смеет? Готова ли она? Готова ли внутренно, нравственно, не только материально? Там Европа, легко сказать — Европа! А Россия, что такое Россия? И на такой шаг?»

Но народ верит, что он готов на новый обновляющий и великий шаг. Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской.

Когда читали царский манифест, народ крестился, и все **поздравляли** друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и все это даже здесь, в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году. Крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг, эти тысячи людей, как один человек, восклицают: «да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!» — Здесь, в Петербурге, являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по несколько тысяч, а записываются **неизвестными**. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет. О, мудрецы и эти факты отрицать будут, как и прошлогодние; мудрецы все еще, как и недавно, продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли их голоса. Почему же они смеются, откуда в них столько самоуверенности? А вот именно потому-то и продолжают они смеяться, что все еще почитают себя силой, той самой силой, без которой ничего не поделаешь. А между тем сила-то их приходит к концу. Близятся они к страшному краху, и когда разразится над ними крах, пустятся и они говорить другим языком, но все увидят, что они бормочат чужие слова и с чужого голоса и отвернутся от них и обратят свое упование туда, где царь и народ его с ним.

Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте. Мудрецы кричат и указывают, что мы погибаем и задыхаемся от наших собственных внутренних неустройств, а потому не войны желать нам надо, а, напротив, долгого мира, чтобы мы из зверей и тупиц могли обратиться в людей, научились порядку, честности и чести: — «тогда и идите помогать вашим братьям-славянам» — заканчивают они, в один хор, свою песню.

Любопытно в таком случае, в каком виде представляют они себе тот процесс, посредством которого они сделаются лучше? И каким образом сами-то они приобретут себе честь явным бесчестием? Любопытно, наконец, как и чем оправдают они свой разрыв с всеобщим и повсеместным чувством народным? Нет, видно правда, что истина покупается лишь мученичеством. Миллионы людей движутся и страдают и отходят бесследно как бы предназначенные никогда не понять истину. Они живут чужою мыслию, ищут готового слова и примера, схватываются за подсказанное дело. Они кричат, что за них авторитеты, что за них Европа. Они свистят на несогласных с ними, на всех презирающих лакейство мысли и верящих в свою собственную и народа своего самостоятельность. И что же, на самом-то деле эти массы кричащих людей предназначены послужить собою лишь косным средством для того, чтоб разве единицы лишь из них приблизились сколько-нибудь к истине, или, по крайней мере, получили бы о ней хоть предчувствие. Вот эти-то единицы и ведут потом всех за собою, овладевают движением, родят идею и оставляют ее в наследство этим мечущимся массам людей. Такие единицы уже были и у нас. Некоторые из нас уже их понимают, даже многие. Но мудрецы все еще продолжают смеяться и все еще верить в себя, что они великая сила. «Погуляют и воротятся», говорят они теперь про наши войска, перешедшие границу, говорят даже вслух. «Не бывать войне, какая война, где уж нам воевать: просто военная прогулка и маневры, с тратой сотен миллионов, для поддержания чести». Вот их интимный взгляд на дело. Да и интимный ли?

Да, если б могло так случиться, что мы будем побиты, или хотя и побьем врага, но под давлением обстоятельств замирим пустяками, — о, тогда мудрецы, конечно, восторжествуют. И какой, какой опять начнется свист и гам и цинизм на несколько лет, какая опять вакханалия самооплевания, пощечин и самодразнения — и это не для вызова к воскресению и силе, а именно ради торжества собственного бесчестия, без-

личности и бессилия. И новый нигилизм начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его. А главное, приобретет столько силы и так укрепится, что несомненно начнет даже вслух помыкать святыней России. И опять молодежь оплюет свои семейства и домы, и побежит от своих стариков, твердящих в зубрежку бесконечные общие места и старые, надоевшие всем слова о европейском величии и об обязанности нашей быть как можно безличнее. А главное — старая песня, старые слова и — надолго нового ничего! Нет, нам нужна война и победа. С войной и победой придет новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня как прежде, — да что как прежде, как до сих пор, господа!

Но надо быть на все готовым, и что же: если предположить даже самый худший, самый даже невозможно худший исход для начавшейся теперь войны, то хоть и много вынесем скверного, уже надоевшего до смерти старого горя, но колосс все же не будет расшатан и рано ли, поздно ли, а возьмем все свое. Это не надежда только, это полная уверенность, и в этой невозможности расшатать колосс — вся наша сила перед Европой, где все теперь чуть не сплошь боятся, что расшатается их старое здание, и обрушатся на них потолки. Колосс этот есть народ наш. И начало теперешней **народной** войны, и все недавние предшествовавшие ей обстоятельства показали лишь наглядно всем, кто смотреть умеет, всю народную целость и свежесть нашу и до какой степени не коснулось народных сил наших то растление, которое загноило мудрецов наших. И какую услугу оказали нам эти мудрецы перед Европой! Они так недавно еще кричали на весь мир, что мы бедны и ничтожны; они насмешливо уверяли всех, что духа народного нет у нас вовсе, потому что и **народа** нет вовсе, потому что и народ наш и дух его изобретены лишь фантазиями доморощенных московских мечтателей; что восемьдесят миллионов мужиков русских суть всего только миллионы косных, пьяных податных единиц; что никакого соединения царя с народом нет, что это лишь в прописях,

что все, напротив, расшатано и проедено нигилизмом; что солдаты наши бросят ружья и побегут как бараны; что у нас нет ни патронов, ни провианта, и что мы, в заключение, сами видим, что расхрабрились и зарвались не в меру и изо всех сил ждем только предлога, как бы отступить без последней степени позорных пощечин, которых «даже и нам уже нельзя выносить», и молим, чтоб предлог этот нам выдумала Европа. Вот в чем клялись мудрецы наши, и что же: на них почти и сердиться нельзя, это их взгляд и понятия, кровные взгляд и понятия. И действительно, да, мы бедны, да, мы жалки во многом; да, действительно у нас столько нехорошего, что мудрец, и особенно если он **наш** «мудрец», не мог «изменить» себе и не мог не воскликнуть: «капут России и жалеть нечего!» Вот эти-то родные мысли мудрецов наших и облетели Европу, и особенно через европейских корреспондентов, нахлынувших к нам накануне войны изучить нас на месте, рассмотреть нас своими европейскими взглядами и измерить наши силы своими европейскими мерками. И, само собою, они слушали одних лишь «премудрых и разумных» наших. Народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и миллионов вместе с ними жидовствующих «христиан»; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россия все перенесет, все, до самой срамной и последней пощечины, но не пойдет на войну — до того, дескать, сильно ее «миролюбие». Но Бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России, а главное-то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колоссальный факт: союз царя с народом своим! Вот **только это** и проглядели они! Кроме того, не могли они никак понять и поверить тому, что царь наш действительно миролюбив и действительно так жалеет кровь человеческую: они дума-

ли, что все это у нас из «политики». Не видят они ничего даже и теперь: они кричат, что у нас вдруг, после царского манифеста появился «патриотизм». Да разве это патриотизм, разве это единение царя с народом на великое дело есть **только** патриотизм? В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России, ничего не понимают в России! Они не знают, что мы не победимы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Что мы не Франция, которая вся в Париже, что мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от «спокойствия» своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час. Не понимают они и не знают, что если мы **захотим**, то нас не победят ни жиды всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий, что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Беда только в том, что над словами этими засмеются не только в Европе, но и у нас, и не только наши мудрецы и разумные, а даже и настоящие русские люди интеллигентных слоев наших — до того мы еще не понимаем самих себя и всю исконную силу нашу, до сих пор еще, слава Богу, не надломившуюся. Не понимают эти хорошие люди, что у нас, в нашей необозримой и своеобразной в высшей степени, не похожей на Европу стране, даже тактика военная (столь общая вещь!), может быть, совсем не похожая на европейскую, что основы европейской тактики — деньги и ученые организации шестисот-тысячных войсковых нашествий могут споткнуться о землю нашу и наткнуться у нас на новую и неведомую им силу, основы которой лежат в природе бесконечной земли русской и в природе всеединяющего духа русского. Но пусть **пока** еще не знают этого у нас столь многие и хорошие люди — (не знают и робеют). Но зато знают это цари наши, и чувствует это народ наш. Александр I знал про эту своеобразную силу нашу, когда говорил, что

отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим, но не положит меча и не покорится воле Наполеона. И уж, конечно, об такую силу разбилась бы вся Европа вместе, потому что не хватит у нее на такую войну ни денег, ни единства организации. Когда у нас все наши русские люди узнают о том, что мы так сильны, тогда и мы добьемся того, что воевать уже не будем, тогда в нас уверует и впервые **откроет** нас, как когда-то Америку, Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихнего открыли сами себя и чтоб интеллигенция наша поняла, что ей нельзя уже более разъединяться и разрывать с народом своим...

II

Не всегда война бич, иногда и спасение.

Но мудрецы наши схватились и за другую сторону дела: они проповедуют о человеколюбии, о гуманности, они скорбят о пролитой крови, о том, что мы еще больше озвереем и осквернимся в войне и тем еще более отдалимся от внутреннего преуспеяния, от верной дороги, от науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но много тут и ошибки в рассуждениях этих, а главное — довольно уж нам этих буржуазных нравоучений! Подвиг самопожертвования кровью своею за все то, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение. Конечно, мы можем ошибаться в том, что считаем великодушной идеей; но если то, что мы почитаем святынею — позорно и порочно, то мы не избегнем кары от самой природы: позорное и порочное несет само в себе смерть и рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей и выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя, и за которым всякое при-

обрегение, всякое развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь, а за ней и смерть. Так Англия, если б встала в теперешней восточной борьбе за Турцию, забыв уже окончательно, из-за торговых выгод своих, стоны измученного человечества — без сомнения, подняла бы сама на себя меч, который, рано ли, поздно ли, а опустился бы ей самой на голову. Наоборот: что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия? Скажут, что «ведь и Россия, хоть и вправду идет лишь освобождать измученные племена и возрождать их самостоятельность, но ведь тем самым, в этих же племенах, приобретет потом себе же союзников, а, стало быть, силу, — и что, стало быть, все это, разумеется, составляет тот же самый закон развития национальной личности, к которому стремится и Англия. А так как замысел «панславизма» колоссальностью своей, без сомнения, может пугать Европу, то уж по одному закону самосохранения Европа несомненно в праве остановить нас, точно так же, впрочем, как и мы в праве итти вперед, нисколько не останавливаясь перед ее страхом и руководясь, в движении нашем, лишь политическою предусмотрительностью и благоразумием. Таким образом ничего нет в этом ни святого, ни позорного, а есть лишь как бы вековечный животный инстинкт народов, которому подчиняются безразлично все еще недостаточно и неразумно развитые племена на земле. Тем не менее накопившееся сознание, наука и гуманность, рано ли, поздно ли, непременно должны ослабить вековечный и зверский инстинкт неразумных наций и вселить, напротив, во всех народах желание мира, международного единения, и человеколюбивого преуспеяния. А стало быть, надо все-таки проповедывать мир, а не кровь».

Святые слова! Но в настоящем случае они как-то не прикладываются к России, или чтоб еще лучше выразиться, — Россия составляет собою, в теперешний исторический момент всей Европы, как бы некоторое исключение, что и действительно так. В самом деле, если Россия, столь бескорыстно и правдиво ополчив-

шаяся теперь на спасение и на возрождение угнетенных племен, впоследствии и усилится ими же, то все же, и в этом даже случае, явит собою самый исключительный пример, которого уж никак не ожидает Европа, меряющая на свой аршин: усилясь, хотя бы даже чрезмерно, союзом своим с освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу с мечом, не захватит и не отнимет у ней ничего, как бы непременно сделала Европа, если б нашла возможность вновь соединиться вся против России, и как делали в Европе все нации, во всю жизнь свою, чуть только получала какая-нибудь из них возможность усилиться на счет своей соседки. (И это с самых диких первобытных времен Европы вплоть до современной нам и еще столь недавней Франко-Прусской войны, и куда девалась тогда вся ихняя цивилизация: бросилась самая ученая и просвещенная из всех наций на другую, столь же ученую и просвещенную, и, воспользовавшись случаем, загрызла ее как дикий зверь, выпила ее кровь, выжала из нее соки в виде миллиардов дани и отрубила у нее целый бок в виде двух самых лучших провинций! Да, вправду, виновата ли Европа, если после этого не может понять назначения России? Им ли, гордым, ученым и сильным, понять и допустить хоть в фантазии, что Россия предназначена и создана, может быть, для их же спасения и что она только, может быть, произнесет, наконец, это слово спасения!). О да, да, конечно — мы не только ничего не захватим у них и не только ничего не отнимем, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не захватом и насилием) — тем самым и получим, наконец, возможность не обнажать меча, а, напротив, в спокойствии силы своей, явить собою пример уже искреннего мира, международного всеединения и бескорыстия. Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна дру-

гою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их и так до тех пор, когда человечество, восполнясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю! О, пускай смеются над этими «фантастическими» словами наши теперешние «общечеловеки» и самооплевники наши, но мы не виноваты, если верим тому, то есть идем рука в руку вместе с народом нашим, который именно верит тому. Спросите народ, спросите солдата: для чего они подымаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне, — и все скажут вам, как един человек, что идут, чтоб Христу служить и освободить угнетенных братьев, и ни один из них не думает о захвате. Да, мы тут, именно в теперешней же войне, и докажем всю нашу идею о будущем предназначении России в Европе, именно тем докажем, что, освободив славянские земли, не приобретем из них себе ни клочка (как мечтает уже Австрия для себя), а, напротив, будем надзирать за их же взаимным согласием и оборонять их свободу и самостоятельность, хотя бы от всей Европы. А если так, то идея наша свята, и война наша вовсе не «вековечный и зверский инстинкт неразумных наций», а именно первый шаг к достижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к достижению **воистину** международнаго единения и **воистину** человеколюбивого преуспеяния! Итак, не всегда надо проповедывать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть.

III

Спасает ли пролитая кровь?

«Но кровь, но ведь все-таки кровь», — наладили мудрецы, и, право же, все эти казенные фразы о крови — все это подчас только набор самых ничтожнейших высоких слов для известных целей. Биржевики, напри-

мер, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью. А между тем крови, может быть, еще больше бы пролилось без войны. Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти (кроме разве войн междоусобных) — война есть процесс, которым, **именно,** с наименьшим пролитием крови, с наименьшею скорбию и с наименьшей тратой сил, достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями — войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни эксплуататоры народов. Налажено, что мир родит богатство — но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болезнями богатства, сама передает заразу и остальным девяти десятым, хотя и без богатства. Заражается же она развратом и цинизмом. От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души. Иной сладострастник, падающий в обморок при виде крови из обрезанного пальца, не простит бедняку и заточит его в тюрьму за ничтожнейший долг. Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообезпечении. Эта трусливая забота о самообезпечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь

общества, провозглашается громко тезис: «всякий за себя и для себя»; бедняк слишком видит, что такое богач, и какой он ему брат, и вот — все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие. Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь и будит души, засыпающие в периоды долгого мира. Вот отчего и выдумали, что искусство может процветать лишь во время долгого мира, а между тем тут огромная неверность: искусство, то есть **истинное** искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет в разрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы. В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, все-таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, — словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма. Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают и даже совсем губят народы, тогда как война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи, — такая война лишь очищает зараженный воздух от скопившихся миазмов, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень, объявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой призвана та или другая нация. Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию. А главное, сознанием исполненного долга и совершённого хорошего дела: «не совсем же мы

упали и развратились, есть же и в нас человеческое!» И посмотрите, с чего начинали свою проповедь эти столь недавние наши проповедники миролюбия и гуманности: они прямо начинали с самой бесчеловечной жестокости. Они сами не хотели и других удерживали помочь мученикам, взывавшим к нам. Они, повидимому, столь гуманные и чувствительные, хладнокровно и с насмешкой отрицали необходимость для нас самопожертвования и духовного подвига. Они желали столкнуть Россию на самую пошлую и недостойную великой нации дорогу, не говоря уже об их презрении к народу, признавшему в славянских мучениках братьев своих, а стало быть, об их надменном разрыве с волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое «европейское» просвещение. Любимым тезисом их было: «врачу, исцелися сам». «Вы лезете исцелять и спасать других, а у самих даже школ не устроено» — выставляли они на вид. Что ж, мы и идем исцеляться. Школы важное дело, конечно, но школам надобен дух и направление, — вот мы и идем теперь запасаться духом и добывать здоровое направление. И добудем, особенно если Бог победу пошлет. Мы воротимся с сознанием совершённого нами бескорыстного дела, с сознанием того, что славно послужили человечеству кровью своей, с сознанием обновленной силы нашей и энергии нашей — и все это вместо столь недавнего позорного шатания мысли нашей, вместо мертвящего застоя нашего в заимствованном без толку европеизме. Главное же, приобщимся к народу и соединимся с ним теснее, — ибо у него и в нем одном найдем исцеление от двухвековой болезни нашей, от двухвекового непроизводительного слабосилия нашего.

Да и вообще можно сказать, что если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дело как долгий мир, вместо пользы обществу, обращается ему же во вред. Это вообще можно применить даже и ко всей Европе. Недаром же не проходило поколения в истории европейской, с тех пор как мы ее запомним, без войны. Итак, видно и война необходима для чего-нибудь, целительна, облегчает человечество. Это воз-

мучительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для зараженного организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и всегда губили их. Не мы, так дети наши увидят, чем кончит Англия. Теперь для всех в мире уже «время близко». Да и пора.

IV

Мнение «Тишайшего» царя о Восточном вопросе.

Мне сообщили одну выписку из одного сочинения, изданного в Киеве в прошлом году: «Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам архидиакона Павла Алеппского». Соч. Ив. Оболенского, Киев, 1876 г. (стр. 90—91). Страница из сочинения чужого, но она столь характерна и столь любопытна в теперешнюю нашу минуту, а самое сочинение, вероятно, еще так мало известно в общей массе публики, что я решился поместить эти несколько строк в «Дневнике». Это мнение царя Алексея Михайловича о Восточном вопросе, — тоже «Тишайшего» царя, но жившего еще два века тому назад, и его тогдашние слезы о том, что он не может быть царем Освободителем.

«Говорили, что на Св. Пасху (1656 г.) государь, христосуясь с греческими купцами, бывшими в Москве, сказал между прочим к ним: «Хотите ли вы и ждете ли, чтобы я освободил вас из плена и выкупил?» И когда они отвечали: «Как может быть иначе? как нам не желать этого?» — он прибавил: «Так, — поэтому, когда вы возвратитесь в свою сторону, просите всех монахов и епископов молить Бога и совершать литургию за меня, чтоб их молитвами дана была мне мощь отрубить голову их врагу». И, пролив при этом обиль-

ные слезы, он сказал потом, обратившись к вельможам: «Мое сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей, которые стонут в руках врагов нашей веры; Бог призовет меня к отчету в день суда, **если, имея возможность освободить их, я пренебрегу этим.** — Я не знаю, как долго будет продолжаться это дурное состояние государственных дел, но со времени моего отца и предшественников его к нам не переставали приходить постоянно с жалобой на угнетение поработителей патриархи, епископы, монахи и простые бедняки, из которых ни один не приходил иначе, как только преследуемый суровою печалью и убегая от жестокости своих господ; **и я боюсь вопросов, которые мне предложит Творец в тот день: и порешил в своем уме, если Богу угодно, что потрачу все свои войска и свою казну, пролью свою кровь до последней капли, но постараюсь освободить их».** На все это вельможи ответили ему: **Господи, даруй по желанию сердца твоего».**

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Фантастический рассказ.

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете, и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде **все равно.** Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне **все равно,** было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что **ничего при мне не было.** Сначала мне все

казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-по-малу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей, и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало **все равно,** и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явною враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось, наконец, улучить минуту, когда будет не так все равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет **непременно** уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «мамочка! мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал итти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки

и всхипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «барин, барин!..», но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штосс старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было — мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает

в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я

сейчас **совершенно** не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне, или на Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и кроме того знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы мне **все равно** или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что **это** будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, по-

тому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же, между тем, стало тоже все утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностию, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем, какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем, я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал Истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она Истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну, и пусть сон и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте!

III

Я сказал, что заснул незаметно, и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер, и, сидя, наставляю его прямо в сердце, — в сердце, а не в голову; я же

положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь, действительно, ушибетесь в кровати: тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг, на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее и так далее, все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую

боль: «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там пуля»... А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к Властителю всего того, что совершалось со мною:

— Кто бы Ты ни был, но если Ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же Ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. — «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного

небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое **есть**, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизнь!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «Если надо **быть** снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную, и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть **наше** солнце, породившее **нашу** землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку,

сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все, — ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове.

Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем. Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий Архипелаг, или где-нибудь на прибрежьи материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то празд-

ником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что

их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни, так как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них, точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них, и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслью только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня , а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как мо-

гли они, все время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желал удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? — Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того **жестокого** сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. — Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти, и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но видимо были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее

расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге, и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было — Боже, какой смех они подняли мне в глаза, и какое я им доставил веселье! О, да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненом сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а, стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно принужден был сочинить потом подробности и уж, конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, во все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!

V

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это может быть, началось **невинно,** с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятіе о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и

счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и не осуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И, однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы **знаем** это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, Который будет судить нас, и имени Которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь Истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других; и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтоб каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, нако-

нец, человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому, пока для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее, Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец, эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания, и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а о них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумесшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся.

———

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом, я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной Истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедывать, а хочу проповедывать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мною смеются, больше всех остальных. Почему это так, — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: Я сбиваюсь и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедывать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А, между тем, ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере, все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это Истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел Истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: Я видел Истину, — не то, что изобрел умом, а

видел, видел, и **живой образ** ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, не не надолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть, вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот уже первая ошибка! Но Истина шепнула мне, что я **лгу,** и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!) — ну, а я все-таки буду проповедывать. А, между тем, так это просто: в один бы день, **в один бы час** — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!

Освобождение подсудимой Корниловой.

22 апреля сего года, в здешнем Окружном суде вторично решалось дело подсудимой Корниловой с новым составом суда и присяжных заседателей. Прежний приговор суда, состоявшийся еще в прошлом году, был кассирован сенатом за недостаточно произведенной медицинской экспертизой. Может быть, большинство моих читателей очень помнит об этом деле. Молодая мачеха (тогда еще несовершеннолетняя), в беременном состоянии, в злобе на мужа, попрекавшего ее прежней женой, и после жестокой с ним ссоры, выбросила свою шестилетнюю падчерицу, дочь своего мужа от прежней жены, из окошка, из четвертого этажа (5½ саж. высоты), при чем случилось почти чудо: ребенок не разбился, не сломал и не повредил себе ничего и скоро очнулся; теперь же жив и здоров. Это зверское действие молодой женщины сопровождалось такой бессмыслицей и загадочностью всех ее остальных поступков, что само собою являлось соображение: в здравом ли уме она действовала? И не была ли она, например, хоть под аффектом своего беременного состояния? Проснувшись утром, когда уже муж ушел на работу, она дала выспаться ребенку; потом одела ее, обула и напоила кофеем. Затем отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянув даже из окна вниз, чтоб посмотреть, что сталось с ребенком, она затворила окно, оделась и отправилась в участок. Там объявила о происшедшем, отвечала на вопросы грубо и странно. Когда ей, уже несколько часов спустя, возвестили, что ребенок остался жив, она, не обнаружив ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно заметила, как бы в задумчивости: «какая живучая». Затем в продолжение почти полутора месяца, в двух тюрьмах, в которых ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдруг все разом прошло: все остальные четыре месяца до разрешения от бремени и все остальное время, на первом суде и после суда, начальница женского отделения тюрьмы не могла ею на-

хвалиться: явился характер ровный, тихий, ласковый, ясный. Впрочем, я все это уже описывал прежде. Одним словом, прежний приговор был кассирован, а затем состоялся новый, 22 апреля, которым Корнилова была оправдана.

Я был в зале суда и вынес много впечатлений. Жаль только, что нахожусь в полной невозможности передать их и буквально принужден ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о деле единственно потому, что прежде много писал о нем, а стало быть, считаю не лишним сообщить читателям и об исходе его. Суд продолжался вдвое долее прежнего раза. Состав присяжных заседателей был особенно замечателен. Призвана была новая свидетельница — начальница женского отделения тюрьмы. Показание ее о характере Корниловой было очень веско и в ее пользу. Замечательно очень было показание мужа подсудимой: с чрезвычайною честностью он не скрыл ничего, ни ссор, ни обид с его стороны, оправдывал жену, говорил сердечно, прямо, откровенно. Он всего только крестьянин, правда, носящий немецкое платье, читающий книги и получающий тридцать рублей ежемесячного жалованья. Затем замечателен был подбор экспертов. Приглашено было шесть человек, — все известности и знаменитости в медицине; из них давали показания пятеро: трое заявили не колеблясь, что болезненное состояние, свойственное беременной женщине, весьма могло повлиять на совершение преступления и в данном случае. Один лишь доктор Флоринский с этим мнением был не согласен, но, к счастью, он не психиатр, и мнение его прошло без всякого значения. Последним показывал известный наш психиатр Дюков. Он говорил почти около часу, отвечая на вопросы прокурора и председателя суда. Трудно представить себе более тонкое понимание души человеческой и болезненных ее состояний. Поражало тоже богатство и разнообразие многолетних и чрезвычайно любопытных наблюдений. Что до меня, то я выслушал некоторые из показаний эксперта решительно с восхищением. Мнение эксперта было вполне в пользу подсудимой: он

утвердительно и **доказательно** заключил о несомненном, по его мнению, болезненном состоянии души подсудимой, во время совершения ею страшного преступления.

Кончилось тем, что сам прокурор, несмотря на свою грозную речь — отказался от обвинения в преднамеренности, то есть от самой главной злобы обвинения. Защитник подсудимой, присяжный поверенный Люстиг, тоже чрезвычайно ловко отбил несколько обвинений, а одно, важнейшее, — долгую будто бы ненависть мачехи к падчерице, — привел к полному нулю, осязательно обнаружив в нем лишь коридорную сплетню. Затем, после длинной речи председателя, присяжные удалились и менее чем через четверть часа вынесли оправдательный приговор, произведший почти восторг в многочисленной публике. Многие крестились, другие поздравляли друг друга, жали друг другу руки. Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом, почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизнь и явного Божьего перста во всем этом деле, — хотя бы только начиная с чудесного спасения ребенка.

К моим читателям

Прибегаю к чрезвычайному снисхождению моих читателей. В прошлом году, из-за моей поездки летом в Эмс для лечения болезни, я принужден был выдать №№ «Дневника» за июль и август месяцы вместе, в одном выпуске, 31-го августа, конечно, в удвоенном числе листов. В нынешнем же году, по усилившейся еще более моей болезни, я принужден выдать и майский № с июньским вместе, в одном выпуске, в конце июня или в самых первых числах июля. Затем июльский и августовский №№, как и в прошлом году, выйдут тоже в августе. С сентября же месяца №№ «Дневника» начнут опять выдаваться аккуратно в последнее число каждого месяца.

Уезжая из Петербурга по приговору докторов, я заявляю, что хотя в Петербурге помещение редакции и будет закрыто до самого сентября, тем не менее все иногородние подписчики и читатели, **равно как и все петербургские,** в случае надобности, могут обращаться **письменно** в редакцию совершенно как и прежде. Письма эти будут немедленно доставлены заведующим редакцией, и всякая жалоба, всякое недоумение и проч. будут попрежнему в скорейшем времени удовлетворены. Равно все письма на мое имя будут немедленно мне доставлены. На этот счет сделаны редакцией самые точные распоряжения. Подписка попрежнему может продолжаться: подписавшиеся будут немедленно удовлетворены.

Не знаю, извинят ли меня мои читатели и подписчики «Дневника писателя»? При таком непредвиденном обстоятельстве, как усложнение болезни, трудно было угадать все это вперед. Огромное большинство читателей моих относилось доселе ко мне весьма доброжелательно, в чем я уверен по твердым фактам. Осмеливаюсь ждать этой доброты и теперь.

МАЙ — ИЮНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года.

Мне сообщили один престранный документ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказание о нынешних событиях и о нынешней войне. Один из наших молодых ученых нашел в Лондоне, в королевской библиотеке, один старый фолиант, «книгу предсказаний», «Prognosticationes» Иоанна Лихтенбергера, издание 1528 года, на латинском языке. Экземпляр редкий и даже, может быть, единственный в свете. В туманных картинах изображается в этой книге будущность Европы и человечества. Книга мистическая. Помещаю лишь те строки, которые мне сообщили, **и лишь как факт**, не лишенный некоторого любопытства.

После предсказаний о французской революции (1789 г.) и о Наполеоне I, который именуется в книге великим орлом (aquila grandis), говорится далее о грядущих европейских событиях так:

«Post haec veniet altera aquila quae ignem fovebit in gremio sponsae Christi et erunt tres adulteri unusque legitimus qui alios vorabit.

«Exsurget aquila grandis in Oriente, aquicolae

occidentales moerebunt. Tria regna comportabit. Ipsa est aquila grandis, quae dormiet annis multis, refutata resurget et contremiscere faciet aquicolas occidentales in terra Virginis et alios montes Superbissimos; et volabit ad meridiem recuperando amissa. Et amore charitatis inflammabit Deus aquilam orientalem volando ad ardua alis duabus fulgens in montibus christianitatis».

(После сего придет другой орел, который огонь возбудит в лоне невесты Христовой, и будут трое побочных и один законный, который других пожрет.

Восстанет орел великий на Востоке, островитяне западные восплачут. Три царства захватит. Сей есть орел великий, который спит годы многие, пораженный восстанет и трепетать заставит водяных жителей западных в земле девы и другие вершины прегордые, и полетит к югу, чтоб возвратить потерянное. И любовью милосердия воспламенит Бог орла восточного, да летит на трудное, крылами двумя сверкая на вершинах христианства).

Конечно, темновато, но согласитесь однако, что «великий орел восточный, который спит годы многие, **пораженный** (NB. не война ли наша с Европой 22 года назад?) восстанет и трепетать заставит водяных жителей западных», — согласитесь, что это как будто и похоже на теперешнее, конечно, если только не брать в соображение наших европействующих мудрецов, как бы все еще трепещущих перед «водяными жителями», обратно пророчеству, тогда как уже орел полетел, «сверкая двумя крылами». Но трепещут лишь мудрецы, а не орел. Далее: «водяные жители западные в земле девы», если приложить пророчество Иоанна Лихтенбергера к современным событиям, очевидно, означают собою Англию. Но в таком случае почему же «земля девы»? В 1528 году еще не было королевы Елизаветы. Не означает ли аллегория Лихтенбергера землю (острова Великобритании), не подвергавшуюся ни разу нашествию, в том смысле, в каком выразился когда-то

Наполеон о европейских столицах, подвергавшихся его нашествию: «Столица, подвергавшаяся нашествию, похожа на девицу, потерявшую свою девственность». — Но орел, по пророчеству, трепетать заставит и другие «вершины прегордые», полетит к югу, чтоб возвратить потерянное, и — что всего замечательнее — «любовью милосердия воспламенит Бог орла восточного, да летит на трудное, крылами двумя сверкая на вершинах христианства». Согласитесь, что уж это-то нечто даже очень подходящее. Разве не милосердием воспламенясь к угнетенным и измученным, взлетел наш орел? Разве не милосердие Христово двинуло весь народ наш «на дело трудное» и в прошлом и в нынешнем году? Кто станет это отрицать? Этот народ, эти солдаты, взятые из народа, незнающего хорошенько молитв, подымали однако же в Крыму, под Севастополем, раненых французов и уносили их на перевязку **прежде,** чем своих русских: «Те пусть полежат и подождут; русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперед пожалеть надо». Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо сказанных словах? Итак, разве не дух Христов в народе нашем, — темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос его сила, наша русская теперь сила, когда орел полетел «на дело трудное». И что значит один какой-нибудь анекдот о Севастопольских солдатиках сравнительно с тысячами проявлений духа Христова и «огня милосердия» в народе нашем, наяву и воочию, в наше время, хотя и до сих пор изо всех сил стараются мудрецы задавить мысль и похоронить факт участия народа нашего, духом и сердцем его, в теперешних судьбах России и Востока? И не указывайте на «зверство и тупость» народа, на невежественность его и неразвитость, при которых он будто бы не в силах понять того, что теперь происходит. Сущность дела он понимает превосходно, будьте уверены, он четыре уже столетия как ее понимает. Вот теперешних дипломатов не понял бы вовсе, если б о них узнал; но ведь кто ж их поймет? Да, великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения еще

с самого начала своего, за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы, разложился бы и уничтожился, а наш только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за «зверство и невежество», господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сделали. Напротив, вы ушли от него, двести лет назад, покинули его и разъединили с собой, обратили его в податную единицу и в оброчную для себя статью, и рос он, господа просвещенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный как зверь в берлогу свою, но с ним был его Христос и с ним одним дожил он до великого дня, когда двадцать лет тому назад, северный орел, воспламененный огнем милосердия, взмахнул и расправил свои крылья и осенил его этими крылами... Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видал и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенною и ослабевшею волею своею ниже всего низкого; но эти развращенные и столь упавшие звери — знали, по крайней мере, про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посылает Бог, — сами умели осудить себя, хотя часто не в силах уже были подняться. Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродетельными. Лорд Биконсфильд, а за ним и все Биконсфильды, и наши и европейские, зажали уши себе и закрыли глаза на зверства и муки, которым подвергают целые племена людей, и изменили Христу — ради «интересов цивилизации» и ради того, что измученные племена называются славянами, то есть несут в себе нечто новое, а стало быть, их тем более надо задавить совсем до корня, и тоже ради интересов старой загнившей цивилизации. Вот это так зверство — образованное и вознесенное как добродетель, и кланяются ему как идолу, и на Западе, и у нас еще в России. А «блаженнейший папа, непогрешимый на-

местник Божий», отходя к Богу, в последние дни свои на земле, — разве не пожелал он победы туркам и мучителям христианства над русскими, ополчившимися во имя Христа за христианство, — за то только, что, по его **непогрешимому** определению, турки все же лучше русских еретиков, не признающих папу? Разве это не зверство, не варварство? Да, пророчество Иоанна Лихтенбергера сильно подходит к настоящей минуте. И не разуметь ли нам уж и папу в числе других-то «вершин прегордых», которых заставит трепетать взмахнувший крылами орел? Кстати, чтоб покончить с пророчеством: что же разумел Иоанн Лихтенбергер, говоря о том, что «придет орел, который огонь возбудит в лоне невесты Христовой, и будут три побочных и один законный, который других пожрет?» На религиозном и мистическом языке под выражением «невеста Христова» всегда разумелась вообще церковь. Кто же трое побочных и один законный? Казалось, должно бы тут разуметь, то есть если уж его принимать за предсказателя, три исповедания: католицизм, протестантизм и... какое же третье-то из незаконных? И какое же законное-то?

Но оставим Иоанна Лихтенбергера. Серьезно говорить обо всем этом трудно; все это лишь мистическая аллегория, хотя бы и похожая несколько на правду.

И мало ли бывает совпадений? Правда, все это написано и напечатано в 1528 году и это очень любопытно. В то время, должно быть, часто являлись подобные сочинения, и хотя время это еще только предшествовало войнам великой протестантской реформации, но уже протестантов, реформаторов и пророков было много. Известно тоже, что потом, особенно в протестантских армиях, всегда появлялись исступленные «пророки» из самих сражавшихся, предсказатели и конвульсионеры. Если я сообщил эту латинскую выписку из старой книги (несомненно существующей, — повторяю это), то единственно как знаменательный факт. Не как чудо, да и не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснее бывает весьма часто то, что происходит в действительности. Мы видим действительность всегда

почти так, как **хотим** ее видеть, как сами, **предвзято,** желаем растолковать ее себе. Если же подчас вдруг разберем и в видимом увидим не то, что хотели видеть, а то, что есть **в самом деле,** то прямо принимаем то, что увидели, за чудо, и это весьма не редко, а подчас, клянусь, поверим скорее чуду и невозможности, чем действительности, чем истине, **которую не желаем видеть.** И так всегда бывает на свете, в том вся история человечества.

II

Об анонимных ругательных письмах.

Я за границу не поехал и нахожусь теперь в Курской губернии. Мой доктор, узнав, что я имею случай провести лето в деревне, да еще в такой губернии, как Курская, прописал мне пить в деревне Ессентукскую воду и прибавил, что это будет для меня несравненно полезнее Эмса, к воде которого я-де уже привык. Долгом считаю заявить, что я получил весьма много писем от моих читателей с самым сочувственным выражением их ко мне участия по поводу моего объявления о болезни. И вообще, к слову скажу, за все время издания моего «Дневника» я получил и продолжаю получать много писем, подписанных и анонимных, столь для меня лестных и столь одобрявших и поддерживавших меня в труде моем, что, прямо скажу, я никогда не рассчитывал на такое всеобщее сочувствие и никогда не считал себя достойным того. Эти письма я сберегу как драгоценность и — что тут притворного, если я заявляю об этом печатно? Неужто дурно, что я ценю и дорожу общим вниманием? Но, скажут, вы теперь хвалитесь, хвастаетесь. Пусть скажут это, я знаю про себя, что это не хвастовство, что я заявляю лишь мою благодарность, мое искреннее чувство, и слишком уж не молод, чтоб не понимать, как раздражаю иных господ моим заявлением. Но и господ этих, кажется, у меня тоже слишком немного. Из нескольких сот писем, полученных мною за эти полтора года

издания «Дневника», по крайней мере сотня (но наверно больше) было анонимных, но из этих ста анонимных писем лишь два письма были абсолютно враждебные. Есть не согласные со мной в убеждениях, те прямо излагают свои возражения, но всегда серьезно, искренно, без малейших личностей, и в подписанных, и в анонимных письмах, и я лишь жалею, что, по множеству получаемых писем, никак не могу всем ответить. Но эти два письма — исключения, и написаны не для возражения, а для ругательства. И вот, эти-то господа сочинители этих писем и будут раздражены моим заявлением благодарности. Последнее из этих писем как раз касается моего объявления о болезни. Мой анонимный корреспондент рассердился не на шутку: как, дескать, я осмелился объявить печатно о таком частном, личном деле, как моя болезнь, и в письме ко мне написал на мое объявление свою пародию, весьма неприличную и грубую. Но, отлагая главную цель письма — ругательство, я невольно заинтересовался вопросом, именно: если я, например, поставлен в необходимость, по расстроенному здоровью, уехать лечиться, а потому принужден не выдать майский № «Дневника» своевременно, а вместе с июньским, и так как я каждый раз, в каждом выпуске «Дневника», объявлял о времени выхода следующего номера, — то мне и показалось, что прямое, голословное, безо всяких объяснений объявление о том, что следующий выпуск «Дневника» выйдет вместе с июньским, было бы несколько бесцеремонным, и почему же было не объявить причину, из-за которой так вышло? И разве, в объявлении моем, так уж много я расписал о моей болезни? Но все это, конечно, пустяки, и если б дело шло лишь от человека серьезно шокированного в своем чувстве литературного и общественного приличия, то получился бы любопытный, хотя отчасти, пожалуй, и почтенный экземпляр господина, стоящего, может быть, и вне литературы, но из бескорыстной любви к ней, так сказать, сгорающего почтенным огнем соблюдения литературных приличий, и хоть доводящего свои стремления до щепетильности, тем не менее выводящего

их из источника уважаемого и любопытного, — так что я, из одной только деликатности, не мог бы отказать такому анониму в своего рода уважении. Но ругательства все испортили: ясное дело, что в них-то и была вся цель. И уж, без сомнения, припоминать все это здесь и не стоило бы; но мне давно хотелось сказать слова два вообще об анонимных письмах, то есть собственно о ругательных анонимных письмах, и я рад, что набрел на случай.

Дело в том, что мне давно казалось, что в наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь исполненное перемен и столь мало кого удовлетворяющее (да так и должно быть) — непременно должно было развестись чрезвычайное множество людей, так сказать, обойденных, позабытых, оставленных без внимания и досадующих: «зачем, дескать, везде **они**, а не я, зачем не обращают и на меня внимания». В этом состоянии личного раздражения и неудовлетворенного, так сказать, идеала, иной господин готов подчас взять спичку и итти зажигать, — до того это чувство мучительно, я это очень понимаю, и, чтоб осуждать это, надо вооружиться скорее гуманностью, чем негодованием. Но зажигать спичкой уже крайность и, так сказать, удел натур могучих, Байроновских. К счастью, есть выходы, не столь ужасные для натур не столь могучих. Такой выход — просто напакостить, ну, там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить. Одним словом, я стал давно уже подозревать, и подозреваю до сих пор, что наше время должно быть непременно временем хотя и великих реформ и событий, это бесспорно, но, вместе с тем, и усиленных анонимных писем ругательного характера. Что касается литературы, то тут нет никакого сомнения: анонимные ругательные письма составляют, так сказать, неотъемлемую часть современной русской литературы и сопровождают ее по всем направлениям, — и кто только из издателей и писателей не получает их, я даже справлялся кой в каких изданиях, и в одном из них — именно в одном из тех, которые пошли вдруг, произвели впечатление быстрое, внезапное, и

угодили публике в такой степени, что сами даже на такой успех не рассчитывали, — в этом издании, один из ближайших участников его поведал мне, что они получают такое множество ругательных анонимных писем, что уж и не читают их вовсе, а только распечатывают. Он было хотел рассказать мне иные из таких посланий в подробности, но с первых же слов залился неудержимым смехом. Да так и должно быть; наши неопытные анонимы и не подозревают еще, кажется, что чем ругательнее их письма, тем они невиннее и безвреднее. Черта хорошая: она обозначает, что наши анонимы хоть и горячи, но все же без выдержки и не понимают, что чем вежливее, чем достойнее тон язвительного анонимного письма, тем оно будет злее и сильнее подействует. Иезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у нас, во второй **высший** фазис свой не вступило это дело, а, стало быть, находится еще в самом только начале и, стало быть, есть всего лишь плод первого необузданного пыла, а не плод обдуманного, строго воспитанного злобного чувства. Это не испанское, так сказать, мщение, готовое принести для достижения цели своей даже великие жертвы и научившееся выдержке. Наш анонимный ругатель далеко еще не тот таинственный незнакомец из драмы Лермонтова «Маскарад» — колоссальное лицо, получившее от какого-то офицерика когда-то пощечину и удалившееся в пустыню тридцать лет обдумывать свое мщение. Нет, действует пока все еще та же славянская природа наша, которой всего бы только поскорей выругаться, да тем и покончить (а чего доброго, так даже тут же и помириться), и согласитесь, что все это в одном смысле отрадно, ибо и тут, стало быть, все это, так сказать, юно, молодо, свежо, вроде как бы весна жизни, хотя, надо сознаться, препакостная. Долгом считаю присовокупить еще наблюдение: кажется, наше молодое поколение, то есть слишком юное, подростки, анонимных ругательных писем не пишут. Я получаю от молодежи множество писем и все подписанные. Не подписанные из них только те, которые выражают слишком уже дружеские чувства. Не со-

согласные же со мною в чем-нибудь из молодежи всегда подписываются. (Анонимное же ругательное письмо слишком легко узнать и слишком ясно, по многим признакам и приемам, что оно не из молодого поколения идет, не от юного подростка). Итак, молодежь наша, очевидно, понимает, что, во-первых, можно написать весьма даже резкое письмо, но что подпись под таким письмом придаст выражениям чрезвычайную цену, и что весь характер такого письма изменится к лучшему через подпись, которая придаст ему дух прямодушия, мужества, готовности постоять и ответить за свои убеждения, да и самая резкость выражений покажет лишь горячку убеждения, а не желание оскорбить. Итак, ясное дело, что не подписывающийся ругатель желает, главное, выругаться площадными ругательствами, желает доставить себе, прежде всего, это именно удовольствие, а другой цели не имеет. И, ведь, сам он знает, что делает пакость и что сам себе вредит, то есть силе письма своего, но уж такова потребность выругаться. Эту черту, то есть эту потребность, надо заметить, ибо она все еще предоминирует в нашем интеллигентном обществе. И пусть не смеются надо мной, что я верю, что такая черта у нас **предоминирует;** я убежден, что не преувеличиваю, и что мы стоим теперь на этой именно точке развития, так сказать, в массе нашей. К тому же сообразите и то, что можно во всю жизнь не написать ни одного анонимного ругательного письма, а между тем, всю жизнь носить в себе душу анонимного ругателя; а ведь это тоже важное соображение. И что в том, что я, в полтора года, получил всего лишь два ругательных письма; это лишь доказывает мою невинность и неприметность, равно как и малый круг моей деятельности, а сверх того, и то, что я имею дело лишь с порядочными людьми. Другие же деятели, более моего приметные (а. стало быть, уже потому одному более моего виновные) и, сверх того, принужденные действовать по самому роду и характеру изданий своих в чрезвычайно расширенном круге действия, получают ругательных писем, может быть, по двести, а не по два в полтора года. Од-

ним словом, я убежден, что европейская цивилизация чрезвычайно мало привила к нам гуманности и что у нас людей, желающих выругаться быстро и непосредственно, в каждом случае, который им чуть-чуть не понравится, даже, может быть, до того не мало, что страшно сказать; а желающих выругаться — при том же и безнаказанно, анонимно и безопасно, из-за двери, еще того больше, и вот как раз анонимное письмо дает эту возможность: письмо не прибьешь и письмо не краснеет.

В старину у нас европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно, и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но зато у них была своя честь, хоть и не в европейской форме, но не менее чем там священная и серьезная, и из-за этой чести боярин пренебрегал иной раз всем состоянием своим, положением своим при дворе, даже царскою милостью. Но с переменою костюма и с введением европейской шпаги, началась у нас новая европейская честь и — в целые два века не принялась серьезно, так что старое забыли и оплевали, а новое приняли недоверчиво и скептически. Приняли, так сказать, механически, а душевно позабыли, что значит честь, и сердечную потребность к ней утратили и это, страшно признаться, за весьма, может быть, малыми исключениями.

В эти два века нашего европейского и шпажного, так сказать, периода, честь и совесть, странно даже сказать, сохранилась наиболее и даже целиком в нашем народе, до которого почти и не коснулся шпажный период нашей истории. Пусть народ грязен, невежествен, варварствен, пусть смеются над моим предположением без малейшего снисхождения, но во всю мою жизнь я вынес убеждение, что народ наш несравненно чище сердцем высших наших сословий и что ум его далеко не настолько раздвоен, чтоб рядом с самою светлою идеею лелеять тут же, тотчас же, и самый гаденький антитез ее, как сплошь да рядом в интеллигенции нашей, да еще оставаться с обеими этими идеями, не зная которой из них веровать и от-

лать преимущество на практике, да еще называть это состояние ума и души своей — богатством развития, благами европейского просвещения, и хоть и умирать при таком богатстве от скуки и отвращения, но в то же время из всех сил смеяться над простым, не тронутым еще чужою цивилизацией, народом нашим за наивность и прямодушие его верований... Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый из народа постыдится иных мыслей и побуждений иного нашего «высшего деятеля», я уверен в том, и с отвращением отвернется от большей части дел наших интеллигентных людей. Я уверен, что он не понимает и долго еще не поймет, что можно наедине, за дверями, когда никто не поглядывает, делать про себя пакости и считать их вполне дозволительными, нравственно дозволенными, единственно потому, что нет свидетелей и никто не подглядывает, — а между тем эта черта до ужаса часто практикуется в интеллигетном сословии нашем, да еще без малейшего зазрения совести, и даже, напротив, весьма часто с высшим удовлетворением ума и высших свойств просвещенного духа. По понятиям народа, то, что пакостно на миру, пакостно и за дверями. Между тем мы на народ-то и смотрим именно как на похабника, пакостника, обскурантного ругателя и находящего лишь наслаждение в ругательстве. Кстати припомнить, тем более, что это уже давно прошло и изменилось. Во времена моей юности было у военных людей, в огромном большинстве их, убеждение, что русский солдат, как вышедший из народа, чрезвычайно любит говорить похабности, ругатель и сквернослов. А потому, чтоб быть популярными, иные командиры, на учениях, например, позволяли себе так ругаться, с такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснели от этих ругательств, а потом, у себя в казармах, старались забыть высказанное начальством, и на того, который припоминал, вскрикивали всею артелью. **Я бывал сам лично тому свидетелем.** А командиры-то как довольны были в душе, что вот, дескать, как они подделались под дух русского солдата! Да чего, — даже Гоголь в «Пере-

писке с друзьями» советовал приятелю, распекая крепостного мужика всенародно, употреблять непременно крепкие слова, и даже приводил какие именно: то есть именно те из них, которые садче, в которых как можно больше бы оказывалось, так сказать, нравственной похабности, чем наружной, утонченности чтоб в ругательстве больше было. Между тем, народ русский хоть и ругается, к сожалению, крепкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, в самой незначительной даже своей доле (поверят ли тому?), а главное (и бесспорно), ругается он скорее машинально, чем с нравственною утонченностью, скорее по привычке, чем с умыслом, и вот это-то, последнее-то, то есть с умыслом, случается лишь в чрезвычайно редких экземплярах у бродяг, пропоиц и всяких стрюцких, презираемых народом. Народ хоть и ругается по привычке, но сам знает, что эта привычка скверная, и осуждает ее. Так что отучить народ от ругательств, по-моему, есть просто дело механической отвычки, а не нравственного усилия. Вообще эта идея о народе нашем, как о любителе подлых ругательств, по моему мнению, укоренилась в интеллигентном слое нашем, главное, уже тогда, когда уже произошел окончательный, нравственный разрыв его с народом, кончившийся, как известно, со стороны интеллигентного слоя нашего современным непониманием народа. Тогда-то явилось много и других всяких ошибочных идей о нашем народе. Пусть не поверят мне и свидетельству моему, что народ наш вовсе не такой ругатель, как до сих пор его представляли себе и описывали, пусть: я ведь убежден, что свидетельство мое оправдается. Те же надежды, которые возлагаю я на народ, возлагаю я и на юное поколение наше. Народ и юное поколение интеллигенции нашей сойдутся вместе вдруг и во многом и гораздо ближе и успешнее поймут друг друга, чем то было в наше время и в наше поколение. В молодежи нашей есть серьезность, и, дай только Бог, чтоб она была умнее направлена. Кстати о молодежи: один весьма молодой человек прислал мне недавно в письме весьма резкое возражение на одну тему, на какую — умолчу,

и подписался под своим резким (но отнюдь не невежливым) письмом en toutes lettres, да еще выставил адрес. Я пригласил его к себе объясняться. Он пришел и поразил меня своею горячностью и серьезностью своего отношения к делу. Кой в чем он со мной согласился и ушел в раздумьи. Замечу еще, что, как мне кажется, юное поколение наше гораздо лучше умеет спорить, чем старики, то есть собственно в манере спора, они выслушивают и дают говорить — и это именно оттого, что для них разъяснение дела дороже их самолюбия. Уходя, он пожалел о резкости письма своего, и все это вышло у него с неподдельным достоинством. Руководителей нет у нашей молодежи, вот что! А уж как она в них нуждается, как часто она устремлялась с восторгом во след людей, хотя и не стоивших того, но чуть-чуть если искренних! И каковы или каков должен быть этот будущий руководитель — там кто бы он ни был? Да и пошлет ли еще нам таких людей наша русская судьба — вот вопросы!

III

План обличительной повести из современной жизни

А ведь я об анонимном ругателе еще не кончил. Дело в том, что этакий человек может представить собою чрезвычайно серьезный литературный тип, в романе или повести. Главное, тут можно и надо взглянуть с иной уже точки зрения, с точки общей, гуманной, и согласить ее с русским характером вообще и с современною текущею причинностью появления у нас этого типа в особенности. В самом деле, чуть-чуть вы начнете работать над этим характером, как тотчас сознаетесь, что у нас без таких людей теперь и не может быть, или еще ближе — что только подобного рода людей мы, скорее всего, и ожидать должны в наше время, и что если их сравнительно еще мало, то это именно по особой милости Божией. В самом деле, все это народ взросший в наших недавних шатких семей-

ствах, у недовольных скептических отцов, передавших детям одно равнодушие ко всему насущному и много, что какое-то неопределенное беспокойство насчет чего-то грядущего, страшно фантастического, но во что, однако же, наклонны уверовать даже эти так называемые **готовые** реалисты и холодные ненавистники нашего настоящего. Да сверх того передавших им, разумеется, скептический бессильный смех, хотя и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало ли взросло за последние двадцать, двадцать пять лет детей, у этих гадких завистников, проживших последние выкупные и оставивших детям нищету и завет подлости — разве мало таких семейств? И вот молодой человек вступает, положим, на службу. Фигуры нет, «остроумия нет», связей никаких. Есть природный ум, который, впрочем, у всякого есть, но так как он у него воспитан прежде всего на бесцельном зубоскальстве, вот уж двадцать пять лет принимающемся у нас за либерализм, то уж, конечно, наш герой свой ум немедленно принимает за гений. О, Боже, как не оказаться безграничному самолюбию, когда человек вырос без малейшей нравственной выдержки. И сначала он куражится ужасно, но так как в нем все-таки ум (я для типа предпочитаю взять человека несколько умнее средины людей, чем глупее, ибо только в этих двух случаях и возможно появление такого типа), то он скоро догадывается, что зубоскальство все же вещь отрицательная и до положительного ни до чего не доведет. И что если довольствовался им его батюшка, то ведь потому, что тот был все же старый колпак, хоть и либеральный человек, ну, а он, сынок, все же гений, и только вот покамест проявить себя затрудняется. О, он, конечно, готов на всякую самую положительную подлость в душе, «ибо почему же не употребить подлость в дело? Да и кто может доказать в наш век, что подлость есть подлость» и т. д., и т. д. — Одним словом, он ведь взрос на этих готовых вопросах. Но он скоро догадывается, что ныне, чтоб даже и подлость-то употребить в дело, надо ждать долгой вакансии, да к тому же от нравственной готовности на подлость до дела

даже и ему, пожалуй, далеко, и надо предварительно еще, так сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь он поглупее, он бы мигом устроился: «высшие поползновения долой и примоститься поскорее к тому-то или к такому-то, да уж и тянуть за ними лямку послушно и убежденно и — в конце карьера». Но самолюбие-то, убеждение-то в своей гениальности пока еще долго мешает: не может он даже и в мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу свою с судьбой такого-то иль такого-то: «Нет-с, мы пока еще в оппозиции, а если они захотят меня, то пусть сами придут-поклонятся». И вот он ждет, пока кто-нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждет, а между тем, под боком у него такой-то уже шагнул выше его, другой уже примостился, а третий уже сел ему в начальники, — этот третий, которому он же, там, в их «высшем училище», изобрел прозвище и пустил на него эпиграмму в стихах, когда рукописный училищный журнал издавал и слыл там за гения. «Нет-с, это обидно! Нет, зачем же не я, а он? И везде-то, везде-то все занято! Нет, думает он, тут не моя карьера, да и что служить, служат мешки, мое поприще литература», — и вот он начинает рассылать по редакциям свои произведения, сначала incognito, потом с обозначением полного имени. Ему, разумеется, не отвечают; в нетерпении он пускается лично обивать пороги редакций. При случае получая обратно рукопись, позволяет себе даже поострить, желчно позубоскальничать, так сказать, сердце сорвать, но все это не помогает. «Нет, видно и тут все занято», думает он, скорбно усмехаясь. Главное, его все мучит роковая забота отыскивать всегда и везде как можно больше людей хуже себя. О, он бы и понять никогда не мог, как это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вот тогда-то он и натыкается в первый раз на мысль пустить в какую-нибудь редакцию, из тех, где его наиболее обидели, злобное неподписанное письмецо. Написал, пустил, повторил в другой раз — понравилось. Но последствий все-таки никаких, все попрежнему кругом его глухо, немо и слепо. «Нет, что ж эта за карьера», решает он окон-

чательно и решает, наконец, «примоститься». Он выбирает лицо — именно своего начальника — директора, тут, может быть, как-нибудь помогает ему и случай и связишки. И Поприщин у Гоголя начал ведь с того, что отличился чинкою перьев и был вытребован для сей цели в квартиру его превосходительства, где и увидал директорскую дочку, для которой очинил два пера. Но время Поприщиных прошло, да и перьев теперь не чинят, да и не может изменить наш герой своему характеру: не перья в его голове, а самые дерзкие мечты. Короче, в самый короткий срок. он уже убежден, что пленил директорскую дочку и что та по нем изнывает. «Ну вот и карьера, — думает он, — да и к чему бы годились женщины, если б нельзя было через них сделать умному человеку карьеру: в этом, в сущности, весь женский вопрос и заключается, если реально-то обсудить его. А главное, и не стыдно: мало ли кто выходил на дорогу через женщин?» Но — но тут как раз подвертывается, как и у Поприщина, адъютант! Поприщин поступил по своему характеру: он сошел с ума на мечте о том, что он Испанский король. И как натурально! Что могло оставаться приниженному Поприщину, без связей, без карьеры, без смелости и без всякой инициативы, да еще в то петербургское время, как не броситься в самое отчаянное мечтание и поверить ему? Но наш Поприщин, современный нам Поприщин — ни за что в мире не в состоянии поверить, что он такой же самый Поприщин, как и первоначальный, только повторившийся тридцать лет спустя. В душе его громы и молнии, презрение и сарказмы и — и вот он бросается тоже в мечту, но в другую. Он вспоминает, что на свете могут быть анонимные письма и что они уже раз употреблены им, и — вот он рискует свое письмецо, но уже не в журнальную редакцию, а почище-с; он чувствует, что вступает в новый практический фазис. О, как он запирается в своей каморке от своей хозяйки, как трепещет, чтоб за ним не подглядели, но он строчит, строчит, изменяя почерк, создает четыре страницы клевет и ругательств, перечитывает с наслаждением и — просидев ночь, к

рассвету запечатывает письмо и адресует — к жениху адъютанту. Почерк он изменил, он не боится. Вот он рассчитывает часы, вот теперь письмо должно дойти — это жениху об его невесте, — о, тот, конечно, откажется, он испугается, ведь это же не письмо, а «шедёвр»! И молодой наш друг изо всех сил знает, что он подленький негодяй; но он этому только рад: «Ныне-де время раздвоения мысли и широкости, ныне прямолинейной мыслью не проживешь».

Разумеется, письмо не оказало действия, свадьба состоялась, но начало сделано, и герой наш как бы попал на свою карьеру. Его обуял своего рода мираж, как и Поприщина. С жаром бросается он в новую деятельность, в анонимные письма. Он выведывает про своего генерала, он соображает, он изливает все, что накопилось в нем за целые годы неудовлетворенной службы, раздраженного самолюбия, желчи, зависти. Он критикует все действия генерала, он осмеивает его самым беспощадным образом, и это в нескольких письмах, в целом ряде писем. И как ему это сначала нравится! И поступки-то генерала, и жену-то его, и любовницу, и глупость всего их ведомства — все, все изобразил он в своих письмах. Мало-по-малу он кидается даже в государственные соображения, он компонует письмо к министру, в котором предлагает изменить Россию, уже не церемонясь. «Нет, министр не может не поразиться, гений поразит его и письмо дойдет, пожалуй, до... До такого то есть лица, что... Одним словом, кураж, mon enfant, и когда станут разыскивать автора, тут-то я разом и объявлюсь, так сказать, уже без застенчивости». Одним словом, он упивается своими произведениями и поминутно воображает, как распечатываются его письма и что затем происходит на лицах тех лиц... В таком расположении духа он позволяет себе иногда даже и пошалить: для шутки пишет к иным самым смешным даже лицам, не пренебрегает каким-нибудь даже Егором Егоровичем, своим старичком столоначальником, которого и вправду чуть не сводит с ума, анонимно уверив его, что его супруга завела любовную связь с местным частным приставом

(главное, что тут наполовину могло быть и правды). Так проходит некоторое время, но... но вдруг странная идея осеняет его, — именно: что ведь он, Поприщин, не более как Поприщин, тот же самый Поприщин, но только в миллион раз подлее, и что все эти пасквили из-за угла, все это анонимное могущество его, есть в сущности мираж и больше ничего, да еще самый гаденький мираж, самый паскудненький и позорный, хуже даже чем мечта об испанском престоле. А тут как раз случилось обстоятельство уже серьезное, — не позорное какое-нибудь: «что позор, позор вздор, позора боятся лишь аптекари», а действительно страшное обстоятельство, в самом деле страшное. Дело в том, что хоть рассудок и был у него, но все же он не удержался и во время своего упоения новой карьерой, именно после-то письмеца к министру, сболтнул о своих письмах — кому же? Немке, хозяйке своей, — ну, конечно, не все, она бы и не поняла всего, конечно, чуть-чуть, так, от избытка лишь сердца; но каково же было его изумление, когда, через месяц, тихоня-чиновник другого ведомства, проживавший у той же хозяйки в отдаленной комнатке, злобно-молчаливый человечек, вдруг рассердившись на что-то, намекнул ему, проходя мимо в коридоре, на то, что он, — то есть вот он, чиновник-тихоня, — есть «человек нравственный, и анонимных писем, по примеру некоторых господ, не пишет». Каково! Сначала он не так испугался, мало того, проэкзаменовав чиновника, — а для того нарочно и даже унизительно помирившись с ним, — он убедился, что тот ничего почти и не знает. Но... ну, а если знает? К тому же в департаменте давно уже начался слух о том, что кто-то пишет начальству по городской почте ругательства и что это непременно кто-то из своих. Несчастный начинает задумываться, даже не спит по ночам. Одним словом, можно особенно ярко выставить его душевные муки, его мнительность, его промахи. Наконец, он почти уже совсем убежден, что все все знают, что ему только не говорят до времени; что же об исключении его из службы, то это уже решено, что этим, конечно, не ограничатся, — одним словом,

он почти сходит с ума. И вот раз сидит он в департаменте, и почти беспредельное негодование подымает его сердце на все и на всех: «О злые, проклятые люди, думает он, ну можно ли так притворяться! Ведь они знают же, что **это я,** знают все до единого, ведь они об этом шопотом говорят друг с другом, когда я прохожу мимо, знают и бумагу, которая обо мне там в кабинете приготовлена и... и все притворяются! Все скрывают от меня! Им хочется насладиться, увидеть, как меня потащут... Так нет же! Нет же!» И вот он, час спустя, случайно относит какую-то бумагу в кабинет его превосходительства. Он входит, кладет почтительно бумагу на стол, генерал занят и не обращает внимания, он повертывается, чтоб неслышно выйти, берется за замок и — вдруг, так, как падают в бездну, бросается к ногам его превосходительства, за секунду и не подозревая о том, что бросится: «Все равно погибать, лучше уж сам сознаюсь!» «Только потише, ваше превосходительство, только пожалуйста, потише, ваше превосходительство! Чтоб там не услыхал нас кто-нибудь, а я вам все расскажу, все расскажу!» — умоляет он, как безумный, изумленного его превосходительство, сложа перед ним по-дурацки руки. И вот, отрывочно, бессвязно, весь дрожа, глупо признается во всем, к вящему изумлению его превосходительства, совсем ничего и не подозревавшего. Но ведь и тут герой наш выдержал характер вполне, — ибо для чего он бросился к ногам генерала? Конечно, от болезни, конечно, от мнительности, но **главное и от того,** что он, — и струсивший, и униженный и себя во всем обвиняющий, — а все же мечтал попрежнему, как всеупоенный самомнением дурачок, что, может быть, его превосходительство, выслушав его, и все же, так сказать, пораженный его гением, — раскроет обе руки свои, которыми он столь много подписывает на пользу отечества бумаг, и заключит его в свои объятия: «Неужели, дескать, ты до того доведен был, несчастный, но даровитый молодой человек! О, это я, я во всем виноват, я просмотрел тебя! Беру всю вину на себя. О, Боже мой, вот до чего принуждена доходить наша талант-

ливая молодежь из-за вины наших старых порядков и предрассудков! Но приди, приди на грудь мою, и — вместе со мною раздели пост мой и мы... и мы перевернем департамент!» Но так не случилось, и потом, долго спустя, в позоре и в унижении, вспоминая о пинке носком генеральского сапога, пришедшегося ему прямо тогда в лицо, он почти искренно обвинял судьбу и людей: «Раз, дескать, в жизни моей я раскрыл людям мои объятия вполне, и что же удостоился получить?» Финал ему можно придумать какой-нибудь самый натуральный и современный, например, его, уже выгнанного из службы, нанимают в фиктивый брак, за сто руб., при чем после венца он в одну сторону, а она в другую к своему лабазнику: «и мило и благородно», как выражается частный пристав у Щедрина о подобном же случае.

Одним словом, мне кажется, что тип анонимного ругателя — весьма недурная тема для повести. И серьезная. Тут, конечно бы, нужен Гоголь, но... я рад, по крайней мере, что случайно набрел на идею. Может быть, и в самом деле попробую вставить в роман.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Прежние земледельцы — будущие дипломаты

Но куда я удалился от дела? Я начал с того, что я в деревне и рад тому. Давненько-таки я не живал в русской деревне. Но о деревне потом, а здесь лишь вставлю, что я уже потому, между прочим, рад, что я в деревне, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся там наших русских. В самом деле, в наше, столь народное, столь единительное и патриотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русских, ждешь русских, желаешь и требуешь русских, в такое время слишком тяжело видеть за границей, куда вот уж двадцать лет, ежегодно экспатри-

руется и где колонизируется наша интеллигенция, — претворение чисто-русского, сырого и превосходного, может быть, материала в жалкую международную дрянь, обезличенную, без характера, без народности и без отечества. Я не про отцов говорю, — отцы неисправимы и Бог с ними, — а про их несчастных детей, которых они губят за границей. Отцы же даже отъявленным нашим русским европейцам становятся, наконец, смешны. Г. Буренин, отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих писем забавную встречу с одним из наших европейцев сороковых годов, «в седых почтенных кудрях», проживающим постоянно за границей, но приехавшим нарочно на войну посмотреть, на «зрелище борьбы» (разумеется, с самого почтительного расстояния) и разострившимся в вагоне над всем, над чем вот уже сорок лет острят эти господа, то есть над русским духом, над славянофилами и проч. Он потому-де живет за границей, что у нас в России «все еще нечего делать серьезному и порядочному человеку». (NB. Я привожу цитаты на память). Одна из удачнейших острот его состояла в том, что «уже сделано распоряжение по железным дорогам привезти в особом вагоне, в виду вступления наших войск в Болгарию и обновления славянства — тень Хомякова». Но этому седокудрому господину можно бы было заметить, что сам он очень тоже похож на тень какого-нибудь, может быть, и весьма почтенного западно-либерального говорильщика сороковых годов, но который теперь, если б, столько лет спустя и дожив до седых кудрей, повторял бы то же самое, на чем остановился в своих сороковых годах, то уж, конечно, даже будь он хоть сам Грановский, казался бы непременно точь-в-точь таким же самым шутом, как и этот господин, извещавший о распоряжении доставить по железной дороге на театр войны тень Хомякова и о том, что в нашей России все еще нечего делать порядочному человеку.

Эмигрировали из России (я удерживаю это слово) двадцать лет назад наиболее помещики, и с тех пор эмиграция продолжается с каждым годом. Конечно, в

этом числе много и не помещиков, были всякие, но, в огромном большинстве, если не все, — более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, «что в России таким порядочным и умным, как они, людям, нечего делать», другие уже просто ненавидя ее безо всяких убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобожденного мужика, за русскую историю, одним словом, за все, за все ненавидя. Замечу, что такая ненависть может быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатии равнодушная. А тут как раз почувствовались в руках выкупные и, сверх того, ужасно многих озарило убеждение, что с освобождением крестьян все погибло — и деревня, и землевладение, и дворянство, и Россия. Правда и то, что с освобождением крестьян сельский труд остался без достаточной организации и обеспечения, и личное землевладение натурально струсило и сконфузилось так, как ни в какой исторический переворот не могло бы случиться больше. Вот и пустились помещики продавать и продавать и часть их (слишком не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себе в оправдание, но не могут же они утаить, и перед согражданами, и перед детьми своими, что главная причина их эмигрирования была тоже и приманка эгоистического «ничего-неделанья». И вот с тех пор русская личная поземельная собственность в полнейшем хаосе, продается и покупается, меняет своих владетелей поминутно, меняет даже вид свой, обезлесивается, — и во что обратится она, за кем останется она окончательно, из кого составится окончательное обновленное русское землевладельческое сословие, в какую форму преобразится оно в конце концов — все это трудно предсказать, а между тем, если хотите, в этом главнейший вопрос русской будущности. Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете: кто в стране владеют землей, те и хозяева той страны, во всех отношениях. Так бывало везде и всегда. Но у нас, скажут, сверх того община, — вот, значит, и хозяева. Но... вопрос об общине разве из

решенных у нас окончательно? Разве пятнадцать лет назад он не вошел у нас тоже в новый фазис, как и все остальное? Но об этом обо всем потом, а заключу пока мою мысль голословно: если в стране владение землей **серьезное,** то и все в этой стране будет серьезно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях. Хлопочут, например, у нас о просвещении, о народных школах, а я вот верю только тому, что школы тогда только примутся у нас серьезно и основательно, когда землевладение и земледелие наше организуются у нас серьезно и основательно, и что скорее не от школы получится хорошее земледелие, а, напротив, от хорошего лишь земледелия (то есть от правильного землевладения) получится хорошая школа, но никак не раньше. Параллельно же с этим примером и все: и порядки, и законы, и нравственность и даже самый ум наций, и все, наконец, всякое правильное отправление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, но каков характер землевладения, таков и весь характер нации.

Но теперь пока наши бывшие помещики гуляют за границей, по всем городам и водам Европы, набивая цены в ресторанах, таская за собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и английских костюмах, с голыми ножками, на показ Европе. А Европа-то смотрит и дивится: «Вот ведь сколько у них там богатых людей, и, главное, столь образованных, столь жаждущих европейского просвещения. Это ведь из-за деспотизма им до сих пор не выдавали заграничных паспортов, и вдруг сколько у них оказалось землевладетелей и капиталистов и удалившихся от дел рантьеров, — да больше чем даже во Франции, где столько рантьеров!» И расскажите Европе, растолкуйте ей, что это чисто-русское явление, что никакого тут нет рантьерства, а, напротив, пожирание основных своих фондов, сжигание свечки с обоих концов, то Европа, конечно, не поверит этому,

невозможному у ней, явлению, да и не поймет его вовсе. И ведь, главное, эти сибариты, слоняющиеся по германским водам и по берегам швейцарских озер, эти Лукуллы, проживающиеся в ресторанах Парижа — ведь сами они знают и с некоторою даже болью все же предчувствуют, что ведь фонды-то они свои, наконец, проедят, и что детям их, вот этим самым херувимчикам в английских костюмчиках, придется, может быть, просить по Европе милостыню (и будут просить милостыню!) или обратиться в французских и немецких рабочих (и обратятся в французских и немецких рабочих!). Но, думают они, «après nous le déluge, да и кто виноват: виноваты все те же наши русские порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному человеку до сих пор еще ничего сделать нельзя». Вот как они думают, а либеральнейшие из них, те, которые могут назваться высшими и чистейшими западниками сороковых годов, те прибавляют еще, может быть, про себя: «Ну что ж, что дети останутся без состояния, зато унаследуют идею, благородную закваску истинного и священного образа мыслей. Воспитанные вдали от России, они не будут знать попов и глупое слово: «Отечество». Они поймут, что отечество есть предрассудок и даже самый пагубнейший из всех существующих в мире. Из них выйдут благородные общечеловеческие умы. Мы и только мы, русские, положим начало этим новым умам. Именно тем, что проживаем за границей наши выкупные, мы полагаем основание новому грядущему международному гражданству, которое, рано ли, поздно ли, а обновит Европу, и вся честь зато нам, потому что мы начали раньше всех». Впрочем, так говорят лишь «седокудрые», то есть еще очень немногие, ибо много ли передовых-то? Более же практические, и даже из «седокудрых» **не столь благородные,** в конце концов, все еще надеются на «связишки»: «Мы-то здесь проживаемся, это правда, да ведь и наживаем же что-нибудь все-таки, ну, там знакомства, связишки, которые потом в «Отечестве»-то и пригодятся. К тому же хоть и в либеральном духе воспитываем деток, да ведь все ж джентльменами, —

а в этом ведь и все главное. Будут они витать в сферах исключительных и высших, а либерализм в высших сферах всегда обозначал и сопровождал у нас джентльменство, ибо джентльменский либерализм для высшего-то, так сказать, консерватизма и полезен, это всегда у нас различать умели. И что ж, мы детей растим за границей и — как раз, значит, готовим их в дипломаты. Что за прелесть здесь все эти места при посольствах, при консульствах и какая бездна-бездная этих милейших местечек, и как восхитительно дотированных! Вот и хватит на наших детишек: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая: знай знакомься с русскими за границей, из тех, кто попорядочнее, а из тех, кто накуралесят да защитить себя консула просят — мы тех свысока обернем, поначальственнее, и слушать-то не станем: «не верим вам, дескать, беспорядки производите сами, все еще воображаете себя в милом отечестве, тогда как здесь место чистое. Из-за вас неприятности получай да и стоит еще из-за такого, как вы, иноземное начальство беспокоить; вы только посмотрите на себя в зеркало, до чего вы дошли-с!» Вот и вся служба в этом! Одним словом, сумеют и наши деточки выйти в люди, да-с, были бы только связи — вот что первее всего надо родительскому сердцу наблюсти, а прочее все приложится по востребованию».

Итак, все не столь благородные из проживающихся за границей более или менее рассчитывают на связишки. Но ведь что такое связи? Ну, хоть и значат что-нибудь, но ведь эта **материя** ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мешало, кроме связей, запасти себе — ну хоть немножко знания России и собственного ума, хоть на всякий случай. Теперь же, именно в эпоху реформ и новых начал, у нас как нарочно все собственым умом хотят жить, все того захотели: — идея, бесспорно, просвещенная, но то беда, что никогда еще у нас не бывало столь мало собственного ума как теперь, при общем желании иметь его. Почему это так

— решать не возьмусь, да и трудно, но одну из причин, почему херувимчики наши, бесспорно, будут дурачками — основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на нее. А впрочем все то же самое, об чем я говорил и в прошлом году. Причина — русский язык, то есть недостаток русского, отечественного языка от воспитания за границей, с гувернантками и боннами иностранками. Это у нас и всегда водилось, и прежде, то есть недостаток этот, но никогда как теперь, когда столько херувимчиков взрастет за границей. Положим, они готовятся в дипломаты, а дипломатический язык, известно, французский язык: русский же язык довольно знать лишь и грамматически. Но так ли это? Вопрос этот хоть и до пошлости старый, а между тем он до того еще нерешенный, что недавно даже в печати о нем заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочинений г. Тургенева на французском языке. Выражено было даже мнение, что «не все ли равно г. Тургеневу сочинять на французском или на русском языке и что тут такого запрещенного?» Запрещенного, конечно, нет ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русского языка, как Тургенев, и если у него такая фантазия, то почему же ему не писать на французском, да и к тому же если он французский язык почти как русский знает. И потому о Тургеневе ни слова, но... но я вижу, что я решительно повторяюсь и прошлого года говорил решительно то же самое, на ту же самую тему, и в этих же заграничных месяцах, толкуя с загранично-русской маменькой о вреде французского языка для ее херувимчиков. Но маменька готовит теперь херувимчиков в дипломаты и вот собственно лишь по поводу дипломатии-то, хоть и неприятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

«Но ведь дипломатический язык французский, — прерывает меня маменька на этот раз, не дав мне даже и начать. Увы, она с прошлого года приготовилась, она третирует меня свысока. — Так, сударыня, отвечаю я, возражение ваше сильное, и я согласен с вами бесспорно. Но, во-первых, ведь что я говорил о знании русского языка, надо приложить и к французскому,

ведь не правда ли? Ведь, чтобы выразить богатство своего организма на французском языке, надо и французский язык усвоить себе богатейшим образом. Ну, так знайте же, есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, которому принадлежите вы. Вы морщитесь, я вас обидел, вы смотрите насмешливо. Вы машете ручкой и уверяете меня, что слышали это еще прошлого года, и что я повторяюсь. Хорошо-с, я вам уступаю, да и тема эта не **дамская.** Я вам просто-запросто уступлю и соглашусь с вами, что можно и русскому усвоить себе французский язык в совершенстве, но с огромным условием: родиться во Франции, вырасти в ней и с самого первого часа своей жизни преобразиться в француза. О, вы развеселились, вы уже улыбаетесь, но заметьте, однако, сударыня, что это даже и для вас не совсем возможно будет исполнить касательно вашего херувимчика, несмотря даже на все удобства, то есть эмиграцию, выкупные, парижскую бонну и проч., и проч. К тому же возьмите в соображение и природные, так сказать, дары, потому что нельзя же ведь сравнивать г. Тургенева и вашего, например, херувимчика относительно этих даров. Много ль, скажите, родится Тургеневых-то... Ах нет, нет, что я! Я опять ошибся, сболтнул: из вашего херувимчика выйдет наверно Тургенев, или даже три Тургенева разом, оставим это, но... — «Но, — прерываете вы вдруг меня, — ведь дипломаты и без того все умны, зачем же уж так хлопотать об уме? Поверьте, были бы только связи. Mon mari...» — Вы совершенно правы, сударыня, — перебиваю и я поскорее, были бы связи, и, оставляя вашего супруга как можно более в стороне, все-таки прибавлю, что к связям не худо бы хоть немного ума. И во-первых, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только, что они и до дипломатии были умные люди, а поверьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатов замечательно глупых людей. — «Ах нет, вот уж извините, — прерываете вы меня в нетерпении, — дипломаты все

всегда умные, и все на превосходных местах, и это самая благородная служба!» — Сударыня, сударыня, — восклицаю я, — вы говорите: связи и знание языков, но ведь связи только место доставят, а там, потом... Ну, представьте себе: ваш херувимчик взрастает в ресторанах Европы, кутит с молодыми кокотками в товариществе заграничных виконтов и наших русских графов, но ведь потом... Вот он знает все языки, и уже по тому одному никакого. Не имея же своего языка, он естественно схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается еще с молоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения. Он дипломат, но для него история наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает того, чем живут нации и народы, какие законы в организме их и есть ли в этих законах целое, усматривается ли общий международный закон. Он готов выводить все события мира из того только, что такая-то, например, королева рассердила фаворитку такого-то короля, вот и произошла от того война двух королевств. Позвольте, я буду с вашей точки зрения судить. Пусть связи... Но ведь для приобретения связей нужен характер, нужна, так сказать, любезность характера, мягкость, доброта и в то же время твердость, настойчивость... Дипломат, ведь, должен быть пленителен, так сказать, пленять, побеждать, не правда ли? Ну, так поверите ли вы или нет, когда я вам прямо и в высшей степени определенно скажу, что без знания натурального своего языка, без обладания им, нельзя даже выровнять себе и характера, особенно если херувимчик хорошо и богато одарен от природы. У него начнут же в свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будут давить, так сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себе выражения, а без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения, то есть без языка, без развития его, без утонченностей его, без обладания оттенками его — сын ваш будет вечно недоволен собою; обрывки мыслей перестанут его

удовлетворять, накопляющийся в уме и в сердце материал потребует основательного уже выражения... Молодой человек станет озабочен, рассеян, беспредметно задумчив, потом брюзглив, несносен, потом расстроит свое здоровье, даже желудок, может быть, верите ли тому...

Но вижу, вижу, вы покатились со смеху, я опять увлекся, согласен (а, ведь, Боже, какую я правду говорю!), но позвольте мне закончить, позвольте мне вам напомнить, что я давеча вам уступил, я с вами согласился, для виду, что дипломаты все же умные люди, но вы меня до того довели, сударыня, что я принужден теперь не скрыть от вас даже самую секретнейшую подкладку взгляда моего на этот предмет. Именно, сударыня, мне, как нарочно, несколько уже раз в жизни приходило на мысль, что в дипломатии, то есть во всеобщей дипломатии, всех народов и всего девятнадцатого столетия, чрезвычайно даже мало было умных людей. Даже поражает. Напротив, скудоумие этого сословия в истории Европы нынешнего столетия... то есть, видите ли, все они умны, более или менее, это бесспорно, все остроумны, но умы-то это какие! Проникал ли хоть один из этих умов в сущность вещей, понимал ли, предчувствовал ли таинственные законы, ведущие к чему-то Европу, к чему-то неизвестному, странному, страшному — но теперь уже очевидному, почти воочию совершающемуся в глазах тех, которые чуть-чуть умеют предчувствовать? Нет-с, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума в этом столь почтенном и фаворизированном сословии! (Я уж, конечно, говоря так, исключаю Россию и все отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, в этом деле «особь-статья»). Напротив, во все столетие являлись дипломатические умы, положим, прехитрейшие, интриганы, с претензией на реальнейшее понимание вещей, а, между тем, дальше своего носу и текущих интересов (да еще самых поверхностных и ошибочных) никто из них ничего не усматривал! Порванные ниточки как бы там связать, заплаточку на дырочку положить,

«цену подбить, вызолотить, за новое сойдет» — вот наше дело, вот наша работа! И всему тому есть причины — и главнейшая, по-моему — разъединение начал, разъединение с народом и обособление дипломатических умов в слишком уж, так сказать, великосветской и отвлеченной от человечества сфере. Ну, возьмите, например, графа Кавура — это ль был не ум, это ли не дипломат? Я потому и беру его, что за ним уже решена гениальность, да к тому же и потому еще, что он умер. Но что ж он сделал, посмотрите: о, он достиг своего, объединил Италию и что жы вышло: 2000 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею — не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а реальную органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объединение всего мира — сначала древне-римское, потом папское. Народы, взраставшие и преходившие в эти два с половиной тысячелетия в Италии, понимали, что они носители мировой идеи, а не понимавшие чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство — все облекалось и проникалось этим же мировым значением. О, положим, что мировая эта идея там, под конец, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя вряд ли так?), но, ведь, что ж, наконец, получилось вместо-то нее, с чем поздравить теперь-то Италию, чего достигла она лучшего-то после дипломатии графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевствьицо, потерявшее всякое мировое поползновение, променявшее его на самое изношенное, буржуазное начало, — тридцатое повторение этого начала со времени первой французской революции — королевство вседовольное своим единством, ровно ничего не означающим, единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единством), и сверх того, в неоплатных долгах, и сверх того, именно вседовольное своею второстепенностью. Вот что получилось, вот создание графа Кавура! Одним словом, современный дипломат есть именно «великий зверь на малые дела!» Князь Меттерних считался одним из самых глубоких и тончайших

дипломатов в мире и уж бесспорно имел всеевропейское влияние. А, между тем, в чем была его идея, как понял он свой век, в его время лишь начинавшийся, как предчувствовал он грядущее будущее? Увы, он со всеми основными идеями начинавшегося столетия решил справиться полицейским порядком и вполне был уверен в успехе! Посмотрим теперь на князя Бисмарка, вот этот так уж, бесспорно, гений, но...

«Finissons, monsieur», строго прерывает меня маменька с видом глубоко и свысока оскорбленного достоинства. Я, разумеется, тотчас же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понят, конечно, с маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такие темы, и я дал страшного маху. Но с кем можно-то теперь заговаривать о дипломатии, вот ведь вопрос? А ведь какая интереснейшая тема как раз в наше время! Но...

II

Дипломатия перед мировыми вопросами

И какая серьезная тема! Ибо что такое теперь наше время? Все, кто одарены мудростью, говорят, что наше время есть время по преимуществу дипломатическое, время решения всех мировых судеб одной лишь дипломатией. Утверждают, что будто бы где-то теперь у нас идет война. И я даже слышал о том, что идет война, но мне говорят, и я читаю везде, что если и есть там что-то и где-то вроде войны, то все это наверно не так понимается... По крайней мере, решено, что эта война ничему не помешает, то есть никаким здравым отправленям нации, совмещающимся, по последним взглядам всего того, что называется вообще «премудростью», преимущественно и даже единственно в одной лишь дипломатии; и что самые даже эти военные прогулки, маневры и проч. всегда, впрочем, необходимые, — в истинном смысле вещей составляют не более, как лишь один из фазисов высшей дипломатии и ничего более. Так и надо веровать. С моей стороны я очень наклонен этому верить, ибо все это

очень успокоительно, но вот, однако, что любопытно и что ужасно как выдается: у нас, например, загорелся Восточный вопрос, загорелся он и во всей Европе тотчас же, как и у нас, даже раньше, — и это ужасно понятно: все и даже не-дипломаты (и даже особенно если не-дипломаты) — все знают давным-давно, что Восточный вопрос — есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших **отделов** мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. Известно, что тут дело не только одного Востока Европы касается, не только славян, русских и турок, или там специально болгар каких-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливов, входов и выходов, а гораздо глубже, основнее, стихийнее, насущнее, существеннее, первоначальнее. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатии так много дела. Но какое же, однако, дело у дипломатии? —вот мой вопрос! Чем она-то (по преимуществу теперь) в Восточном вопрос занята? Дело дипломатии (а иначе она и дипломатией бы не была), дело ее теперь — конфисковать Восточный вопрос во всех отношениях и поскорей уверить всех, кого следует и не следует, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что все это только так, маневрики и прогулочки — и даже, если только можно, то уверить, что Восточный вопрос не только не начинался, но и никогда его не бывало на свете, не существовало, а только туману лет сто назад напустили, из видов, и тоже дипломатических, так вот и лежит этот нерастолкованный туман до сих пор. Откровенно скажу, что этому можно бы даже и поверить, если б тут как раз не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вот беда!), ибо дипломатия никогда и ни за что не берется за такие загадки, мало того, отворачивается от них с презрением, ибо считает их недостойными высших умов фантазии. Эту загадку можно бы формулировать в таком виде: почему это всегда так происходит, и особенно в последнее время, с половины, то есть, девятнадцатого столетия, и чем далее тем нагляднее и осязательнее,

почему — чуть лишь дело коснется в мире до чего-нибудь мирового, всеобщего, как тотчас же, рядом с одним поднявшимся где-нибудь мировым вопросом, подымаются параллельно тому и **все остальные** мировые вопросы, так что мало, например, теперь Европе одного поднявшегося мирового вопроса, Восточного, нет, она рядом с ним нежданно-негаданно вдруг поднимает во Франции вопрос, и тоже мировой, католический? И католический вопрос не потому только, что вот-де умрет скоро папа, то Франция, как представительница католичества, должна позаботиться об том, чтоб отнюдь не исчезло и не изменилось ничего в установившейся веками организации католичества, а и потому еще, что католичество принято тут видимо за общее знамя соединения всего старого порядка вещей, за все девятнадцать веков, — соединения против чего-то нового и грядущего, насущного и рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота во всей западно-европейской жизни, или, по крайней мере, если и не совершится обновление это, то против страшного потрясения и колоссальной революции, которая несомненно грозит потрясти все царства буржуазии во всем мире, везде где они организовались и процвели, по шаблону французскому 1789 года, грозит сковырнуть их прочь и встать на их место. Кстати, на минутку отступлю от темы и сделаю одно необходимое nota bene, ибо предчувствую, как смешно покажется иным мудрецам, особенно либеральным, что я, в самом разгаре девятнадцатого столетия, называю Францию державою католической, представительницей католичества! А потому в разъяснение моей мысли и объявлю пока голословно, что Франция есть именно такая страна, которая, если б в ней не оставалось даже ни единого человека, верящего не только в папу, но даже в Бога, все-таки будет продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, так сказать, всего католического организма, знаменем его, и это пребудет в ней чрезвычайно долгое время, даже до невероятности, до того,

может быть, времени, когда Франция перестанет быть Францией и обратится во что-нибудь другое. Мало того: и социализм-то самый начнется в ней по католическому шаблону, с католической организацией и закваской, не иначе — до такой степени эта страна есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамест укажу лишь, например, на то: почему это так вдруг подтолкнуло маршала Мак-Магона возбудить и поднять, ни с того, ни с сего, именно католический вопрос? Этот храбрый генерал (впрочем, почти везде побежденый, а в дипломатии отличившийся коротенькой фразой **«j'y suis et j'y reste»**) — этот генерал вовсе не из таких, кажется, деятелей, чтоб в состоянии был **сознательно** поднять что-либо в этом роде. А вот начал же, поднял же самый капитальный из старо-европейских вопросов, и именно в том виде, в каком и должно было ему подняться — но, главное: почему, почему именно как раз в ту минуту поднять, как на другом конце мира загорался другой мировой вопрос, Восточный вопрос? Почему вопрос к вопросу жмется, почему один другой вызывает, тогда как, казалось бы, между ними и связи-то нет? Да и не одни эти два вопроса поднялись вместе: с Восточным поднялись и еще вопросы, поднимутся и еще и еще, если он правильно разовьется. Одним словом, главнейшие вопросы Европы и человечества в наш век начали подниматься всегда одновременно. И вот одновременность-то эта и поражает. Условие-то это непременно всем вопросам являться вместе и составляет загадку! Но для чего я это все говорю. А вот именно в виду того, что дипломатия на такие именно вопросы и смотрит с презрением. Она не только не признает никаких подобных совпадений, но и думать-то о них не желает. Миражи, дескать, вздоры и пустяки: «нет этого всего ничего, а просто маршалу Мак-Магону, а пуще его супруге чего-то захотелось, вот все и вышло». А потому, несмотря на то, что сам же я провозгласил, начиная этот отдел главы, что время наше по преимуществу дипломатическое, а прочее все мираж — сам же я принужден этому не поверить первый. Нет, тут

загадка! Нет, тут решает дело не одна дипломатия, а и еще что-то другое. И, признаюсь, я чрезвычайно смущен этим выводом; я так наклонен был верить в дипломатию, а все эти новые вопросы — все это только новые хлопоты и больше ничего...

III

Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, — решение не дипломатическое

В самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развил его голословно. Но всегда мне представлялся, и еще задолго до этого теперешнего вопроса (то есть вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь один из них подымается), еще другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но на который, именно потому что он так прост и естествен, люди мудрости и не обращают почти никакого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть дипломатия есть и была, всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов человечества, и будет впредь; но всегда ли окончательное решение европейских вопросов от нее зависит? Не бывает ли, напротив, такого фазиса, такой точки в каждом вопросе, когда уже нельзя разрешить его всем известным успокоительным способом, дипломатическим, то есть заплаточками. И хоть и бесспорно, что все мировые вопросы, с точки зрения дипломатического, а стало быть и здравого смысла, всегда объясняются не более как тем, что таким-то вот державам захотелось расширения границ, или лично чего-то захотелось такому-то храброму генералу или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной даме и проч., и проч. (пусть, это бесспорно, я это уж уступлю, ибо здесь премудрость), — но все-таки не бывает ли в известный момент, даже вот и при этих-то самых реальных причинах и их объяснениях, такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда появляются вдруг какие-то странные другие силы, положим, и непонятные

и загадочные, но которые овладевают вдруг всем, захватывают все разом в совокупности и влекут неотразимо, слепо, вроде как бы под гору, а, пожалуй, так и в бездну? В сущности я хотел бы только узнать: всегда ли так уж надеется на себя и на средства свои дипломатия, что никаких подобных сил, и точек, и фазисов не боится вовсе, а, пожалуй, так и не предполагает их вовсе? Увы, кажется, что всегда, а потому: как я поверю ей и доверюсь ей, и могу ли принять ее за окончательную решительницу судеб столь блажного и беспутного еще человечества!

Увы, в пространной истории Кайданова есть одна величайшая из фраз. Это именно, когда он, в Новой Истории, приступил к изложению французской революции и появлению Наполеона I. Фраза эта есть начало главы и она осталась в моей памяти на всю жизнь; вот она: «Глубокая тишина царствовала во всей Европе, когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои; но никогда подобная тишина не предшествовала такой великой буре!» — Скажите, что знаете вы выше из фраз? В самом деле, кто тогда в Европе, то есть когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои, мог бы предузнать, хотя бы самым отдаленным образом, что произойдет с людьми и с Европой в течение следующего тридцатилетия? Я не говорю про каких-нибудь там обыкновенных образованных людей, или даже писателей, журналистов, профессоров. Все они, как известно, сбились тогда с толку: Шиллер написал, например, тогда дифирамб на открытие Национального Собрания; путешествовавший по Европе молодой Карамзин смотрел с умилительным дрожанием сердца на то же событие, а в Петербурге, у нас, еще задолго перед сим красовался мраморный бюст Вольтера. Нет, я обращаюсь прямо к самой высшей премудрости, прямо к всерешителям судеб человеческих, то есть к самим дипломатам с вопросом: предугадывали ли они тогда хоть что-нибудь из того, что в следующее тридцатилетие произойдет?

Но ведь вот что ужасно: если б я спросил об этом дипломатов (и заметьте, все почти европейские

дипломаты учились по «Кайдашке») — и если б они удостоили меня выслушать, то наверно ответили бы с высокомерным смехом, что «**случайностей** предвидеть нельзя, и что вся мудрость состоит лишь в том, чтобы ко всяким случайностям быть готовым».

Каково-с! Нет, я вам скажу: это ответ типический, и хотя я сам его выдумал, потому что ни одного дипломата не беспокоил вопросами (да и не смею), но весь ужас мой в том, что я ведь уверен, что мне именно так ответили бы, а потому я и назвал сей ответ типическим. Ибо что такое, скажите, были эти события конца прошлого века в глазах дипломатов — как не **случайности?** Были и есть. А Наполеон, например, — так уж архи-случайность, и не явись Наполеон, умри он там, в Корсике, трех лет отроду от скарлатины — и третье сословие человечества, буржуазия, не потекло бы с новым своим знаменем в руках изменять весь лик всей Европы (что продолжается и до сих пор), а так бы и осталось сидеть там у себя в Париже, да, пожалуй, и замерло бы в самом начале!

Дело в том, что мне кажется, что и нынешний век кончится в Старой Европе чем-нибудь колоссальным, то есть, может быть, чем-нибудь хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все же настолько же колоссальным, — стихийным, и страшным, и тоже с изменением лика мира сего — по крайней мере, на Западе Старой Европы. И вот, если наши премудрые будут утверждать, что нельзя же предугадать **случайностей** и т. д., мало того: если им даже и в голову что-нибудь об этом финале не заходило, то...

Одним словом: заплаточки, заплаточки и заплаточки!

Ну, что же, будем благоразумны, будем ждать. Заплаточки, ведь, если хотите, вещь тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тем более, что заплаточками, напр., обмануть врага можно. Вот у нас теперь война, и если б случилось, что Австрия повернулась бы к нам враждебно, то «заплаточкой» ее как раз можно ввести в обман, в который сама же

она с удовольствием втюрится, ибо что такое Австрия? Сама-то она чуть не на ладан дышит, развалиться хочет, точно такой же «больной человек», как и Турция, да, может быть, и еще того плоше. Это образец всевозможных дуализмов, всевозможных внутри себя враждебных соединений, народностей, идей, всевозможных несогласий и противоречивых направлений; тут и венгры, тут и славяне, тут и немцы, тут и царство жидов... Ну, а теперь, благодаря ухаживанию за ней дипломатии, она и впрямь, пожалуй, может вздумать о себе, что она — могущество, которое и действительно много значит и многое может сделать в общем решении судеб. Такой обман воображения, возбужденный именно посредством ухаживания и заплаточек для решения славянских судеб, выгоден, ибо может на время отвлечь врага, а к моменту решения, когда он вдруг увидит, что его никто не боится, и что он вовсе не могущество — может поразить его упадком духа, попросту сконфузить. Другое дело Англия: это нечто посерьезнее, к тому же теперь страшно озабоченное в самых основных своих начинаниях. Эту заплаточками и ухаживаниями не усыпишь. Что ни толкуй ей, а ведь она ни за что никогда не поверит тому, чтоб огромная, сильнейшая теперь нация в мире, вынувшая свой могучий меч и развернувшая знамя великой идеи и уже перешедшая через Дунай, может в самом деле пожелать разрешить те задачи, за которые взялась она, себе в явный ущерб, и единственно в ее, Англии, пользу. Ибо всякое улучшение судеб славянских племен есть, **во всяком случае,** явный для Англии ущерб, и заплаточками тут ни за что и никого не умаслишь: не поверят! Просто ничему в Англии не поверят. Да и какими аргументами убедить ее? «Я вот, дескать, немножко **начну**, но не кончу». Но ведь в политике начало дела есть все, ибо начало, естественно, рано ли, поздно ли, приведет к концу. Что в том, что окончание завершится не сегодня, все равно завершится завтра. Одним словом, они не поверят, а потому надо бы и нам англичанам не верить, или как можно меньше верить, разумеется, про себя. Хорошо бы нам тоже

догадаться, что Англия в самом критическом теперь положении, в котором когда-либо находилась. Это критическое ее положение, может быть формулировано точнейшим образом в одном слове: **Уединение,** ибо никогда еще, может быть, Англия не была в таком страшном уединении как теперь. О, как бы она рада была теперь найти в Европе союз, какой-нибудь entente cordiale. Но беда ее в том, что не было еще момента в Европе, когда бы труднее было составить союз. Ибо именно теперь в Европе все поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все мировые противоречия, так что каждому народу и государству **страшно много собственного дела у себя дома**. А так как английский интерес не мировой, а давно уже от всего и всех отъединенный и единственно касающийся одной только Англии, то, на время по крайней мере, она и останется в чрезвычайном уединении. О, разумеется, ей можно было бы согласиться даже и с преследующими другую цель из взаимных выгод: «Я, дескать, тебе то доставлю, а ты мне это». — Но по характеру-то теперешних забот европейских трудно в этом роде entente cordiale составить, по крайней мере в данную минуту, и придется долго ждать, пока потом, в будущем развитии, найдется такой момент, что можно будет и ей куда-нибудь с своим союзом примазаться. Кроме того Англии прежде всего надобен союз выгодный, то есть такой, при котором она возьмет все, а сама отплатит, по-возможности, **ничем.** Ну, вот именно такого-то выгодного союза теперь всего более не предвидится, и Англия в уединении. О, если б этим уединением мы могли удачно воспользоваться! Но тут другое восклицание: «о, если бы мы были менее скептиками и могли уверовать в то, что есть мировые вопросы и что не мираж они!» Главное то, что у нас, в России, очень большая часть интеллигенции нашей всегда как-то видит и принимает Европу не реально, как она есть теперь, а всегда как-то задним числом, с запаздыванием. В будущность не заглядывают, а наклонны судить более по прошедшему, даже по давнопрошедшему.

А, между тем, мировые вопросы существуют действительно, и как бы это в них-то не верить, да еще нам-то? Два из них уже поднялись и влекутся уже не человеческою премудростью, а стихийною своею силою, основною, органическою своею потребностью, и не могут уже остаться без разрешения, несмотря на все расчеты дипломатии. Но есть и третий вопрос, и тоже мировой, и тоже подымается и почти уже поднялся. Вопрос этот, в частности, можно назвать германским, а в сущности, в целом, как нельзя более всеевропейским, и как нельзя сильнее слит он органически с судьбой всей Европы и всех остальных мировых вопросов. Казалось бы однако на вид, что ничего не может быть спокойнее и безмятежнее, как теперь Германия: в спокойствии грозной силы своей она смотрит, наблюдает и ждет. Все более или менее в ней нуждаются, все более или менее от нее зависят. И однако... все это мираж! Вот то-то и есть, что у всех теперь в Европе свое дело, у каждого объявилось по собственному своему самоважнейшему вопросу, по вопросу такой важности, как само почти существование, как вопрос о том, быть или не быть. Вот этакой самый вопрос нашелся и у Германии, и как раз в ту минуту, как поднялись и другие мировые вопросы — и вот это-то состояние Европы, прибавлю, забегая вперед, как не надо более выгодно для России в данный момент! Ибо никогда она не была столь нужна Европе и могущественнее в глазах ее, и, между тем, столь отъединеннее от поднявшихся в ней, в этой Старой Европе, самых капитальных и страшных, но своих, ей только, Старой Европе, а не России, свойственных вопросов. И никогда союз России не ценился бы выше как теперь в Европе, никогда еще она не могла себя с большею радостью поздравить с тем, что она не Старая Европа, а Новая, что она сама по себе, свой особый и могучий мир, для которого именно теперь наступил момент вступить в новый и высший фазис своего могущества и более чем когда-нибудь стать независимою от прочих, **ихних**, роковых вопросов, которыми старая дряхлая Европа связала себя!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Германский мировой вопрос. Германия страна протестующая.

Но мы заговорили про Германию, про теперешнюю задачу ее, теперешний ее роковой, а вместе с тем и мировой вопрос. Какая же это задача? И почему эта задача лишь теперь обращается для Германии в столь хлопотливый вопрос, а не прежде, не недавно, не год назад, или даже не два месяца назад?

Задача Германии одна, и прежде была, и всегда. Это ее **протестантство,** не та единственно формула этого протестантства, которая определилась при Лютере, а всегдашнее ее протестантство, всегдашний **протест** ее — против римского мира, начиная с Арминия, против всего, что было Римом и римской задачей, и потом против всего, что от древнего Рима перешло к новому Риму и ко всем тем народам, которые восприняли от Рима его идею, его формулу и стихию, к наследникам Рима и ко всему, что составляет это наследство. Я убежден, что некоторые из читателей, прочтя это, вскинут плечами и засмеются: «ну, можно ли, дескать, в девятнадцатом столетии, в век новых идей и науки, толковать о католичестве и протестантстве, как будто мы еще в средних веках! И если еще есть, пожалуй, религиозные люди и даже фанатики, то сохранились как археологическая редкость, сидят по определенным местам и углам, осужденные и всеми осмеянные, а главное, в самом малом числе, в виде ничтожной мизерной кучки отсталых людей. Итак, можно ли их считать за что-нибудь в таком высшем деле, как мировая политика?»

Но я не религиозный **протест** разумею, я не останавливаюсь на временных формулах идеи древне-римской, равно как и вековечного германского против нее протеста. Я беру лишь основную идею, начавшуюся еще две тысячи лет тому и которая с тех пор не умер-

ла, хотя постепенно перевоплощалась в разные виды и формулы. Теперь именно весь этот крайний западноевропейский мир, — именно унаследовавший римское наследство, мучится родами нового перевоплощения этой унаследованной древней идеи, и это для тех, кто умеет смотреть, до того наглядно, что и объяснений не просит.

Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала пред христианством — формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из нее составилась его цивилизация, для нее одной лишь оно и живет. Пала лишь идея всемирной **римской** монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западно-европейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древне-римским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществимо быть не может. И вот началась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древне-римского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы, как владыки мира сего.

С тех пор эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась беспрерывно. С развитием этой попытки самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе. Отвергнув, наконец, христианство духовно, наследники древне-римского мира отвергли и папство. Прогремела страшная французская революция, которая в сущности была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древне-римской формулы всемирного единения. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Был даже момент, когда для всех наций, унаследовавших древне-римское призвание, наступило почти отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с 1789 г. политическое главенство, то есть буржуазия — восторжествовала и объявила, что далее и не надо итти. Но зато все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, — все те бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французской революцией 1789 г. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединения людей уже не в виду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а напротив: всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались. Осуществить же это решение положили **всякими** средствами, то есть отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем.

При чем же тут все это время, все эти две тысячи лет была Германия? Характернейшая, существеннейшая черта этого великого, гордого и особого народа, с самой первой минуты его появления в историческом мире, состояла в том, что он никогда не хотел соеди-

ниться, в призвании своем и в началах своих, с крайне-западным миром, то есть со всеми преемниками древне-римского призвания. Он **протестовал** против этого мира все две тысячи лет, и хоть и не представил (и никогда не представлял еще) Своего Слова, своего строго формулированного идеала взамен древне-римской идеи, но, кажется, всегда был убежден, внутри себя, что в состоянии представить это Новое Слово и повести за собой человечество. Он бился с римским миром еще во времена Арминия, затем во времена римскаго христианства он более чем кто-нибудь бился за верховную власть с новым Римом. Наконец, протестовал самым сильным и могучим образом, выводя новую формулу протеста уже из самых духовных, стихийных основ германского мира: он провозгласил свободу исследования и воздвиг знамя Лютера. Разрыв был страшный и мировой, формула протеста нашлась и восполнилась, — хотя все еще отрицательная, хотя все еще новое и **положительное** Слово сказано еще не было.

И вот германский дух, сказав это Новое Слово протеста — на время как бы замер, и произошло это совершенно параллельно с таким же ослаблением прежнего строго формулированного единства сил и в его противнике. Крайне-западный мир под влиянием открытия Америки, новой науки и новых начал искал переродиться в новую истину, в новый фазис. Когда наступила первая попытка этого перевоплощения во время французской революции, германский дух был в большом смущении и на время потерял было самость свою и веру в себя. Он ничего не мог сказать против новых идей крайне-западного европейского мира. Лютерово Протестантство уже отжило свое время давно, идея же свободного исследования давно уже принята была всемирной наукой. Огромный организм Германии почувствовал более чем кто-нибудь, что он не имеет, так сказать, плоти и формы для своего выражения. Вот тогда-то в нем родилась настоятельная потребность хотя бы сплотиться только наружно в единый стройный организм, в виду новых грядущих фазисов его вечной

борьбы с крайне-западным миром Европы. Тут надо заметить весьма любопытное совпадение: оба всегдашние враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство в ней, в одно и то же время (или почти), схватываются и исполняют очень схожую между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайне-западного мира, то есть обновление человеческого общества на новых социальных началах — эта формула, почти все наше столетие провозглашавшаяся лишь мечтателями, научными представителями ее, всякими идеалистами и фантазерами, вдруг в последние годы измнеяет свой вид и ход своего развития и решает: оставить пока теоретическое определение и воссоздание своей задачи и приступить прямо прежде всяких мечтаний к практическому шагу задачи, то есть прямо начать борьбу: а для того — положить начало соединению во единую организацию всех будущих бойцов новой идеи, то есть всему **четвертому**, обойденному в 1789 году сословию людей, всем неимущим, всем рабочим, всем нищим, и, уже устроив это соединение, поднять знамя новой и неслыханной еще всемирной революции. Явились Интерналка, международные сношения всех нищих мира сего, сходки, конгрессы, новые порядки, законы, — одним словом, положено **по всей старой западной Европе** основание новому status in statu, грядущему поглотить собою старый, владычествующий в крайне-западной Европе, порядок мира сего. И вот, в то время как это совершалось у противника, гений Германии понял, что и германская задача, прежде всякого дела и начинания, прежде всякой попытки Нового Слова против перевоплотившегося из старой древне-католической идеи противника — закончить собственное политическое единение, завершить воссоздание собственного политического организма и, воссоздав его, тогда только стать лицом к лицу с вековечным врагом своим. Так и случилось: завершив свое объединение, Германия бросилась на противника и вступила с ним в новый период борьбы, начав ее железом и кровью. Дело железом кончено, теперь предстоит его кончить духовно, су-

щественно. И вот вдруг теперь для Германии является новая забота, новый неожиданный поворот дела, страшно усложняющий задачу. Какая же это задача и в чем этот новый поворот дела?

II

Один гениально-мнительный человек

Эта задача, эта новая **внезапная** забота Германии, если хотите, давно уже просилась наружу, а теперь все дело в том, что она слишком уж вдруг выскочила на вид вследствие внезапного клерикального переворота во Франции. Формулировать ее можно отчасти в виде такого сомнения: «Да объединился ли, полно, Германский организм в одно целое, не раздроблен ли он, напротив, попрежнему, несмотря на гениальные усилия предводителей Германии за последние двадцать пять лет, — мало того: объединился ли он хотя бы только лишь политически, не мираж ли и это, несмотря на франко-прусскую войну и провозглашенную после нее новую, неслыханную прежде, Германскую империю?». Вот этот мудреный вопрос.

Вся мудреность этого вопроса заключается, главное, в том, что его, почти до самого последнего времени, не предполагали даже и существующим, по крайней мере среди огромнейшего большинства германцев. Самоупоение, гордость и совершенная вера в свое необъятное могущество чуть не опьянили всех немцев поголовно после франко-германской войны. Народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до странности часто побеждаемый — этот народ вдруг победил такого врага, который почти всех всегда побеждал! А так как ясно было, что он и не мог не победить вследствие образцового устройства своей бесчисленной армии и своеобразного пересоздания ее на совершенно новых началах, и, кроме того, имея столь гениальных предводителей во главе, то, разумеется, германец и не мог не возгордиться этим до опьянения. Тут уж нечего брать в соображение всегдашнюю самодоволь-

ную хвастливость всякого немца — исконную черту немецкого характера. С другой стороны, из так недавно еще раздробленного политического организма вдруг появилось такое стройное целое, что германец не мог и тут усумниться и вполне поверил, что объединение завершилось, и что для Германского организма наступил новый блестящий и великий фазис развития. Итак, не только явилась гордость и шовинизм, но явилось почти легкомыслие; и уж какие тут могут быть вопросы, — не только для какого-нибудь воинственного лавочника или сапожника, но даже для профессора или министра? Но, однако же, все-таки оставалась кучка немцев, очень скоро, почти сейчас же после франко-прусской войны, начавших сомневаться и задумываться. Во главе замечательнейших членов этой кучки, бесспорно, стоял князь Бисмарк.

Еще не успели выйти германские войска из Франции, как он уже ясно увидел, что слишком мало было сделано «кровью и железом», и что надо было, имея перед собою таких размеров цель, сделать, по крайней мере, вдвое больше, пользуясь случаем. Правда, военных выгод осталось все же безмерно больше на стороне Германии и это еще надолго. Франция, после уступки Эльзаса и Лотарингии, стала такой маленькой, по земельному объему, страной для великой державы, что одно или два удачных для Германии сражения, в случае новой войны, и германские войска тотчас же будут в центре Франции и в стратегическом отношении Франция пропала. Но, однако, верны ли победы, можно ли надеяться на эти два победоносные сражения наверно? В франко-прусскую войну немцы победили-то собственно ведь не французов, а только Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франции будут войска столь плохо устроенные и командуемые, не всегда же будут и узурпаторы, которые, нуждаясь в своих генералах и чиновниках из династических интересов, принуждены будут допускать у себя такие плачевные упущения, при которых не может существовать правильное войско. Не всегда же будет повторяться и Седан, ибо Седан в сущности только случай и вышел

лишь потому, что Наполеону нельзя уже было воротиться в Париж императором иначе, как по милости короля Прусского. Не всегда тоже будут и столь мало даровитые генералы, как Мак-Магон, или такие изменники, как Базен. Опьяненные столь неслыханным для них торжеством, немцы, конечно, все до единого, могли уверовать в то, что это все они сделали одними своими талантами, но в сомневающейся кучке могли думать иное, особенно после того, когда побежденный враг, еще столь расстроенный и потрясенный, вдруг уплатил три миллиарда контрибуции разом и не поморщился. Это уж, конечно, очень огорчило князя Бисмарка.

С другой стороны, для сомневающейся кучки предстоял и другой вопрос, может быть, еще важнейший: совсем ли завершилось политическое и гражданское объединение внутри организма? Для всех почти в Европе, и, кажется, в особенности у нас в России, в этом доселе еще никто не сомневался. Вообще мы, русские, приняли все то, что приключилось в последние десять-пятнадцать лет в Германии, за нечто уже окончательное, в высшей степени не случайное, а натуральное, за такое, что уже и не должно измениться. Совершившиеся факты нам внушили необыкновенное почтение. А между тем в глазах столь гениальных людей, как князь Бисмарк, вряд ли все, чему следовало, приняло свою окончательную прочность. То, что может казаться теперь прочным, то, может быть, всего только еще фантазия. Трудно предположить, чтоб столь долгая привычка к политическому разъединению исчезла у немцев так вдруг, как выпитый стакан воды. Немец упорен уже по своей природе. Нынешнее поколение немцев к тому же было подкуплено успехами, опьянено гордостью и сдержано железной рукой предводителей. Но в весьма, может, недалеком будущем, когда эти предводители отойдут в другой мир и уступят место другим, поднимутся, может быть, прижатые на время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вероятно, что тогда утратится энергия первого порыва соединения, напротив, возродится вновь энергия оппозиции, которая и

пошатнет то, что было сделано. Явится стремление к распадению, к обособлению, и именно тогда, когда на западе уж совсем оправится от удара страшный враг, который и теперь уже не спит и не дремлет, и даже известно с чего начнет. А тут вдобавок и самый, так сказать, закон природы: Германия ведь все-таки в Европе страна **серединная:** как бы она ни была сильна — с одной стороны Франция, с другой Россия. Правда, русские пока вежливы. Но что если они вдруг догадаются, что не они нуждаются в союзе с Германией, а что Германия нуждается в союзе с Россией, мало того: **что зависимость от союза с Россией есть, повидимому, роковое назначение Германии, с франко-прусской войны особенно.** То-то и есть, что в слишком сильную почтительность России даже и такой убежденный в своей силе человек, как князь Бисмарк, не в состоянии верить. Правда, до последнего внезапного приключения во Франции, изменившего вдруг весь вид дела, князь Бисмарк все еще надеялся, что чрезвычайная вежливость России еще надолго непоколебима, и вот вдруг это приключение. Одним словом, случилось нечто необычайное.

Необычайное для всех, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось, что гений его все это «приключение» предвидел заранее. Не гений ли его, скажите, не гениальный ли глаз подметил главного врага столь задолго? Почему именно он так возненавидел католицизм, почему он так гнал и преследовал все, что исходило из Рима (то есть от папы), — вот уже столько лет? Почему он так дальновидно озаботился заручиться итальянским **союзом** (так можно выразиться), — как не для того, чтоб с помощью итальянского правительства раздавить папское начало в мире, когда придет срок выбирать нового папу. Не католическую веру он гнал, а римское начало этой веры. О, без сомнения, он действовал как немец, как протестант, он действовал против основной стихии крайне-западного, всегда враждебного Германии мира, но все же очень и очень многие из гениальнейших и либеральных мыслителей Европы смотрели на этот поход великого Бисмарка

против столь ничтожного папы, как на борьбу слона с мухой. Иные объясняли все это даже странностью гения, капризами гениального человека. Но дело в том, что гениальный политик **сумел** оценить, может быть единый в мире из политиков, как сильно еще римское начало само в себе и среди врагов Германии и каким страшным цементом может оно послужить в будущем для соединения всех этих врагов воедино. Он сумел догадаться, что, может быть, у одной лишь римской идеи может найтись такое знамя, которое в роковую (а в глазах Бисмарка и неизбежную) минуту сплотит всех уже раздавленных им врагов Германии опять в одно страшное целое. И вот гениальная догадка вдруг оправдалась: все партии в побежденной Франции, из тех, которые могли начать движение против Германии, — все эти партии были раздроблены, ни одна из них не могла восторжествовать и захватить во Франции власть. Соединиться тоже они никак не могли, имея каждая в виду противоположные цели задач своих, — и вот знамя папы и иезуитов соединяет все. Враг восстал, и враг этот уже не Франция, а сам папа. Это папа, предводительствующий всем и всеми, кому завещана римская идея, и идущий броситься на Германию. Но чтобы яснее изложить случившееся, взглянем пристальнее в лагерь противников Германии.

III

И сердиты, и сильны

Папа умирает. Он очень скоро умрет. Все католичество, принимающее Христа в образе римской идеи — давно уже в страшном волнении. Подходит роковая минута. Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идее. Может именно случиться, что новый папа, под давлением правительств всей Европы, будет избран «не свободно», и провозглашенный папой согласится отказаться навеки, и в принципе, от земного владения, от сана земного государя, от которого не отказался Пий IX (напротив, в самую роковую мину-

ту, когда от него отнимали и Рим, и последний кусок земли, и оставляли ему в собственность лишь один Ватикан, в эту самую минуту он, как нарочно, провозгласил свою непогрешимость, а вместе с тем и тезис: что без земного владения христианство не может уцелеть на земле, — то есть, в сущности, провозгласил себя владыкой мира, а пред католичеством поставил, уже догматически, прямую цель всемирной монархии, к которой и повелел стремиться во славу Божию и Христа на земле). О, конечно, он ужасно насмешил тогда всех остроумных людей: «сердит, да не силен — Хлестакову брат». И вот, вдруг, если ново-избранный папа будет подкуплен, если даже сам конклав, под давлением всей Европы принужден будет войти в соглашение с противниками римской идеи, — ну, тогда ей и смерть. Ибо раз, правильно-избранный, а стало быть, непогрешимый папа откажется в принципе от сана земного государя, — то, стало быть, и впредь навеки так и останется. С другой стороны, если ново-избранный конклавом папа твердо и на всю вселенную объявит, что он ни от чего не хочет отказываться, а пребудет в прежней идее вполне, и начнет с анафемы на всех врагов Рима и римского католичества, то тогда правительства Европы могут его не признать, а стало быть, и в этом случае может произойти такое роковое потрясение в римской церкви, последствия которого могут быть неисчислимы и непредвидимы.

О, не правда ли, что для политиков и дипломатов почти всей Европы — все это весьма смешно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный в Ватикане, представлял собою, в последние годы, в их глазах такое ничтожество, которым стыдно было и заниматься. Так размышляли чрезвычайно многие передовые люди Европы, особенно из остроумных и либеральнейших. Папа, издающий аллокуции и силлабусы, принимающий богомольцев, проклинающий и умирающий — в глазах их похож был на шута для их увеселения. Мысль о том, что огромнейшая идея мира, идея, вышедшая из главы диавола во время искушения Христова в пустыне, идея, живущая в мире уже органически

тысячу лет — эта идея так-таки возьмет и умрет в одну минуту — эта мысль принималась за несомненную. Ошибка, конечно, тут заключалась в религиозном значении этой идеи, в том, что два значения были перемешаны вместе: «Так как-де редко кто верит на свете в Бога, особенно по римскому толкованию, а во Франции так даже не верит в него и народ, а разве одно только высшее сословие, да и то не верит, а только ломается, — то, стало быть, какую же силу может иметь, в наш образованный век, папа и римское католичество?» — вот в чем уверены даже и теперь остроумные люди. Но идея религиозная и идея папская в сущности различны. Вот эта-то папская идея вдруг в наши дни, всего только два месяца назад, разом проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франции радикальнейший политический переворот, надела на всю Францию узду и рабски повлекла за собой.

Во Франции за последние годы образовалось парламентское большинство из республиканцев, и вели они свои дела порядочно, чисто, спокойно, без потрясений. Улучшили армию, дали для нее громадные суммы не споря, но и не думали о войне, и все понимали, и во Франции и в Европе, что если есть вполне миролюбивая партия, то уж, конечно, это они, республиканцы. Предводители их отличались сдержанностью и необычным еще у них благоразумием. В сущности, однако, все это люди отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпетые и ужасно бессильные люди. Это либеральные, седые, но молодящиеся старички, воображающие себя все еще молодыми. Они остановились на идеях первой французской революции, то есть на торжестве третьего сословия, и в полном смысле слова суть воплощение буржуазии. Это совершенно та же июльская монархия, но с тою лишь разницей, что она называется республикой и что нет короля (то есть уж, разумеется, «тирана»). Все, что они внесли нового — это провозглашение в 1848 году всеобщей подачи голосов, которого так боялось июльское королевское правительство и из которого не только не вышло ничего опасного,

а, напротив, очень даже много для буржуазии полезного. Очень тоже пригодилась потом эта идея правительству Наполеона III. Но старички удовлетворены были ею в высшей степени, и их, как детей, тешит, что они республиканцы. Слово «республика» у них что-то комически-идеальное. Казалось бы, эта невинная партия могла вполне удовлетворить Францию, то есть городскую буржуазию и землевладельцев. Но оказалось напротив. В самом деле, почему республика всегда казалась во Франции правительством неблагонадежным. И если республиканцы не были всегда ненавидимы, то всегда были презираемы за бессилие их огромным большинством буржуазии. Если не прямо презираемы, то всегда не уважаемы. Народ тоже в них почти никогда не верил. Дело в том, что каждый раз, с воцарением во Франции республики, все во Франции как бы теряло свою прочность и самоуверенность. Всегда до сих пор республика была лишь какой-то временной срединой — между социальными попытками самого страшного размера и каким-нибудь, иногда самым наглым, узурпатором. И так как это почти всегда случалось, то так и привыкло на нее смотреть общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда все начинали чувствовать себя как бы в междуцарствии, и как бы благоразумно ни правили республиканцы, но буржуазия всегда при них уверена, что рано ли, поздно ли, а грянет красный бунт или опять наступит какая-нибудь монархия. Кончилось тем, что монархическое правление буржуазия полюбила гораздо больше, чем республику, несмотря даже на то, что монархия, как, например, Наполеона III, выражала даже как бы попытки войти в соглашение с социалистами, тогда как уж никто на свете не может быть враждебнее социалистам, как чистые республиканцы: для республиканцев было бы только слово республика, а социалисты ищут не слова, а одного лишь дела. По принципам социалистов все равно — республика, монархия ли, французы ли они будут, или станут немцами, и, право, даже, если б вышло как-нибудь так, что им мог бы пригодиться сам папа, то они провозгласили бы и папу.

Они прежде всего ищут **своего дела,** то есть торжества четвертого сословия и равенства в распределении прав в пользовании благами жизни, а под каким знаменем — это уж как там придется, все равно, хоть под самым деспотическим.

Замечательно, что князь Бисмарк ненавидит социализм не меньше папства, и что германское правительство, в самое последнее время особенно, стало как-то слишком бояться социалистической пропаганды. Без сомнения, это потому, что социализм обезличивает национальное начало и подъедает национальность в самом корне, а принцип национальности есть основная, есть главная идея всего германского объединения, всего того, что совершилось в Германии в последние годы. Но очень может быть, что князь Бисмарк смотрит еще глубже, а именно: социализм есть сила грядущая для всей западной Европы, и если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос, и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник. Римскому католичеству (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владычество: «Вам-де надо единение против врага — соединитесь под моею властью, ибо я один **всемирен** из всех властей и властителей мира, и пойдем вместе». Эту картину, вероятно, предвидит князь Бисмарк, ибо он один из всех дипломатов возымел настолько зоркий взгляд, чтоб провидеть живучесть римской идеи и всю ту энергию, с которою она готова себя отстоять, не различая уже средств. Жить ей хочется адски, а убить ее трудно, это змея! — вот что понимает во всей силе один лишь князь Бисмарк — главный враг папства и римской идеи!

Но молодящиеся старички, французские республиканцы, этого не в состоянии были понять. Клерикалов они ненавидели из одного уже либерализма, но счи-

тали папу бессильным и презренным, а римскую идею совсем отжившею. Они не догадались даже ужиться с страшною клерикальною партией, хотя бы только политически, чтоб придать себе больше крепости. По крайней мере, они могли бы не раздражать пока клерикалов, не затрогивать их, с таким нарочным задором, и даже могли бы пообещать некоторое содействие в ближайшем будущем при выборе нового папы. Но они именно сделали все противоположное — или от идеальной честности своих убеждений, или просто по легкомыслию. Последнее время они особенно стали гнать клерикалов, и как раз в ту минуту, когда папству лишь только и оставалась что одна Франция как поддержка, иначе выходил страшный шанс умереть папству вместе с Пием IX. Ибо кто, в случае нужды, мог бы в Европе обнажить меч за «свободу» избрания папы и за свободу избранного папы? Да и меч этот должен быть сильный и могучий. Другого выбора не оставалось кроме Франции и ее миллионной армии. И вот Франция-то и во главе врагов! Правда, маршал Мак-Магон послушен, но он в тисках и выпутаться сам не умеет: большинство палаты республиканское и либеральное и ни одна из партий не в силах заместить его. Одним словом, сковырнуть республиканское большинство невозможно, и вот вдруг клерикалы, — эти презираемые и бессильные клерикалы, выручают маршала Мак-Магона и проявляют на весь мир такое могущество, какого никто от них не ожидал более. Они дают знать партиям, что им можно соединиться лишь под клерикальным знаменем, и те, пораженные очевидностью, разом с ними соглашаются. В самом деле: и у легитимистов, и у бонапартистов самый главный и ближайший враг их — все это же республиканское большинство. Если каждая из этих партий будет работать для себя порознь, то ничего не достигнет, а, соединившись вместе, эти партии могут составить силу и все побороть, и республиканцев разогнать. А там уже, когда раздавят республику, можно будет каждой партии позаботиться о себе, и уж, разумеется, каждая из них тем больше будет иметь шансов на успех, чем

больше она угодит клерикалам. Клерикалы все это рассчитали математически, соединение произошло, и клерикальное большинство сената разрешило Мак-Магону разогнать республиканцев.

IV

Черное войско. — Мнение легионов как новый элемент цивилизации

Проявив такую внезапную силу и ловкость, клерикалы несомненно пойдут далее. Они объявят в решительную для себя минуту войну Германии — и вот что немедленно понял князь Бисмарк! Главное они уже сделали: Мак-Магон уже согласился бросить Францию в политику приключений. Им ли остановиться перед дальнейшим? Не жалеть же им Францию; Франция, как и все на свете, им нужна, пока лишь может приносить им пользу. О, они бы могли ее пожалеть: это страна — единственная их надежда и служила им столько веков! Но теперь именно пришла для них самая роковая минута в целое тысячелетие, и коль подвернулась Франция, — то отчего же не высосать и ее соки, хотя бы до убиения ее, и не рискнуть самым ее существованием! Надо взять у нее все, что она может дать, а главное, нельзя мешкать ни минуты: немного позже и для них будет несомненно поздно. Так что именно теперь надобно попробовать отбить Бисмарка, ибо если кто будет вредить при избрании папы, то уж, конечно, он. А вдобавок, Бисмарк именно в эту минуту как нарочно один, — без союзников: Россия (вся надежда его) — занята теперь на Востоке. Наконец, если удастся смирить Бисмарка, хотя бы даже на время, то надо как можно скорей и заранее положить основание **будущему:** надо воспользоваться удавшимся моментом и, раз навсегда, создать из Франции уже прочную для себя союзницу, на все готовую и послушную, а для того произвести в ней переворот уже **серьезный,** радикальный и вековой. Без сомнения, во всем этом много риску, но колебаться могут другие,

а не отцы иезуиты. Главное в том, что им и нет другого выбора в данный момент, как рисковать и рисковать... Ограничиться одним совершившимся во Франции клерикальным переворотом, без войны с Германией и без **серьезной** революции во Франции, им положительно невозможно. Дела их именно дошли до такого положения. Им надо все или ничего, если же взять мало, ограничиться каким-нибудь там влиянием в правительстве, то все равно это не принесло бы им ни малейшей пользы, ибо нужды-то их теперь большие! А потому они и должны решиться на самый открытый и наглый риск, ибо им надо взять весь va-banque. Если, на случай, риск не удастся и Францию, например, немцы победят и раздавят опять, то ведь, все равно — им, клерикалам, хуже того как теперь (то есть если б они сидели смирно и не начали переворота) не будет: они останутся при том же, при чем были до начала «приключения», то есть в состоянии сквернейшем, но которое ухудшиться уже не может. Франция другое дело: если побеждена будет опять, то несомненно погибнет. Но таков ли иезуиты народ, чтоб пред этим остановиться: они знают, что если победит Франция, то они получат **все**, и уж до того укрепятся во Франции, что их и не выведешь. А для этого у них есть свои особые средства, во Франции еще неслыханные.

Всякие другие революционеры, даже из самых ярых или красных, произведя переворот, все же сообразуются, хоть отчасти, с чем-то общим, прежде данным и даже законным. Революционеры же иезуиты не могут действовать законно, а именно **необычайно**. Эта черная армия стоит вне человечества, вне гражданства, вне цивилизации и исходит вся из одной себя. Это status in statu, это армия папы, ей надо лишь торжества **одной своей** идеи, — а затем пусть гибнет все, что на пути ей мешает, пусть гибнут и вянут все остальные силы, пусть умирает все не согласное с ними — цивилизация, общество, наука! Им несомненно необходимо обработать Францию в новом и уже окончательном виде, если случай будет на их стороне, и

вымести из нее весь **сор** уж таким помелом, о каком до сих пор никто и не слыхивал, с тем чтоб и не пахло больше никаким сопротивлением, и дать стране новый организм, под строжайшей опекой иезуитов, на веки вечные.

Все это с первого взгляда может показаться весьма нелепым. Во французских газетах (и в наших) все благонамеренные люди сильно уверены, что клерикалы непременно сломают себе ногу на следующих выборах во французскую палату. Французские республиканцы, в невинности душевной, совершенно тоже убеждены, что вся activité dévorante новоразосланных префектов и мэров ровно ничего не добьется, а будут выбраны все прежние республиканцы, которые и составят прежнее большинство и немедленно скажут veto всем замыслам Мак-Магона; затем клерикалы будут выгнаны, а может быть, и сам Мак-Магон вместе с ними. Но уверенность эта весьма неосновательна, и наверно клерикалы на этот счет не слишком-то озабочены. Дело именно в том, что наивные и чистые сердцем старички все еще, несмотря на долгий опыт, не понимают, кажется, в полной силе, с каким народом они имеют дело. Ибо чуть-чуть выборы окажутся для клерикалов невыгодными, то они разгонят и новую палату, несмотря на все конституционные и законные права ее. Возразят мне, что это будет незаконно, а потому невозможно. Это так, но ведь что им законы, этой черной армии? Они наверно (и есть уже факты, о том свидетельствующие) внушат столь послушному маршалу Мак-Магону отчаянную решимость употребить в дело одно средство такое, которое и во Франции еще ни разу не было употреблено, именно: **военный деспотизм.** Воскликнут, что это старое средство, что его уже несколько раз употребляли, например, Наполеоны! И, однако, я осмелюсь заметить, что все это было не то: это средство, **во всей его откровенности, действительно** не употреблялось во Франции еще ни разу. Маршал Мак-Магон, заручившись преданностью армии, может разогнать новое грядущее собрание представителей Франции, **если оно пойдет против него,** просто штыками, а затем прямо

объявить всей стране, что **так захотела армия.** Как римский император упадка империи, он может затем объявить, что отныне «будет сообразоваться лишь с мнением легионов». Тогда настанет всеобщее осадное положение и военный деспотизм, — и вот увидите, увидите, что это ужасно многим во Франции понравится! И поверьте, что если будет надобность, то явятся и плебисциты, которые **большинством голосов во всей Франции** дозволят войну и дадут потребные деньги. В недавней речи своей к войскам маршал Мак-Магон говорил именно в этом смысле, и войска приняли его весьма сочувственно. Сомнений нет, что армия больше на его стороне. К тому же теперь он уже так далеко зашел, что ему и нельзя остановиться, иначе он никак не останется на своем месте, тогда как вся его политика и весь он выражаются в одном слове: «J'y suis et j'y reste», то-есть: «Сел и не сойду». Дальше этой фразы он, как известно, не пошел и уж, конечно, для торжества этого тезиса рискнет, пожалуй, даже существованием Франции. Готовность к подобному риску он уже раз доказал в франко-прусскую войну, когда, под влиянием бонапартистов, решился сознательно лишить Францию ее армии из преданности к династии Наполеона. Клерикалы же наверно обеспечили ему его: «j'y suis et j'y reste». Раз соединив партии под своим знаменем, то есть бонапартистов и легитимистов, они наверно уже сумели ловко **указать** Мак-Магону, что ведь в случае нужды можно и совсем обойтись без Шамбора и без Бонапарта, и вовсе не надо будет их призывать, ни в каком даже случае, а просто бы самому ему, маршалу Мак-Магону, остаться диктатором и бессменным правителем, то есть уж не на семь лет, а навсегда. Вот таким образом и осуществится тезис: «j'y suis et j'y reste», — было бы только согласие армии; согласие же Франции впоследствии неминуемо, ибо твердая диктаторская рука, во главе власти, очень и очень многим придется по вкусу. Подобные льстивые **указания** наверно уже были произнесены. Может быть, усумнятся в том, что такой человек, как Мак-Магон, может все это предпринять и исполнить. Но, во-первых,

он первую половину дела предпринял и исполнил, и половину, нисколько не легчайшую относительно проявления решимости, чем вторая будущая. А во-вторых, — вот такие-то именно люди, сами по себе вовсе не предприимчивые, если вдруг подпадут под чье-нибудь верховное и решительное влияние, то могут обнаружить огромную и роковую решимость, — и не то чтобы от большого гения, а именно от противоположной причины. Главное, тут не соображение, а просто толчок, и если уж их раз хорошенько толкнуть, то они и прут в одну точку, до тех пор пока или пробьют лбом стену или сломают себе рога.

V

Довольно неприятный секрет

Все это совершенно понимают в Германии. По крайней мере, все официозные органы печати, находящиеся под влиянием князя Бисмарка, прямо уверены в неминуемой войне. Кто на кого бросится первый и когда именно, — неизвестно, но война очень и очень может загореться. Конечно, гроза может еще пройти мимо. Вся надежда, если маршал Мак-Магон вдруг испугается всего, что взял на себя, и остановится, как некогда Аякс, в недоумении среди дороги. Но тогда он сам рискует погибнуть, и невероятно, чтоб он не понимал этого. А шанс недоумения среди дороги хоть и возможен, но вряд ли на него можно твердо понадеяться. Пока князь Бисмарк следит за всем, что происходит во Франции, с лихорадочным вниманием; он наблюдает и ждет. Для него гроза именно в том, что не в тот момент началось это дело, как он ожидал. Теперь же связаны руки. Всего же хлопотливее то, что открылись болячки, которые до сих пор тщательно прятались. Про главную болячку всех немцев я уже говорил, — это боязнь. что Россия вдруг догадается о том, как она могущественна и какую силу может иметь теперь, именно в настоящий момент, ее решающее слово, а главное — что **«зависимость от союза с**

Россией есть, повидимому, роковое назначение Германии, особенно с франко-прусской войны». Этот немецкий секрет может вдруг теперь обнаружиться — и для немцев будет это конфузно. Как ни искренно приязненна к нам была политика Германии за последние годы, но секрет-то все-таки соблюдался всеми немцами. Особенно печать действовала в этом смысле. До сих пор немцы всегда имели спокойный и гордый вид, прямо свойственный могуществу, не нуждающемуся ни в чьей помощи. Но теперь, конечно, слабое место должно выйти наружу. Ибо если клерикальная Франция решится на роковую борьбу, то Францию мало уже просто победить, или лишь отбить ее нападение, если она первая бросится, а надо уж навеки ее обессилить, так-таки придавить, пользуясь случаем — вот задача! А так как у Франции к тому же миллион слишком войска, то чтоб дело это покончить наверно, надо несомненно **обеспечить** его, иначе нечего и приниматься. А обеспечения другого нет, как заручиться решающим словом России. Одним словом, неприятнее всего, что все это выходит так внезапно. Все прежние расчеты спутались и теперь уже события командуют расчетами, а не расчеты властвуют над событиями. Франция может начать сегодня-завтра, лишь чуть-чуть управится у себя внутри. Она бросилась в политику приключений, что для всех очевидно, а если так, то где приключения остановятся, где их стена и граница? Это очень неприятно: так еще недавно немцы имели такой независимый вид, и особенно в последний год. Вспомним, что в этот год и Россия старалась рассмотреть в Европе друзей своих, и немцы знали про заботы России и имели самый приличный случаю торжественный вид. Конечно, всякое славянское движение всегда несколько Германию беспокоило, но можно даже прямо сказать, что в объявлении Россией войны два месяца назад даже, может быть, заключалось для Германии нечто почти приятное: «Нет, уж теперь-то они никак не догадаются, — думали в Германии два месяца назад, — что это мы в них нуждаемся, теперь они, напротив, стоя перед Дунаем — «немецкой рекой»,

вполне убеждены, что сами они ужасно в нас нуждаются, и что в конце войны не обойдется без нашего веского слова. И это хорошо, что русские так думают, это нам в будущем пригодится». Сомнений нет, что наверно об нас так думали весьма многие тонкие немцы; вся печать ее так думала и писала и — вдруг теперь это клерикальное настроение все переворотило на другую сторону: «О, теперь они догадаются, теперь обо всем догадаются! А кроме того надо, чтоб Россия как можно скорее кончила на Востоке и свободилась. Но оказать на нее давление весьма невыгодно. Разве сама испугается Англии и Австрии, но вряд ли. Соединиться же с Англией и Австрией для давления на Россию — нечего и думать: они потом не помогут, а Россия рассердится. Странное положение! Уж не помочь ли России, чтоб она кончила поскорее? Это можно сделать и не обнажая меча, а лишь давлением политическим, на Австрию, например...» — вот как раздумывают теперь те же политики, и очень, очень может случиться, что все это так именно и есть в самом деле.

Одним словом, мне хотелось высказать лишь мое убеждение, мою веру, что Россия не только сильна и могущественна, как всегда была, но теперь, особенно теперь, она самая сильная из всех стран Европы, и что никогда ее решающее слово не могло цениться в Европе так веско, как в данный момент. Пусть Россия сама занята на Востоке, но одно лишь решающее слово ее на весах европейской политики может покачнуть теперь весы по ее воле и желанию. Конечно, и сама Англия теперь понимает, что в виду **возможности** весьма хлопотливых новых событий в крайне-западной Европе, — и она, пожалуй, потеряет в глазах русских две трети своего престижа, и что поймут же, наконец, даже самые мнительные из русских, что она отнюдь не рискнет на войну в случае сильной решимости России продолжать свое дело, и скорее станет рассчитывать на дележ наследства после «больного человека», чем решится начать открытую войну за него в такую и без того хлопотливую минуту в Европе. В самом

деле, случись так, что и впрямь что-нибудь разыграет-ся в Западной Европе неожиданное и роковое, то никогда Англия не решится слишком всецело ввязаться в такое хлопотливое дело, столь несходное с обычным характером ее интересов, и уж наверно примет лишь зорко наблюдательное положение, выжидая, по обычаю своему, удобный момент, когда можно будет пронюхать где-нибудь какой-нибудь дележ добычи, чтобы немедленно к нему примазаться. Затевать же теперь (то есть до окончания разъяснений крайне-западных событий) с Россиею что-нибудь слишком серьезное будет уж слишком для нее не расчетливо. С другой стороны, Австрия, оставшись **одна** — что может сделать? Да и невероятно, чтобы клерикальное усложнение дела в крайне-западной Европе не смутило и ее хоть отчасти. И она, конечно, ждет, как и все, дальнейшей развязки событий, так что и у ней, как у всех, отчасти связаны руки. У всех связаны, а у одной только России распутаны. Вот уж и разыгралось, значит, нечто **непредвиденное** в нашу пользу. Ну, как не рассчитывать на **непредвиденное** в решении судеб человеческих?

Миром управляет Бог и законы Его, и если и впрямь разразится над Европой что-либо новое и усложненное, то значит, рано ли, поздно ли, а тому непременно надо было совершиться. Но дай Бог, чтобы я ошибся, дай Бог, чтобы новая грядущая туча рассеялась и все предчувствия мои оказались лишь «пылкими» моими же фантазиями, — фантазиями ничего не понимающего в политике человека. Все дело в том: правы ли все официозные органы печати в Германии, ожидающие и пророчащие войну? С другой стороны, министры Мак-Магона изо всех сил, прежде всяких обвинений, уверяют французов и весь свет, что Франция не начнет войны. Согласитесь, что все это, по крайней мере, подозрительно и что разрешение сомнений может последовать, уже по самому ходу дела, весьма и весьма в непродолжительном времени. Но что если так много теперь зависит от «мнения легионов»? Худо, если до того дойдет: тогда конец Франции. Впрочем, с ней только с одной это и может случиться,

и ни с кем больше в целом мире. Но дай Бог, чтоб и с ней не случилось: начин нехорош, пример будет очень уж нехорош.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Любители турок

А ведь у нас теперь объявилось довольно много любителей турок — конечно, по поводу войны с ними. Прежде я не помню ни разу во всю мою жизнь, чтобы кто-нибудь начинал разговор с тем, чтоб восхищаться турками. Теперь же очень часто слышу про их защитников и даже сам встречался с такими, и очень даже горячатся. Тут, разумеется, потребность отличиться оригинальностью. Но вот, однако же, любители ученые, учителя, профессора.

— Мусульманский мир внес в христианский науку. Христианский мир потопал во мраке невежества, когда у арабов уже сияла наука.

Тут, видите ли, причиною невежества христианство. Тут Бокль, тут даже Дрепер. Выходит, стало быть, обратно, что мусульманство есть свет, а христианство начало тьмы. Какая уединенная логика! Оттого-то, вероятно, магометанство так и просвещено в настоящее время сравнительно с христианством. Что ж они свой светоч-то потушили так рано.

— Да, но у них однако монотеизм, а у христиан...

Это превознесение мусульман за монотеизм, то есть за чистоту учения о единстве Божием, будто бы высшую сравнительно с учением христианства, — это конек очень многих любителей турок. Но тут главное в том, что эти любители порвали с народом и не понимают его. Разорвав с народом, они успели уже составить себе иные удивительные понятия о том, что у русского простолюдина происходит в голове. Между

тем у русского простолюдина, «ничего не смыслящего в деле веры и не знающего молитв» — как привыкли говорить о нем, — весьма часто, если не всегда, составляется однако в уме и в душе весьма своеобразное, но **верное** и строгое и вполне удовлетворяющее его убеждение о том, во что он верует, хотя в то же время, конечно, редкий из простолюдинов сумеет изложить свои верования словами отчетливо и в последовательности. Этому, порвавшему с народом, «интеллигентному» русскому удивительно было бы услышать, что этот безграмотный мужик вполне и незыблемо верует в Божие единство, в то, что Бог един и нет другого Бога такого, как Он. В то же время русский мужик знает и благоговейно верует (всякий русский мужик это знает), что Христос, истинный Бог его, родился от Бога Отца и воплотился от Девы Марии. Прежде всего интеллигентный русский, порвавший с народом, не захочет допустить даже возможности того, чтоб русский мужик, ничему не учившийся, мог иметь такие знания: «Он так необразован, так темен, его ничему не учат, где его учитель?» Он не поймет никогда, что учитель мужика, «в деле веры его» — это сама почва, это вся земля русская, что верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию. Но всегда невероятнее иному русскому мыслителю то, как может русский простолюдин не сбиться в своих понятиях! Сам давно уже утратив всякое понятие о том, что такое непосредственная великая теплая вера народа, он уже не может допустить, чтоб, благоговейно веруя в великую христианскую тайну воплощения Сына Божия, простолюдин мог в то же время оставаться при самом строжайшем монотеизме. Скорее же он припишет эту твердость столь **непосредственных** убеждений русского простолюдина — непривычке размышлять, привычке к путанице понятий от лености и отупения мысли, от отсутствия всякой критики в уме его; «плачевное» же состояние ума его припишет забитости, нужде, разврату, крепостному состоянию и проч. На том и стоит русский ученый, **изучающий** русский народ. Совершенно тем же про-

цессом могло произойти и осуждение православных русских за поклонение, например, иконам. Иной лютеранский пастор ни за что не может понять, как можно, веруя в истинного Бога, поклоняться в то же время «доске», изображению святого, и допустить, чтоб из этого не вышло идолопоклонства. Русский интеллигентный человек всего чаще согласен в этом суждении с пастором. Между тем нет **ни одного** русского мужика, или бабы, которые, поклоняясь иконе, в то же время **хоть сколько-нибудь** смешивали «доску» с самим Богом, несмотря на то, что православный народ в то же время верует в чудотворность иных икон. Но нет ни **одного русского**, который чудотворную силу иконы приписал бы самой иконе, а не соизволению Божию. А это уже совсем другое. Вот этого-то воззрения русского простолюдина ни пастор, ни разорвавший с народом русский ни за что не допустят, да и не поверят, что так оно есть.

Вспомнили бы, однако, Магометов рай, чтобы уже совсем восполнить свое убеждение о чистоте турецких понятий о единстве Божием. Все это я, разумеется, говорю не затем, чтоб затеять с почитателями турецкого монотеизма богословский спор, и уж, конечно, не затевал его. Ведь почитатели эти хлопочут больше о **здравых** понятиях народа, а самим-то им, пожалуй, и все равно, кто бы как ни верил. Вот потому-то я и свел этот вопрос лишь на народное о нем понятие .

II

Золотые фраки. Прямолинейные

Кроме любителей турок объявилось очень много людей с потребностью **особливого мнения.** «Все вздор, нет никакого движения; адресы вздор, это не по-русски; санитарные отряды вздор, это не по-русски. Сантиментальничание. Славян выдумали, болгар выдумали, турки лучше болгар, все вздор. Я люблю турок»...

Это не то, чтоб из каких-нибудь злокачественно-тонких видов высшей политики. «Высшая политика»

у нас есть, это бесспорно, но эти — эти просто самолюбие. Самолюбие в двух видах: 1) или до крайности придавленное, а вследствие того и непременная потребность пооригинальничать, чтоб отличиться и чем-нибудь заявить себя, или — 2) самолюбие от необыкновенного величия. Русский «великий человек» всего чаще не выносит своего величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак, из парчи, например, чтоб уж не походить на всех прочих и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился. Я уверен в том, и если до сих пор еще не видал ни одного из наших «великих» в золотом фраке, то, вероятно, потому, что портные шить не согласны. «Я всех умнее, я велик. Все они об войне **так** думают, так я не хочу так, как они, думать. Докажу, что велик»...

Об золотом фраке, об характерно-русских социальных и психологических основаниях происхождения его, о наглядных примерах и проч., и проч., мне хочется особо поговорить, тема милая и я, может быть, о ней не забуду. Теперь же, оставив пока золотой фрак в покое, скажу словечно о «прямолинейных». Прямолинейные бывают всякие, — люди добрые и злые, умные и глупые, честные и нечестные и т. д. Их у нас очень много. Эти бьют в одну точку, и их ни за что не собьешь с этой точки: J'y suis et j'y reste. Это наши Мак-Магоны.

Из армии доносятся известия о геройстве, о самоотверженности русских, как солдат, так и офицеров. Тут молодежь. Еще недавно было такое безверие в молодежь — в надежду нашу; многие видели в ней лишь цинизм, обвиняли ее в тупом отрицании, в холодности, в равнодушии, в тупом самоубийстве, а теперь вдруг как бы прочистился воздух: та же молодежь проявляет великодушие, жажду геройского порыва, долга, чести, жертвы. Они идут впереди солдат, они бросаются первые в опасность...

— Да, но этак сознательно бросаться на верную смерть может только пьяный или сумасшедший. Другого объяснения нельзя найти.

— Как? Неужели вы не предполагаете в нем ве-

ликодушного сознания, что он жертвует собою для России, служит ей...

— Кулаком.

— То есть как же? В войне надо драться. Чем же бы он мог принесть пользу?

— Гм. Например, школы.

— Школы в свое время. В школы он принесет потом сознание исполненного долга, великодушное воспоминание, сближение с народом.

— Какое сближение с народом?

— В общей солидарности для общего дела. Солдат и его офицер живут теперь **там** единым духом и единым чувством. Интеллигенция роднится с народом, возвращается к нему опять и уже делом, а не теорией, научается уважать народ, из которого вышел этот солдат, и научает народ уважать себя и уже не как начальника или господина, а как человека, душевно. Недавний рассказ о простолюдине, обнявшем в слезах в Успенском соборе Черняева, имеет значение. Вы хотите образовать народ, но вы скорее его образуете, заставив его уважать ваши идеи, ваши дела и привлекая к себе народ сердцем. Чем больше народ будет уважать людей образованных **лично**, тем вернее пойдет и образование народное. Таким образом, заслуживая уважение народа, вы служите уже делу образования народного, тем же школам, о которых вы так хлопочете.

Заслужить уважение через кулак: заставить народ уважать кулак?

— Тут не один кулак, тут прежде всего великодушие, тут жертва собственною жизнию на виду. На виду и смерть красна. Вы вот спрашиваете, что может заставить человека, в цвете жизни, жертвовать почти наверно жизнию, и недоумеваете, — иначе ведь нельзя объяснить ваших слов о пьяном и сумасшедшем: они только аллегория, способ выражения. Но что может заставить? Жажда славы, честного дела, жажда заслужить добрую известность, похвалу всех сограждан, которые все теперь следят за их делами, проявить личность, прославить имя.

— Ага, сделать карьеру!

— Но все эти чувства и побуждения великодушны. Их тысячи и все вместе. Человек не из одного какого-нибудь побуждения состоит, человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно. Пролитая же собственная кровь и готовность пролить ее благородят даже и неблагородного до тех пор человека, налагают на него обязанность чести на всю потом жизнь. У нас уже появились в печати опасения, что эти люди потом возьмут верх, явится самоудовлетворение, гордость, будут презирать образование, штафирок, будут буйствовать и что в общество проникнут эти идеи. Но напрасные страхи. Улита едет — когда-то будет. Как не появиться Копейкиным, «так сказать, кровь проливавшим», это правда, но ведь они только людей насмешат и себе повредят. Выгода же нравственная будет неисчислима. Развеется тоска цинизма, явится уважение к честному подвигу...

— И к кулаку.

— Тут не одни кулачные бойцы, тут есть почти еще дети, чистые сердцем дети. Он только что произведен, он бросается вперед на подвиг, с мыслию о том, что скажет о нем, там, далеко, его мать, сестра, с которыми он только что простился... Неужели это только смешно и сантиментально? Наконец, почему не допустить в этих героях высшего сознания. Он понимает, что Россия взяла задачу трудную, что задача эта может и еще усложниться. Они все видят теперь, что Россия не с одной уж Турцией ведет войну, что турецкими армиями руководят английские генералы, что английские офицеры воздвигают многочисленнейшие укрепления на английские деньги, что флот английский ободряет Турцию продолжать войну, что, наконец, чуть ли не явились (в Азиатской Турции) уже английские войска... Они знают все это и бросаются почти на смерть, понимая, что пришло время сослужить России верную службу. Я уже не говорю про болгар, про угнетенных «братьев славян», мучимых, обижаемых. К стыду нашему, эта тема уже устарела... но не в их сердцах. Неужели вы не предполагаете во

многих из них высшего сознания, что они идут служить человечеству, угнетенным, оскорбленным...

— Служить человечеству кулаком!

— Позвольте, кстати, вам рассказать один анекдот. Я уже передавал однажды, что в Москве, в одном из приютов, где наблюдают маленьких болгарских детей сироток, привезенных к нам в Россию после тамошнего разгрома, есть одна больная девочка, лет 10, которая видела (и не может забыть) как турки, при ней, содрали кожу е ее живого отца. Ну, так в этом же приюте есть и другая больная болгарка, тоже лет десяти, и мне о ней недавно рассказали. У ней странная болезнь: постепенный, все больший и больший упадок сил и беспрерывный позыв ко сну. Она все спит, но сон нисколько ее не укрепляет, а даже напротив Болезнь очень серьезная. Теперь эта девочка, может быть, уже умерла. У ней тоже одно воспоминание, которого она не может выносить. Турки взяли ее маленького брата, ребенка двух-трех лет, сначала выкололи ему иголкой глаза, а потом посадили на кол. Ребеночек страшно и долго кричал, пока умер, — факт этот совершенно верный. Ну, вот этого и не может забыть девочка, все это они сделали при ней, на ее глазах. Природа, может быть, и посылает таким, пораженным сердечно, сон, потому что они не могли бы долго оставаться наяву с таким беспрерывным воспоминанием пред собою. Теперь представьте себе, что вы бы там были сами в ту минуту, как они прокалывали ребенку глаза. Скажите, неужели вы бы не бросились остановить их, даже и кулаком?

— Да, но все же кулак.

— Да вы не бейте их, если хотите, вы только ятаганы-то у них отнимите! Неужели и этого нельзя сделать силой?

А кстати, неужели есть у нас даже такие любители турок, которые и ятаганов-то у них не желали бы отобрать? Не думаю и не верю, чтоб были.

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Разговор мой с одним московским знакомым. — Заметка по поводу новой книжки

Выдав в Петербурге мой запоздавший май-июньский выпуск «Дневника» и возвращаясь затем в Курскую губернию, я, проездом через Москву, поговорил кой о чем с одним из моих давних московских знакомых, с которым вижусь редко, но мнение которого глубоко ценю. Разговора я в целом не привожу, хотя я узнал при этом кое-что весьма любопытное из текущего, чего и не подозревал. Но, расставаясь с моим собеседником, я, между прочим, упомянул, что хочу сделать пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтораста верст в сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества, — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц. Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но все никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями.

Вот у нас есть такие воспоминания и такие места, и у всех нас были. Любопытно: что у нынешней молодежи, у нынешних детей и подростков будет драгоцен-

ного в их воспоминаниях, и будет ли? Главное, что именно? Какого рода?

Что святые воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения, конечно, быть не может, иначе прекратилась бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, повидимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь. Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно оформируется для них этот дорогой запас — все это, конечно, и любопытный и серьезный вопрос. Если б можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него ответ, то можно бы было утолить много современных тревожных сомнений, и, может быть, многие бы радостно уверовали в русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но беда в том, что никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы данных для предчувствования и предузнания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха, Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено, как теперь. Где вы найдете теперь такие «Детства и Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком

представил, например, нам **свою** эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и Мире» его же? Все эти поэмы теперь **не более лишь, как исторические картины давно-прошедшего.** О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время, и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их **характере,** о законченности, точности и определенности их характера, — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится все более и более **случайным** семейством. Именно **случайное семейство** — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик? Иные, и столь серьезные даже люди, говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется, все это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, то есть высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство — разве теперь оно не вопрос тоже?

— Вот что бесспорно — сказал мне мой собеседник, — бесспорно то, что в весьма непродолжительном времени в народе явятся новые вопросы, да и явились уже — куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных, и все это естественно. Но кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них, и кто первый выищется, кто ждет уже и готовится? Вот вопрос, наш вопрос, да еще самой первой важности.

И уж, конечно, первой важности. Столь крутой перелом жизни, как реформа 19-го февраля, как все потом реформы, а главное, грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновение с нею), все это, бесспорно родит и родило уже вопросы, потом, пожалуй, оформирует их, объединит, даст им устойчивость и — в самом деле, кто ответит на эти вопросы? Ну, кто

всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих, и увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отдаляют от себя паству несоразмерными ни с чем поборами, что к ним и не придет никто спрашивать. На эту тему можно бы и много прибавить, но прибавим потом. Затем, одни из ближайших к народу — это сельские учителя. Но к чему годятся и к чему готовы наши сельские учителя? Что представила до сих пор эта, лишь начинающаяся, впрочем, но столь важная по значению в будущем новая корпорация, и на что она в состоянии ответить? На это лучше не отвечать. Остаются, стало бы, ответы случайные, — по городам, на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних помещиков (об начальстве само собою не упоминаю). О, ответов, конечно, будет множество, пожалуй, еще больше чем вопросов, — ответов добрых и злых, глупых и премудрых, но главный характер их, кажется будет тот, что каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса.

— А главное, — нечего и говорить об этом. Вынесут.

Конечно, вынесут, и без нас вынесут, и без ответчиков и при ответчиках. Могуча Русь и не то еще выносила. Да и не таково назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она **все** решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто ве-

рит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. «Здесь терпение и вера святых», как говорится в священной книге.

В то утро я только что увидал, в первый раз, объявление в газетах о выходе отдельно восьмой и последней части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией «Русского Вестника», в котором печатался весь роман с самой первой части. Всем известно было тоже, что отвергнута эта последняя, восьмая часть за разногласие ее с направлением журнала и убеждениями редакторов, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положил купить и, прощаясь с моим собеседником, спросил его о ней, зная, что ему давно уже известно ее содержание. Он засмеялся.

— Самая невиннейшая вещь, какая только может быть! — отвечал он. — Вовсе не понимаю, зачем «Русский Вестник» не поместил ее. При том же автор предоставлял им право на какие угодно оговорки и выноски, если они с ним не согласны. А потому прямо и сделали бы выноску, что вот, дескать, автор...

Я, впрочем, не впишу сюда содержания этой выноски, предлагавшейся моим собеседником, тем более, что и высказал он ее, все еще продолжая смеяться. Но в конце он прибавил уже серьезно:

— Автор «Анны Карениной», несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо иль налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, загово-

рят совершенно противоположное, так как во всяком случае они всегда строго искренни. Этот переверт может и совсем не совершиться, но может совершиться и через месяц, и тогда почтенный автор с таким же задором закричит, что и добровольцев надо посылать и корпий щипать, и будет говорить все, что мы говорим...

Книжку эту я купил и потом прочел, и нашел ее вовсе не столь «невинною». И так как я, несмотря на все мое отвращение пускаться в критику современных мне литераторов и их произведений — решил непременно поговорить об ней в «Дневнике» (даже, может быть, в этом же выпуске) — то и счел не лишним вписать сюда и мой разговор с моим собеседником, у которого и прошу извинения за мою нескромность...

II

Жажда слухов и того, что «скрывают». — Слово «скрывают» может иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее. — Опять о случайном семействе

Эти «места моего детства», куда я собирался съездить, — от Москвы всего полтораста верст, из коих сто сорок по железной дороге; но употребить на эти полтораста верст пришлось почти десять часов. Множество остановок, пересаживаний, а на одной станции приходится ждать этого пересаживания три часа. И все это при всех неприятностях русской железной дороги, при небрежнейшем и почти высокомерном отношении к вам и к нуждам вашим кондукторов и «начальства». Всем давно известна формула русской железной дороги: «не дорога создана для публики, а публика для дороги». Нет такого железнодорожника, с кондуктора до директора включительно, который бы сомневался в этой аксиоме и не посмотрел бы на вас с насмешливым удивлением, если б вы стали утверждать перед ним, что дорога создана для публики. А главное, и слушать не будут.

Кстати, в это лето я изъездил до четырех тысяч верст, по крайней мере, и везде по дороге меня особенно поражал этот раз народ; везде народ говорил про войну. Ничто не могло сравниться с тем интересом и с тем жадным любопытством, с которым простонародье выслушивало и расспрашивало про войну. В вагонах я заметил даже нескольких мужиков, читавших газеты, большею частию, вслух. Случалось садиться рядом с ними: какой-нибудь мещанин оглядит вас осторожно сначала, и особенно коль увидит у вас или подле вас газету, — немедленно и чрезвычайно вежливо осведомится: откуда вы? И коль ответите, что из Москвы, или из Петербурга (а еще интереснее для него, если с юга, из Одессы, например), то непременно спросит: «Что слышно про войну?». Затем, чуть-чуть вы вселите в него доверчивость вашим ответом и готовностью отвечать ему, он тотчас, впрочем опять-таки с осторожностью, меняет любопытный вид на таинственный, приближается к вам и спрашивает, уже понижая голос: «А нет ли, дескать, чего особенного?», то есть, поособеннее чем в газетах, того, дескать, что скрывают? При этом прибавлю, что недовольных на правительство за объявление войны в народе нет никого, даже в самых злорадных типах, а злорадные есть, но тут особенного рода злорадство: проходишь, например, во время остановки по платформе станции и вдруг услышишь: «семнадцать тысяч наших легло, только-что сейчас была телеграмма!» Смотришь — ораторствует какой-нибудь паренек, лицо у него выражает какое-то зловещее упоение, и вовсе не то, чтоб он был рад, что наших легло семнадцать тысяч, нет, тут другое, тут вроде того, как если б вдруг погорел человек, все сгорело — изба, деньги, скот: «смотрите, дескать, на меня, православные христиане, все пропало, в лохмотьях, один как перст!». В эти минуты тоже бывает у этакого какая-то сладость злорадного самоупоения в лице. Но насчет «семнадцати тысяч» было и другое: «телеграмма, дескать, такая есть, только ее задерживают, скрывают, еще не пущают... видели, сами читали. .» — вот смысл. Я не утерпел, вдруг пого-

шел к кучке и сказал, что все вздор, слухи глупые, не могли побить семнадцати тысяч наших, все благополучно. Паренек (как будто из мещанства, а то и мужик, пожалуй) несколько хотя и сконфузился, но не очень: «мы, дескать, люди темные, не свои слова говорим, так слышали», толпа быстро разошлась к тому же зазвенел и звонок. Любопытно мне теперь потому, что происходило это девятнадцатого июля, часов в пять пополудни. Накануне же, восемнадцатого, было Плевненское дело. Какая тут могла быть еще телеграмма, даже кому бы то ни было, а не то что среди поезда железной дороги? Конечно, случайное совпадение. Не думаю, впрочем, чтоб парень был сам распускатель и выдумщик ложных слухов, вернее всего, что он в самом деле от кого-нибудь слышал. Надо думать, что фабрикантов ложных слухов, и уже, конечно, злых слухов, об неудачах и несчастиях развелось по России в это лето чрезвычайное множество и уж, конечно, с целями, а не то что из одного простого вранья.

В виду горячего патриотического настроения народа в эту войну, в виду той сознательности о значении и задачах этой войны, которая обнаружилась в народе нашем еще с прошлого года, в виду пламенной и благоговейной веры народа в своего царя — все эти задержки и секреты в известиях с театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не может, конечно, ни требовать, ни желать, чтоб сообщались стратегические планы, цифры войск раньше дела, военные секреты и проч., но, по крайней мере, то, что узнают венские газеты раньше наших — можно бы знать и нам раньше их*)

Сидя на станции, на которой приходилось ждать три часа для пересадки на другой поезд, я был в предурном расположении духа и на все досадовал. От нечего делать мне пришло вдруг на мысль исследовать: почему я досадую, и не было ли тут, кроме общих причин, какой-нибудь случайной, ближайшей?

---

*) Теперь все это, в самом важном, поправлено: почти ни одного дня не остается публика без депеш главнокомандующего.

Я недолго искал и вдруг засмеялся, найдя эту причину. Дело заключалось в одной недавней встрече моей, в вагоне, за две станции перед этой. В вагон вдруг вошел один джентльмен, совершенный джентльмен, очень похожий на тип русских джентльменов, скитающихся за границей. Он вошел, ведя с собой маленького своего сына, мальчика лет восьми, никак не более, даже, может быть, менее. Мальчик был премило одет в самый модный европейский детский костюмчик, в прелестную курточку, изящно обут, белье батистовое. Отец видимо о нем заботился. Вдруг мальчик, только что сели, говорит отцу: «папа, дай папироску!» Папа тотчас же идет в карман, вынимает перламутровую папиросочницу, вынимает две папироски, одну для себя, другую — для мальчика, и оба, с самым обыкновенным видом, прямо свидетельствующим, что между ними уж и давно так, закуривают. Джентльмен погружается в какую-то думу, а мальчик смотрит в окошко вагона, курит и затягивается. Он выкурил свою папироску очень скоро, затем, не прошло и четверти часа, вдруг опять: «папа, дай папироску», — и опять оба вновь закуривают и, в продолжение двух станций, которые они просидели со мною в одном вагоне, мальчик выкурил, по крайней мере, четыре папироски. Никогда я еще не видал ничего подобного и был очень удивлен. Слабая, нежненькая, совсем не сформировавшаяся грудка такого маленького ребенка приучена уже к такому ужасу. И откуда могла явиться такая неестественно-ранняя привычка? Разумеется глядя на отца: дети так переимчивы; но разве отец может допустить своего младенца к такой отраве? Чахотка, катар дыхательных путей, каверны в легких, вот что неотразимо ожидает несчастного мальчика — тут девять из десяти шансов, это ясно, это всем известно, и именно отец-то и развивает в своем младенце неестественно-преждевременную привычку! Что хотел доказать этим этот джентльмен, — я не могу себе представить: пренебрежение ли к предрассудкам, новую ли идею провести, что все, что прежде запрещалось — вздор, а, напротив, все дозволено? — Понять не могу. Случай этот

так и остался для меня неразъясненным, почти чудесным. Никогда в жизни я не встречал такого отца и, вероятно, не встречу. Удивительные в наше время попадаются отцы! Я, впрочем, тотчас перестал смеяться. Рассмеялся я тому только, что так скоро отыскал причину моего скверного расположения духа. Тут, хотя впрочем без прямой связи с событием, припомнился мне вчерашний мой разговор с моим собеседником о том: что унесут дорогого и святого из своего детства в жизнь современные дети, потом напомнилась моя мысль о **случайности** современного семейства... и вот я вновь погрузился в весьма неприятные соображения.

Спросят: что такое эта **случайность** и что я под этим словом подразумеваю? Отвечаю: случайность современного русского семейства, по-моему, состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. Заметьте еще: эта идея, эта вера — может быть, даже, пожалуй, ошибочная, так что лучшие из детей впоследствии сами бы от нее отказались, по крайней мере, исправили бы ее для своих уже детей, но все же самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи — есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим, так — но порядка. Тогда как в наше время этого-то порядка и нет, ибо нет ничего общего и связующего, во что бы все отцы верили, а есть на место того или: во 1-х, поголовное и сплошное отрицание прежнего (но зато лишь отрицание и ничего положительного); во 2-х, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько голов, столько умов, — попытки, раздробившиеся на единицы и лица, без опыта, без практики, даже без полной веры в них их изобретателей. Попытки эти иногда даже и с прекрасным началом, но невыдержанные, незаконченные, а иногда так и совсем безобразные, вроде огульного допущения всего того, что прежде запре-

щалось, на основании принципа, что все старое глупо, и это даже до самых глупейших выходок, до позволения, например, курить табак семилетним детям. Наконец, в 3-х, ленивое отношение к делу, вялые и ленивые отцы, эгоисты: «э, пусть будет, что будет, чего нам заботиться, пойдут дети, как и все, во что-нибудь выровняются, надоедают только они очень, хотя бы их вовсе и не было!» Таким образом, в результате — беспорядок, раздробленность и **случайность** русского семейства, — а надежда — почти что на одного Бога: «авось, дескать, пошлет нам какую-нибудь общую идейку, и мы вновь соединимся!».

Такой порядок, конечно, родит безотрадность, а безотрадность еще пуще родит леность, а у горячих — циническую, озлобленную леность. Но есть и теперь много совсем не ленивых, а, напротив, очень даже прилежных отцов. Большею частью это отцы с идеями. Один, наслушавшись, положим, весьма даже не глупых вещей и прочтя две-три умные книги, вдруг сводит все воспитание и все обязанности свои к семейству на один бифштекс: «Бифштекс с кровью и кончено, Либих, дескать» и т. д. Другой, пречестнейший человек сам по себе, в свое время даже блиставший остроумием, уже согнал три няньки от своих младенцев: «невозможно с этими шельмами, запретил настрого, вдруг вхожу вчера в детскую и что же, представьте себе, слышу: Лизочку укладывает в люльку, а сама ее Богородице учит и крестит: помилуй, дескать, Господи, папу, маму... ведь настрого запретил! Решаюсь на англичанку, да выйдет ли лучше-то?» Третий, едва пятнадцатилетнему своему мальчишке, сам подыскивает уже любовницу: «а то, знаете, эти детские ужасные привычки разовьются, али пойдет как-нибудь на улицу, да болезнь скверную схватит... нет, уж лучше обеспечить ему этот пункт заране»... Четвертый доводит своего семнадцатилетнего мальчика до самых передовых «идей», а тот самым естественным образом (ибо что может выйти из иных познаний раньше жизни и опыта?) сводит эти передовые мысли (нередко очень хорошие) на то, что «если нет ничего святого, то, стало

быть, можно делать вскую пакость». Положим, в этом случае отцы горячи, но ведь у многих ли из них эта горячка оправдывается чем-нибудь серьезным, мыслию, страданием? Много ль у нас таких-то? Большею ведь частью одно либеральное подхихикивание с чужого голоса, и вот, ребенок уносит в жизнь, сверх всего, и комическое воспоминание об отце, комический образ его.

Но это «прилежные» и их не так много; несравненно больше ленивых. Всякое переходное и разлагающееся состояние общества порождает леность и апатию, потому что лишь очень немногие, в такие эпохи, могут ясно видеть перед собою и не сбиваться с дороги. Большинство же путается, теряет нитку и, наконец, махает рукой: «э, чтоб вас! Какие там еще обязанности, когда и сами-то никто ничего толком не умеет сказать! Прожить бы только как-нибудь самому-то, а что тут еще обязанности». И вот эти ленивые, если только богаты, исполняют даже все **как следует:** одевают детей хорошо, кормят хорошо, нанимают гувернанток потом учителей; дети их, наконец, вступают, пожалуй в университеты, но... отца тут не было, семейства не было, юноша вступает в жизнь один как перст, сердцем он не жил, сердце его ничем не связано с его прошедшим, с семейством, с детством. И еще вот что: ведь это только богатенькие, у них был достаток, а много ли достаточных-то? Большинство, страшное большинство — ведь все бедные, а потому при лености отцов к семейству детки уже в высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцов отражаются в их сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты, и, что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство. И долго потом в жизни, может, всю жизнь, человек склонен слепо обвинять этих прежних людей, ничего не вынеся из своего дет-

ства, чем бы мог он смягчить эту грязь воспоминаний и правдиво, реально, а стало быть и **оправдательно** взглянуть на тех прошлых, старых людей, около которых так уныло протянулись его первые годы. Но это еще лучшие из детей, а ведь большинство-то их уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь **воспоминаний,** а и самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтоб употребить ее потом в дело и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем: «Все, дескать, ходят в грязи, об идеалах бредят только одни фантазеры, а с грязнотцой-то и лучше»...

«Но что же вы хотите? Какие это такие воспоминания должны бы были они унести из детства для очистки грязи своих семейств и для **оправдательного,** как вы говорите, взгляда на отцов своих?» Отвечаю: Что же я могу сказать один, если в целом обществе нет на это ответа? Общего нет ничего у современных отцов, сказал я, связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить **прекрасное** в воспоминаниях детей, — и даже как: несмотря даже на самую лютую обстановку их детства, бедность и даже самую нравственную грязь, окружавшую их колыбели! О, есть такие случаи, что даже самый падший из отцов, но еще сохранивший в душе своей хотя бы только отдаленный прежний образ великой веры в нее, мог и успевал пересаждать в восприимчивые и жаждущие души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства, и был прощен потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что остальное. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь. Посмотрите, разве современные отцы, из горячих и прилежных, не верят в это? О, они вполне верят, что без связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя взрастить поколение и пустить его в жизнь! Но сами-то они все вме-

сте утратили целое, потеряли общее, разбились по частям; соединились лишь в отрицательном, да и то кое-как, и разделились все в положительном, а в сущности и сами даже не верят себе ни в чем, ибо говорят с чужого голоса, примкнули к чуждой жизни и к чуждой идее и потеряли всякую связь с родной русской жизнью.

Впрочем, повторяю, этих горячих немного, ленивых бесконечно больше. Кстати, помните ли вы процесс Джунковских? Этот процесс очень недавний и рассматривался в Калужском окружном суде всего лишь 10 июня текущего года. На него, среди грома текущих событий, весьма может быть, немногие и обратили внимание. Я прочел его в газете «Новое Время» и не знаю, был ли он перепечатан еще где-нибудь. Это — дело о перемышльских землевладельцах майоре Александре Афонасьеве Джунковском, 50 лет, и жене его Екатерине Петровой Джунковской, 40 лет, обвиняемых в жестоком обращении с малолетними детьми их Николаем, Александром и Ольгою... Здесь своевременно будет заметить, что дети, о которых идет речь, были в следующем возрасте: Николай — тринадцати лет, Ольга — двенадцати и Александр — одиннадцати лет. Прибавлю еще, забегая вперед, что суд оправдал подсудимых.

В этом процессе весьма, по-моему, резко выступает многое типичное из нашей действительности, а, между тем, что всего более в нем поразительно — это чрезвычайная обыкновенность, обыденность его. Чувствуешь, что именно таких русских семейств необыкновенное теперь множество, — конечно, не в этом самом виде, конечно, не везде такие случайности, как **чесание пяток** (о чем будет ниже), но суть-то дела, основная-то черта множества подобных семейств одна и та же. Это именно тип «ленивого семейства», о котором я сейчас только говорил. Если не целый, не правильный очень тип (особенно судя по иным весьма исключительным и характерным подробностям), то все-таки замечательная особь этого типа. Но пусть читатели судят сами. Подсудимые были преданы суду по

определению московской судебной палаты; припомним же это обвинение. Перепечатываю из «Нового Времени» так как оно там было изложено, то есть в сжатом виде.

III

Дело родителей Джунковских с родными детьми

«Обвиняемые Джунковские, обладая известным достатком и имея надлежащее число прислуги, поставили детей своих: Николая, Александра и Ольгу, в совершенно иные отношения к себе, чем других детей. Они не только не держали себя с ними и не ласкали их как родители, но, оставив без присмотра, давали им плохое содержание, помещение, одежду, постели и стол, принуждали к занятиям вроде чесания пяток и т. п., возбуждая и поддерживая таким образом в них неудовольствие и раздражение, доведшее их до поступка с умершею сестрою, о чем будет сказано ниже. Все это не могло не иметь дурного влияния на здоровье детей. Так, например, из дела видно, что Ольга страдает падучею болезнию; кроме того, не способствуя ни надзором, ни попечениями своими нравственному развитию детей, подсудимые прибегали к мерам, которые нельзя признать кроткими мерами исправления родителями своих малолетних детей. Так, обвиняемые запирали детей на продолжительное время в сортир, оставляли дома в холодной комнате и почти без пищи, или посылали обедать и спать в комнате прислуги, ставя их таким образом в общество лиц, мало способных содействовать их исправлению, наконец, часто били чем попало, даже кулаками, секли розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей, и с такою жестокостью, что страшно было смотреть и что (по показанию мальчика Александра) спина ребенка болела пять дней от одной из таких экзекуций. Подобные побои были последствием не всегда какой-нибудь хотя бы маловажной шалости, но и просто так себе — по желанию. Служившая прачкою у Джунковских солдат-

ка Сергеева между прочим объяснила, что обвиняемые не любили детей Николая, Александра и Ольгу, которые спали отдельно от других детей, внизу, в одной комнате, на полу на войлоке, одевались чем попало (было одно рваное одеяло), ели людское кушанье, так что всегда были голодны. Одевали их плохо: летом в разные рубашки, а зимою в полушубки. Джунковская была для этих детей хуже мачехи; она била их, особенно Александра, чем попало, а то так просто кулаками. Когда секла Николая, то страшно было глядеть. Дети хотя и были шаловливы, но как дети. Им доставалось больше всего по вечерам, когда они чесали матери пятки, что продолжалось по часу и более — пока мать не уснет. Это делала раньше прислуга, в том числе и Сергеева, которая, наконец, отказалась, потому что рука отекала! Из показания Усачковой оказывается, что Александр и Ольга валялись на полу, на грязных подушках, «вообще их держали грязно — в свином логовище чище чем у них». Живший у Джунковских, в качестве учителя, по август 1875 года, дворянин Любимов утверждал, что Николая, Ольгу и Александра содержали плохо и им иногда приходилось ходить босиком. В показании девицы Шишовой (кандидатка Николаевского института), бывшей у детей подсудимых гувернанткою, по август 1874 года, которое было прочитано на суде, вследствие неявки свидетельницы, — значится, что Джунковская — женщина эгоистичная, не ласкавшая никогда, равно как и муж ее, детей Александра и Николая. Отсутствие вообще порядка в доме подсудимых и равнодушное отношение к детям Шишова объясняет какою-то небрежностью обвиняемых ко всему и даже в отношении себя; дела их были постоянно запутаны, и они жили постоянно в хлопотах и не умели хозяйничать. Джунковская, старавшаяся, чтобы ее ничто не беспокоило, поручала мужу наказывать детей, что им и было исполняемо, и хотя при экзекуциях свидетельница не присутствовала, но тем не менее удостоверяет, что «никакой жестокости в наказаниях не было». «Случалось, — продолжает педагогичка Шишова, — что Джунковская или

я даже за шалости запирала детей в комнату, где стоял ватерклозет, но эта комната не холоднее других в квартире и отапливалась». Шишова и сама наказывала детей ременною плеткою, «но только она была маленькая». При свидетельнице никогда не случалось, чтобы детям не давали есть по несколько дней.

«Затем мальчики Николай и Александр дали следователю сдержанные показания, из которых, однако, видно, что их секли розгами, ременною плетью, которою гоняют лошадь, а также и хворостиною, употреблявшеюся в дело и учителем Любимовым. Однажды у Александра пять дней болела спина после того, как мать высекла его за то, что он из кухни принес сестре Ольге картофелю для завтрака.

«Джунковский в оправдание свое ссылался на полнейшую испорченность своих детей, в подтверждение чего привел следующий случай: когда умерла его старшая дочь Екатерина, мальчики Николай и Александр в то время, когда сестра их лежала на столе, — нарезав в саду прутьев, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натешимся над тобою за то, что ты на нас жаловалась.

«На суде обвиняемые не признали себя виновными.

«Подсудимый уверял, что тратит на воспитание своих детей более, чем позволяют его средства, но что он так несчастлив, что не достиг своей цели, и что дети делаются все хуже и хуже.

«Старший сын (Николай) до отдачи в гимназию был хорошим мальчиком, но побыв в гимназии, выучился там воровать; до поступления в гимназию он знал молитвы, но потом забыл их по той причине, что объявил себя католиком и вследствие этого не учился совсем Закону Божию, между тем было представлено метрическое свидетельство, в котором сказано, что Николай — православного вероисповедания.

«В последнем своем слове Джунковская высказала, что она нанимала к детям несколько гувернанток, но, к несчастью, все ошибалась в них, так же как и в учителе; но что в настоящее время отец сам занимается

с детьми, и она надеется, что дети совершенно исправятся».

Вот этот процесс. Подсудимые, как сказано выше, были оправданы. Еще бы нет? И замечательно не то, что их оправдали, а то, что их предали под суд и судили. Кто и какой суд может обвинить их и за что? О, конечно, есть такой суд, который может их обвинить и ясно указать за что, но не уголовный же суд с присяжными заседателями, судящий по написанному закону. А в написанных законах нигде нет статьи, ставящей преступлением ленивое, неумелое и бессердечное отношение отцов к детям. Иначе пришлось бы осудить пол-России, — куды, гораздо больше. Да и что такое бессердечное отношение? Вот если бы жестокие истязания, какие-нибудь ужасные, бесчеловечные. Но мне помнится, как адвокат, в процессе Кронеберга, обвинявшегося в бесчеловечном обращении с своим младенцем, раскрыл свод законов и прочел статью о жестоком обращении, жестоких истязаниях, и проч., имея в виду доказать, что клиент его не подходит ни под одну из этих статей, в которых ясно и точно определено, что надо считать жестокими и бесчеловечными истязаниями. И, помню, эти определения жестоких истязаний были до того жестоки, что решительно похожи были на истязания болгар баши-бузуками, и если не сажание на кол и ремни из спины, то разломанные ребра, руки, ноги и не знаю еще что, так что какая-нибудь ременная плетка, да еще маленькая, по показанию девицы Шишовой, — решительно не может подойти к статье свода законов и составить пункт обвинения. «Секли, дескать, розгой». Да кто ж не сечет детей розгой? Девять десятых России сечет. Под уголовный-то закон уже никак нельзя подвести. «Секли, дескать, ни за что, ни про что, за картофель», — Нет-с, не за картофель, — ответил бы г. Джунковский, а тут уж все вместе сошлось, за разврат, за то, что они, изверги, секли умершую дочь Екатерину по лицу. — «В сортир, дескать, запирали». Да ведь сортир топленый, так чего же вам больше, карцер всегда карцер. «За то, дескать, что людской пищей кормили.

и посылали спать чуть не в свиной хлев, на какой-то подстилке, с одним рваным одеялом?» — А это тоже за наказание-с, и при том, рваное — не рваное, а я и без того трачу на обучение детей свыше моих средств и надеюсь, что закону нечего считать в моем кармане средства мои. — «За то, дескать, что вы не ласкали детей?» — Но позвольте, покажите мне такую статью свода законов, которая повелевала бы мне, под страхом уголовного наказания, ласкать детей, да еще шалунов, бессердечных, дрянных воришек и извергов. — «За то, наконец, что вы избрали не ту систему воспитания ваших детей?» — А какую систему воспитания предписывает уголовный закон, под страхом уголовного наказания? Да и вовсе это не дело закона»...

Одним словом, я хочу сказать, что тащить это дело Джунковских в уголовный суд было невозможно. Да так и случилось: они были оправданы, из обвинения их ничего не вышло. А между тем, читатель чувствует, что из этого дела может выйти, а может быть уж и вышла целая трагедия. О, тут дело другого суда, но какого же?

Какого? Да вот хоть бы, например, девица Шишова, педагогичка, — она дает свое показание и уже произносит в нем приговор. Заметим, что эта г. Шишова, хоть и секла сама детей ременной плеткой («только она была маленькая»), но, кажется, весьма умная женщина. Невозможно определить точнее и умнее характер Джунковских, как она его определяет. Г-жа Джунковская — **женщина эгоистичная,** говорит она. Дом Джунковских **в беспорядке... по небрежности обвиняемых ко всему и даже в отношении себя**. Дела их постоянно запутаны, живут они постоянно в хлопотах; не умеют хозяйничать, мучаются, а между тем всего более ищут покоя: Джунковская, беспрерывно **старавшаяся, чтобы ее ничто не беспокоило,** даже детей поручала наказывать мужу... Одним словом, г. Шишова унесла с собой из дома Джунковских то мнение, что эти люди — бессердечные эгоисты, а главное — ленивые эгоисты. Все от лени, и сердца у них ленивые. От лени, конечно, и вечный беспорядок в доме, беспорядок и в делах, а между тем ничего они так не

ищут, как покоя: «Э, чтоб вас, только бы прожить!» Отчего же их леность, отчего их апатия — Бог знает! Тяжело ли им среди современного хаоса жизни, в котором так трудно что-нибудь понять? Или так мало ответила современная жизнь на их духовные стремления, на их желания, вопросы? Или, наконец, от непонимания кругом происходящего разложились и их понятия и уже больше не собрались, и наступило разочарование? Не знаю, не знаю; но, повидимому, это люди имеющие образование, может быть, некогда, да и теперь, пожалуй, любившие прекрасное и высокое. Чесание пяток тут ничему не могло бы противоречить. Чесание пяток — это именно что-то вроде как бы ленивого, апатичного разочарования, ленивое дорлотерство, жажда уединения, покоя, теплоты. Тут нервы, — и именно не столько лень, сколько эта жажда покоя и уединения, то есть скорее отъединения от всех долгов и обязанностей. Да, тут, конечно, эгоизм, а эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное, трусливое отвращение связать себя каким-нибудь долгом. Заметьте, что вечное и страстное желание этого освобождения себя от всякого долга почти всегда рождает и развивает в эгоисте. наоборот, убеждение, что все, кто бы ни сталкивался с ним, ему должны что-то, как бы обложены относительно его каким-то долгом, данью, податью. Как ни бессмысленно это мечтание, но оно, наконец, укореняется и переходит в раздражительное недовольство всем миром и в горькое, нередко озлобленное чувство ко всему и ко всем. Неисполнение этих фантастических долгов принимается, наконец, сердцем как обида — так что вы никогда во всю жизнь не вообразите, за что иной такой эгоист постоянно на вас сердится и злобится. Это озлобленное чувство рождается даже и к собственным детям, — о, к детям даже по преимуществу. Дети — это именно предназначенные жертвы этого капризного эгоизма, к тому же они всех ближе под рукою, а всего пуще то, что никакого контроля: «мои, дескать, дети, собственные!» Не удивляйтесь же, что это ненавистное чувство, вечно раздражаемое напоминанием неисполненного отно-

сительно детей долга, раздражаемое вечным торчанием перед вами этих маленьких новых личностей, требующих от вас всего и дерзко (увы, не дерзко, а по-детски!) не понимающих, что вам так нужен ваш покой, и считающих этот покой ни во что. — не удивляйтесь, говорю я, что это ненавистное чувство даже к собственным детям может переродиться, наконец, в настоящую месть, а под поощрением и подстреканием безнаказанности — даже в зверство. Да, леность и всегда порождает зверство, заканчивается зверством. И зверство это не от жестокости, а именно от лени. Сердца эти не жестокие, а именно ленивые сердца. И вот эта, столь любящая покой дама, даже до чесания пяток возлюбившая его, озлобившаяся, наконец, на то, что лишь у ней, **у ней лишь одной** нет никогда покоя, потому что все кругом нее в беспорядке и требует ее беспрерывного присутствия и внимания, — эта дама вскакивает, наконец, с постели, хватает хворостину и сечет, сечет собственного ребенка, неутолимо, ненасытно, злорадно, так что «страшно было глядеть», как показывает прислуга, и за что, из-за чего: за то, что мальчик принес голодной маленькой сестре (страдающей падучей болезнию) из кухни немного картофелю, — то есть сечет его за хорошее чувство, за то, что не развратилось и не очерствело еще сердце ребенка. «Все равно, дескать, я запретила, а ты принес, так вот же, не делай свое хорошее, а делай мое дурное». Нет-с, ведь это истерика. Дети спят в грязи, «в свином логовище чище», с одним прорванным одеялом на троих: «пусть, так им и надо, думает родная мать, не дают они мне покоя!» И не потому думает она так, что сердце у ней жестокое, нет, сердце у ней, может быть, весьма доброе и хорошее от природы, да вот покоя-то ей никак не дают, достигнуть-то его она всю жизнь не может, и чем дальше, тем хуже, а тут эти дети («зачем они! зачем они появились!») растут, шалят и требуют каждодневно все больше и больше труда и внимания! Нет, если уж тут и истерика, то целыми годами накопленная. Рядом с этою болезненною (доведенною до болезненности) матерью семейства, стоит

пред судом отец, г. Джунковский. Что ж, может быть, он и очень хороший человек, кажется, человек образованный, вовсе не циник, напротив, сознающий отцовский долг свой, до огорчения сердца его сознающий. Вот он чуть не со слезами жалуется в суде на малолетних детей, он простирает руки: «я сделал для них все, все, я нанимал учителей, гувернанток, и тратил на них более, чем позволяли мне средства, но они изверги, они стали воровать, они секли мертвую сестру по лицу!» Одним словом, он считает себя вполне правым. Дети стоят тут же, подле; замечательно, что они дали «показания сдержанные, осторожные», то есть мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтоб это от одного лишь страха родителей, к которым все-таки придется воротиться. Напротив, казалось бы, тот факт, что их отца уже судят за жестокое обращение с ними, должен бы их ободрить. Просто, им неловко было судиться с отцом, стоять подле него и свидетельствовать против него, тогда как он, не думая о будущем и о том, какие чувства останутся в сердце этих детей от этого дня, не подозревая даже о том, что они унесут в свое будущее из этого дня, — он обвиняет их и разоблачает все их дурное, все постыдные поступки их, жалуется суду, публике, обществу. Но он верит, что он прав, а г-жа Джунковская верит даже и в будущность, и вполне, вполне! Она объявляет суду, что все от дурных учителей и гувернанток, что она разочаровалась в них, а что теперь, когда вот муж ее примется за обучение и воспитание детей, то дети «совершенно исправятся» (так! так!). Дай им Бог, однако.

Кстати, заметим кое-что об этих шалостях маленьких Джунковских.

То, что они секли розгами по лицу мертвую сестру, за то, что она когда-то на них жаловалась, конечно, возмутительно и омерзительно. Но постараемся быть беспристрастнее и, клянусь вам, увидим, что даже и это лишь детская шалость, именно, — это детская «фантастичность». Тут что-нибудь от воображения детей, а не от развращенного сердца. Детское вообра-

жение даже по природе своей, и особенно в известном возрасте, чрезвычайно восприимчиво и наклонно к фантастическому. И особенно в тех семействах, в которых хоть и тесно живут люди, так что каждый торчит у другого на виду, но дети все-таки отъединены в особую кучку — заботами, вечным недосугом отцов: «учиться, за книгу, не шалить!» только и слышат они и сидят за своими книжонками, по определенным углам, не смея даже болтнуть ногой. В свином своем хлеве, по ночам, засыпая, или сидя за скучными уроками или запертые в сортир маленькие Джунковские могли приучить себя к странным мечтаниям — и к добрым и сердечным, и к озлобленным, или просто по-детски, к сказочным, фантастическим: «вот, дескать, был бы я побольше, пошел бы на войну, а там бы приехал сюда; учителишка спросил бы: где вы были? Как смели уехать из класса? А я бы вынул из кармана Георгий и повесил в петлицу, тут бы он испугался и бросился на колени!» Когда умерла сестра, кто-нибудь из них троих, греясь под уголком своего рваного одеяла, мог, засыпая, придумать: «а знаешь, Николя, ведь Бог-то ее нарочно наказал за то, что она злая была, жаловалась. Она теперь видит сверху, хотела бы пожаловаться, да нельзя уже. Давайте ее завтра розгами сечь, пусть она смотрит сверху, видит и злится, что нельзя пожаловаться!» Клянусь вам, что ребятишки, может быть, через несколько дней раскаялись в сердцах своих в том, что они сделали такую гнусную глупость, Детские сердца мягки. На этот счет я знаю вот какой маленький случай. Умерла одна мать у семерых детей. Один ребенок, девочка лет семи или восьми, увидя мертвую маму, стала ужасно рыдать. Она так плакала, что ее унесли в детскую почти в истерике и не знали чем утешить. Дура приживалка, случившаяся тут, вдруг сказала ей, утешая: «не плачь, что ты уж так плачешь-то, ведь она тебя не любила, она тебя, помнишь, наказала, в углу-то ты стояла, помнишь!» Дуре думалось сделать лучше: вот, дескать, перестанет и успокоится ребенок — и достигла ведь цели: девочка вдруг перестала плакать. Мало того, и на другой день, и на по-

хоронах имела какой-то холодный, подобранный, обиженный вид: «она, дескать меня не любила». Ей понравилась мысль, что она была обиженная, загнанная, нелюбимая. Ей-Богу, это случилось с ребенком по восьмому году. Но детская «фантастичность» не продолжалась долго: через несколько дней ребенок так опять затосковал о матери, что сделался болен, и никогда потом, во всю жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери без благоговейного чувства. За проступок маленьких Джунковских с мертвою сестрою их, без сомнения, следовало наказать, и строго, но поступок этот — детский, глупый, фантастический, именно детский и вовсе не означает развращения сердец. Шалость же мальчика Николая в гимназии, объявившего себя католиком, чтобы не учиться Закону Божию, есть в высшей степени лишь детская шалость: это классный выверт перед товарищами: «вот, дескать, вы учитесь Закону, а я избавился, надул их всех, благо фамилия моя похожа на польскую». Тут решительно одно только **школьничество** — глупое, скверное, за которое следует строжайше наказать, но не следует отчаиваться за мальчика, не следует верить, что он уже до того развращен, что стал мошенником. Но Джунковский отец, кажется, верит тому: не жаловался бы он так плачевно на суде, если бы не верил.

У нас в судах случается, что когда подсудимые бывают оправданы (и особенно когда они очевидно виновны, но отпущены лишь милосердием суда), то председатель суда, объявляя подсудимому свободу, говорит ему иногда при этом назидание на тему: как именно ему следует принять это оправдание, что вынести из всего этого в жизнь, как избежать в дальнейшем повторения беды. Председатель суда говорит в таком случае от лица как бы всего общества, государства; слова эти важные, назидание верховное. Может быть, подсудимым Джунковским объявлено было их оправдание без всякого особого, в таком роде, внушения, — этого я не знаю, но я просто сам воображаю себе: что мог бы им сказать председатель суда, отпуская их. И вот что, мне кажется, он бы мог им сказать:

IV

Фантастическая речь председателя суда

«Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кроме этого суда есть другой суд, — суд собственной вашей совести. Сделайте же так, чтоб и этот суд оправдал вас, хотя бы впоследствии. Вы объявили, что намерены теперь сами заняться воспитанием и обучением детей ваших: если б вы раньше взялись за это, то не было бы, вероятно, и сегодняшнего суда вашего здесь с детьми вашими. Но боюсь: имеете ли вы достаточно сил в себе для исполнения доброго намерения вашего? Не достаточно лишь решиться на такое дело, надо спросить себя: достанет ли ревности и терпения на исполнение его? Не хочу и не смею сказать про вас, что вы родители бессердечные, ненавистники детей ваших. Да и ненавидеть детей своих вещь в сущности почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидеть же столь малых еще детей, — вещь безрассудная и даже смешная. Но леность, но равнодушие, но ленивая отвычка от исполнения такой первейшей естественной и высшей гражданской обязанности, как воспитание собственных детей, действительно могут породить даже нелюбовь к ним, почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести к ним, особенно по мере их возрастания, по мере все возрастающих природных требований их, по мере вашего сознания о том, что для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из собственного вседовольного отъединения и покоя. К тому же, все возрастающие шалости оставленных в пренебрежении детей и укоренение в них дурных привычек, видимое извращение умов и сердец их могут вселить, наконец, прямое отвращение к ним даже и в родительских сердцах. В горячих, слезных жалобах ваших на пороки ваших детей мы все услышали здесь и увидели глубокую, неподдельную горесть вашу, горесть несчастного и оскорбленного своими детьми отца. Но подумайте, однако, немного и рассу-

дите: из чего им было и сделаться лучше? Выяснилось, например, на суде, что за леность их и за шалости вы их запирали на несколько иногда часов в сортир. Конечно: карцер есть карцер, да и сортир ваш **стапливался,** стало быть, не было тут жестокого истязания, но ведь так ли, однако? Сидя там, чувствуя унизительное и срамное положение свое, ребенок мог ожесточаться, в голове его могли проходить самые фантастические извращенные и цинические мечты: он мог окончательно потерять любовь, любовь к родному гнезду и к вам даже, родителям его, ибо ему могло казаться, что вы уже совершенно не дорожите ни чувствами его к вам, ни человеческим достоинством, а у ребенка, даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство, заметьте это себе. О том, что эти мысли, а главное — сильные, хотя и детские впечатления эти он унесет потом в жизнь и проносит их в сердце своем, может быть, до самой могилы, вы, кажется, совсем не подумали. Да и сделали ли вы сами-то хоть что-нибудь предварительно, чтоб избежать этой обижающей ребенка необходимости сажать его в такое место, и тем позорить его и издеваться над ним? Ведь впоследствии, в жизни, он этот вопрос непременно подымет и поставит перед собой. Вы утверждаете, что вы сделали для детей своих **все,** и как будто сами убеждены в этом, но я не верю тому, что вы сделали все; и когда вы с таким огорченным чувством произносили это, я убежден был, что в вас самих было уже большое сомнение насчет этого самого пункта. Вы уверяете, что нанимали учителей и тратили свыше средств ваших. Без сомнения, учитель необходим для детей, и, пригласив учителя, вы поступили, конечно, как ревностный отец: но нанять учителя для преподавания детям наук не значит, конечно, **сдать** ему детей, так сказать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них, и чтоб они больше уж вас не беспокоили. А вы, кажется, именно это-то и сделали и думали, что, заплатив деньги, уже совершенно все сделали, и даже более чем **все** — «свыше средств». Между тем, уверяю вас, что вы сделали лишь наименьшее из того, что

могли бы сделать для них; вы лишь откупились от долга и от обязанности родительской деньгами, а думали, что уже все совершили. Вы забыли, что их маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения с вашими родительскими душами, требуют, чтоб вы были для них, так сказать, всегда духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного подражания. Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как теплым лучом все посеянное в их душах и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый. Но, кажется, ничего не посеяв сами, и сдав их чуждому семье вашей сеятелю, — вы потребовали уже жатвы и, непривычные к этому делу, потребовали этой жатвы слишком рано; не получив же ее, озлобились и ожесточились... на малюток, на собственных детей ваших, и тоже рано, слишком рано!

«Все оттого, что воспитание детей есть труд и долг, — для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей, — это самый гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот потому и стремятся они откупиться от него деньгами, если есть деньги. Если же и деньги не помогают, или, как у многих, их и вовсе нет, то прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости, к истязанию, к розге. Я вам скажу что такое розга. Розга в семействе есть продукт лени родительской, неизбежный результат этой лени. Все, что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего можно бы было достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером, — всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой: «не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю». Каков же результат выходит?

Ребенок хитрый, скрытный, непременно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит его. Ребенка слабого, трусливого и сердцем нежного — вы забьете. Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым — вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно детскому сердцу отрываться от тех, кого оно любит; но если оно уже оторвется, то в нем зарождается страшный, неестественно-ранний цинизм, ожесточение и извращается чувство справедливости. Все это, конечно, в том только случае, если жестокость происходит от эгоизма родителей, и если хозяин нивы, не посеяв сам, потребует с нее доброй жатвы. В таких случаях, жестокость и несправедливость идут со стороны отцов усиливаясь, без удержу, и это всего чаще. «Не делай свое хорошее, а делай мое дурное!» — вот, наконец, что становится девизом и ребенка наказывают даже за доброе дело, за картофель, который он принес сестре из кухни: как же не ожесточиться сердцу и как не извратиться понятиям? Не будучи жестокими и даже любя их, вы наказывали их вашим пренебрежением к ним, унижением их: они спали в нечистой комнате на какой-то подстилке, ели пищу не с вашего стола, а со слугами. И, конечно, вы думали, что они, наконец, почувствуют вину свою и исправятся. В противном случае, надо бы было предположить, что вы делали так от ненависти к ним, от мести к ним, чтобы им сделать зло? Но суд не захотел так заключить и приписал поступки ваши ошибочному расчету воспитателя. Но вот теперь вы сами собираетесь воспитывать и учить их: трудное это дело, несмотря на то, что супруге вашей кажется оно легким.

«Детей ваших нет в зале, я приказал их вывести, а потому я могу коснуться до самого главного в этом предстоящем вам трудном деле. Самое главное в нем то, что предстоит многое простить с обеих сторон. Они должны простить вам горькие, тяжелые впечатления их детских сердец, ожесточение свое, пороки свои. Вы же должны простить им ваш эгоизм, ваше прене-

брежение к ним, извращение чувств ваших к ним, жестокость вашу и то, наконец, что вы сидели здесь и судились за них. Говорю так потому, что не себя обвините вы во всем этом, выйдя из залы суда, а непременно их, я уверен в этом! Итак, начиная ваше трудное дело воспитания детей ваших, спросите сами себя: можете ли вы обвинить за все эти проступки и преступления ваши, не их, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успеете в труде вашем! Значит, Бог очистил взгляд ваш и просветил вашу совесть. Если же не можете, то лучше и не принимайтесь за ваше намерение.

«Второе, что предстоит вам тяжелого в вашем труде, это побороть, истребить в их сердцах и изменить в них слишком многие прежние впечатления и воспоминания. Но тут надо столь многое заставить забыть и столь многое вновь создать, что недоумеваю: каким путем этого достигнете? О, если научитесь любить их, то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и любви надобно учиться, верите ли вы тому? Верите ли вы, наконец, убеждены ли вы, что вас не остановят и не победят, в прекрасном предприятии вашем, иные самые мелкие, самые первоначальные, самые пошлые обыденные заботы, о которых вы, может быть, теперь и не думаете, но которые однако могут составить наиважнейшее препятствие добрым начинаниям вашим. Всякий ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед детьми своими в обыденной семейной жизни от известной, так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности их и разнузданности, воздерживать себя от дурных и безобразных привычек, а главное — от невнимания и пренебрежения к детскому их мнению о вас самих, к неприятному, безобразному и комическому впечатлению, которое может зародиться в них столь часто при созерцании нашей бесшабашности в семейном быту. Верите ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих. О, если родители добры, если любовь их к детям ревностна и горяча, то

дети многое простят им и многое забудут потом не только из комического и безобразного, но даже не осудят их безапелляционно за иные совсем уже дурные дела их; напротив, сердца их непременно найдут смягчающие обстоятельства. Но совсем другое может случиться в семействах несогласных и ожесточенных. Ваша супруга, как оказалось на суде, имеет болезненную привычку заставлять чесать себе перед сном ноги. Служанка засвидетельствовала, что эта обязанность была для нее даже мучительна, что «затекали руки». Представьте же себе этого мальчика, вашего сына, которого вместо служанки заставляют чесать? О, если б мать любила его искренно и сердечно, и он бы уверен был в том, то он бы и теперь, да и всегда потом, вспоминал об этой немощи дорогого ему человека с добродушною улыбкою, хотя, может быть, злился бы и досадовал в те минуты, когда его заставляли чесать. Но воображаю, как он смотрел и что он чувствовал, что заходило ему в голову, когда он сидел, по часу и более, над смешным занятием перед существом, не любившим его, которое вот-вот вскочит и начнет сечь его ни за что, ни про что. Тогда требование от него этой услуги несомненно должно было казаться ему унижающим его, пренебрежительным к нему и презрительным. Не мог не сознавать он, или, лучше сказать, не почувствовать, что матери своей он не нужен как сын, что как сына она его презирает, забывает, посылает спать на какую-то подстилку, а если вспоминает о нем, то для того лишь, чтоб бить его, но что он нужен, стало быть, ей, не как сын, а всего только как какая-то чесалка! И вы же жалуетесь после того, что они развратились, что они бессердечные изверги, «что научились воровать!» Напрягите немного ваше воображение, вообразите сына вашего в будущем, уже тридцати, положим, лет и подумайте, с каким отвращением, с каким озлобленным чувством и презрением припомнит он этот эпизод своего детства... Что он будет помнить о нем до могилы, в том нет сомнения. Он не простит, он возненавидит свои воспоминания, свое детство, проклянет свое бывшее родное гнездо и тех, кто

был с ним в этом гнезде! Эти воспоминания предстоит вам теперь непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить их иными новыми сильными и святыми впечатлениями, — какой огромный труд! Страшно подумать! Нет: дело, предпринимаемое вами, гораздо, гораздо труднее, чем кажется вашей супруге!

«Не сердитесь, не обижайтесь словами моими. Говоря вам, я исполняю непременную обязанность. Я говорю от лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать уединения, или, лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей. Всего ужаснее то, что это так распространено: вы не одни такие, хотя другие впадают в те же ошибки, как вы, может быть и под другими формулами. Но внушительнее всего то, что вы не только еще не худшие, но даже многим лучшие из современных отцов, ибо все же в сердцах ваших не умерло сознание вашего долга, хотя вы и не исполняли его. Абсолютного отрицания долга в вас нет. Вы не холодные эгоисты, а, напротив, раздраженные — на себя ли, на детей ли ваших, не стану определять того, но вы оказались способными принять к сердцу ваш неуспех и глубоко огорчиться им! Итак, да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш неуспех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в со-

вершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся, наконец, страдания и недоумения цивилизации нашей!

«А теперь ступайте, вы оправданы»...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной»

У нас очень многие теперь из интеллигентных русских повадились говорить: «какой народ? я сам народ». В восьмой части «Анны Карениной», Левин, излюбленный герой автора романа, говорит про себя, что он **сам народ.** Этого Левина я как-то прежде, говоря об «Анне Карениной», назвал «чистый сердцем Левин». Продолжая верить в чистоту его сердца попрежнему, я не верю, что он — народ; напротив, вижу теперь, что и он с любовью норовит в обособление. Убедился я в этом прочитав вот ту самую восьмую часть «Анны Карениной», о которой я заговорил в начале этого июль-августовского дневника моего. Левин, как факт, есть, конечно, не действительно существующее лицо, а лишь вымысел романиста. Тем не менее этот романист — огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентною Россиею человек, — этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном лице, частью и собственный взгляд свой на современную нашу русскую действительность, что ясно каждому, прочитавшему его замечательное произведение. Таким образом, судя об несуществующем Левине, мы будем судить и о действительном уже взгляде одного из самых значительных современных русских людей на текущую русскую действительность. А это уже предмет для суждения серьезный даже и в наше столь гремучее время, столь полное огромных потрясающих и быстро сменяющихся действительных фактов. Взгляд этот столь значительного русского писателя, и именно на столь интересное для всех русских дело, как всеобщее

национальное движение всех русских людей за последние два года по «восточному вопросу», выразился точно и окончательно именно в этой восьмой и последней части его произведения, отвергнутой редакцией «Русского Вестника» по несходству убеждения автора с ее собственными и появившейся весьма недавно отдельной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понял, заключается главное в том, что, во 1-х, все это так называемое национальное движение нашим народом отнюдь не разделяется, и народ вовсе даже не понимает его; во 2-х, что все это нарочно подделано, сперва известными лицами, а потом поддержано журналистами из выгод, чтоб заставить более читать их издания; в 3-х, что все добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы; в 4-х, что весь этот так называемый подъем русского национального духа за славян был не только подделан известными лицами и поддержан продажными журналистами, но и подделан вопреки, так сказать, самых основ... и, наконец, в 5-х, что все варварства и неслыханные истязания, совершенные над славянами, не могут возбуждать в нас, русских, непосредственного чувства жалости и что «такого непосредственного чувства к угнетению славян **нет и не может быть**». Последнее выражено окончательно и категорически.

Таким образом, «чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся с огромным большинством русских людей. Взгляд его, впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы пригодился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлою зимой у нас в Петербурге и людям далеко не последним по общественному положению, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала. Отчего произошло столь мрачное обособление Левина и столь угрюмое отъединение в сторону — не могу определить. Правда, это человек горячий, «беспокойный», всеанализирующий и, если строго судить, ни в чем себе не верующий. Но всетаки человек этот «сердцем чистый», и я стою на том, хотя трудно и представить себе, какими таинственными, а подчас и смешными путями может

проникнуть иной раз самое неестественное, самое выделанное и самое безобразное чувство в иное в высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочем, замечу еще, что хотя и утверждают многие, и даже я сам ясно вижу (как и сообщил выше), что, в лице Левина, автор во многом выражает свои собственные убеждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда при том художественностью, но лицо самого Левина, так, как изобразил его автор, я все же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю. Говорю это, находясь в некотором горьком недоумении, потому что хотя очень многое из выраженного автором, в лице Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, как художественно изображенного типа, но все же не того ожидал я от такого автора!

II

Признания славянофила

Да, не того. Здесь я принужден выразить некоторые чувства мои, хотя и положил было, начиная прошлого года издавать мой «Дневник», что литературной критики у меня не будет. Но чувства не критика, хотя бы и высказал я их по поводу литературного произведения. В самом деле, я пишу мой «Дневник», то есть записываю мои впечатления по поводу всего, что наиболее поражает меня в текущих событиях, — и вот я, почему-то намеренно предписываю сам себе придуманную обязанность непременно скрывать и, может быть, самые сильнейшие из переживаемых мною впечатлений, лишь потому только, что они касаются русской литературы. Конечно, в основе этого решения была и верная мысль, но буквенное исполнение этого решения не верно, я вижу это, уже потому только, что тут буква. Да и литературное-то произведение, о котором я умолчал до сих пор, для меня уже не просто литературное произведение, а целый **факт** уже иного значения. Я, может быть, выражусь слишком

наивно, но, однако же, решаюсь сказать вот что: этот **факт** впечатления от романа, от выдумки, от поэмы совпал в душе моей, нынешней весною, с огромным фактом объявления теперь идущей войны, и оба факта, оба впечатления, нашли в уме моем действительную связь между собою и поразительную для меня точку обоюдного соприкосновения. Вместо того чтоб смеяться надо мною, выслушайте меня лучше.

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский, **действительно,** дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго-политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многого горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я.

Тут трунить и смеяться опять-таки нечего: слова эти старые, вера эта давнишняя, и уже одно то, что не умирает эта вера и не умолкают эти слова, а, напротив, все больше и больше крепнут, расширяют круг

свой и приобретают себе новых адептов, новых убежденных деятелей — уж одно это могло бы заставить, наконец, противников и пересмешников этого **учения** взглянуть на него хоть немного серьезнее и выйти из пустой, закаменевшей в себе, враждебности к нему. Но об этом пока довольно. Дело в том, что весною поднялась наша великая война для великого подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на все временные неудачи, отдаляющие разрешение дела, а будет-таки доведен до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полного и вожделенного конца именно в теперешнюю войну. Подвиг этот столь велик, цель войны столь невероятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена против нашего **коварства,** должна не верить тому, о чем объявляли мы ей начиная войну, и всячески, всеми силами должна вредить нам и, соединившись с врагом нашим, хотя и не явным, не формальным политическим союзом, — враждовать с нами и воевать с нами, хотя бы тайно, в ожидании явной войны. И все, конечно, от объявленных намерений и целей наших! «Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства»; не покорять, не приобретать, не расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забитых, дать им новую жизнь для блага их и человечества. Ведь как ни считай, каким скептическим взглядом ни смотри на это дело, а в сущности цель эта, эта самая, и вот этому-то и не хочет поверить Европа. И, поверьте, что не столько пугает ее предполагаемое усиление России, как именно то, что Россия способна предпринимать такие задачи и цели. Заметьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не только как за варварство «отставшей, зверской и не просвещенной» нации, способной **на низость и глупость** затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века крестовых походов, но даже и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий будто

бы ее великой цивилизации. Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже **друзья** наши, отъявленные, форменные, так сказать друзья, и те откровенно объявляют, что **рады нашим неудачам**. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия.

Но и об этом после. Заговорил я, главное, о впечатлении, которое должны были ощутить в себе все верующие в будущее великое, общечеловеческое значение России, нынешнею весною, после объявления этой войны. Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, — эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их. Эо была уже не мечта, не гадание, а действительность **начавшая совершаться.** «Если уже начало совершаться, то дойдет и до конца, до того великого нового слова, которое Россия, во главе союза славян, скажет Европе. И даже самое слово это уже начало сказываться, хотя Европа еще далеко не понимает его и долго будет не верить ему». Вот как думали «верующие». Да, впечатление было торжественное и знаменательное, и, разумеется, вера верующих должна была еще больше закалиться и окрепнуть. Но, однако же, начиналось дело столь важное, что и для них настали тревожные вопросы: «Россия и Европа! Россия обнажает меч против турок, но кто знает, может быть, столкнется и с Европой — не рано ли это? Столкновение с Европой — не то, что с турками и должно совершиться не одним мечом», так всегда понимали верующие. Но готовы ли мы к другому-то столкновению? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у нас то понимают ли все его? Вот мы, верующие, пророчествуем, например, что лишь Россия заключает в себе начала резрешить все-европейский роковой вопрос низшей братьи, без боя и без

крови, без ненависти и зла, но что скажет она это слово, когда уже Европа будет залита своею кровью, так как раньше никто не услышал бы в Европе наше слово, а и услышал бы, то не понял бы его вовсе. Да, мы, верующие, в это верим, но, однако, что пока отвечают нам у нас же, наши же русские? Нам отвечают они, что все это лишь исступленные гадания, конвульсьонерство, бешеные мечты, припадки, и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов. Что же укажем мы им, пока, для подтверждения наших пророчеств? Освобождение ли крестьян, — факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявления русской духовной силы? Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, все яснее и яснее выходящего в наше время наружу из-под всего, что давило его веками,и несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и искажает черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; нам опять ответят, что все эти факты опять-таки наше конвульсьонерство, бешеная мечта, а не факты, и что толкуются они многоразлично и сбивчиво и доказательством ничему, покамест, служить не в силах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь непонимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы — сталкиваемся с Европой! Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы — эта самая Европа, эта «страна святых чудес!» Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, нам дорога эта страна — будущая мирная победа великого

христианского духа, сохранившегося на Востоке... И в опасении столкнуться с нею в текущей войне, мы всего более боимся, чио Европа не поймет нас, и попрежнему, повсегдашнему, встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, все еще как диких варваров, недостойных говорить перед нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажем или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, повидимому, еще так мало чего-нибудь, что могло бы быть ей **понятно** и за что бы она нас уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося «нового слова» она долго, слишком долго еще не поймет. Ей надо фактов **теперь** понятных, понятных на ее **теперешний** взгляд. Она спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас? Где **ваша** наука, **ваше** искусство, **ваша** литература?»

III

«Анна Каренина», как факт особого значения

И вот тогда же, то есть нынешней же весною, раз вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, все как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою». По крайней мере, критика, вслед за публикой, отделила их особо перед всеми остальными беллетристами и так это пребывает уже довольно давно, — все тот же пяток, «плеяда» не расширяется. Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. В этот раз было об чем говорить, война уже начиналась. Но

он тотчас же и прямо заговорил об «Анне Карениной». Я тоже только-что успел прочитать седьмую часть, которою закончился роман в «Русском Вестнике». Собеседник мой на вид человек не восторженный. На этот раз, однако, он поразил меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнения об «Анне Карениной».

— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?

Меня поразило, главное, то в этом приговоре, который я и сам вполне разделял, что это указание на Европу как раз пришлось к тем вопросам и недоумениям, которые столь многим представлялись тогда сами собой. Книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Разумеется, возопят смеясь, что это — всего лишь только литература, какой-то роман, что смешно так преувеличивать и с романом являться в Европу. Я знаю, что возопят и засмеются, но не беспокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я сам знаю, что это пока всего лишь только роман, что это только одна капля того, чего нужно, но главное тут дело для меня в том, что эта капля уже есть, дана, действительно существует, взаправду, а, стало быть, если она уже есть, если гений русский мог родить этот **факт,** то, стало быть, он не обречен на бессилие, может творить, может давать **свое,** может начать **свое** собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки. Притом, это далеко не капля только. О, я и тут не преувеличиваю: я очень знаю, что не только в одном каком-нибудь члене этой плеяды, но и во всей-то плеяде не найдете того, строго говоря, что называется гениальною, творящею силою. Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частию

Гоголь. Вся же плеяда эта (и автор «Анны Карениной» в том числе) вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще не понятого и не растолкованного. В Пушкине две главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — **всемирность** России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не как мечтание или пророчество, но исполнена **им на деле,** заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими. Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления («Пир во время чумы»), он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им, как родной, что он может **перевоплощаться** в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многоразличие национальностей и снять все противоречия их. Другая мысль Пушкина, это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый, на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя **плеяда** наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем, указаны им. Да к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато, то что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их. «Анна Каренина» — вещь, конечно, не новая по идее своей, не неслыханная у нас доселе. Вместо нее мы, конечно, могли

бы указать Европе прямо на источник, то есть на самого Пушкина, как на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русского гения и права его на величайшее мировое, общечеловеческое и всеединящее значение в будущем. (Увы, сколько бы мы ни указывали, а наших долго еще не будут читать в Европе, а и станут читать, то долго еще не поймут и не оценят. Да и оценить еще они совсем не в силах, не по скудости способностей, а потому, что мы для них совсем другой мир, точно с луны сошли, так что им даже самое существование наше допустить трудно. Все это я знаю и об «указании Европе» говорю лишь в смысле нашего собственного убеждения в нашем праве перед Европой на самостоятельность нашу). Тем не менее «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше свое родное, а именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слыхать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Я не могу пуститься здесь в литературную критику и скажу лишь небольшое слово. В «Анне Карениной» проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взяты люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление и гибнут неотразимо: как видно, мысль на любимейшую и стариннейшую из европейских тем. Но как однако же решается такой вопрос в Европе? Решается он там повсеместно двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека и высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общежи-

тии. Этому выработанному кодексу повелевается следовать слепо. Кто не последует, кто преступит его, — тот платит свободою, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно. «Я знаю, — говорит сама их цивилизация, — что это и слепо, и бесчеловечно, и невозможно, так как нельзя выработать окончательную формулу человечества в середине пути его, но так как другого исхода нет, то и следует держаться того, что написано, и держаться буквально и бесчеловечно; не будь этого — будет хуже. С тем вместе, несмотря на всю ненормальность и нелепость устройства того, что называем мы нашей великой европейской цивилизацией, тем не менее пусть силы человеческого духа пребывают здравы и невредимы, пусть общество не поколеблется в вере, что оно идет к совершенству, пусть не смеет думать, что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накопляющеюся ложью!» Другое решение, обратное: «Так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и преступления пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарства не оказалось, то следует разрушить все общество и смести старый порядок как бы метлой. За тем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заключают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку». Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западно-европейский мир не представляет.

Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия»,

никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Выражено это в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиною и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределены и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей **окончательных,** а есть Тот, Который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему одному лишь известна **вся** тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, **если** сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви. А чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые сами, взаимным всепрощением, сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло,

овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализирует всякую силу сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемых душой вместо света, — в этой картине столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и весы, что, конечно, он воскликнет, в страхе и недоумении: «нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам», и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже **сознательно** отверг его. К букве, по крайней мере, не прибегнет...

Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть **впоследствии** и **своей** науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем **своем собственном** слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени. Так могли бы рассудить наши, по крайней мере, европейцы, в ожидании, пока рассудят европейские европейцы...

IV

Помещик, добывающий веру в Бога от мужика

Теперь, когда я выразил мои чувства, может быть, поймут, как подействовало на меня отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела и парадоксальная неправда, возведенная им на народ в его несчастной восьмой части, изданной им отдельно. Он просто отнимает у народа все его драгоценнейшее, лишает его главного смысла его жизни. Ему бы несравненно приятнее было, если б народ наш не подымался повсеместно сердцем своим за терпящих за веру братий своих. В этом только смысле он и от-

рицает явление, несмотря на очевидность его. Конечно, все это выражено лишь в фиктивных лицах героев романа, но повторяю это, слишком видно рядом с ними и самого автора. Правда, книжка эта искренняя, говорит автор от души. Даже самые щекотливые вещи (а там есть **щекотливые** вещи) улеглись в ней совсем как бы невзначай, так что, несмотря на всю их щекотливость, вы их принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малейшей кривизны. Тем не менее, книжку эту я все-таки считаю вовсе не столь невинною. Теперь она, разумеется, не имеет и не может иметь никакого влияния, кроме как разве поддакнет еще раз некоторой отмежеванной кучке. Но такой факт, что такой автор так пишет, очень грустен. Это для будущего грустно. А впрочем, примусь лучше за дело, мне хочется возразить, укажу на то, что меня особенно поразило.

Прежде, впрочем, расскажу про Левина, — очевидно, главного героя романа; в нем выражено положительное, как бы в противоположность тех ненормальностей, от которых погибли или пострадали другие лица романа, и он, видимо, к тому и предназначался автором, чтобы все это в нем выразить. И, однако же, Левин все еще не совершенен, все еще чего-то недостает ему и этим надо было заняться и разрешить, чтоб уж никаких сомнений и вопросов Левин более собою не представлял. Читатель впоследствии поймет причину, почему я на этом останавливаюсь, не переходя прямо к главному делу.

Левин счастлив, роман кончился к пущей славе его, но ему недостает еще внутреннего, духовного мира. Он мучается вековечными вопросами человечества: о Боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. Он мучается тем, что он не верующий и что не может успокоиться на том, на чем все успокоиваются, то есть на интересе, на обожании собственной личности или собственных идеалов, на самолюбии и проч. Признак великодушия, не правда ли? Но от Левина и ожидать нельзя было меньше. Оказывается кстати, что Левин много прочитал: ему знакомы и философы, и позити-

висты, и просто естественники. Но ничто не удовлетворяет его, а, напротив, еще больше запутывает, так что он, в свободное по хозяйству время, убегает в леса и рощи, сердится, даже не столь ценит свою Китти, сколько бы надо ценить. И вот вдруг он встречает мужика, который, передавая ему о двух различных нравственною стороною своею мужиках, Митюхе и Фоканыче, выражается так:

«— ...Митюхе как не выручить! Этот нажмет да свое выберет. Он хрестьянина не пожалеет, а дядя Фоканыч разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где и спустит. Ан и не доберет, тоже человеком.

— Да зачем же он будет спускать?

— Да так, значит — люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, — а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.

— Известно как, по правде, по-Божью. Ведь люди разные... Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека.

— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому» . . . .
. . . .

Он, впрочем, побежал опять в лес, лег под осинами и начал думать почти в каком-то восторге. Слово было найдено, все вековечные загадки разрешены и это одним простым словом мужика: «Жить для души, Бога помнить». Мужик, разумеется, не сказал ему ничего нового, все это он давно уже сам знал; но мужик все же навел его на мысль и подсказал ему решение в самый щекотливый момент. За сим наступает ряд рассуждений Левина весьма верных и метко выраженных. Мысль Левина та: к чему искать умом того, что уже **дано** самою жизнию, с чем родится каждый человек и чему (поневоле даже) должен следовать и следует каждый человек. С совестью, с понятием о добре и зле каждый человек рождается, стало быть, рождается прямо и с целью жизни: жить для добра и не любить

зла. Рождается с этим и мужик, и барин, и француз, и русский, и турок — все чтут добро (NB. хотя многие ужасно по-своему). Я же, говорит Левин, хотел все это познать математикой, наукой, разумом, или ждал чуда, между тем это дано мне даром, рождено со мною. А что оно дано даром, то этому есть прямые доказательства: все на свете понимают, или могут понять, что надо **любить ближнего как самого себя.** В этом знании, в сущности, и заключается весь **закон** человеческий, как и объявлено нам Самим Христом. Между тем, это значение прирожденно, стало быть, послано даром, ибо разум ни за что не мог бы дать такое знание, — почему? Да потому, что «любить ближнего», если судить по разуму, выйдет неразумно.

«Откуда взял я это (спрашивает Левин). Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, **и я радостно поверил,** потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно».

Далее представилась Левину недавняя сцена с детьми. Дети стали жарить малину в чашках на свечах и лить себе молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, стала им внушать, что если они испортят посуду и разольют молоко, то не будет у них ни посуды, ни молока. Но дети, очевидно, не поверили, потому что не могли себе и представить «всего объема того, чем они пользуются, а потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут».

«Это все само собой, — думали они, — интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет. И всегда все одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово; а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке,

а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем не хуже, чем пить из чашек».

«Разве не то же самое делаем мы, делал я, разумом отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека?» — продолжал Левин.

«И разве не то же делают теории философские, путем мысли, странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без того жить бы не мог. Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его, главный смысл жизни, и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно.

«Ну-ка, пустить одних детей, чтоб они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином Боге и Творце! Или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного.

«Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь!

«Мы только разрушаем, потому что духовно сыты. Именно дети!»

Одним словом, сомнения кончились, и Левин уверовал, — во что? Он еще этого строго не определил, но он уже верует. Но вера ли это? Он сам себе радостно задает вопрос: «Неужели это вера?» Надобно полагать, что еще нет. Мало того: вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера. Левин любит себя называть народом, но это барич, московский барич средне-высшего круга, историком которого и был по преимуществу граф Л. Толстой. Хоть мужик и не сказал Левину ничего нового, но все же он его натолкнул на идею, а с этой идеи и началась вера. Уж в этом-то одном Левин мог бы увидать, что он не совсем народ и что нельзя ему говорить про себя: я сам народ. — Но об этом после. Я хочу только сказать, что вот эти, как Левин, сколько бы ни прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются, мало того — во многих пунктах так и не поймут его

никогда вовсе. Мало одного самомнения или акта воли, да еще столь причудливой, чтоб захотеть и стать народом. Пусть он помещик, и работящий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит и телегу запрячь умеет, и знает, что к сотовому меду огурцы свежие подаются. Все-таки в душе его, как он ни старайся, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать **праздношатайством** — тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое, как он ни крепись, а все же досталось ему по наследству и которое уж, конечно, видит во всяком барине народ, благо не нашими глазами смотрит. Но и об этом потом. А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок и разом все рухнет. Кити пошла и споткнулась, так вот зачем она споткнулась? Если споткнулась, значит, и не могла не споткнуться; слишком ясно видно, что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно, что все тут зависело от законов, которые могут быть строжайше определены. А если так, то, значит, всюду наука. Где же Промысел? Где же роль его? Где же ответственность человеческая? А если нет Промысла, то как же я могу верить в Бога и т. д., и т. д. Берите прямую линию и пустите в бесконечность. Одним словом, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе он не был бы современным русским интеллигентным барином, да еще средне-высшего дворянского круга.

Он доказывает это блистательно всего какой-нибудь час спустя по приобретении веры; он доказывает, что русский народ вовсе не чувствует того, что могут чувствовать вообще люди, он разрушает душу народа самым всевластным образом, мало того, — объявляет, что сам не чувствует никакой жалости к человеческому страданию. Он объявляет, что «непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть» — то есть не только у него, но и у всех русских не может быть; я, дескать, сам народ. Слишком уже они дешево ценят русский народ. Старые, впрочем, оценщики. Не прошло и часу по приобретении веры, как пошла опять жариться малина на свечке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Раздражительность самолюбия

Прибежали дети и объявили Левину, что приехали гости, — «один вот так размахивает руками». Оказывается, что гости из Москвы. Левин сажает их под деревьями, приносит им сотового меду с свежими огурцами, и гости тотчас же принимаются за мед и за Восточный вопрос. Все происходит, видите ли, прошлого года, — помните: Черняев, добровольцы, пожертвования. Разговор быстро разгорается, потому что все неудержимо стремятся к главному. Собеседники, кроме дам, во-первых, один из Москвы профессорчик, человек милый, но глуповатый. Затем следует человек (с тем он выставлен) огромного ума и познаний, Сергей Иванович Кознышев, единоутробный брат Левина. Характер этот проведен в романе искусно, и под конец понятен (сороковых годов человек). Сергей Иванович только-что бросился, всецело и с азартом, в славянскую деятельность, и комитетом на него много возложено, так что трудно и представить себе, вспоминая прошлое лето, как он мог бросить дело и приехать на целые две недели в деревню. Правда, в таком случае не было бы и разговора на пчельнике о народном движении, а стало быть, и всей восьмой части романа, которая для одного этого разговора и написана. Видите ли, этот Сергей Иванович, месяца два или три перед тем, издал в Москве какую-то ученую книгу о России, которую давно готовил и на которую возлагал большие надежды, но книга вдруг лопнула, и лопнула со срамом, никто-то об ней ничего не сказал, прошла незамеченная. И вот тут-то Сергей Иванович и бросился в славянскую деятельность, и с таким жаром, какого от него и ожидать нельзя было. Выходит, стало быть, что бросился не натурально; весь его жар к славянам — ambition rentrée, не более, и вы ясно предчувствуете, что Левин уже и не может не остаться над

таким победителем. Сергей Иванович и в прежних частях проведен был в комическом виде весьма искусно; в восьмой же части становится уже окончательно ясным, что он и задуман-то был единственно для того, чтобы в конце романа послужить пьедесталом для величия Левина. Но лицо очень удачное.

Зато из неудачнейших лиц — это старый князь. Он тут же сидит и толкует о Восточном вопросе. Неудачный и во всем романе, а не то что в одном Восточном вопросе. Это одно из положительных лиц романа, предназначенных выразить собою положительную красоту, — ну, разумеется, не греша против реализма: он и с слабостями, и чуть ли не с смешными сторонами, но зато почтенный, почтенный. Он и добросерд романа, он и здравомысл, но не фонвизинский какой-нибудь здравомысл, который как уже заладит — так точно осел ученый: одно здравомыслие и ничего более. Нет, тут и юмор, и вообще человеческие стороны. Забавное же в том, что этот старый человек предназначен выражать собою остроумие. Пройдя школу жизни, отец многочисленных, хотя уже и пристроенных детей, он, под старость, взирает на все кругом него с тихою улыбкою мудреца, но с улыбкою, далеко, однако, не столь кроткою и безобидною. Он даст совет, но берегитесь игры ума его: отбреет. И вот вдруг тут случилось одно несчастье: предназначенный к остроумию здравомысл, Бог знает отчего, вышел вовсе неостроумен, а, напротив, даже и пошловат. Правда, он все порывается, равно как и во весь роман, сказать что-нибудь остроумное, но так и остается при одном желании, равнешенько ничего не выходит. Читатель из деликатности готов, наконец, зачесть ему эти попытки и, так сказать, потуги остроумия за самое остроумие, но гораздо хуже то, что это же самое лицо в восьмой, отдельно вышедшей части романа, предназначено выразить вещи, положим, опять-таки не остроумные (в этом старый князь твердо выдерживает свой характер), но зато вещи цинические и хульные на часть нашего общества и на народ наш. Вместо добросерда является какой-то клубный отрицатель как русского народа, так

и всего, что в нем есть хорошего. Слышится клубное раздражение, стариковская желчь. Впрочем, политическая теория старого князя нисколько не нова. Это стотысячное повторение того, что мы и без него поминутно слышим:

«— Вот и я, — сказал князь. — Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод (это, видите ли, он острит: вообразить только, что он думает про себя, что он урод!), или что так Карлсбад на меня действует (сугубая острота). Но, приехав сюда, я успокоился (еще бы!), я вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами».

Вот она где глубина-то! Надо интересоваться **только** Россией. Так что вспоможение славянам прямо признается не русским делом; признавал бы он его русским делом — не говорил бы он, что надо интересоваться **только** Россией, так как интересоваться славянами само собою означало бы тогда интересоваться самой Россией и назначением ее. Характер воззрения князя состоит, стало быть, в узости понимания русских интересов. Этого как не слыхать, это тысячу раз услышишь, а в иных сферах так только это и слышишь. Но вот, однако же, нечто гораздо злокачественнее; это разговор, который был за несколько минут прежде. Старый князь спрашивает Сергея Ивановича:

«— ...ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют?..

— С турками, — спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович...

— Да кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?»

Вот и проговорился. Вы понимаете, что он к тому и вел, и для этого, может быть, и приехал поскорее из Карлсбада. Но это вопрос уже другого сорта, и то,

что князь об этом заговорил, как будто даже и не хорошо. Конечно, и это идея не новая, но зачем же она опять повторяется? Прошлой зимой и очень даже многие, кому надо было, утверждали, что кто-то в России объявил войну туркам. Это выставляли; но идейка походила, погуляла и назад воротилась к изобретателям. Потому что ровно никто в России прошлого года не объявлял войны туркам и утверждать это — по меньшей мере **преувеличение.** Правда, Сергей Иванович далее отшучивается, но наивный и честный Левин, как настоящий enfant terrible, прямо высказывает то, что у князя на уме.

«— Никто не объявлял войны; а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, — сказал Сергей Иванович.

— Но князь говорит не о помощи, — сказал Левин, заступаясь за тестя, — а о войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства».

Видите ли теперь, о чем заботится Левин? Дело ставится уже совсем прямо, разъяснено сверх того глупой выходкой Катавасова. Вот что говорит Левин далее:

«— Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке, и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.

Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.

— В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, — сказал Катавасов.

Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения»...

Одним словом, указывается и поддерживается, что действительно кем-то была в России объявлена война туркам прошлого года, мимо правительства. С его умом, Левин мог бы догадаться, что Катавасов дурачок, что Катавасовых везде найдешь, что прошлогоднее движение было именно противоположно идеям Катавасовых, потому что было русское, национальное, настоящее наше, а не игра в какую-то оппозицию. Но Левин стоит на своем, он ведет свое обвинение до конца; дорога ему не истина, а то, что он придумал. Вот какими рассуждениями заканчивает он свои мысли на этот счет:

«...Он (Левин) говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании варягов: «Княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем». А теперь народ, по словам Сергея Ивановича, **отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой, права.**

Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?»...

Слышите? И никакие соображения не сбивают этих господ с толку, никакие самые очевидные факты. Я сказал уже, что лучше, если б князь и Левин таких обвинений совсем не делали; но кто же не видит, что один — оскорбленное самолюбие, а другой — парадоксалист. Впрочем, может быть, и Левин оскорбленное самолюбие, потому что неизвестно чем может вдруг оскорбляться самолюбие людей! А между тем, дело ясное, обвинение вздорное, да и не может быть такого обвинения, потому что оно вовсе не может существовать. Не те были вовсе факты.

II

Tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu

Война была объявлена Турции, в прошлом году, не Россией и не в России, а в славянских землях, славянскими владетельными князьями, то есть государями, князем Миланом Сербским и князем Николаем Черногорским, ополчившимися на Турцию за неслыханные притеснения, зверства, грабежи и избиения подвластных ей славян, в том числе герцеговинцев, вынужденных наконец, этими самыми зверствами восстать против притеснителей. Неслыханные истязания и избиения, которым подверглись герцеговинцы, стали известны всей Европе. Известия об этих ужасах проникли и к нам в Россию, в интеллигентную публику и, наконец, в народ. По неслыханности своей они проникли всюду. Получались сведения, что сотни тысяч людей, старики, беременные женщины, оставленные на произвол дети, бросили свои жилища и устремились вон из Турции, в соседние земли, куда попало, без хлеба, без крова, без одежды, в последнем животном страхе самосохранения. Князья, Церковь, предстоятели Церкви, возвысили за несчастных голос и стали сбирать для них подаяние. Начал подавать им и наш народ, жертвы стекались в определенные места, в редакции журналов, в отделы бывших славянских комитетов — и в этом вовсе ничего не было незаконного, против-правительственного или безнравственного. Напротив, смело можно сказать, что было лишь одно хорошее. Что же до славянских князей, затеявших войну с Турциею, то ни Россия и никто в России в этом не были виноваты. Правда, один из этих владетелей, именно князь Милан Сербский, был владетелем не вполне независимым; напротив, обязан был султану некоторой вассальной подчиненностью, так что в одной из русских газет его горько упрекали за то, что он, так сказать, бунтовщик, и чтоб уже совершенно сконфузить и пристыдить его, написали, что он восстал против своего «сюзерена».

Но все это опять-таки было собственным делом князя Милана, за которое ему одному и следует отвечать. Россия же и никто в России войны прошлого года не объявляли, а стало быть, ровно ничем перед султаном не согрешили. А пожертвования, между тем, все стекались да стекались, но это уже совсем другое. Но вот вдруг один из русских генералов, на то время без занятий, человек еще не старый, всего только генерал-майор, но уже несколько известный по прежним довольно успешным действиям своим в Средней Азии, отправился, по своей собственной охоте, в Сербию и предложил князю Милану свои услуги. На службу он был принят и зачислен, но вовсе не главнокомандующим сербскою армией, как пронесся было у нас о том слух в России, долго державшийся. Вот тут-то и начались русские добровольцы, которые, впрочем, несомненно и прежде были, то есть до Черняева; вместе с тем усилились сборы пожертвований, на которые поднялась вся Россия. Всех добровольцев, за весь прошлый год, было не Бог знает сколько, очень не много тысяч, но провожала их в Сербию решительно вся Россия, и особенно народ, настоящий народ, а не стрюцкие, как особенно настаивает на том озлобленный Левин; стрюцкими он считает и добровольцев. Но это было не так, дело это не в углу происходило, дело это всем известно, все могли видеть и убедиться и все, то есть вся Россия, решили, что дело это — хорошее дело. Со стороны народа объявилось столько благородного, умилительного и основательного, что все прошлогоднее движение это, русского народа в пользу славян, несомненно останется одною из лучших страниц в его истории. Впрочем, защищать народ против Левиных, доказывать Левиным, что это были не стрюцкие и не воздыхатели, а, напротив, сознающие свое дело люди — доказывать все это, по-моему, совершенно лишнее и не нужное, мало того — даже для народа и унизительное. Главное же в том, что все это происходило открыто, у всех на виду: объявлялись факты поражающие, характерные, которые записались, запомнились и не забудутся, и оспорены быть уже не

могут. Но о народе потом, что же до добровольцев, то как не случиться в их числе, рядом с высочайшим самоотвержением в пользу ближнего (NB. Киреев), и просто удальству, прыти, гульбе и пр., и пр. Все произошло, как всегда и везде происходит. Правда, не сочтено еще, сколько и из этих гуляк-пьяниц заболтавшихся людей, если только такие были в числе добровольцев, положили там далеко живот свой за великодушное дело, а потому и на них нечего бы было столь порицательно и даже ругательно восставать. Но утверждать, что прошлогодние добровольцы были **сплошь** гуляки, пьяницы и люди потерянные — по меньшей мере не имеет смысла, ибо, опять-таки повторяю, дело это не в углу происходило и все могли видеть. Но, во всяком случае, объявления войны, в прошлом году, соседней державе, кем-нибудь из русских помимо правительства, положительно не было. Иван Иванович Рагозов и графиня Лидия Ивановна и не могли бы объявить войну туркам, если б даже и хотели. Мало того, они даже добровольцев не подымали, никого не заманивали, не нанимали, а всякий шел **добровольно вполне**, что решительно всем известно. Но что помогали они добровольцам и сверх того посылали в славянские земли деньги для помощи несчастным, измученным и изувеченным, и, сверх того, помогали деньгами же восставшим их защищать, — это было, о, это было, и даже вместе с самым ревностным пожеланием, чтоб кровопийцы турки сломали себе шею, — да, это в высшей степени было! Но весь вопрос в том: объявление ли это войны? Если же нет, то запрещено все это или нет правительством, то есть запрещено ли помогать сражающимся за христиан деньгами и желать, чтоб турки сломали себе шею? Опять-таки никак не думаю, чтоб было запрещено, ибо дело это было открытое, все видели, все участвовали, а добровольцы получали свои заграничные паспорты от правительства же. Я не знаю, впрочем, может быть, и есть такой закон, «что частные люди не могут **принимать участия** в войне без разрешения правительства», то есть не могут вступать без особого разрешения

своего правительства в службу к иноземным государям. Может быть, действительно существует какой-нибудь такой закон, очень старый, но еще не отмененный; но правительство всегда могло бы и само воспользоваться этим законом, чего же тут Левину-то? Ему-то что во всем этом? Между тем, он именно этим-то и волнуется...

— Pardon, monsieur, mais il me semble que tout ce qui n'est pas expressement défendu est permis.

— Au contraire, m-r: tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu.

То есть по-русски:

— Да, но мне кажется, что все, что не особенно настойчиво запрещено, то можно бы считать дозволенным.

— Совсем напротив-с: все то, что не особенно настойчиво дозволено, надо несомненно считать уже запрещенным.

Это краткий комический разговор человека порядка с человеком беспорядка, происходивший во Франции. Но ведь этот толковник порядка и поставлен у порядка, он объяснитель и защитник его, он уже такое лицо. А Левину-то что? Что он-то за специалист в этом роде? Он все боится, чтоб не потерялось какое-то право. А, между тем, весь народ, сочувствуя угнетенным христианам, совершенно знал, что он прав, что он ничего не делает против воли Царя своего, и сердцем своим был заодно с Царем своим. Да, он знал это. Так точно думали и те, которые снаряжали добровольцев. Ни один не утешал себя, хотя бы втайне, смешною мыслью, что он ведет дело против воли правительства. Царского слова ждали с терпением и с великою надеждою, и все предчувствовали его вперед и в нем не ошиблись. Обвинение в объявлении войны есть, одним словом, обвинение фантастическое, которое пало само собою и которое нельзя поддерживать.

Но Левин и князь от этого обвинения сами выгораживают народ. Они прямо отрицают участие народа в прошлогоднем движении, но зато прямо утверждают, что народ не понимал ничего, да и не мог по-

нимать, что все было искусственно возбуждено журналистами для приобретения подписчиков и нарочно подделано Рагозовыми и проч., и проч.

«— Личные мнения тут ничего не значат, — сказал Сергей Иванович. — Нет дела до личных мнений, когда вся Россия — народ выразил свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народ **и знать не знает,** — сказал князь.

— Нет, папа... Как же нет? А в воскресенье в церкви? — сказала Долли, прислушавшаяся к разговору...

— Да что же в воскресенье в церкви? Священнику **велели** прочесть. Он прочел. Они **ничего не поняли,** вздыхали, **как при всякой проповеди,** — продолжал князь — Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, ну, они **вынули по копейке** и дали. А на что, — **они сами не знают».**

Это мнение нелепое, идущее прямо против факта, в устах князя оно легко объясняется: оно исходит от одного из прежних опекунов народа, от прежнего крепостника, который не мог, как бы ни был он добр, не презирать своих рабов и не считать себя безмерно выше их пониманием; «повздыхали, дескать, и ничего не поняли». Но вот мнение Левина, он, по крайней мере, выставлен не прежним крепостником.

«— Мне не нужно спрашивать, — сказал Сергей Иванович, — мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу, приходят со всех концов России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши, или сами идут, и прямо говорят зачем. Что же это значит?

— Значит, по-моему, — сказал начинавший горячиться Левин, — что в восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, **потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...**

— Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! — сказал

Сергей Иванович с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. — А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.

— Это слово «народ» так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же 80 миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?»

Да и вообще надо бы здесь заметить, раз навсегда, что слово «воля народа» в прошлогоднем движении его вовсе неуместно, да и ровно ни к чему не служит, потому что ничего точно не обозначает. Прошлого года не воля народа обозначилась, а великое сострадание его, во-первых, во-вторых ревность о Христе, а в-третьих, собственное как бы покаяние его, вроде как бы говения — право, этак можно бы выразиться. Я это поясню ниже, но теперь прибавлю, что весьма рад, в устах Левина, таким выражениям про прошлогодних добровольцев, как **пойти в шайку Пугачева** и проч. По крайней мере, эти мысли я уже никак теперь не могу приписать автору, чему и рад ужасно, ибо ясно понимаю, что автор вступил в свои права художника: он слишком почувствовал, что разгорячившийся ипохондрик Левин, как им же созданное художественное лицо, и не мог в данный момент спора не выдержать свой характер, то есть не закончить оскорбительнейшим ругательством свой отзыв как о добровольцах, так и об русском народе, их провожавшим. Тем не менее, так как обвинение народа за прошлогоднее движение его в глупости и в тупости действительно существовало и ходило, а намек насчет шаек Пугачева действительно тоже наклевывался, то я здесь, кстати, и решаюсь, по возможности в самых кратких словах, попробовать разъяснить: каким образом надобно понимать загадку **сознательности** прошлогоднего всенародного движения нашего на помощь славянам? Ибо из этого действительно составили целую загадку в известных кружках: «как, дескать, народ только вчера услыхал о славянах,

ничего-то он не знает, ни географии, ни истории, и на вот — вдруг полез на стену за славян, полюбились они ему так вдруг очень!» За эту тему, кроме известных кружков, ухватились и седые старички, как старый князь, в клубах, и вот обрадовался ей, как видно, и Левин, так как ею очень можно поддержать и предлагаемое им объяснение об искусственной подделке движения известными людьми для известных целей. Правда, выставляется Сергей Иванович как бы защитником против Левина сознательности народного движения, но защищает он дело свое плохо, тоже горячится, и вообще, как я уже и сказал, выставлен в комическом виде. Между тем, дело это о сознательности и толковости народного чувства в пользу угнетенных христиан до того ясно, до того точно может быть определено, что я не мог не соблазниться, чтоб не выставить на вид: как надо, по-моему, понимать это дело для избежания путаницы и, в особенности, **загадок?**

III

О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности Восточного вопроса

С самого начала народа русского и его государства, с самого крещения земли русской, начали устремляться из нее паломники во святые земли, ко Гробу Господню, на Афон и проч. Еще во время крестовых походов ходил в Иерусалим один игумен русский и был ласково принят королем Иерусалимским «Балдвином», что прекрасно описал в хождении своем. Затем паломничество на Восток, ко святым местам, не прекращалось и до наших дней. Из русских же монахов есть и теперь в России весьма многие, жившие на Афоне. Таким образом, темный и совершенно необразованный русский народ, то есть самые даже простые деревенские мужики, совершенно не зная истории и географии, знают, однако же, отлично, и уже очень давно, что

святыми местами и всеми тамошними восточными христианами овладели нечестивые агаряне магометане, турки, и что жить христианам по всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело. Знает об этом русский народ с сокрушением сердца; а такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хождения ко святым местам он издревле еще высоко ценил. Сердцем его всегда влекло туда, — черта историческая. Люди без гроша, старики, отставные солдаты, старые бабы, совершенно не зная географии, уходили из селений своих с нищенскими котомками своими за плечами, действительно, иногда после бесчисленных бедствий, достигали святых земель. Когда же возвращались на родину, то рассказы их об их странствованиях благоговейно выслушивались. Да и вообще рассказы про «божественное» очень любит русский народ. Мужики, дети их, в городах мещане, купцы даже, этих рассказов заслушиваются, с умилением и воздыханием. Например, вопрос: кто читал Четьи-Минеи? В монастыре кто-нибудь, из светских профессоров какой-нибудь по обязанности, или какой-нибудь старикашка-чудак, который постится и ходит ко всенощной. Да и достать их трудно: надо купить, а попробуйте попросите почитать на время в приходе — не дадут. И вот, верите ли вы тому, что по всей земле русской чрезвычайно распространено знание Четьи-Минеи — о, не всей, конечно, книги, — но распространен дух ее, по крайней мере, почему же так? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о Житиях Святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются. Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились изустно. В этих рассказах, и в рассказах про святые места, заключается для русского народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притеснители, получали нередко стран-

ное и неудержимое желание итти странствовать, очиститься трудом, подвигом, исполнить давно данное обещание. Если не на Восток, не в Иерусалим, то устремлялись ко святым местам русским, в Киев, к Соловецким чудотворцам. Некрасов, создавая своего великого «Власа», как великий художник, не мог и вообразить его себе иначе, как в веригах, в покаянном скитальчестве. Черта эта в жизни народа нашего — историческая, на которую невозможно не обратить внимания, даже и потому только, что ее нет более ни в одном европейском народе. Что из нее выйдет — сказать трудно, тем более, что и к нашему народу надвигаются, через школы и грамотность, просвещение и несомненно новые вопросы, которые могут многое изменить. Но пока ею, и только ею одною, то есть этою только чертою и возможно объяснить всю **загадку сознательности** прошлогоднего движения народа нашего в пользу «братьев-славян», как выражались прошлого года официально, а теперь как выражаются почти в насмешку. Про славян действительно народ наш почти ничего не знал, не только один на тысячу, как выражается Левин, но на много тысяч один какой-нибудь, может быть, слышал, как-нибудь мельком, что есть там какие-то сербы, черногорцы, болгары, единоверцы наши. Но зато народ наш почти весь, или **в чрезвычайном большинстве,** слышал и знает, что есть православные христиане под игом Магометовым, страдают, мучаются и что даже самые святые места, Иерусалим, Афон, принадлежат иноверцам. Он даже двадцать с лишком лет тому назад мог слышать об истязуемых восточных христианах и о порабощенных святых местах, когда покойный Государь начинал свою войну с Турцией, а потом с Европой, кончившуюся Севастополем. Тогда тоже, в начале войны, пронеслось сверху слово о святых местах, которое народ мог тоже с тех пор запомнить. Кроме того, еще задолго до прошлогоднего подъема нашего в пользу славян, начались истязания этих славян, и почти год как об этом уже говорили и писали в России, и я сам слышал, как в народе уже спрашивали даже тогда еще: «правда ли,

что турок опять подымается?» Кроме того (хотя это и отдаленное соображение), но мне кажется, что и время как бы всему этому способствовало, то есть прошлогоднему движению. Довольно давно уже, относительно говоря, как последовало у нас освобождение крестьян, и вот прошли эти годы — и что же увидел в среде своей народ? Увидел он, между прочим, увеличившееся пьянство, умножившихся и усилившихся кулаков, кругом себя нищету, на себе нередко звериный образ, — многих, о, многих может быть брала уже за сердце какая-то скорбь, покаянная скорбь, скорбь самообвинения, искания лучшего, святого... И вот вдруг раздается голос об угнетении христиан, об мучениях за Церковь, за веру, о христианах, полагающих голову за Христа и идущих на крест, — так как если бы они согласились отречься от Креста и принять магометанство, то были бы все пощажены и награждены, — это-то уже, конечно, народу было известно. Поднялись воззвания к пожертвованиям, затем пронесся слух про русского генерала, поехавшего помогать христианам, затем начались добровольцы, — все это потрясло народ. Именно потрясло, как я выразился выше, как бы **призывом к покаянию, к говенью.** Кто не мог итти сам, принес свои гроши, но добровольцев все провожали, все, вся Россия. Старый князь, сидя в Карлсбаде, не мог понять этого движения и воротился в самый разгар его с юмором на устах. Но ведь что же мог понять в России и в русском человеке этот клубный старичок? Умный Левин мог бы понять гораздо более его, но его сбило с толку соображение, что народ не знает истории и географии, а главное, досада на то, что какие-то Рагозовы объявляют войну даже не спросясь его. Но объявления войны не было, а со стороны народа было как бы всеобщее умиленное покаяние, жажда принять участие в чем-то святом, в деле Христовом, за ревнующих о кресте его, — вот все что было. Так что движение-то было и покаянное и в то же время историческое. Заметьте себе, что, говоря про эту историческую черту русского народа, то есть про ревность его к «делу Божию», ко святым

местам, к угнетенному христианству и вообще ко всему **покаянному, божественному,** я ведь вовсе не думаю хвалить за это русский народ: я не хвалю и не хулю. я только констатирую факт, **которым многое объяснить можно.** Что же делать, что у нас есть такая **историческая** черта? Я не знаю, что из нее выйдет, но, очень может быть, что-нибудь и выйдет. В жизни народов все важнейшее слагается всегда сообразно с их важнейшими и характернейшими национальными особенностями. Пока, например, у нас, из вышеуказанной исторической черты народа нашего, выходит, может быть, **каждый раз,** в войну России с султаном, сознательно-национальное отношение народа нашего ко всякой такой войне, так что нечего дивиться горячему участию народа к такой войне, собственно потому только, что он не знает истории и географии. Что надо знать ему, он знает. О, наш народ безграмотный невежда, это бесспорно, и ему даже в нравственном отношении можно бы насказать множество превосходных и просвещеннейших вещей насчет столь застарелой в нем древней исторической черты его. Этим русским людям можно было бы разъяснить, что все их странствования, паломничества — суть только узкое понимание их долга и обязанностей; что нечего ходить за хорошим так далеко, что лучше было бы, если б он бросил пьянство, обратил внимание на умножение своего благосостояния, на прикопление экономических сил, не бил жену, обратил внимание на школы, на шоссейные дороги и проч., одним словом — хоть чем бы нибудь способствовал, чтоб Россия, его отечество, стала, наконец, походить на другие «просвещенные европейские государства». Можно бы внушить, наконец, паломнику, что хождения его по святым местам Богу вовсе не надобны, потому, главное, что ни ему самому, ни семейству его и никому пользы никакой не приносят, а что, напротив, приносят даже вред, ибо странствующий, уходя надолго, оставляет свой дом, родину, в сущности для цели эгоистической, для спасения души своей, тогда как Богу несравненно было бы приятнее, если б он употребил свой праздный досуг на ка-

кую-нибудь пользу ближнему: посидел бы на огороде, присмотрел бы за телятами и проч., и проч. Одним словом, можно бы наговорить много прекрасного; но что же, однако, делать, если так именно сложилась эта историческая черта и искание доброго приняло в народе нашем **почти что одну эту форму,** то есть форму **покаянную,** в паломническом или жертвенном виде? По крайней мере, в ожидании «просвещения», умный Левин мог бы зачесть народу эту **историческую черту** его. Он мог бы понять, по крайней мере, что многие добровольцы и народ, провожавший их, действовали из побуждения хорошего, думали дело сделать доброе (в этом нельзя же не согласиться!), а стало быть, во всяком случае, это были хорошие представители народа, конечно, не «блиставшие просвещением», но и не потерянные же люди, не бесшабашные, не стрюцкие, не заболтавшиеся а, напротив, даже, может быть, лучшие люди из народа. Дело это было ведено прямо, как Христово дело, а у многих, у очень многих в тайниках души их — именно как очистительное и покаянное дело. И не один-то из всего этого народа не чувствовал себя за это дело виноватым перед Царем своим! Напротив, знал, что милосердым сердцем своим Царь-Освободитель заодно с народом своим. Воли царевой, слова его все ждали в умилении и надежде, а мы, мы, сидя по углам нашим, радовались еще про себя, что великий народ русский оправдал великую и вечную надежду нашу на него. А потому могло ли быть, хоть с какой-нибудь стороны, применено к нему и к его благородному и кроткому движению — сравнение с шайкой Пугачева, с коммуной и проч.! Именно только раздраженный до сотрясения ипохондрик Левин мог провозгласить это. Вот что значит обидчивость!

IV

Сотрясение Левина. Вопрос: имеет ли расстояние влияние на человеколюбие? Можно ли согласиться с мнением одного пленного турка о гуманности некоторых наших дам? Чему же, наконец, учат нас наши учители?

Но сотрясение идет еще далее: Левин прямо и назойливо провозглашает, что сострадания к мучениям славян, что **«непосредственного чувства к угнетению славян нет, и не может быть».** Сергей Иванович говорит:

...«Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтоб помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидел бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы обижаемого.

— Но не убил бы, — сказал Левин.

— Нет, ты бы убил.

— Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; **но вперед сказать я не могу.** И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет, и не может быть.

— Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, — недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. — В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых Агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.

— Может быть, — уклончиво сказал Левин, — но я не вижу; **я сам народ,** и я не чувствую этого».

И опять: «я сам народ». Повторю еще раз: всего только два часа тому, как этот Левин и веру-то свою получил от мужика, по крайней мере тот надоумил его,

как верить. Я не восхваляю мужика и не унижаю Левина, да и судить не берусь теперь, кто из них лучше верил, и чье состояние души было выше и развитее, ну и проч., и проч. Но ведь согласитесь сами, повторяю это, что уж из одного этого факта Левин мог бы догадаться, что есть же некоторая **существенная** разница между ним и народом. И вот он говорит: «я сам народ». А почему он так уверен в том, что он сам народ? А потому, что запрячь телегу умеет и знает, что огурцы с медом есть хорошо. Вот ведь люди! И какое самомнение, какая гордость, какая заносчивость!

Но все же не в том главное. Левин уверяет, что непосредственного чувства к угнетению славян **нет и не может быть.** Ему возражают, что «народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил», а он отвечает: «Может быть, но я не вижу; я сам народ, **и я не чувствую этого!»**

То есть сострадания? Заметьте, что спор Левина с Сергеем Ивановичем о сострадании и о непосредственном чувстве к угнетению славян ведется уклончиво и как бы с намерением, чтоб кончить победою Левина. Сергей Иванович спорит, например, изо всех сил, что если б Левин шел и увидел, что пьяные бьют женщину, то он бы бросился освободить ее! «Но не убил бы!» возражает Левин. — Нет, ты бы убил, — настаивает Сергей Иванович, и уж, конечно, говорит вздор, потому что кто ж помогая женщине, которую бьют пьяные, убьет пьяных? Можно освободить и не убивая. А главное дело вовсе идет не о драке на улице, сравнение неверно и неоднородно. Говорят о славянах, об истязаниях, пытках и убийствах, которым они подвергаются, и Левин слишком знает, что он говорит о славянах. Стало быть, когда он говорит, что он не знает, помог ли бы он, что он не видит и **ничего не чувствует** и проч., и проч., то именно заявляет, что не чувствует сострадания к мучениям славян (а не к мучениям прибитой пьяными женщины), и настаивает, что непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть, а не к угнетению пьяной женщины. Да так он буквально и выражается.

Здесь довольно любопытный психологический факт. Книга вышла всего 2½ месяца назад, а 2½ месяца назад уже совершенно известно было, что все бесчисленные рассказы о бесчисленных мучениях и истязаниях славян — совершенная истина, — истина, засвидетельствованная теперь тысячью свидетелей и очевидцев всех наций. То, что мы узнали в эти полтора года об истязаниях славян, пересиливает фантазию всякого, самого болезненного и исступленного воображения. Известно во-первых, что убийства эти не случайные, а систематические, нарочно возбуждаемые и всячески поощряемые. Истребления людей производятся тысячами и десятками тысяч. Утонченности в мучениях таковы, что мы не читали и не слыхивали ни о чем еще подобном прежде. С живых людей сдирается кожа в глазах их детей; в глазах матерей подбрасывают и ловят на штык их младенцев, производится насильничание женщин, и в момент насилия он прокалывает ее кинжалом, а главное, мучат в пытках младенцев и ругаются над ними. Левин говорит, что он не чувствует **ничего** (!), и азартно утверждает, что непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть. Но смею уверить г. Левина, что оно может быть, и что я сам был тому же неоднократно свидетелем. Я видел, например, одного господина, который о своих чувствах говорить не любит, но который, услышав, как одному двухлетнему мальчику, в глазах его сестры, прокололи иголкой глаза и потом посадили на кол, так что ребенок все-таки не скоро умер и еще долго кричал, — услышав про это, этот господин чуть не сделался болен, всю ту ночь не спал и два дня после того находился в тяжелом и разбитом состоянии духа, мешавшем его занятиям. Смею уверить при этом г. Левина, что господин этот человек честный и бесспорно-порядочный, далеко не стрюцкий и уж отнюдь не член шайки Пугачева. Я хотел только заявить, что непосредственное чувство к истязаниям славян существовать может, и даже самое сильное, и даже во всех классах общества. Но Левин настаивает, что его **не может и быть**, и что сам он **ничего** не чувствует. Это для меня загадка.

Конечно, есть просто бесчувственные люди, грубые, с развитием извращенным. Но ведь Левин, кажется, не таков, он выставлен человеком вполне чувствительным. Не действует ли здесь просто расстояние? В самом деле, нет ли в иных натурах этой **психологической** особенности: «Сам, дескать, не вижу, происходит далеко, ну вот ничего и не чувствую». Кроме шуток, представьте, что на планете Марс есть люди, и что там выкалывают глаза младенцам. Ведь, может быть, и не было бы нам на земле жалко, по крайней мере так уж очень жалко? То же самое, пожалуй, может быть, и на земле при очень больших расстояниях: «Э, дескать, в другом полушарии, не у нас!» То есть хоть он и не выговаривает это прямо, но так чувствует, то есть **ничего** не чувствует. В таком случае, если расстояние действительно так влияет на гуманность, то рождается сам собою новый вопрос: на каком расстоянии кончается человеколюбие? А Левин, действительно, представляет большую загадку в человеколюбии: он прямо утверждает, что он **не знает,** убил ли бы он:

«Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но вперед сказать я не могу».

Значит, не знает, что бы он сделал! А между тем это человек чувствительный, и вот, как чувствительный-то человек, он и боится убить... турку. Представим себе такую сцену: стоит Левин уже на месте, там с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть иголкой глазки ребенку, который уже у него в руках. Семилетняя сестренка мальчика кричит и как безумная бросается вырвать его у турка. И вот Левин стоит в раздумьи и колеблется:

«Не знаю, что сделать. Я ничего не чувствую. Я сам народ. Непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть».

Нет, серьезно, что бы он сделал, после всего того, что нам высказал? Ну как бы не освободить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчас же из рук злодея турка?

— Да, вырвать, но ведь, пожалуй, придется больно толкнуть турка?

— Ну и толкни!

— Толкни! А как он не захочет отдать ребенка и выхватит саблю? Ведь придется, может быть, убить турку?

— Ну и убей!

— Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку. Нет, уж пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити.

Вот как должен поступить Левин, это прямо выходит из его убеждений и из всего того, что он говорит. Он прямо говорит, что **не знает,** помог ли бы он женщине или ребенку, если бы приходилось убить при этому турку. А турок ему жаль ужасно.

«— Двадцать лет тому назад мы бы молчали (говорит Сергей Иванович), а теперь слышен голос русского народа, который готов встать как один человек и готов жертвовать собой для угнетенных братьев; это великий шаг и задаток силы.

— Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, — робко сказал Левин. — Народ жертвует и готов жертвовать для своей души, а не для убийства»...

То есть, другими словами: «возьми, девочка, деньги, жертву для души нашей, а уж братишке пусть выколют глазки. Нельзя же турку убивать»...

И потом дальше уже говорит сам автор про Левина:

...«Он не мог согласиться с тем, чтобы десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на основании того, что им рассказали сотни приходивших из столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, **которая выражается в мщении и убийстве».**

Это несправедливо: **мщения** нет никакого. У нас и теперь ведется война с этими кровопийцами, и мы слышим только о самых гуманных фактах со стороны русских. Смело можно сказать, что немногие из европейских армий поступили бы с таким неприятелем так, как поступает теперь наша. Недавно только, в двух или трех из наших газет, была проведена мысль, что

не полезнее ли бы было, и именно для уменьшения зверств, ввести респрессалии с отъявленно-уличенными в зверствах и мучительствах турками? Они убивают пленных и раненых после неслыханных истязаний, вроде отрезывания носов и других членов. У них объявились специалисты истребления грудных младенцев, мастера, которые, схватив грудного ребенка за обе ножки, разрывают его сразу пополам на потеху и хохот своих товарищей баши-бузуков. Эта изолгавшаяся и исподлившаяся нация отпирается от зверств, совершённых ею. Министры султана уверяют, что не может быть умерщвления пленных, ибо «коран запрещает это». Еще недавно человеколюбивый император Германский с негодованием отверг официальную и лживую, повсеместную жалобу турок на русские будто бы жестокости и объявил, что не верит им. С этой подлой нацией нельзя бы, кажется, поступать по-человечески, но мы поступаем по-человечески. Осмелюсь выразить даже мое личное мнение, что к репрессалиям против турок, уличенных в убийстве пленных и раненых, лучше бы не прибегать. Вряд ли это уменьшило бы их жестокости. Говорят, они и теперь, когда их берут в плен, смотрят испуганно и недоверчиво, **твердо убежденные**, что им сейчас станут отрезать головы. Пусть уже лучше великодушное и человеколюбивое ведение этой войны русскими не омрачится репрессалиями. Но выкалывать глаза младенцам нельзя допускать, а для того, чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетенных накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда. Не беспокойтесь, когда их обезоружат, они будут делать и продавать халаты и мыло, как наши казанские татары, об чем уже я и говорил, но чтобы вырвать из рук их оружие, надо вырвать его в бою. Но бой не мщение, Левин может быть за турка спокоен.

Левин мог бы быть и прошлого года за турка спокоен. Разве он не знает русского человека, русского солдата? Вон, пишут, что солдат хоть и колет изверга турку в бою, но что видели, как с пленным туркой он уже не раз делился своим солдатским рационом, кормил его, жалел его. И поверьте, что солдатик знал все

про турка, знал, что попался бы он сам к нему в плен, то этот же самый пленный турок отрезал бы ему голову и вместе с другими головами сложил бы из них полумесяц, а в средине полумесяца сложил бы срамную звезду из других частей тела. Все это знает солдатик и все-таки кормит измученного в бою и захваченного в плен турку: «человек тоже, хоть и не хрестьянин». Корреспондент английской газеты, видя подобные случаи, выразился: «это армия джентльменов». И Левин лучше многих других мог бы знать, что это, действительно, армия джентльменов. Когда болгары в иных городах спрашивали его высочество главнокомандующего, как им поступать с имуществом бежавших турок, то он отвечал им: «имущество собрать и сохранить до их возвращения, поля их убрать и хлеб сохранить, взяв треть в вознаграждение за труд». Это тоже слова джентльмена, и, повторяю, Левин мог бы быть спокоен за турок: где тут мщение, где репрессалии? Сверх того, Левин, столь тонко знающий русское общество, мог бы тоже сообразить, что турок спасет еще наш ложный европеизм и наше нелепое, выделанное и прямолинейное сантиментальничанье, столь нередкое в нашем образованном обществе. Слыхал ли Левин про наших дам, которые провозимым в вагонах пленным туркам бросают цветы, выносят дорогого табаку и конфект? Писали, что один турок, когда тронулся опять поезд, громко харкнул и энергически плюнул в самую группу гуманных русских дам, махавших отходящему поезду вслед платочками. Конечно, трудно согласиться вполне с мнением этого бесчувственного турка, и Левин может рассудить, что тут со стороны ласкавших турок дам наших — лишь истерическое сантиментальничание и ложный либеральный европеизм: «вот, дескать, как мы гуманны и как мы европейски развиты, и как мы умеем это выказать!» Но, однако, сам-то Левин: разве не ту же прямолинейность, не то же сантиментальное европейничанье он сам проповедует и высказывает? Убивают турок на войне, в честном бою, не **мстя** им, а единственно **потому**, что иначе никак нельзя вырвать у них из рук их бесчестное оружие. Так было и про-

шлого года. А если не вырвать у них оружие и — чтоб не убивать их, уйти, то они ведь тотчас же опять станут вырезывать груди у женщин и прокалывать младенцам глаза. Как же быть? Дать лучше прокалывать глаза, чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение понятий, это тупейшее и грубейшее сантиментальничание, это исступленная прямолинейность, это самое полное извращение природы. К тому же, принужденный убивать турку солдат сам несет жизнь свою в жертву, да еще терпит мучения и истязания. Для мщения ли, для убийства ли одного только поднялся русский народ? И когда бывало это, чтоб помощь убиваемым, истребляемым целыми областями, насилуемым женщинам и детям и за которых уже в целом свете совершенно некому заступиться — считалось бы делом грубым, смешным, почти безнравственным, жаждой мщения и кровопийства! И что за бесчувственность рядом с сантиментальностью! Ведь у Левина у самого есть ребенок, мальчик, ведь он же любит его, ведь когда моют в ванне этого ребенка, так ведь это в доме вроде события; как же не искровенить ему сердце свое, слушая и читая об избиениях массами, об детях с проломленными головами, ползающих около изнасилованных своих матерей, убитых, с вырезанными грудями. Так было в одной болгарской церкви, где нашли двести таких трупов, после разграбления города. Левин читает все это и стоит в задумчивости:

— Кити весела и с аппетитом сегодня кушала, мальчика вымыли в ванне, и он стал меня узнавать: какое мне дело, что там в другом полушарии происходит; **непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть** — потому что я **ничего** не чувствую.

Этим ли закончил Левин свою эпопею? Его ли хочет выставить нам автор как пример правдивого честного человека? Такие люди, как автор «Анны Карениной», — суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их. Чему ж они нас учат?

СЕНТЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Несчастливцы и неудачники

Трудно представить себе более несчастных людей, как французские распубликанцы и их французская республика. Вот уже скоро сто лет тому, как в первый раз появилось на свет это учреждение, и с тех пор каждый раз (теперь уже в третий), когда ловкие узурпаторы конфисковали республику в свою пользу, никто-то не вставал серьезно ее защищать, кроме какой-нибудь кучки. Всенародной сильной поддержки ни в один раз не было. Да и в те сроки, когда приходилось ей существовать, редко кто ее считал за дело окончательное, а не переходное. Тем не менее, нет людей более убежденных в сочувствии к ним страны, как французские республиканцы.

Впрочем, в первые две попытки создать во Франции республику, в прошлом столетии и в 1848 г., все же могли быть, особенно в начале попыток, некоторые основания у тогдашних республиканцев рассчитывать на сочувствие к ним страны. Но у нынешних, у теперешних республиканцев, — вот тех самых, которых в самом скором времени предназначено конфисковать, вместе с их республикой, кому-то в свою пользу, казалось бы, не могло быть никаких уже надежд на твердую будущность, даже и в случае некоторого сочувствия к

ним страны (очень, впрочем, нетвердого, так как и существуют-то они теперь лишь отрицательно, по пословице: на безрыбьи и рак рыба). А между тем, накануне почти верного своего падения, они убеждены в полной победе. И однако, что это за несчастные были люди и что за несчастная была эта последняя третья республика, которую хотя и признал покойник Тьер, но именно как рака на безрыбьи! Вспомним только, как явилась эта третья республика на свет. Почти двадцать лет эти республиканцы ждали «славной минуты», когда рухнет узурпатор и когда их опять «позовет страна». И что же случилось: захватив власть после Седана, эти неудачники принуждены были взвалить себе на плечи страшную войну, которой не хотели, но которою наградил их тот же узурпатор, уезжая курить свои папироски в прелестный замок Вильгельмгёге. И если злился на них этот коварный узурпатор, гуляя по аллеям садов немецкого замка, за то, что они захватили опять его власть, то наверно и усмехался про себя, минутами, ехидной усмешкою при мысли о том, как отмстил он им, свалив на их слабые плечи свою вину. Потому что, как бы там ни было, а все-таки Франция обвиняла потом скорее их, чем его, — по крайней мере, более их, чем его, — в том, что они продолжали безнадежную войну, не сумели замирить тотчас же как приняли власть, отдали две большие провинции, три миллиарда, разорили страну, сражались неумело, распоряжались на авось, беспорядочно и без контроля, в чем до сих пор обвиняют бывшего тогдашнего диктатора Гамбетту, ни в чем однако не виноватого, а, напротив, сделавшего все, что только можно было сделать при страшных тогдашних обстоятельствах. Одним словом, это обвинение в неумелости республиканцев и в загублении ими страны держалось и держится даже теперь очень серьезно и твердо. Пусть все понимают, что первая причина беды был император Наполеон, «но они-то, дескать, зачем не сумели поправить дела, если взялись за него? Мало того — испортили его как нельзя вообразить хуже» — вот обвинение! Мало того: рядом с обвинением пало на них даже что-то презрительное и

смешное при мысли, в какой просак попались они в самом начале, как захватили власть, и, однако, что другое они могли тогда сделать? Не принять этой войны, замирить с самого начала по принятии ими власти после Седана, было совсем невозможно: немцы и тогда потребовали бы уступки территории и денег, и что же бы сталось с республиканцами, если б они замирили на таких условиях? Их прямо обвинили бы в малодушии, в бесславии страны, в том, что они, «имея еще армию», не сопротивлялись, а позорно сдались. Хорошо было бы клеймо на их новой республике! А так как для них республика и ее восстановление во Франции были гораздо дороже спасения страны, составляло все, то они и принуждены были воевать, почти явно предчувствуя, что придут еще к большему позору в конце войны. Значит, и спереди был позор, и сзади стоял позор — положение не только несчастное, не только трагическое, но в некотором отношении даже и комическое, ибо не в таком совсем виде воображали они воцариться после тирана!

Этот комизм усугубился еще более тем, что воцарились они все-таки с самым легким сердцем, несмотря ни на что, то-есть не то чтоб они не горевали о Франции — о, между ними есть превосходные люди по чувствам и даже истинные слуги отечества, в том случае, если оно будет называться республикой. Даже, может быть, есть и таких, один или другой, которые даже республику готовы поставить на второй план, была бы лишь счастлива Франция (хотя вряд ли, впрочем, такие есть, именно разве один или другой, а не больше). Но дело в том, что все-таки они, чуть лишь замирили с немцами и расположились править страной уже на покое, как тотчас же вообразили себе, что страна в них влюбилась бесповоротно и что это по крайней мере. Вот что было комично! Решительно у всякого французского республиканца есть роковое и губящее его убеждение, что достаточно только одного слова «республика», достаточно лишь только назвать страну республикой, как тотчас же она станет навеки счастливою. Все неудачи республики они всегда приписывают лишь

внешним мешающим обстоятельствам, существованию узурпаторов, злых людей, и ни разу не подумали о невероятной слабости тех корней, которыми скрепляется республика с почвой Франции и которые в целые сто лет не могли окрепнуть и проникнуть в нее глубже. Сверх того, республиканцы ни разу еще в эти шесть лет не подумали, что комическое положение их, унаследованное ими после Наполеона III, все еще продолжается и теперь, и что если прошла старая беда, то близится новая, подобная старой, которая непременно поставит их уже в **самое** комическое положение, в такое, при котором они уже и держаться во Франции будут не в состоянии, и это в самом ближайшем, может быть, будущем. Этот грядущий комизм в том, что эта будущая беда, все так же, как и прежняя, заключается в исполнении ими высокого долга службы отечеству **сознательно** ему на пагубу, кроме того, все так же, как и прежняя, совершенно неотразима и составляет почти точь-в-точь такой же просак, в какой они попались и в 1871 году, и, наконец, к довершению досады — все так же, как и прежняя беда, досталась им по наследству все от того же Наполеона III, которого они так ненавидят и которого память так проклинают. В самом деле: кто теперь самый ревностный последователь французской республики и самый сочувствующий учреждению ее человек в целом мире? Бесспорно, князь Бисмарк. До тех пор, пока существует во Франции республика, невозможна война «возмездия». Вообразить только, что республиканцы могли бы решиться вновь объявить войну немцам! Князь Бисмарк это понимает. А, между тем, ясно как день, что огромный, сорокамиллионный организм Франции не может оставаться вечно в постыдной опеке Германии. Язвы залечатся, потрясение забудется, прибудут новые силы, нарастет здоровье, создадутся средства, войска, — и может ли страна, которая столь долго первенствовала между нациями политически, — не захотеть опять прежней роли, прежнего положения в Европе? Эта минута, может быть, теперь уже вовсе не далека; избыток внутренних сил должен

непременно стремить их вырваться из опеки Бисмарка и возвратить себе всю прежнюю **независимость** (теперь еще Францию никак нельзя назвать независимою). И вот вся Франция, с первого нового шагу своего, натолкнулась бы лбом на свою республику. Опять-таки повторю: вообразить только, что теперешние республиканцы могли бы захотеть в чем-нибудь сгрубить князю Бисмарку, и до того, чтоб даже рискнуть на войну с ним? Во-первых, кто за ними и пойдет-то, если б даже сама Франция хотела войны, а во-вторых, неизбежно представляющееся соображение: ну что, если немцы их опять разобьют? Ведь тогда уже конец республики во Франции окончательный, потому, что их же и обвинит Франция за неуспех и навеки уже прогонит, забыв, что сама же захотела «возмездия» и первенствующего прежнего положения... А скрепись республиканцы, не слушай новых голосов и криков, не объявляй войну — это значило бы итти против стремления страны, и тогда страна опять-таки сместила бы их и отдалась бы первому явившемуся ловкому предводителю. Одним словом, и сзади Седан и впереди Седан! Между тем, они наверно об этом совсем еще не начинали думать, несмотря на то, что новый порыв страны, может быть, очень близок. Никогда не думали и о том, что в сущности они не более как «протеже» князя Бисмарка и что Франция с каждым годом ведь должна понимать это все более и более, и именно по мере восстановления и нарастания сил своих, а стало быть и презирала бы их все более и более, сначала про себя и не столь отчетливо, а потом гораздо отчетливее и, наконец, уже вслух, а не про себя только.

Но комического вида республиканцы не признают. Это люди патетические. Напротив, именно теперь они ободрились, после того как Мак-Магон, президент «республики», прогнал их с места и запер до новых октябрьских выборов палату. Теперь они «угнетенные», а потому и чувствуют себя в ореоле; они ждут, что вся Франция вдруг запоет марсельезу и закричит: «on assassine nos frères!» (убивают братий наших!) известный крик всех прежде бывших париж-

ских уличных революций, после которого толпы бросались обыкновенно строить баррикады. Во всяком случае они ждут «законности», то есть что страна, в негодовании на маршала Мак-Магона, наклевывающегося будущего узурпатора, выберет вновь в палату все прежнее республиканское большинство, да еще сверх того прибавит новых республиканских депутатов, и тогда вновь собравшаяся палата скажет строгое veto маршалу, и тот, испугавшись законности, подожмет хвост и стушуется. В силе этой «законности» они непоколебимо уверены, — и не по скудости способностей, а потому, что эти добрые люди слишком уже люди своей партии, слишком долго тянули все одну и ту же канитель и слишком долго просидели в одном углу. Они слишком долго страдали за возлюбленную свою республику, а потому и уверены в возмездии, К удивлению, и у нас в России многие наши газеты верят в их близкое торжество и в неминуемую победу их «законности». Но чем обеспечена эта законность, если Мак-Магон не удостоит ей подчиниться, о чем и объявил уже стране в удивительном своем манифесте. Негодованием, гневом страны? Но маршал тотчас же найдет многочисленнейших последователей в этой же самой стране, как и всегда это бывало в подобных случаях во Франции. Что же тогда делать? Баррикады строить? Но при нынешнем ружье и при нынешней артиллерии прежние баррикады невозможны. Да Франция и не захочет их строить, если б даже и действительно она хотела республики. Утомленная и измученная столетней политической неурядицей, она самым прозаическим образом рассчитает где сила и силе покорится. Сила теперь в **легионах**, и страна предчувствует это. Весь вопрос, стало быть, в том: за кого легионы?

II

Любопытный характер

Об легионах, как об новой силе, грядущей занять свое место в европейской цивилизации, я уже пи-

сал в май-июньском «Дневнике» моем, то есть задолго до манифеста маршала-президента, — и вот все так и случилось, как мне тогда показалось. В этом удивившем всех манифесте маршал хоть и обещает следовать законности, обещает мир и проч., но тут же, сейчас же, прямо говорит, что если страна не согласится с его мнением и пришлет ему с предстоящих выборов прежнее республиканское большинство, то и он, в свою очередь, принужден будет не согласиться с мнением страны и не подчиниться ее выборам. Такой удивительный поступок маршала должен же чем-нибудь мотивироваться. Не мог бы он говорить таким языком и тоном с страной (Франция не деревня какая-нибудь), если б не был твердо уверен в силе и успехе. А потому ясно уже теперь, что вся его надежда на армию, в которой он совершенно уверен. И действительно, во время летних путешествий по Франции маршала, его во многих, слишком, кажется, во многих городах и провинциях встречали довольно двусмысленно, но армия и флот обнаружили везде совершенную преданность и приветствовали маршала сочувственными криками. Сомнения нет, что в добрых и даже, так сказать, неповинных чувствах маршала нельзя сомневаться. Если он и поступил так не по обычаю, прямо объявив вперед, что не послушается законного мнения страны, если та сама его не послушается, то, конечно, лишь потому, что он желает, по-своему, принесть стране благоденствие и уверен в том, что принесет его. Итак, не в нравственных качествах маршала надобно сомневаться, а в некоторых разве других... И действительно, маршал, кажется, один из таких характеров, которые не могут не быть в чьей-нибудь опеке, и с этой стороны характер этот представляет собою некоторые замечательные особенности. Вопрос, например: для кого он теперь работает? Для кого так старается и для кого так рискует? Сомнения нет, что он кругом в опеке, а, между тем, я уверен в том (впрочем это все-таки личное мое мнение), что лишь один он, во всей Европе, даже до сих пор совершенно убежден, что он ровно ни в чьей опеке не состоит, а действует сам по

себе. Ловкие люди, овладевшие им, вероятно, и поддерживают в нем сами это убеждение до времени и поддакивают ему изо всех сил, между тем направляя его бесповоротно куда им угодно. Все это, конечно, потому, что они отлично знают свойства подобных характеров и их самолюбий. Но таких ловких людей можно найти только в одной партии, правда, в огромнейшей и в сильнейшей — в клерикальной. Остальные все политические партии во Франции не отличаются ловкостью. В самом деле, вопрос: если маршал в опеке, то в чьей? Вот теперь совершенно известно, что бонапартисты ужасно заволновались, что кандидатов они выставили множество, что сам маршал покровительствует их кандидатам, что в победе на выборах они уверены, уверены и в армии, что императорский принц уже переехал на континент, говорили даже, что поедет в Париж. Но неужели, однако же, поверить, что маршал Мак-Магон, столь уверенный в себе президент «республики», берет на себя такую обузу хлопот и опасностей единственно, чтоб воцарить императорского принца? Мне кажется (и опять-таки это совершенно личное мое мнение), мне кажется, что нет. Разве, впрочем, есть там совершенно особые какие-нибудь комбинации, — например, какой-то слух, пронесшийся по газетам, с месяц назад, что императорский принц будто бы помолвлен с дочерью маршала и проч. Но если нет таких особенных секретных комбинаций, если особенных соглашений и договоров еще не существует, то мне кажется, что маршал наклонен скорее осчастливить страну в **свою** пользу, чем в чью-нибудь, и если поддерживает бонапартистских кандидатов, то уверенный, что они все-таки всех надежнее, а что всех их потом он направит как ему угодно. Бог знает какие у подобного ума могли зародиться мысли. Недаром же один епископ, в приветственной речи маршалу, уже вывел ему, что он происходит по женской линии от Карла Великого. Одним словом, несколько лет президентства, может быть, действительно заронили в душу его некоторые раздражающие и фантастические впечатления. К тому же это и военный человек. Впрочем,

все эти рассуждения лишь мечтательные попытки разъяснить загадочный характер. Истина же пока в том, что маршал в руках клерикалов, и что они его направляют, хотя он и, без сомнения, думает, что это он их направляет, и что они в руках его, а не он в их руках. Но они, конечно, уж не в его руках, и судьба Франции, в настоящий момент, решительно, кажется, зависит от них и **от них одних.** Сомнения нет, что все еще продолжается страшная подземная интрига, и хотя вся Европа давно уже, и с самого начала знала, что клерикалы в настоящем западно-европейском движении играют большую роль, но, кажется, те все-таки до сих пор скрывают и успели скрыть, **какого объема и какой силы эта их роль,** лавируют и прячутся за других до времени, за маршала, например, за бонапартистов, и так продолжится дело до тех пор, пока они не достигнут задуманной цели. В сущности им все равно: маршал ли успеет, или императорский принц. Симпатий личных у них нет и не должно быть. Для них лишь задача одна: чтобы Франция как можно скорее обнажила свой меч и ринулась на Германию. И вот для этой-то цели они и раздавили республиканцев, неспособных стать за папу. Теперь же тихо и ловко выжидают: за кем будет больше шансов? Если действительно императорский принц представит им больше шансов в способности объявить войну, то, может быть, они и за него уцепятся и проведут его в Париж, уже не думая о Мак-Магоне. Но пока они, кажется, все еще держатся маршала. Кстати, недавно еще, говорят, маршал в разговоре вслух упомянул: «Про меня распространяют, что я хочу уничтожить республиканские учреждения, и забывают, конечно, что я, принимая президентство республики, дал слово их сохранять». Слова эти могут подтвердить вполне догадку о нравственной невинности маршала, несмотря на все обвинения республиканцев. Как честному и военному человеку, ему, стал быть, дорого его честное слово, и уж, конечно, он ему не изменит. Но если он сохранит республику и в то же время прогонит республиканцев, то значит имеет в виду продолжать республику без

республиканцев. Надо думать, что такова действительно политическая программа его и что его уверили, что она совершенно возможна. Эта программа, вместе с тезисом: J'y suis et j'y reste (сел и не сойду) составляет, очевидно, цикл всех его политических убеждений вплоть до 1880 года, когда кончается срок его президентству, а, стало быть, и честному слову его. Но тогда уже начнется мечта: «Благодарная страна, видя, что он оставляет президентство, предложит ему, за спасение ее от демагогов, другую новую должность, ну хоть Карла Великого, и тогда все пойдет опять как по маслу». Само собою при этом, что движущие его хитрые люди, в том случае, если он в самом деле пожелает исполнить свое честное слово и сохранит республиканские учреждения, променяют его тотчас же на Бонапарта, если сохраненная республика, хотя бы и без республиканцев помешала их дальнейшим планам. В виду того они, кажется, и склонили его, на всякий случай, поддерживать бонапартистские кандидатуры, уверив его, что это для него хорошо. Во всяком случае, он продолжает быть в такой твердой опеке, что уже из нее не выскочит. Одним словом, мир ожидают какие-то большие и совершенно новые события, предчувствуется появление легионов, огромное движение католичества. Здоровье папы, пишут, «удовлетворительно». Но беда, если смерть папы совпадет с выборами во Франции или произойдет вскоре после них. Тогда Восточный вопрос может разом переродиться во всеевропейский.

III

То да не то. Ссылка на то, о чем я писал еще три месяца назад

Я изложил эту мысль мою довольно подробно в летнем май-июньском «Дневнике» моем, но на главное место этой статьи моей, то есть что весь ключ теперешних и грядущих событий всей Европы **лежит в католическом заговоре** и в предстоящем, несомненном и огромном движении католичества, совпадающем с

чрезвычайно близкою, по всей вероятности, смертью папы и выбором папы нового, — на это главное место статьи моей, кажется, никто не обратил внимания, и статья прошла (в печати) бесследно.

Между тем, теперь я еще сильнее и увереннее держусь того же мнения, чем два месяца назад. С тех пор было столько событий, подтвердивших мне мою догадку, что я уже не могу сомневаться теперь в ее справедливости. С тех пор и газеты, наши и иностранные, стали поговаривать как будто на эту же тему, но все еще как бы не решаясь проговорить окончательный вывод. Вот что говорили недавно «Московские Ведомости» в превосходной передовой статье своей («Московские Ведомости» № 235) Они цитуют между прочим, мнение корреспондентов английских газет:

«Корреспонденты английских газет пускаются в весьма откровенные объяснения. Ключ европейской политики, по их толкованию, в руках Германии, и Германия именно расположена еще тверже держаться России, чем прежде, по расчетам весьма понятным. Во-первых, в Берлине увидели, что неудачи русской стратегии оживили и ободрили Австрию, которая, как полагают, все еще питает некоторую досаду против Пруссии. Затем главные враги Германии — Франция и католицизм, и обе эти силы все свое сочувствие отдают на сторону Турции. В начале восточных замешательств Франция, правда, несколько кокетничала с Россией, но если тогда и было в стране некоторое сочувствие к нам, то оно теперь не только охладело, но совершенно повернулось на сторону турок. Что касается воинствующего католицизма, то он не только теперь, но и с самого начала, решительно и со страстью как всем известно взял под свою защиту правоверную Турцию против схизматической России. Неприличие рьяных клерикалов дошло до того, что один из них отзывался с некоторою нежностью о Коране, так что даже ультрамонтанская «Germania» нашла нужным умерить подобные выходки замечанием, что хотя и должно радоваться победам турок над ненавистными русскими, но неловко выражать прямо сочувствие исламу. Так как

mot d'ordre католицизма замечательно совпадает с переменой общественного мнения Франции в пользу турок, и так как Австрия, тоже католическая, имеет интересы противные России, то в Берлине естественно опасаются возможности такой католической и антипрусской лиги, в которую могли бы потом быть привлечены ультрамонтанские и сепаратистские интересы Южной Германии и «даже Англия». Так толкуют английские корреспонденты, но несомненно, что Англии принадлежит главная роль в интригах.

«Итак, мы попрежнему остаемся наедине с Турцией».

Все это превосходно и, однако, все еще это не то, не настоящее объясняющее и последнее слово, которое к удивлению, никто как будто не хочет высказать, даже как будто еще и не предчувствует в надлежащей полноте. В этой статье заговорили, однако, уже и о **воинствующем католицизме**, и о значении католицизма в глазах Бисмарка, и о теперешнем влиянии его на Францию, и, наконец, даже **о лиге**, о том, что в Берлине **естественно опасаются возможности такой католической и антипрусской лиги, в которую могли бы потом быть привлечены ультрамонтанские и сепаратистские интересы Южной Германии и «даже Англия».** Но вот об лиге-то, об **заговоре**-то католическом я и говорил еще два месяца слишком перед тем, как теперь заговорили, но я сказал тогда и последнее заключительное слово мое, то есть что в заговоре-то этом все дело и заключается, что от него теперь все в Европе и зависит, и что даже самая Восточная война может в самом скором времени обратиться во всеевропейскую, единственно вследствие этого огромного заговора умирающего римского католичества. Между тем, в этих «мнениях корреспондентов» и во всей превосходной статье «Московских Ведомостей» все еще как будто не хотят допустить эту мысль, и даже вместо того утверждают, что «Англии, несомненно, принадлежит главная роль в интригах» и что мы **«попрежнему остаемся наедине с Турцией».** Но так ли это? Наедине ли? Не предстоит ли, напротив, в самом ближайшем

будущем, что мы вдруг очутимся не наедине с Турцией, а наедине со всей Европой.

В самом деле, что же такое этот «воинствующий католицизм», который начали уже замечать и признавать все в настоящих событиях, откуда такая воинственность и даже «до страсти», с которою католицизм взял под свою «защиту» правоверную Турцию против схизматической России? Неужто все из-за того только, «что Россия страна схизматическая»? Католичеству в настоящее время столько хлопот и насущных забот, что обо всех этих древних церковных препираниях ему некогда бы и думать. А главное, откуда эта «лига католическая», которой так боятся в Берлине? Вот об этом-то обо все я и распространился два слишком месяца назад, желая объяснить это. И вывод мой был тот, что эта лига, которую теперь уже признают и другие, есть твердый и строго организованный католический **заговор** в видах обновления римского светского владычества, существующий в настоящую минуту во всей Европе, что заговор этот будет иметь громадное влияние на все текущие события Европы, и что, стало быть, ключ ко всем современным **интригам** лежит не там и не здесь, и не в одной только Англии, а именно в этом несомненном всемирном католическом заговоре!

Воинствующий католицизм берет яростно «и со страстью» против нас сторону турок. И даже в Англии, даже в Венгрии нет столь яростных ненавистников России в настоящую минуту как эти воинствующие клерикалы. Не то что какой-нибудь прелат, а сам папа, громко, в собраниях Ватиканских, с радостию говорил о «победах турок» и предрекал России «страшную будущность». Этот умирающий старик, да еще «глава христианства» не постыдился высказать всенародно, что каждый раз с веселием выслушивает о поражении русских. Эта страшная ненависть станет совершенно понятною, если признать, что римское католичество действительно теперь «воинствует» и действительно на деле, **то есть мечом,** ведет теперь в Ев-

ропе войну против страшных и роковых врагов своих. Но кто теперь в Европе самый страшный враг римского католичества, то есть светской монархии папы? Бесспорно, князь Бисмарк. Самый Рим был отнят у папы в ту самую минуту величия Германии и Бисмарка, в которую Германия раздавила главного тогдашнего защитника папства, Францию, и тем тотчас же развязала руки королю итальянскому, немедленно и занявшему Рим. С тех пор вся забота католичества состояла в том, чтоб отыскать врага и соперника Германии и князю Бисмарку. Сам же князь Бисмарк с своей стороны, отлично понимает, во всей широте, и давно уже, что римское папское католичество, кроме того что есть вечный враг протестантской Германии, столько веков протестовавшей против Рима и идеи его во всех ее видах, и против всех союзников ее, покровителей и последователей, но и понимает, сверх того, что католичество есть именно **теперь,** то есть в самую важную минуту для объединения Германии — самый вреднейший элемент из всех мешающих этому объединению ее, то есть завершению здания, над которым во всю жизнь так много потрудился князь Бисмарк. И кроме того в Берлине опасаются «возможности» такой католической и антипрусской лиги, в которую могли бы потом быть привлечены ультрамонтанские и сепаратистские интересы Южной Германии, — в Берлине, кроме того, опасаются, и давно уже предвидели, что католичество, рано ли, поздно ли, а непременно послужит поводом к будущему подъему Франции на унизившую, победившую и разорившую ее Германию, и что повод этот римское католичество подаст первее и скорее всех других, и что, стало быть, самая важнейшая опасность объединенной Германии кроется именно в римском католичестве, а не в чем другом. И берлинское предвидение это выходило из естественно представлявшегося и естественно необходимого соображения, что, во-первых, во всем мире у папства нет теперь другого защитника кроме все той же Франции, что на ее лишь меч она единственно может рассчитывать, **если только этот меч она успеет опять твердо захватить в**

свою руку, и во-вторых, что римское католичество есть еще далеко не раздавленный враг, что враг этот тысячелетний, что жить этому врагу хочется страстно, что живучесть его феноменальна, что сил у него еще множество и что столь огромная историческая идея, как светская папская власть, не может угаснуть в одну минуту. Одним словом, в Берлине не только сознали врага, но и силу его. В Берлине не презирают врагов своих прежде боя.

Но если католичеству так хочется жить, и надобно жить, и если меч, который мог бы его защитить, лишь в руках одной Франціи, то выходит ясно, что Рим и не упустит из рук Францию, особенно если дождется удобной минуты.Эта удобная минута наступила весною, — это русская война с турками, Восточный вопрос. В самом деле: кто главнейший союзник Германии? Разумеется, Россия. Это отлично понимают в Риме. Вот почему так и обрадовался папа русским «неудачам». Значит, главнейший союзник самого страшного врага папской власти отвлечен теперь от своего исконного союзника, Германии, войной, а стало быть, Германия теперь одна, — стало быть, и наступила именно та минута, которую так давно ожидало католичество: когда же, как не теперь, всего удобнее разжечь застарелую ненависть и бросить Францию в войну возмездия на Германию?

К тому же как раз подходят и другие роковые сроки для католичества, так что медлить уже нельзя ему ни минуты. Приближается неизбежно скорая смерть папы и избрание нового, и в Риме слишком хорошо знают, что князь Бисмарк употребит весь свой ум и все свои силы, чтобы нанести последний и самый страшный удар папской власти, повлияв из всех сил на избрание нового папы, но так, чтобы обратить его из светского владыки и государя не более как в простого патриарха, и если можно, то с его же и согласия, и таким образом, разделив католичество на две враждебные части — добиться его распадения и разрушения всех замыслов, претензий и надежд его уже навеки. А потому как же ему не спешить против Бис-

марка всеми мерами? И вот, опять-таки, как раз тут подвертывается Восточный вопрос! О, теперь уже можно приискать для Франции и союзников, которых она нигде столько лет не могла найти, теперь можно сплотить даже целую коалицию. Пусть вся Европа обольется кровью, но зато восторжествует папа, а для римских исповедников Христа это все.

Вот они и начали работать. Прежде всего, надо было добиться, чтобы Франция стала за них. Как это сделать? Они уже сделали. Теперь уже все политики Европы и вся европейская печать признают, что майский переворот во Франции произведен клерикалами, но, опять-таки повторю, все как будто еще не признают за этим фактом того основного значения, которое оно заключает в себе. Все как будто решили, месяца четыре назад, что клерикалы произвели переворот во Франции для того только, чтобы получить себе в ней более простору, известные выгоды, льготы, расширение прав. Так как невозможно и представить себе, чтобы переворот был затеян не с самыми радикальными целями, то есть, чтобы добиться (в видах близких смут, по смерти папы, в римской Церкви) скорейшей и неотложной войны Франции с Германией, именно войны! И увидите, чем бы ни кончилось дело, а они добьются своего, добьются войны, в которой, если восторжествует Франция, то, может быть, и папа добьется вновь светской власти.

Они сделали удивительно ловкое дело, и, главное, выбрали такую минуту, когда все как будто сошлось для их успеха. Начать им надо было с того, чтобы прогнать республиканцев, которые ни за что бы не поддержали папу и никогда бы не решились на войну с Германией. Они их прогнали. Надо было, сверх того, заставить маршала Мак-Магона сделать непоправимую ошибку (именно непоправимую), чтобы направить его уже на бесповоротный путь; он и сделал эту ошибку: он прогнал республиканцев и объявил на всю Францию, что они уже не воротятся. Итак, начало уже положено твердое, и клерикалы пока спокойны: они знают, что если Франция пришлет опять в палату

республиканское большинство, то маршал отошлет его назад. Гамбетта объявил, что маршалу придется или покориться решению страны, или оставить место. Так решили за ним и все республиканцы, но они забыли, что девиз маршала J'y suis et j'y reste (сел и не сойду), и он не сойдет с места. Ясно, что вся надежда маршала на преданность легионов. Преданностью же легионов маршалу или кому бы там ни было хотят воспользоваться и клерикалы. Был бы только окончательно завершен для них государственный переворот, а они уже его направят по-своему. Вероятнее всего, что так и сбудется: они будут подле узурпатора, они будут направлять его. А если бы даже и не были, то дело даже и без них пошло бы теперь уж само собою, благо на настоящую точку ими поставлено, совершился бы только государственный переворот: они знают, какое колоссальное впечатление произведет на князя Бисмарка **всякая государственная перемена во Франции.** Он еще в 1875 году стремился объявить войну Франции, боясь ее каждогоднего усиления. Республиканцы, которых он протежировал, не посмели бы начать с ним войну сами ни под каким бы даже предлогом, и отчасти он был спокоен доселе, видя их во главе враждебного государства, несмотря даже на каждогоднее усиление его. Но зато всякий новый переворот во Франции естественно заставит его до крайности взволноваться. И в каждую минуту: когда Германия оставлена без естественного своего союзника, России, когда Австрия (тоже старый соперник Германии), в которой так много враждебных Германии католических элементов, так вдруг сознала себе всю цену, и когда Англия, с самого начала Восточной войны, с таким раздражительным нетерпением ждет и ищет себе в Европе союзника! Ну что, если Франция, должны рассуждать в Берлине, — с своим будущим новым правительством во главе и около которого снуют клерикалы, направляют его и владеют им — что, если Францiя вдруг догадается, что если уже быть войне возмездия, то никогда она не найдет более удобной минуты, как теперь, чтобы начать ее, и таких значи-

тельных союзников, как теперь, чтобы поддержать ее! А что если как раз к тому случаю умрет папа (что так возможно)? Что если клерикалы заставят новое французское правительство заявить князю Бисмарку, что взгляды его на избрание нового папы с мнением Франции не согласны (а это уже непременно случится, если будут прогнаны республиканцы)? Что если новое французское правительство при том догадается, что если ему удастся (в видах возможности найти в Европе могучих союзников) отвоевать хоть одну из отнятых у Франции в 1871 году провинций, то этим оно упрочит свою власть и влияние в стране, по крайней мере, лет на двадцать? Нет, как тут не волноваться!

А главное, тут и еще одно маленькое обстоятельство: немец заносчив и горд, немец не потерпит непокорности. До сих пор Франция была в полной и послушной опеке Германии, давала отчет на запросы ее чуть не в каждом движении своем, должна была объясняться и извиняться за каждую прибавленную дивизию в войске, за каждую батарею, и вдруг теперь эта Франция осмелится поднять голову! Так что клерикалы, пожалуй, смело могут расчитывать, что чуть ли не сам князь Бисмарк первый и начнет войну. Хотел же он ее начать в 1875 году. Не начать войну — значит, упустить из рук Францию уже навеки. Правда, в 1875 году было не то, что теперь, но если Австрия будет на стороне Германии, то... Одним словом, в недавнем свидании верховных министров Германии и Австрии, вероятно, говорили не об одном лишь Восточном вопросе. И если есть теперь в мире государство в самом выгодном внешне-политическом положении, то это именно Австрия!

IV

О том, что думает теперь Австрия

Но скажут: в Австрии волнения, половина Австрии не хочет того, чего хочет ее правительство. В Венгрии манифестации, Венгрия так и рвется против русских

за турок. Открыт какой-то даже заговор, англо-мадьяро-польский. С другой стороны славянские элементы ее территории хоть и за правительство в настоящую минуту, но и на них правительство Австрии посматривает косо и подозрительно, даже, может быть, косее, чем на венгерцев. А если так, то можно ли сказать, что Австрия, в данную минуту, в самом выгодном политическом положении, в каком только может находиться европейское государство?

Да, это правда. Правда, что католическая работа идет несомненно и в Австрии. Клерикалы дальновидны, им ли не понять теперешнего значения этой страны, им ли упустить случай. И уже, разумеется, они не упускают случая разжечь в этой католической и «христианнейшей» земле всевозможные волнения, под всевозможными до неузнаваемости предлогами, видами и формами. Только вот что: кто знает, может быть, в Австрии, хотя и делают, конечно, вид, что очень сердятся на эти волнения, но в сущности, пожалуй, и не очень на них сердятся, может быть, даже совсем напротив: берегут эти волнения **на всякий случай** в видах того, что они могут пригодиться в ближайшем будущем... Всего очевиднее, впрочем , то, что Австрія, хотя и чувствует себя в самом счастливом политическом положении, но, в видах текущих событий, на **дальнюю** и очень определенную политику еще, может быть, не решилась, а только еще присматривается и ждет: что повелит ей сделать **благоразумие?** Если же и решилась на что-нибудь, то разве на политику **ближайшую,** да и то условно. Вообще она в самом блаженном состоянии духа, решается не спеша, ждет, зная, что ее все ждут и что все в ней нуждаются, прицеливается на добычу, которую выбирает сама, и сладостно облизывается в видах близких и уже неминуемых благ.

На недавних свиданиях канцлеров обоих немецких государств, может быть, очень много было затронуто «условного». По крайней мере, австрийским правительством было уже объявлено у себя во всеуслышание, что ничто на Востоке не произойдет и не разрешится вне интересов Австрии — мысль чрезвычайно обшир-

ная. Таким образом, даже и не дотронувшись до меча, Австрия уже уверена, что будет иметь знатное участие в русских успехах, если таковые окажутся, и может быть, еще знатнейшее, если таковые совсем не окажутся. И это еще следуя только ближайшей политике! А в дальнейшей? Все уже и теперь так в ней нуждаются, ищут ее мнения, ее нейтралитета, обещают, дарят уже ее, может быть, и это только за то, что она сидит и говорит: «Гм». Но не может же эта держава, столь сознающая, конечно, теперь себе цену, не рассчитывать и на шансы дальнейшей своей политики, которая никому еще не известна, несмотря даже на дружеские свидания канцлеров, я уверен в том. Уверен даже, что до самого последнего и самого рокового момента эта политика никому не будет известна — что будет совершенно по преданиям и традициям исконной политики Австрии. И жадно, жадно, может быть, теперь присматривается она к Франции, ждет судьбы ее, ждет новых интереснейших фактов, и, главное, в самом самодовольнейшем расположении духа. Но нельзя ей, однако, и не волноваться: может быть, очень скоро придется ей решиться даже на самую дальнейшую политику и уже бесповоротно: волнение, конечно, в ее положении приятное, но сильное. Ведь понимает же она, и, может быть, очень тонко, что при всяком теперешнем перевороте во Франции (столь близком и столь возможном), при всяком даже новом правительстве во Франции (только бы не опять республиканском), шансы столкновения Германии с Францией **решительно неизбежны,** и даже в том случае, если б новые правители Франции и сами не пожелали войны, а, напротив, стремились бы изо всех сил сохранить прежний мир. О, Австрия, может быть, лучше всех способна постигнуть, что есть такие моменты в жизни наций, когда уже не воля и не расчет их влекут к известному действию, а сама судьба.

Я позволю себе теперь вдаться в одну фантастическую мечту (и, конечно, только мечту). Я позволю представить себе, как думает Австрия в настоящую горячую и неопределенную минуту об этой самой сво-

ей **дальнейшей** политике, на которую она, конечно, еще не решилась, так как и факты не все еще ясно обозначились, но, однако, кто-то уже стучится в дверь, она видит это, кто-то непременно хочет войти даже и ручку замка уже повернул, но дверь еще не отворилась, и кто войдет, еще никому неизвестно. Во Франции загадка, там она и разрешится, а пока Австрия сидит и **думает,** да и как ей не думать; если обнажатся мечи, если Германия и Франция бросятся друг на друга уже окончательно, то за кого она тогда станет, с кем она тогда будет? Вот самый **дальнейший** вопрос, а между тем, так скоро, может быть, придется ей дать на него ответ!

Так как же ей не знать теперь себе цену: ведь за кого она вынет меч, тот и восторжествует. Что говорено на свидании канцлеров обеих немецких империй, никому не известно, но намеки-то между ними уж наверно были. Как не быть намекам. Может быть, и яснее что-нибудь было сказано и **предложено,** чем только намеки. Одним словом, подарков и гостинцев обещано ей множество и это несомненно, так что она совершенно уверена, что останься она в союзе с Германией, в случае войны ее с Францией, то получится за это... **много.** И всего только за какой-нибудь **нейтралитет,** за то только, что посидит какие-нибудь полгода смирно на месте в ожидании награды за доброе свое поведение, — вот что ведь всего приятнее! Потому что деятельного участия ее против Франции, я думаю, никакому канцлеру от нее не добиться, уж Австрия-то такой ошибки не сделает: не пойдет она добивать на смерть Францию, напротив, может быть, защитит ее в самую последнюю роковую минуту дипломатическим предстательством, и тем обеспечит себе и еще награду. Нельзя же ей остаться **совсем без Франции** в дружеских объятиях у такого гиганта, в какого вырастет, после второй победы над Франциею, Германия. Пожалуй, вдруг обнимет ее потом гигант, да так сожмет. невзначай, разумеется, что раздавит как муху. А тут еще и другой восточный гигант, направо

у ней, встанет, наконец, совсем с своего векового ложа...

«Хорошее поведение — хорошая вещь, — может быть, думает теперь про себя Австрия, — но...» Одним словом, в воображении ее не может не мелькнуть и другая мечта, самая, впрочем, фантастическая:

«Переворот во Франции может начаться даже нынешней осенью, и, может быть, скоро, очень скоро кончится. Если пропадет республика, или останется в каком-нибудь номинально-нелепом виде то, может быть, зимою же успеют произойти с Германией несогласия. Клерикалы об этом уж постараются, тем более, что папа наверно умрет к тому времени, и тогда избрание его тотчас же подаст предлог к недоразумениям и столкновениям. Но и не умри папа, возможность недоразумений и столкновений останется во всей силе. И если только Германия твердо решится, то к весне же и начнется война. На другом конце Европы зимняя кампания против Турции, кажется, тоже неизбежна, так что союзник Германии к весне все еще будет занят. Итак, если загорится война возмездия, то Франция тотчас же найдет двух союзников: Англию и Турцию».

Германия, стало быть, будет одна... с Италиею, то есть почти все равно что одна. О, конечно, Германия заносчива и могуча. Но ведь и Франция успела оправиться: у ней войска миллион и все же Англия хоть какая-нибудь да помощь: надо будет охранять от ее флота немецкие приморские города, стало быть, все же оставить войско, артиллерию, оружие, припасы. Все же это хоть чем-нибудь да ослабит Германию. «Одним словом, шансов, чтоб сразиться с успехом, у Франции и без меня довольно, — думает Австрия, — по крайней мере, вдвое больше, чем было в семидесятом году, так как Франция наверно не сделает теперь тогдашних ошибок. Затем, разбита ли будет Франция или нет, а я все-таки мое получу на Востоке: ничто на Востоке не разрешится в противность интересам Австрии. Это уже решено и подписано. Но... что, если я, в самую-то решительную минуту, благоразумно сохра-

нив за собой всю свободу решения, возьму да и стану за Францию, да и меч еще выну!»

В самом деле, что тогда выйдет?

Австрия очутится разом между тремя врагами: Италией, Германией и Россией. Но Россия будет страшно занята своей войной и ей будет не до нападений. Италии можно, во всяком случае, не очень уж бояться. Останется одна Германия, но если она и вышлет на Австрию силу, то хоть и ослабит тем себя, но, уж, конечно, не очень большую силу, потому что ей понадобятся все силы ее на Францию. В самом деле решись только Австрия на союз с Францией, и Франция бросится на Германию, может быть, уж сама первая, если б даже Германия и не захотела драться. Франция, Австрия, Англия и Турция против Германии с Италией — это страшная коалиция! Успех очень и очень может быть возможен. А при успехе. Австрия может вдруг воротить все утраченное при Садовой, даже ух как более того. Затем, на Востоке выгод своих и всего уже ей обещанного она тоже никак не потеряет. А главное, несомненно выиграет в своем влиянии в католической Германии. Будь побеждена Германия, даже и не побеждена, а только воротись она не совсем удачно с войны — и единство Германии сильно и вдруг покачнется. В южной католической Германии явится сепаратизм, о котором, сверх того, постараются изо всех сил клерикалы и которым Австрия уже, конечно, воспользуется... даже до того, что, может быть явятся тогда две Германии, две объединенные Германские империи, католическая и протестантская. А засим, усилившись тогда немецким элементом, Австрия могла бы посягнуть и на свой «дуализм», поставить Венгрию в прежние, древние и почтительные к себе отношения, а затем, разумеется, распорядиться уж и с своими славянами, и этак как-нибудь уже навеки!.. Одним словом, выгоды могли бы быть неисчислимы! Даже и в том, наконец, случае, если Германия останется победительницей, может быть, не будет еще такой беды, так как не может же она победить такую сильную коалицию так **окончательно**, как в 1871 году, а, на-

против, наверно сама натрет себе бока. Стало быть, мир может быть заключен без особенно страшных последствий. «Итак, за кого же стать? Где лучше, с кем выгоднее?»

В виду настоящаго хода дел в Европе такие радикальные вопросы про себя — в Австрии несомненны...

V

Кто стучится в дверь? Кто войдет? Неизбежная судьба

Когда я начинал эту главу, еще не было тех фактов и сообщений, которые теперь вдруг наполнили всю европейскую прессу, так что все, что я написал в этой главе еще гадательно, подтвердилось теперь почти точнейшим образом. «Дневник» мой явится в свет еще в будущем месяце, 7 октября, а теперь всего 29 сентября, и мои, так сказать, «прорицания», на которые я решился в этой главе, как бы рискуя, окажутся отчасти уже устарелыми и совершившимися фактами, с которых я скопировал мои «прорицания». Но осмелюсь напомнить читателям «Дневника» мой летний май-июньский выпуск. Почти все, что я написал в нем о ближайшем будущем Европы, теперь уже подтвердилось или **начинает подтверждаться.** И, однако, я слышал тогда еще мнения о той статье: ее называли (правда, частные люди) «исступленным беснованием», фантастическим преувеличением. Над силою и значением клерикального заговора просто смеялись, да и заговора совсем не признавали. Я, впрочем, еще недели две всего тому назад слышал мнение от «компетентнаго» лица, что факт смерти и избрания нового папы совершенно ничтожен и пройдет в Европе бесследно. Но даже теперь уже известно, какую важность придает ему Бисмарк и об чем было говорено в Берлине с Криспи. Я написал в май-июньском «Дневнике» моем, что гений князя Бисмарка постиг, еще с самой франко-прусской войны, что самый страшный враг но-

вообъединенной Германии есть римский католицизм, который прежде всего послужит предлогом к великой войне «возмездия», которая и охватит всю Европу. Это нашли нелепым, и проч., и проч. И это все потому, что я написал об этом тогда, когда еще никто, ни у нас, ни в европейской прессе и не думал об этих вещах заботиться, несмотря на Восточную войну, уже гремевшую в мире и заботившую всех. Всем тогда представлялось, что так одним Востоком и кончится. Впрочем, и теперь, может быть, еще никто не верит в **неминуемость** европейской войны в ближайшем будущем. Напротив, недавно еще серьезно обращали внимание на мнение компетентных англичан (речь Нордскота), что можно еще до зимы замирить. Так что, пожалуй, я напрасно считаю мою настоящую главу заранее устарелою: хотя факты уже обозначились, хотя огромное их значение уже выходит наружу, хотя над всей Европой уже несомненно носится что-то роковое, страшное и, главное, близкое, но несмотря на эти обозначившиеся факты, я уверен, очень многие найдут и теперь мои объяснения этих фактов опять-таки ложными и смешными, фантастическими и преувеличенными, потому что все принимают происходящее теперь за несравненно меньшее и мельчайшее, чем оно есть в самом деле. Тут, как раз, например, подойдут во Франции выборы, и Франция вдруг пришлет в палату прежнее республиканское большинство, что очень может случиться, и вот, я почти в том уверен, все закричат, что все кончилось благополучно, что небо расчистилось, столкновений никаких, что Мак-Магон повинился, **бессильные** клерикалы позорно стушевались и в Европе опять мир и «законность». Все **измышления** мои в этой главе покажутся опять лишь продуктом досужего воображения. Опять скажут, что я фактам, положим, и совершившимся, придал значение не точное, а, главное, такое, какого **нигде им не придают.** Но подождем опять событий и увидим тогда, где была более точная и верная дорога. А для памяти, попробую, в заключение, еще раз обозначить точки и вехи этой уже открывающейся перед всеми дороги и на которую,

волей неволей, а, кажется, предназначено всем вступить. Делаю это для памяти, чтоб потом можно было проверить. Впрочем, это только простая и заключительная перечень этой же главы.

1) Дорога начинается и идет из Рима, из Ватикана, где умирающий старик, глава толпы окружающих его иезуитов, наметил ее уж давно. Когда же загорелся Восточный вопрос, иезуиты поняли, что наступило самое удобное время. По намеченной дороге своей они ворвались во Францию, произвели в ней государственный переворот и поставили ее в такое положение, что близкая война ее с Германией почти неминуема, даже если б она и не желала начать ее. Все это задолго раньше того понимал и провидел князь Бисмарк. По крайней мере, кажется, только он один, и еще, может быть, за несколько лет до настоящей минуты разглядел и постиг своего важнейшего врага и всю ту огромную для всего мира важность той последней битвы за существование свое, которую несомненно задаст всему свету **умирающее навеки папское католичество** в самом ближайшем будущем.

2) Эта роковая борьба в настоящую минуту уже завершается, а последняя битва близится с страшною быстротою. Франция была выбрана и предназначена для страшного боя, и бой будет. Бой неминуем, это верно. Впрочем, еще есть малый шанс, что будет отложен, но лишь на самое короткое время. Но во всяком случае, **неминуем и близок.**

3) Только что бой начнется, как тотчас же и обратится во всеевропейский. Восточный вопрос и восточный бой, силою судеб, сольется тоже с всеевропейским боем. Одним из замечательнейших эпизодов этого боя будет окончательное решение Австрии, которой стороне отдать ей свой меч? Но самая существенная и важная часть этой последней и роковой борьбы будет состоять, с одной стороны, в том, что ею разрешится тысячелетний вопрос римского католичества и что, волею Провидения, на его место станет возрожденное Восточное христианство. Таким образом, наш русский Восточный вопрос раздвинется в

мировой и вселенский, с чрезвычайным предназначенным значением. хотя бы и совершилось это предназначение и перед слепыми глазами, не признающими его, до последней минуты способными не видеть явного и не разуметь смысла предназначенного. Наконец —

4) (И пусть это назовут самым гадательным и фантастическим из всех предреканий моих, согласен заранее): Я уверен, что бой окончится в пользу Востока, в пользу Восточного союза, что России бояться нечего, если Восточная война сольется с всеевропейскою. и что даже и лучше будет, если так расширится дело. О, бесспорно, страшное будет дело, если прольется столько драгоценной человеческой крови! Но утешение в том, по крайней мере, соображении, что эта пролиянная кровь несомненно спасет Европу от вдесятеро большего излияния крови, если б дело отдалилось и еще раз затянулось. Тем более, что великая борьба эта несомненно окончится быстро. Но зато разрешится окончательно столько вопросов (римско-католический вместе с судьбою Франции, германский, всоточный, магометанский), столько уладится дел совершенно неразрешимых в прежнем ходе событий, до того изменится лик Европы, столько начнется нового и прогрессивного в отношениях людей, что, может быть, нечего страдать духом и слишком пугаться этого последнего судорожного движения старой Европы накануне несомненного и великого обновления ее...

Наконец, прибавлю еще соображение: если взять за правило. что обо всех мировых событиях, даже самой огромной важности на самый поверхностный взгляд, надо непременно судить по принципу: «нынче как вчера, а завтра как сегодня», то не явно ли будет, что правило это решительно ляжет в разрез с историей наций и человечества. Между тем, это именно предписывается так называемым реальным и трезвым здравомыслием, так что осмеивается и освистывается чуть не всякий, который осмелился бы помыслить, что завтра дело явится для всех глаз, может быть, совсем в иной форме, чем в какой тянулось все накануне. Даже теперь, например, когда уже пришли факты. не кажется

ли даже очень многим, что клерикальное движение есть самая мелкая мелочь, что Гамбетта скажет речь, и все восстановится по-вчерашнему, что война наша с Турцией, очень и очень может быть, кончится к зиме, и тогда опять попрежнему начнется биржевая игра, железнодорожное дело, возвысится рубль, покатим за границу и проч., и проч., Немыслимость продолжения старого порядка дел — была явною в Европе истиною, для передовых умов ее, накануне первой европейской революции, начавшейся в конце прошлого столетия с Франции. Между тем, кто в целом мире, даже накануне созвания Генеральных Штатов, мог бы предвидеть и предсказать ту форму, в которую воплотится это дело почти на другой же день, как началось оно... А уже когда воплотилось оно, кто мог, например, предсказать Наполеона I, в сущности бывшего как бы предназначенным завершителем первого исторического фазиса того же самого дела, которое началось в 1789 году? Мало того, во время Наполеона I, может быть, всякому в Европе казалось, что появление его есть решительная и совершенно внешняя случайность, нимало не связанная с тем самым мировым законом, по которому предназначено было измениться, с конца прошлого столетия, всему прежнему лику мира сего...

Да, и теперь кто-то стучится, кто-то, новый человек, с новым словом — хочет отворить дверь и войти... Но кто войдет — вот вопрос: совсем новый человек, или опять похожий на всех нас, старых человечков?

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Ложь ложью спасается

Однажды Дон-Кихот, столь известный рыцарь печального образа, самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей, скитаясь с своим вер-

ным оруженосцем Санхой в погоне за приключениями, вдруг был объят некотором недоумением, которое заставило его долго думать. Дело в том, что часто великие древние рыцари, начиная с Амадиса Галльского, истории которых уцелели в правдивейших книгах, именуемых рыцарскими романами (для приобретения коих Дон-Кихот не пожалел продать несколько лучших акров своего маленького поместья), — часто эти рыцари, во время полезных всему миру и славных странствований своих, встречали вдруг и неожиданно целые армии, во сто даже тысяч воинов, насылаемых на них злою силою, злыми волшебниками, им завидовавшими и мешавшими им всячески достигнуть великой цели их и соединиться, наконец, с их прекрасными дамами. Обыкновенно происходило так, что рыцарь, встречая такую чудовищную и злую армию, обнажал свой меч, призывал в духовную помощь себе имя своей дамы и затем врубался один в самую средину врагов, которых и уничтожал всех, до единого человека. Кажется бы, дело ясное, но Дон-Кихот вдруг задумался, и над чем же: ему показалось вдруг невозможным, чтобы один рыцарь, какой бы он силы ни был и даже если бы махал своим победоносным мечом целые сутки без всякой усталости, мог зараз уложить сто тысяч врагов, и это в одном сражении. Чтобы убить каждого человека, — нужно все-таки время, чтобы убить сто тысяч людей, — нужно огромное время, и как ни махай мечом, а в несколько каких-нибудь часов, и зараз, одному этого не сделать. Между тем в этих правдивых книгах повествуется, что дело кончалось именно в одно сражение. Как же это могло происходить?

«— Я разрешил это недоумение, друг мой Санхо, — сказал, наконец, Дон-Кихот. — Так как все эти великаны, все эти злые волшебники, были нечистая сила, то и армия их носила такой же волшебный и нечистый характер. Я полагаю, что эти армии состояли не совсем из таких же людей, как мы, например. Люди были лишь наваждение, создание волшебства и, по всей вероятности, тела их не походили на наши, а были более похожи на тела, как, например, у слизня-

ков, червей, пауков. Таким образом, крепкий и острый меч рыцаря, в могучей его руке, упадая на эти тела, проходил по ним мгновенно, почти без всякого сопротивления, как по воздуху. А если так, то действительно он мог одним взмахом пройти по трем или по четырем телам, и даже по десяти, если те стояли в тесной куче. Понятно после того, что дело чрезвычайно ускорялось, и рыцарь действительно мог истреблять, в несколько часов, целые армии этих аропов и других чудищ»...

Здесь подмечена великим поэтом и сердцеведцем одна из глубочайших и таинственнейших сторон человеческого духа. О, эта книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице. Взять уже то, что этот Санхо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой средины, попал в друзья и сопутники к самому сумасшедшему человеку в мире; именно он, а никто другой! Все время он обманывает его, надувает как ребенка и в то же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован великостью сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого рыцаря и ни разу, во все время, не сомневается, что тот завоюет ему, наконец, остров! Как бы желалось, чтоб с этими великими произведениями всемирной литературы основательно знакомилось наше юношество. Чему учат теперь в классах литературы — не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно возвысило бы душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу средины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию. Эту самую **грустную** из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чи-

стота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум, — все это нередко (увы так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, не доставало одного только последнего дара — именно: **гения,** чтоб управить всем богатством этих даров и всем могуществом их, — управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества, — на свист и смех и на побиение камнями, единственно за то, что те в роковую минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их **новое слово,** это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил — может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле чистое и верующее сердце его...

Впрочем, я хотел только указать на ту любопытнейшую черту, которую, вместе с сотней других же глубоких наблюдений, подметил и указал Сервантес в сердце человеческом. Самый фантастический из людей, до помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее всю его веру. И любопытно, что могло поколебать: не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые об них рассказаны в «правдивейших книгах», нет, а самое, напротив, постороннее, второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастический человек вдруг **затосковал о реализме!** Не акт появления волшебных армий смущает его: о, это не

подвержено сомнению, и как же бы могли эти великие и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если б не посылались на них все эти испытания, если б не было завистливых великанов и злых волшебников? Идеал странствующего рыцаря столь велик, столь прекрасен и полезен и так очаровал сердце благородного Дон-Кихота, что отказаться верить в него совсем уже стало для него невозможностью, стало равносильно измене идеалу, долгу, любви к Дульцинее и к человечеству. (Когда он отказался, когда он излечился от своего помешательства и **поумнел,** возвратясь после второго своего похода, в котором он был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком, он тотчас же умер, тихо, с грустною улыбкою, утешая плачущего Санхо, любя весь мир всею великою силой любви, заключенной в святом сердце его, и понимая, однако, что ему уже нечего более в этом мире делать). Нет, но смутило его лишь то, самое верное, однако, и математическое соображение, что как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию во сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека. Между тем, в правдивых книгах это написано. Стало быть, написана ложь. А если уж раз ложь, то и все ложь. Как же спасти **истину?** И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч наважденных людей с телами слизняков, но зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим. **Реализм,** стало быть, удовлетворен, **правда спасена,** и верить в первую, в главную мечту, можно уже без сомнений, — и все, опять-таки, единственно благодаря второй уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения **реализма** первой.

Спросите самих себя: не случалось ли с вами сто раз, может быть, такого же обстоятельства в жизни? Вот вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь

факт, поразивший вас, женщину, наконец, околдовавшую вас. Вы устремляетесь за предметом любви вашей всеми силами вашей души. Правда, как ни ослеплены вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь, **наваждение,** что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем вашей страстностью, вашим первоначальным порывом — единственно, чтоб сделать из него вашего идола и поклониться ему — то уж, разумеется, вы втайне это чувствуете про себя, сомнение тяготит вас, дразнит ум, ходит по душе вашей и мешает жить вам покойно с излюбленной вашей мечтой. И что ж, не помните ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чем вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может быть, грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому только, что она разрешала первое сомнение ваше?

II

Слизняки принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают о нас правду, или когда говорят о нас вздор?

В наше время чуть не вся Европа влюбилась в турок, более или менее. Прежде, например, ну хоть год назад, хоть и старались в Европе отыскать в турках какие-то национальные великие силы, но в то же время почти все про себя понимали, что делают они это единственно из ненависти к России. Не могли же они в самом деле не понимать, что в Турции нет и не может быть сил правильного и здорового национального организма, мало того, — что и организма-то, может быть, уже не осталось никакого, — до того он расшатан, заражен и сгнил; что турки азиатская орда, а не правильное государство. Но теперь, с тех пор как Турция в войне с Россиею, мало-по-малу укрепилось и установилось, в иных местах в Европе, даже уже действительное и серьезное убеждение, что нация эта

не только организм, но и имеющий большую силу, которая, в свою очередь, обладает свойством развития и дальнейшего прогресса. Эта мечта пленяет многие европейские умы все более и более, а, наконец, даже и к нам перешла: и у нас в России заговорили иные о каких-то неожиданных национальных силах, которые вдруг проявила Турция. Но в Европе укрепилась эта мечта опять-таки из ненависти к России, у нас же — из малодушия и страшной поспешности пессимистских заключений, которые всегда были свойством интеллигентных классов нашего общества, чуть только лишь начинались где-нибудь и в чем-нибудь наши «неудачи»! В Европе случилось то же самое, что произошло в поврежденном уме Дон-Кихота, но лишь в форме обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тот, чтоб спасти **истину,** выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту, столь их утешающую, о ничтожности и бессилии России, — сделали из настоящего уже слизняка организм человеческий, одарив его плотью и кровью, духовною силою и здоровьем. О России же самые образованные европейские государства со страстью распространяют теперь совершенные нелепости. В Европе и прежде нас мало знали, даже до того, что всегда надо было удивляться, что столь просвещенные народы так мало интересуются изучить тот народ, который они же так ненавидят и которого постоянно боятся. Эта скудость европейских о нас познаний и даже некоторая невозможность Европы понять нас во многих пунктах, все это в некотором отношении было для нас до сих пор отчасти и выгодно. А потому вреда не будет и теперь. Пусть они кричат у себя о «позорной слабости России, как военной державы», вопреки свидетельству десятков их же корреспондентов с самого поля войны, удивлявшихся боевой способности, рыцарской стойкости и высочайшей дисциплине русского солдата и офицера; пусть самые возможные, хотя бы и значительные, ошибки русского штаба в начале войны, они считают не только непоправимыми, но и органическими всегдашними недостатками нашего войска и нации (забыв,

как часто мы их бивали в битвах за все последние два столетия). Пусть, наконец, **самые серьезнейшие** из их политических изданий сообщают Европе за точную истину об огромном бунте народа, предводимого нигилистами, на Выборгской стороне в Петербурге, и о вытребованных русским начальством двух полках по железной дороге из Динабурга, для спасения Петербурга, — пусть это все говорят они в слепой своей злобе. Повторяю, нам это даже выгодно, так как сами они не ведают, что творят. Ведь уж, конечно, им бы хотелось возбудить у себя повсеместно к нам ненависть, «как к опасным противникам их цивилизации», — и вот они же представляют нас в упадшем виде, в смешном до позора слабосилии как военной державы и как государственного организма. Но ведь кто так слаб и ничтожен, тот может ли возбуждать опасения и против себя коалиции? А им именно нужно настроить против нас свое общество. Стало быть, во вред же себе говорят, а коли так, то приносят нам не вред, а пользу. Мы же подождем конца.

Но вообразим только, что к ним дошло бы самое полное, точное и истинное сведение о всей силе духа, чувства и непоколебимой веры народа русского в справедливость великого дела, за которое обнажил меч Государь его, и в несомненное торжество этого дела, рано или поздно? Вообразить, что в Европе поняли, наконец, что война эта для России есть национальная война в высшей степени, и что народ наш вовсе не мертвая и бездушная масса, как они всегда представляют его себе, а могущественный и сознающий свое могущество организм, сплоченный весь как один человек и нераздельный сердцем и волею с своею армиею, — о, какой бы страх и какое повсеместное волнение возбудило бы у них это сведение! И уж, конечно, это скорее способствовало бы к действительной и явной уже коалиции против нас Европы, чем столь любезные им клеветы на наше слабосилие и падение. Нет, уж пусть они лучше верят бунту на Выборгской. Нас же только ободрит, что они тому верят.

Но в Европе все это понятно, и понятно, от чего

это происходит. Но как у нас-то могут колебаться, волноваться и даже верить в какие-то новые, вдруг открывшиеся, жизненные силы турецкой нации? Чем проявила она эту силу? Фанатизмом? Но фанатизм мертвечина, а не сила, у нас сто раз проповедовали это самые же эти люди, которые верят теперь в турецкие силы. Говорят про турецкие победы. Но турки отразили, раз и другой, лишь наши атаки, а это победы, так сказать, отрицательные, а не положительные. Мы, сидя в Севастополе, отразили раз приступ французов и англичан с страшною для них потерею людей, но Европа, однако же, не кричала тогда об нашей победе. Мы целые два последние месяца были гораздо слабее силами чем турки, и что ж они не воспользовались этим, что ж не вытеснили нас за Балканы, не прогнали за Дунай? Напротив, мы везде удержали наши главные позиции и везде отразили турок. Бывало, что семь или восемь наших баталионов разбивали ихних двадцать, как недавно случилось под Церковной. Убежденные в силе турок указывают, однако, на их ружья, которые лучше наших, и даже на их артиллерию, которая будто бы лучше нашей. Но они не хотят припомнить, что мы в сущности воюем не с одними турками, а и с европейскими державами, что множество англичан служат офицерами в турецком войске, что вооружены турки на европейские деньги, что европейская дипломатия во многом стала поперек нашей дороги с самого начала войны, лишив нас помощи естественных союзников наших, лишив нас даже настоящих дорог наших в Турцию. Кроме того Европа, ненавистью к нам, несомненно ободрила и фанатизм турок. В Европе открылся, наконец, заговор целых шаек, уже организованных, с оружием, с деньгами, чтоб броситься внезапно в тыл нашей армии. В довершение там состряпали недавно и заем для турок, в огромный ущерб своему карману, и невозможный заем этот состоялся единственно потому, что в Европе так полюбили мечту о том, что Турция не государство слизняков, а действительно с такою же плотью и кровью, как и европейские государственные организмы.

И это когда же, когда кровь целых провинций Турции лилась рекою, когда открыт даже правильный заговор между самими правителями Турции с целью истребить болгар всех до единого? Турки воюют с нами, кормя и поддерживая свое войско такими реквизициями припасов, лошадей и скота с болгар, которые не могут не разорить до тла эту богатейшую провинцию Турции. И этим-то разорителям и умертвителям собственной страны просвещенные англичане дали взаймы денег, поверили их экономической состоятельности! Но пусть, пусть все это там, там все-таки это понятно. Но у нас-то как же признают турок силой? Разорение до тла собственной земли и истребление в корень всего христианского населения страны — разве это сила? Да силы такой и до конца войны им не хватит. Первый оборот дела в нашу пользу — и все это фантастическое здание их военной и национальной силы рухнет мгновенно и зараз, и рассеется как истинный призрак, вместе даже с их фанатизмом, который вылетит как из отворенного клапана пар.

Некоторые умные люди проклинают теперь у нас славянский вопрос, и на словах и печатно: «Дались, дескать, нам эти славяне и все эти фантазии об объединении славян! И кто нам навалил этих славян на шею, и для чего: на вечную распрю с Европой, на вечную ее подозрительность к нам, ненависть, и теперь и в будущем! Да будут же прокляты славянофилы!» и т. д., и т. д. Но эти восклицающие умные люди, кажется, имеют совершенно ложные сведения и о славянах и о Восточном вопросе, а многие так совсем даже и не интересовались им до самой последней минуты. А потому спорить с ними нельзя. И ведь действительно им неизвестно, что Восточный вопрос (то есть и славянский вместе) вовсе не славянофилами выдуман, да и никем не выдуман, а сам родился и уже очень давно — родился раньше славянофилов, раньше нас, раньше вас, раньше даже Петра Великого и Русской империи. Родился он при первом сплочении великорусского племени в единое русское государство,

то есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть исконная идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени и, оставляя Москву, перенес с собою в Петербург. Петр в высшей степени понимал ее органическую связь с русским государством и с русской душой. Вот почему идея не только не умерла в Петербурге, но прямо признана была как бы **русским назначением** всеми преемниками Петра. Вот почему ее нельзя оставить и нельзя ей изменить. Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения задачу о судьбах Восточного христианства (NB. сущность Восточного вопроса) — значит, все равно что сломать и вдребезги разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь новое, но только уже совсем не Россию. Это было бы даже и не революцией, а просто уничтожением, а потому и немыслимо даже, потому что нельзя же уничтожить такое целое и вновь переродить его совсем в другой организм. Идею эту не видят и не признают теперь разве уж самые слепые из русских европейцев, да вместе с ними, и к стыду их, биржевики. Биржевиками я называю здесь условно всех вообще теперешних русских, которым, кроме своего кармана, нет никакой в России заботы, а потому взирающих и на Россию единственно с точки зрения интересов своего кармана. Они кричат теперь хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о падении рубля. Но если б эти биржевики наши были настолько дальновидны чтоб понимать кое-что вне своей сферы, то они бы и сами догадались, что если б Россия не начала теперешнюю войну, то было бы им же хуже. Чтоб были «дела», даже биржевые, надо чтоб нация жила в самом деле, то есть настоящею живою жизнию и исполняя свое естественное назначение, а не была бы гальванизированным трупом, в руках жидов и биржевиков. — Если б мы не начали теперешней войны после всех цинических и обидных нам вызовов врагов наших, и если б мы не помогли истязуемым мученикам, то сами же себя стали бы презирать. А самопрезрение, нравственное падение, и за ним цинизм, — мешают даже «делам». Нации живут великим

чувством и великою всех единящею и все освещающею мыслью, соединением с народом, наконец, когда народ невольно признает верхних людей с ним заодно, из чего рождается национальная сила — вот чем живут нации, а не одной лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене рубля. Чем богаче духовно нация, тем она и материально богаче... А впрочем, что ж я — какие старые слова говорю!

III

Легкий намек на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины

Есть теперь странные недоумения и странные заботы. Положительно есть русские люди, **боящиеся** даже русских успехов и русских побед. Не потому боятся они, что желают зла русским, напротив — они скорбят об всякой русской неудаче сердечно, они хорошие русские, но они боятся и удач, и побед русских, — «потому-де, что явится после победоносной войны: самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой». Но вся ошибка этих добрых людей в том, что они всегда видели русский прогресс единственно в самооплевании. Да самонадеянность-то нам, может быть, и все нужнее теперь! Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание. Не беспокойтесь: застоя не будет. Война осветит столько нового и заставит столько изменить старого, что вы бы никогда не добились того самооплеванием и поддразниваньем, которые обратились в последнее время лишь в простую забаву. Зато обнаружится и многое такое, что прежде считалось даже умниками-обличителями нашими лишь мелочью, смешными пустяками и даже последним делом, но что, однако же, составляет главнейшую нашу сущность дела во всем. Да и не нам, не нам предаваться шовинизму и самоупоению! Где и когда это случалось в русском обществе! Утверждающие это просто не знают русской

истории. Об нашем самоупоении много говорили после Севастополя: самоуверенность-де нас тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество не было у нас менее самоуверенно и даже более в разложении, как в эпоху пред Севастополем.

Кстати замечу: из писавших о нашем самоупоении и дразнивших нас им после Севастополя было несколько новых молодых писателей, обративших тогда на себя большое внимание общества и возбудивших в нем горячее сочувствие к их обличениям. И, однако, к этим истинно-желавшим добра обличителям присоединилось тогда тотчас же столько нахального и грязного народу, явилось столько свистопляски, столько людей, совсем не понимавших в чем сущность дела, а, между тем, воображавших себя спасителями России, мало того — явилось в их числе столько даже откровенных врагов России, что они, под конец, сами повредили тому делу, к которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имели успех, единственно потому, что чистые сердцем русские люди, действительно жаждавшие тогда повсеместно обновления и нового слова — не разобрали в них негодяев, людей бездарных и без убеждений, и даже продажных. Напротив, думали, что они-то и за Россию, за ее интересы, за обновление, за народ и общество. Кончилось тем, что огромное большинство русских людей, наконец, разочаровалось и отвернулось от них, — а за тем уж пришли биржевики и железнодорожники... Теперь этой ошибки, кажется, не повторится, потому что несомненно явятся новые люди, уже с новою мыслью и с новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за старым. Не побоятся и умников: они будут скромны, но будут уже многое знать, по опыту и уже на деле, из того, что и не снилось мудрецам нашим. По опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ. Это-то познание они уж наверно принесут с собой, и в нем-то и будет состоять их главная точка опоры. Они не станут сваливать всех наших бед и всех **неумений** наших

единственно лишь на свойства русского человека и русской натуры, что обратилось уже в казенный прием у наших умников, потому что это и покойно и ума не требует. Они первые засвидетельствуют собою, что русский дух и русский человек, в этих ста тысячах взваленных на них обвинений, не виноваты нисколько, что там, где только есть возможность прямого доступа русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не хуже другого. О, эти новые люди поймут, наконец, несмотря на всю свою скромность, как часто наши умники, даже и чистейшие сердцем и желающие истинной пользы, — садились между двух стульев, желая отыскать корень зла. К этим-то новым людям, которые несомненно явятся после войны, примкнет много живых сил из народа и русской молодежи. Они и до войны уже объявлялись, но мы все еще их не могли тогда заметить, и когда мы все здесь ожидали увидеть лишь зрелище цинизма и растления, они там явили зрелище такого сознательного самоотвержения, такого искреннего чувства, такой полной веры в то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здесь лишь дивились: откуда взялось все это? Некоторые иностранные корреспонденты иностранных газет упрекали некоторых русских офицеров за то, что они самолюбивы, карьеристы, рвутся к отличиям, забывая главную цель: любовь к родине и к тому делу, которому взялись служить. Но если и есть у нас такие офицеры, то все же этим корреспондентам не дурно было бы узнать и о той молодежи, или об тех, незаметных даже по чину своему офицерах, скромных слугах отечества и правого дела, которые умирали вместе с своими солдатами доблестно, с полным самоотвержением, вовсе уже не для награды, не для красы и не для карьеры, а потому только, что были великие сердца, великие христиане и **незаметные** великие русские люди, которых так много, чуть не до последнего солдата, в нашем войске. Заметьте тоже, что, говоря о грядущем новом человеке, я вовсе не указываю лишь на одних наших воинов, в ожидании того, когда они воротятся. Явятся и бесчисленные другие — **все те, которые**

прежде так жаждали верить в русского человека, но не могли проявиться и идти против всеобщего, царившего наружу, отрицания и пессимизма. Но теперь, созерцая с какой **верой** в свои силы проявился русский человек **там,** они поневоле ободрятся и поверят, что есть настоящие русские силы и здесь; откуда тамошние-то взялись, как не отсюда же? А ободрившись, сплотятся и скромно, но твердо примутся уже за настоящее дело, не боясь ничьих громких и звонких слов. И все таких старых, старых слов! А умные старички наши все еще до сих пор уверены, что они-то и есть самые новые и **молодые** люди и что говорят самые новые слова!

Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины. После нынешней войны, в которую так высоко, так светло, так свято проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе, который несомненно ожидает ее между нами. Наконец-то, падут вековые предрассудки и «варварская» Россия покажет, какое место отведет она у себя «матушке» и «сестрице» русского солдата, самоотверженнице и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли женщине, столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать в полном равенстве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по должностям, тогда как на нее-то мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее, в духовном обновлении и в нравственном возвышении нашего общества! Это уже будет стыдно и неразумно, тем более, что не совсем от нас это и зависеть будет теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей место сама перешагнула те ступени, где доселе ей полагался предел. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. Впрочем, говоря так, я говорю про **русскую женщину,** а не про тех чувствительных дам, которые кормили турок конфектами. В доброте к туркам, конечно, нет худа, но все же ведь это не то, что совершили там **те женщины;** а потому **эти** всего только русские **старые** барыни, а **те — новые** русские женщины. Но и не про тех одних женщин

говорю я, которые там подвизаются в деле Божием и в служении человечеству; те своим появлением только доказали нам, что в Русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение, — потому что, опять-таки, откуда же те-то взялись, как не отсюдова же? Но о русской женщине и о несомненном ближайшем жребии ее в нашем обществе я хотел бы поговорить побольше и особо, а потому и возвращусь еще к этой теме в следующем октябрьском «Дневнике» моем.

ОКТЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

К читателю

По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать «Дневник» в точные определенные сроки, я решаюсь, на год или на два, прекратить мое издание. Делаю это с чрезвычайным сожалением, потому что и не ожидал, начиная прошлого года «Дневник», что буду встречен читателями с таким сочувствием. Сочувствие это продолжалось все время, до последнего дня. Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всех обращавшихся ко мне письмами: из писем этих я узнал много нового. И вообще издание «Дневника», в продолжение этих двух лет, многому меня самого научило, и во многом еще тверже укрепило. Но, к сожалению, я решительно принужден остановиться. С декабрьским выпуском издание окончится. Авось ни я, ни читатели не забудем друг друга до времени.

II

Старое всегдашнее военное правило

Об наших военных ошибках в нынешнюю кампанию говорили и писали и в Европе, и в России. Продолжают рассуждать и теперь. Верная и полная оценка

наших военных действий, конечно, принадлежит лишь будущему, то есть, по крайней мере, может состояться лишь по окончании войны; но некоторые факты выступают уже и теперь с достаточною полнотою, чтоб произнести о них более или менее точное суждение. Не о военных ошибках наших возьмусь судить я, малокомпетентный в этом деле человек (хотя малокомпетентные-то, кажется, всех более у нас теперь горячатся). Я лишь хочу указать на один современный факт (а не на ошибку), который доселе был военной наукой мало разъяснен, мало наблюдаем, не успел быть оценен в своей **современной** сущности, который можно было угадывать лишь в теории, но который практически никогда не был подтвержден, вплоть до нынешней войны. Этому роковому, до нынешней войны практически не подтвержденному в военном деле факту суждено было, как нарочно, проявиться в самой полной своей силе и в самой окончательной своей точности, неминуемо в нынешнюю кампанию, потому что этот чисто военный факт как раз подошел к национальному военному характеру турок или, лучше сказать: к главному отличительному свойству их военного характера. Мало того, можно даже так заключить, что факт этот и не разъяснился бы, пожалуй, без турок, по крайней мере, в Европе несмотря на недавние войны (и такие огромные войны как франко-прусская война), он еще не был разъяснен, не успел определиться. Теперь, после рокового опыта текущей войны, он, разумеется, войдет в военное искусство и будет оценен по своему значению. Но в текущую войну **роковое** для нас заключалось в том, что русская армия, так сказать, наткнулась на этот неразъясненный во всем практическом своем значении военный факт, и что предназначено было разъяснять его нам, русским, с огромным ущербом для нас, по крайней мере, до тех пор, пока смысл его не выяснился для нас вполне. Между тем, очень многие, и у нас, и в Европе, наклонны до сих пор считать этот огромный ущерб, который мы понесли от этого неразъясненного факта, — единственно лишь нашей военной ошибкой, тогда как тут было нечто ро-

ковое и неминуемое, а не ошибка, и будь на нашем месте, например, хоть германское войско, то и оно бы ссадило себе на этом факте бока... хотя, может быть, скорее оценило бы его и поспешнее приняло меры. Я хочу только сказать, что не все наши ошибки теперешней кампании — суть в самом деле ошибки и что важнейшая из этих ошибок постигла бы и любую европейскую армию на нашем месте. Повторяю, мы наткнулись на неразъясненный военный факт и до разъяснения его понесли ущерб, — а это нельзя считать безусловной ошибкой. Но что же это за факт?

Когда я в моей юности слушал курс высших военных и инженерных наук в Главном Инженерном Училище, тогда существовало у нас одно убеждение, считавшееся непреложным, одна инженерная аксиома. (Впрочем, поспешу оговориться в скобках: я так давно оставил инженерное и военное дело, что не претендую ни на малейшую в этом смесле компетентность. Я поступил в Главное Инженерное Училище и слушал в нем шестилетний курс в конце тридцатых и в начале сороковых годов; затем, кончив курс и оставив училище, прослужил инженером лишь год, вышел в отставку и занялся литературой. Тотлебен вышел тремя или четырьмя годами прежде меня. Кауфмана я помню в офицерских классах. С младшим Кауфманом я был в одно время еще в кондукторских. Радецкий, Петрушевский и Иолшин были всего лишь одним классом старше меня. Из моих же одноклассных товарищей удалились с прямого пути на путь шаткий и неопределенный всего только трое: я, писатель Григорович и живописец Трутовский. Одним словом, все это было очень давно). Эта инженерная аксиома состояла в том, что нет и не может быть крепости неприступной, то есть как бы ни была искусно укреплена и оборонена крепость, но в конце концов она должна быть взята, и что, стало быть, военное искусство атаки крепости всегда превышает средства и искусство ее обороны. Разумеется, все это лишь вообще и теоретически: отвлеченно рассматривается лишь существенное свойство обоих инженерных искусств, атаки и обороны крепостей. Разумеется тоже,

что нет правила без исключений; и у нас указывалось тогда на некоторые существующие крепости, которые будто бы были неприступны. Гибралтар, например, о котором, впрочем, мы знали лишь по слухам. Но в научном смысле все-таки никакой Гибралтар не мог и не должен был считаться неприступным, и аксиома, что искусство атаки крепости всегда превышает средства и искусство ее обороны - оставалось непоколебимо.

О, другое дело на практике. Иная крепость, например, может получить характер неприступной твердыни (не будучи таковою) потому только, что она, по тем или другим обстоятельствам, может слишком долго задержать перед собою главные силы неприятеля, истощить эти силы и таким образом сослужить службу, больше которой и нельзя требовать. Тотлебен, например, наверно знал, что Севастополь все-таки возьмут, наконец, и не могут не взять, как бы он ни защищал его. Но союзники уже наверно не знали и не предполагали, начиная осаду, что Севастополь потребует от них таких напряжений силы. Напротив, вероятно, полагали что Севастополь займет их месяца на два и войдет лишь как мимоходный эпизод в обширный план тех бесчисленных ударов, которые они готовились нанести России и кроме взятия Севастополя. И вот именно Севастополь-то и сослужил службу неприступной твердыни, хотя и был взят под конец. Долгой, неожиданной для них гениальной защитой Тотлебена, силы союзников, военные и финансовые, были истощены и потрясены до того, что по взятии Севастополя о дальнейших ударах нечего было и думать, и враги наши желали мира, по крайней мере, не менее нашего! А такие ли условия мира предложили бы они нам, если бы удалось им взять Севастополь через два месяца! Таким образом и **не надо** абсолютно неприступных крепостей; — при искусной защите и при доблестной стойкости защитников и далеко не неприступная крепость может сломить силы врагов. Тем не менее, как ни гениальна была защита Севастополя, но, повторю это, он, все-таки, рано ли, поздно ли должен был пасть, потому что, при известном равенстве сил обоих против-

ников, сила атаки всегда превышает силу обороны (то есть опять-таки в научном смысле говоря, а не в практическом, ибо от иных твердынь, действительно, уходили иногда атакующие, после даже долгой осады их и не по неприступности их, а рассчитывали лишь сделать другой удар, в другом месте и с меньшим ущербом сил, если только такой исход мог представиться).

III

То же правило, только в новом виде

И вот этот военный факт, эта, так сказать, военная аксиома, в нынешнюю нашу войну с турками вдруг как бы поколебались и чем же, — не «долговременным» фортификационным укреплением, не неприступною твердынею грозной крепости, а летучим, полевым, много что «временным» фортификационным укреплением. Прежде полевые укрепления и в счет не шли, это была лишь полевая фортификация. Полевая фортификация лишь укрепляла местность боя, но неприступною никогда ее не могла сделать. У нас под Бородиным были воздвигнуты редуты и оказали свою пользу, то есть укрепили местность, но все-таки были взяты и хоть с ущербом для неприятеля, но все-таки в тот же день были взяты, в день битвы.

И вот под Плевной произошло что-то совсем уже новое. Ряд простых полевых, много что **временных** (не очень тоже важная вещь в прежнее время) укреплений придает местности значение неприступной твердыни, которую прежними средствами и взять нельзя, которая уже потребовала от нас двойных, тройных усилий, чем предполагалось вначале, и которая до сих пор еще не взята. Будь весь этот грозный ряд укреплений с прежними средствами защиты — устоял ли бы он против энергического, блистательного, беспримерного натиска русских? Конечно, нет: сослужил бы свое дело, затруднил бы атаку, но 50.000 русских, конечно, при таком беззаветном натиске, как 30 августа, овладели бы редутами и разбили бы пятидесятитысячную армию

Османа-паши, то есть дело завершилось бы при равном числе войск и не потребовалось бы никаких подкреплений. Теперь же, после двух неудавшихся штурмов, оказалось необходимым увеличить нашу армию вдвое, и это по крайней мере, и это только первый шаг к достижению цели.

В чем же дело? Уже, конечно, в теперешнем ружье. Турок, закрывшись наскоро набросанною насыпью, может выпустить в атакующих такую массу пуль, что не невероятно, если и вся штурмующая колонна, не дойдя еще и до гласиса, будет истреблена, до последнего человека. О, конечно, можно взять всю Плевну, совершенно прежними средствами, то есть прежней фронтальной атакой без фортификационных работ, вот точно так же, как были взяты редуты под Бородиным. **И наши русские это бы сделали!** Может быть, ни одна армия в Европе не решилась бы сделать это, а они бы сделали. Только вот беда: оказалось из опыта, что для этого наверно надо положить русских десятками тысяч, так что, овладев редутами фронтальной атакой, мы, при равном в начале числе войск с Османом, оказались бы, под самый конец, столь обессиленными численно, что уже не могли бы сдержать Османа, который бы потерял в десять раз меньше нашего за своими насыпями. Итак, после двух страшных неудавшихся приступов выяснилась, наконец, необходимость: во-первых, увеличить вдвое нашу силу, затем, с помощью Тотлебена, приступить к инженерным работам, к чему-то даже похожему на атаку сильнейших, долговременных крепостей, затем к обложению Плевны, к занятию дорог, к пресечению сообщений, подвозов к неприятелю. Одним словом, ряд весьма обыкновенных полевых временных укреплений сослужил врагу нашему роль первоклассной крепости. И хоть возьмут Плевну (что наверно), то есть вернее сказать, хоть и возьмут Османа, когда он пойдет напролом, чтобы выйти из собственной западни и не умереть в ней с голоду (а бросившись напролом **откроется,** и из защищавшего **перейдет сам в роль атакующего,** в этом-то и все для нас дело), чем разом потеряет все выгоды смертоносного

и непреоборимого огня за закрытыми укреплениями, — тем не менее, в результате все-таки выйдет то, что Плевна уже сослужила свое дело врагу нашему, остановила первоначальное победоносное шествие русских, принудила на двойные, тройные усилия и растраты (к чему даже и в Европе уже считали Россию неспособной) и кто знает, может быть, и без такого страшного для себя результата в конце. Осман все же ведь надеется хоть половину-то своей армии урвать у русских и убежать вместе с нею, а там опять где-нибудь окопаться и опять воздвигнуть новую Плевну (если только ему дадут все это устроить; но ведь всякому позволительно надеяться, а Осман человек энергичный и гордый).

Даже так можно сказать: если у обороняющегося есть шанцевый инструмент и хоть десятка два тысяч солдат, с теперешним ружьем, то ряд этих простых прежних полевых укреплений, которых можно в одну ночь разбросать по избранной местности сколько угодно — назавтра усилит эти теперешние два десятка тысяч войска до силы пятидесяти или шестидесяти-тысячной армии, с которою, если обстоятельства не благоприятствуют притом маневрированию, вы уже и не знаете что делать. Таким образом — этот ряд легких укреплений оказывается иной раз даже лучше для защищающегося, чем самая грозная и неприступная крепость, потому что эту крепость обороняющийся, отступая, как бы переносит с собою в другое любое место, был бы шанцевый инструмент. Вы у него возьмете ее, наконец, положив при штурме тысячи солдат, а назавтра вас встречает такая же крепость на вашем пути, если только успеет уйти от вас враг. Не одна Плевна теперь в Турции, а всякая турецкая армия, всякий даже отряд окапывается и выставляет на утро русскому из-за окопов свои смертоносные ружья: «Подходи-ка, дескать, в двойных силах да теряй войска вдесятеро, чем ты рассчитывал в начале войны». Атакующему остается, чтобы поровняться силами с атакованным, стать напротив него и тоже окопаться. Но этого нельзя, он атакующий, он пришел, чтобы ата-

ковать и итти вперед. Он не может сидеть за укреплениями, он пришел штурмовать укрепления... Знающие люди поймут, что я говорю лишь теоретически, говорю об атаке и обороне вообще, отбрасывая все другие случайности войны, изменяющие поминутно ход дела, колеблющие его в ту или другую сторону. Я хочу только выразить формулу, что **при нынешнем ружье,** с помощию полевых укреплений, всякий обороняющийся, **в какой бы то ни было стране Европы,** получил вдруг страшный перевес сил перед атакующим. Сила обороны **пересиливает** теперь силу атаки и обороняющемуся несомненно выгоднее воевать чем атакующему. Вот тот факт, до сих пор в военном деле неразъясненный, в достаточной полноте, и даже совсем **неожиданный,** на который нам, русским, суждено было наткнуться и его разъяснить к огромному нашему ущербу. И это вовсе не наша **ошибка,** а лишь новый военный факт, вдруг вышедший наружу и вдруг разъяснившийся...

IV

Самые огромные военные ошибки иногда могут быть совсем не ошибками

Ну вот, скажут мне, какой вы тут новый факт открыли? Разве не знали мы до начала кампании, что такое новое ружье и его смертоносная сила? Да и не новое оно, а давно уже старое, так что мы не только могли, но и должны были еще в Петербурге рассчитать и приготовиться к его страшному действию, особенно за закрытым укреплением. То-то и есть, что **на деле** не так выходит, как кажется в теории, и что мы, действительно, **не могли** рассчитать и приготовиться. Легко это кажется лишь тем штатским людям, которые, сидя в своих кабинетах, критикуют теперь наши военные действия. Я ведь не отрицаю ошибок, заметьте себе, я ведь признаю, что они есть и быть должны, я только этот один **факт** не хочу считать безусловно нашей ошибкой и объявляю, что до нынешней войны

он был фактом неразъясненным и даже неизвестным **во всей своей подавляющей силе.** О, без сомнения, можно было рассчитать и заранее знать, что при нынешнем ружье обороняющийся, закрывшись самым легким укреплением, может принесть вреда атакующему даже **вдвое** более, чем прежде; узнать и рассчитать — это дело легкое и даже никакой военной науки не требует. Но вот что было уже несравненно труднее рассчитать и предузнать — именно: что при нынешнем ружье обороняющийся, закрывшись укреплением, нанесет вреда не **вдвое** против прежнего, а, по крайней мере **впятеро,** а при такой энергической обороне, которую мы встретили у турок (и на которую нам слишком извинительно было не рассчитывать), так и **вдесятеро.** Факт-то был, положим, известен, но сила его, размеры его были неизвестны. Неизвестно было, что нынешнее ружье хоть и усилило нападающего, но защищающегося усилило **несравненно больше.** Эта **чрезмерность-то** усиления не была нам известна, и вот **чрезмерность-то** эта и составляет новый, неожиданный факт, на который мы наткнулись.

Не была известна и не могла быть известна, потому что нигде, до теперешней войны с турками, она не открывалась в такой полноте. Поверьте, что будь на нашем месте германская армия, то и она бы **наткнулась** на этот факт и натерла бы себе бока порядочно. Повторяю, может быть, ранее нашего оценила бы и усвоила все значение факта, и меры бы приняла. Но тут уж свойства народного духа: немец осторожнее и осмотрительнее, в иных случаях, русского, но русский солдат обладает зато такой самоотверженной дисциплиной, таким полным самопожертвованием, такой силой энергии, стойкости и напора, что, право, трудно решить: что еще лучше-то в военном деле, то или другое? Естественно, что наши компетентные люди, зная русского солдата, могли не очень задумываться вначале, прежде опыта над силой нового ружья, даже за укрплениями, и хотя бы оно **не только вдвое, но и втрое** было страшнее прежнего ружья — могли не столь бояться его. А оказалось, что новое ружье за укре-

нлениями **впятеро** и даже **вдесятеро** сильнее прежнего ружья, но в этом можно убедиться **единственно лишь** из практики... А практики в этом случае до сих пор еще в европейских войнах не было. Да с появлением нового ружья еще много фактов не разъяснилось и даже самых, казалось бы, простейших. Мы, например, только и ожили теперь, когда прибыли к нашему войску Берданки, а пустили войско вначале с другим ружьем, медленным и недальнобойным. Это уже была бесспорная ошибка. Но тот факт, на который я указываю, не был ошибкой: предвидеть его нельзя было во всей полноте, рассчитать тоже нельзя было в точности прежде практики.

Франко-прусская война, между двумя народами столь высокими по образованию, столь равными по силе открытий, изобретений, столь равными по вооружению (у французов было еще лучше ружье, чем у немцев, и немцы принуждены были его принять, не откладывая дела, в самый момент войны) — эта франко-прусская война, привнесшая столь много нового в военное искусство и почти произведшая в нем переворот, не разъяснила, однако же, **нашего** факта **нимало.** А могла бы разъяснить. Но случились особые обстоятельства, тому помешавшие, и победитель Франции до сих пор, до самой турецкой войны, оставался в неведении, что побежденный им француз имел колоссальное средство в своих руках, чтоб остановить напор немцев в 1871 году, но не прибегнул к этому средству лишь по особым обстоятельствам, сделавшим то, что средство это и не могло тогда войти французу в голову. Немец победил вовсе не французов, а лишь французские тогдашние порядки, сначала наполеоновского режима, а потом республиканского хаоса. В начале войны французская армия, национальный характер которой — фронтальная атака грудью, была страшно изумлена и подавлена нравственно тем, что вместо перехода через Рейн и вторжения в Германию она принуждена защищать свою территорию у себя дома. Произошло несколько сражений, в которых победили немцы. Но мысль о том, что с их великолепным Шаспо можно бы

сразу выдвинуть, чтоб остановить страшный натиск врага, несколько страшнейших Плевн — не приходила французу вовсе в голову. Он все рвался грудью вперед, и до самого Седана не хотел верить, что он побежден. Последовал Седан, а затем регулярные армии, в большинстве своем, по соображениям вовсе не военным, были устранены от дела. Осталась защита Парижа с сумасшедшим Трошю. Гамбетта вылетел из Парижа на воздушном шаре, descendit du Ciel (сошел с неба) в одном департаменте (как пишет об нем один историк), объявил диктатуру и начал набирать новые армии. Эти новые армии мало похожи были на настоящее войско и составлены из всякого сброду не по вине, однако, Гамбетты. Сами они писали тогда же, что большинство их солдат не умело даже зарядить ружья и прицелиться, да и не заботилось о том, не хотело воевать, а хотело покоя. Пошла зима, стужа, голод. Где им было догадаться, что можно вдруг стать втрое, вчетверо сильнее врага, с ружьем Шаспо и с шанцевым инструментом? Да и был ли у них шанцевый инструмент? Помешала тоже осада Парижа, имевшая смысл скорее решающе-политический, чем военный. Одним словом, французы **новым** страшным военным фактом не воспользовались, да и сами не узнали его силы. С теперешней нашей турецкой войной факт выяснился **во всей полноте,** и уж, конечно, политические и военные люди Германии с беспокойством намотали его себе на ус. В самом деле, если факт этот войдет в науку, в тактику всех армий, то, может быть, и французы им воспользуются, когда Германия опять на них бросится. И если французы, отбросив свои военные предрассудки (что очень трудно делается), — вполне усвоют убеждение, выведенное из турецкой нашей войны: что защита, с новым ружьем и шанцевым инструментом, несравненно сильнее теперь атаки и требует от атакующего удвоенных сил, то выйдет следующее соображение: у французов войска миллион, но есть общее военное правило, что атакованному несравненно легче совокупить все свои силы, если он воюет у себя дома, даже если б государство было и при та-

ких невыгодных военных границах как Россия, но что атакующий, если б имел (чего никогда не бывает) даже хоть два миллиона войска, то никак он не может войти в атакованную землю более чем с шестью или с семью стами тысячами войска. Вообразите же теперь, что этот весь миллион защищающихся прибегнет при том к шанцевому инструменту с такою же энергией и широкостью приема, как теперь турки, вообразите при том талантливого полководца и превосходных инженеров, — тогда ведь Германии пришлось бы послать во Францию даже не миллион, а **minimum** полтора! Об этом наверно кто-нибудь теперь в Германии думает.

V

Мы лишь наткнулись на факт, а ошибки не было. Две армии — две противоположности. Настоящее положение дел

Именно туркам суждено было открыть новый факт во всей полноте! Другие народы, другие армии долго бы не открыли его **практически** в **такой** полноте. Турки слишком давно уже не нападают на Европу сами и привыкли именно к защите. Это и есть главная национальная черта турецкой армии. За укреплениями турок вынослив, энергичен, в нынешнюю же войну Европа как нарочно ободрила его, помогла ему оружием, инженерами, в огромном размере деньгами и, наконец, подстреканиями и натравливанием на нас возбудила в нем фанатизм. Было кому надоумить его, если б даже он и не знал факта, но факт как раз сошелся с его национальным духом. Сразу понял он, что такое шанцевый инструмент при скорострельном ружье и какой чрезмерный перевес силы приобретает теперь защита, с помощью его, над атакой. И как нарочно суждено было нарваться на это русским, — то есть той именно армии, которая, по старинной вековой привычке, усвоила себе атаку рьяным напором, грудью, всем вместе, товариществом, обращаясь из тысячи вдруг как бы в одно существо... Вот из двух-то этих обратных друг

другу противоположностей и выяснилась новая аксиома во всей полноте. Повторю еще раз: еще можно было предвидеть и рассчитать, что сила нового ружья за закрытым шанцем превышает вдвое, и даже втрое усилие атакующего. Надеясь на стойкость и неслыханную энергию русского солдата, мы могли смотреть на это **вдвое** и **втрое** — с презрением (и долго смотрели так), но оказалось, не вдвое, не втрое, а вдесятеро. Этого нельзя было предвидеть и даже, несмотря уже на практику, усвоить скоро.

Штатским военным, разумеется, все это будет смешно. Да и факта, опять-таки никакого они не признают вовсе: «Должны-де были предугадать и кончено. Всем известно, что ружье Пибоди дает десять, двенадцать выстрелов в минуту, ну и должны были понять, что с таким ружьем, сидя за укреплением, турок побьет атакующую колонну до последнего человека». Но в теории, прежде опыта, повторяю опять, нельзя было узнать это во всей полноте. Есть удивительно простые вещи, которых самые гениальные полководцы не могли заранее предугадать. Один французский военный историк горько упрекает Наполеона I за то, что тот, имея у себя, в пятнадцатом году, 170-тысячную армию (всего на все) и зная отлично, что уже ни солдата более не достанет от Франции — до того она была истощена двадцатилетними войнами, решился, однако же, сам напасть на врагов, то есть на внешнюю войну, а не на внутреннюю. Этот историк силится доказать, что если б он и победил при Ватерлоо, то это бы нисколько не спасло его от окончательного разгрома в ту же кампанию, в виду подавляющего численного превосходства сил коалиции. Вся ошибка Наполеона состояла, говорит этот историк, в том, что он, попрежнему еще, считал французского солдата стоющим двух немецких; и если б это было, действительно, правдой, то, конечно, он бы тем восполнил недостаток сил, с которыми выходил на бой со всею Европой. Но в пятнадцатом году это было уже не так, критикует историк: немцы в двадцать лет научились сражаться и выровняли своих солдат до того, что немецкий солдат совершенно рав-

нялся французскому. Итак, и гениальный Наполеон сделал такую простую бы, кажется, ошибку, не догадался о том, что уже должен был давно знать и что так ясно бросалось в глаза его критику. Но критиковать легко, и легко быть великим полководцем, сидя на диванѣ. Замечательно то, что и Наполеон и мы **ошиблись** на весьма сходном пункте, то есть ошибочно придали чрезмерное значение некоторым национальным особенностям наших войск.

В заключение повторю еще и еще раз, что все сказанное имеет смысл лишь вообще, имеет смысл лишь научный (верный или неверный — об этом пусть всякий судит как хочет). Но на практике результаты могут чрезвычайно изменяться. Так, например, турки дали же нам в начале войны перейти за Дунай и явиться за Балканами, сдавали же они свои крепости и города и бежали же перед нами, вовсе не думая о шанцевом инструменте и о значении своего ружья Пибоди. И фанатизму в них тогда еще, кажется не было. В **чем дело,** они сами-то, по-настоящему, узнали вполне лишь под Плевной. Тут-то они в первый раз догадались о всех современных выгодах атакуемого в тактическом отношении. Но может случиться, что Плевна будет взята через неделю, а с нею и **весь** Осман, то есть ни одного солдата, может быть, не удастся ему с собой увести, если он пойдет на пробой. Затем, вдруг, например, может явиться у турок прежний упадок духа, забудут и об Адрианополе и об Софии, шанцевый инструмент побросают, убегая перед русским натиском без оглядки, одним словом — многое может случиться; но все это вовсе не изменит значения новой аксиомы, в ее общем смысле, то есть что при теперешних средствах сила обороны превышает силу атаки не попрежнему, а **чрезмерно.** Возьмем еще пример: где-нибудь ведется война и генерал затворился с своим отрядом в сильной крепости. Рассчитав все данные, то есть средства провианта, помещения и силу крепостных верков, инженерная наука может (мне кажется) определить почти до точности: сколько времени крепость могла бы сопротивляться и тем принести несомненную пользу своему

государству, задержав в самое горячее время под стенами своими вдвое, например, сильнейшего атакующего неприятеля? Положим, этот срок шесть или семь месяцев, и вот вдруг генерал, затворившийся в этой крепости, сдает ее на капитуляцию, по своим особенным соображениям, не через 7 месяцев, а через два? Но ведь это нимало, нисколько не нарушает первоначального научного расчета о возможности защищаться семь месяцев. Одним словом, практика может изменять дело с бесконечными вариантами. Тем не менее аксиома о **чрезмерности** перевеса (даже и не снившейся никому и нигде прежде до теперешней нашей войны с турками) силы обороны перед силой атаки при теперешних средствах вооружения — остается во всей силе. (Подчеркну еще раз: не перевес силы нельзя было нам предвидеть, а такую **чрезмерность его).**

Но теперь практика уже на нашей стороне, и мы больше **такой** ошибки не сделаем. Теперь там Тотлебен; что он делает, нам в точности неизвестно, но гениальный инженер найдет, может быть, средство (не только в частном случае, но и вообще) потрясти **аксиому,** уничтожить **чрезмерность** и уравновесить две силы (атаки и обороны) каким-нибудь новым гениальным открытием. На его действия внимательно и жадно смотрит Европа и ждет не одних политических выводов, но и научных. Одним словом, наш военный горизонт просиял и надежд опять много. В Азии кончилось большой победой. Балканская же армия наша многочисленна и великолепна, дух ее вполне на высоте своей цели. Русский народ (то есть народ) весь, как один человек, хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута. Нельзя матерям не плакать над своими детьми, идущими на войну: это природа; но убеждение в святости дела остается во всей своей силе. Отцы и матери знают, на что отпускают детей: война народная. Это отрицают иные, не верят, набирают факты противоречащие, а вот такие, например, известия, мелким шрифтом, в газетах так и остаются почти непримеченными:

«Со станции Бирзулы пишут в «Одесский Вест-

ник», что 3 октября через эту станцию провезено в действующую армию 2.800 выздоровевших солдат. С ними было 6 выздоровевших раненых офицеров. Замечательно, что из числа раненых **ни один** не пожелал воспользоваться своим правом и остаться в запасных войсках. Все спешили и спешат на место войны». («Моск. Ведомости», № 251).

Как вам нравится такое сведение? Ведь уж, кажется, такие факты свидетельствуют о характере дела! Как же утверждать после них, что нынешняя война не имеет народного характера и что народ в стороне? Но таких фактов не один, а множество. Все они соберутся и просияют и войдут в историю... К счастью, большинство этих фактов засвидетельствовано многочисленнейшими европейскими очевидцами, и теперь уже их нельзя изменить, подтасовать и представить в биржевом или в **римско-клерикальном** виде...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?

Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор толкуют) о самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время заседания Окружного суда, четверть часа спустя после прослушания им обвинительного над ним приговора присяжных. А потому я думаю, что все читатели «Дневника» уже знают более или менее об этом чрезвычайном и трагическом происшествии, и подробно объяснять его мне уже нечего. Общий смысл в том, что человек, в значительном чине и круга высшего, сходится с бывшим портным, а потом процентщиком и дисконтером Занфтлебеном, и не потому только, что принужден был занимать у него деньги, а даже как бы и дружественно, принимает, например, на себя обязанность его душеприказчика и, повидимому, очень

схотно. Затем, по смерти Занфтлебена, происходит несколько вопиющих вещей: пропадает вексельная книга неизвестно куда; векселя, бумаги и документы, с совершенным нарушением порядка, предписанного законом, отвозятся Гартунгом к себе на квартиру. Гартунг, как оказывается, вступает в соглашение с одной частью наследников в ущерб другой (хотя, может быть, и не подозревает того сам). Затем к нему врывается один из наследников, и бедному душеприказчику уже на деле приходится узнать, что он попал в такое общество, в какое и не ожидал. Затем начинаются обвинения уже прямо, — в краже векселей, вексельной книги, в переписке векселей, в исчезновении документов, с лишком на сто или даже на двести тысяч рублей имущества... Затем начинается суд. Прокурор даже рад суду и тому, что генерал сидит рядом с простолюдином и тем дает повод русской Фемиде произнести торжество равенства перед законом сильных и высших с малыми и ничтожными.

Суд, однако же, идет весьма нормальным порядком (что бы ни говорили об этом), и в конце концов присяжные выносят почти неминуемое обвинение, в том числе и о Гартунге, смысл которого: «виновен и похитил». Суд удаляется составить приговор, но генерал дождаться его не захотел: выйдя в другую комнату, он, говорят, сел к столу и схватил обеими руками бедную свою голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя, принесенным с собой и заряженным заране револьвером, ударом в сердце. На нем нашли тоже заране заготовленную записку, в которой он «клянется **всемогущим Богом,** что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает». Таким образом, он умер в сознании своей невинности и в сознании своего джентльменства.

И вот эта-то смерть и возволновала всех в Москве и все газеты во всей России. Говорят, и судьи и прокурор вышли из своих комнат совсем бледные. Присяжные, говорят, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже об «очевидно несправедливом решении» и одни из них замечали, что наши суды нельзя

уже теперь обвинять за мягкие и потворствующие приговоры: «вот, дескать, пример: пал невинный». Другие справедливо заметили, что таким торжественным и последним словам человека на земле почти невозможно не верить, а, стало быть, почти несомненно можно заключить, что произошла плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо признаться, некоторые из отзывов газеты были странны: слышалась какая-то фальшь, может быть, горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тут скорее трагедия (преглубокая), фатум русской жизни, чем с которой-нибудь стороны ошибка. Или, лучше сказать, тут все виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентного общества, и характеры, в этом обществе выровнявшиеся и создавшиеся, наконец, нравы и обычаи наших заимствованных и недостаточно обрусевших молодых судов. Но ведь когда все огулом виноваты, значит, порознь нет никого вановатого. Из всех газетных отзывов мне всего более понравился отзыв «Нового Времени». Я накануне как раз говорил с одним из наших тонких юристов и знатоков русской жизни, и оказалось, что насчет этого дела у нас один и тот же вывод, причем мой собеседник весьма метко указал на «трагизм» этого дела и на причины трагизма. На другой день, в фельетоне Незнакомца, я прочел очень многое весьма похожее на то, об чем мы только-что говорили накануне. А потому, если и скажу теперь несколько слов, то лишь в частности и «по поводу».

II

Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменом

Дело в том, что старые характеры еще не перевелись и, кажется, еще долго не переведутся, потому что на все надобен срок и везде природа. Я говорю о характерах нашего интеллигентного общества. Здесь впрочем, настойчиво и с упорством замечу: что и не

хорошо было бы, если б мы вдруг как флюгера изменялись, потому что самая противная вещь в наших интеллигентных характерах именно это свойство легковесности и бессодержательности. Она напоминает что-то лакейское, лакея, рядящегося в барское платье. Одно из свойств, например, нашего джентльменничанья, если мы почему-нибудь раз прикоснулись к богатым и знатным, и особенно если к ним проникли — это **представительность,** потребность обставить себя широко. Заметьте, я лично о Гартунге не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его биографии; я только хочу отметить несколько штрихов всем известного характера нашего интеллигентного человека, говоря вообще, и с которым, при известных обстоятельствах, могло бы случиться точь-в-точь то же самое, что и с генералом Гартунгом. Человек, например, ничтожный, в малом чине, без гроша в кармане, вдруг попадает в высшее общество, или хоть почему-либо соприкасается с ним. И вот, у бедняка ничего не имевшего, кроме способности профильтроваться в высшее общество, вдруг является своя карета, квартира, в которой «возможно» жить, лакеи, костюмы, перчатки. Может быть, он хочет сделать карьеру, выбиться в люди, но чаще всего бывает так, что просто подражать хочет: все, дескать, так живут, как же я-то? Тут какой-то в нем стыд, которого никак нельзя пересилить, одним словом: честь и порядочность понимаются как-то странно, собственного же достоинства не оказывается никакого. В параллель этому непониманию такой первейшей вещи, как чувство собственного достоинства, можно поставить, мне кажется, лишь непонимание, чуть не всем интеллигентным европейским веком нашим, свободы, в чем состоит она, — но об этом потом. Вторая, и опять-таки почти трагическая черта нашего русского интеллигентного человека — это его податливость, его готовность на соглашение. О, есть множество кулаков, биржевиков, противных, но стойких мерзавцев: есть даже и хорошие стойкие люди, но их мало ужасно, в большинстве же порядочных русских людей царит именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, со-

гласиться. И вовсе это даже не от добродушия, равно как далеко не от трусости, а так, деликатность какая-то, или неизвестно уж что тут. Сколько раз вам, например, приходилось в разговоре с упорным, например, человеком, налегавшим на вас и требовавшим вашего отзыва — согласиться и уступить ваше мнение, или ваш даже голос в каком-нибудь заседании, хотя вы, может быть, внутри себя и вовсе бы того не желали. Увлекает тоже очень русского человека слово **все:** «я как и все» — «я с общим мнением согласен», — «все идем, ура!» Но есть тут и еще странность: русский человек сам себя обольстить, прельстить, увлечь и уговорить очень любит. И не хочется ему сделать то и то, пойти, например, в душеприказчики к Зантфтлебену, но уговорит себя: «что ж, дескать, такое, пойду»...

Бывают в этом слое интеллигентных русских людей типы, с некоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно с этими несчастными свойствами русского джентльменства, на которые я сейчас намекал. Иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание «дел» придает им почти нечто трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг, если, по своему мнению, потеряет честь. Может быть, их даже довольно и числом. Но вряд ли эти люди знают, например, когда-нибудь сумму своих долгов. И не то что все они были кутилы, иные, напротив, прекрасные мужья и отцы, но деньги можно мотать и кутиле, и прекрасному отцу. Весьма многие из них входят в жизнь с слабыми остатками прежних родовых имений, которые быстро улетучиваются в первые дни юности. Затем брак, затем чин, и хорошее казенное местечко, которое так себе, а все дает какой-нибудь доход и основание в жизни, нечто уже солидное, в противовес великосветскому бродяжеству в прежнюю жизнь. Но долги идут беспрерывно, он, конечно, платит их, потому что он джентльмен, но платит новыми долгами. Положительно можно сказать, что многие из них, обдумывая в иную минуту свое положение про себя, наедине, могли бы смело и с великим благородством произнести: «мы ничего не похищали, и ни-

чего не хотим похитить». Между тем, вот какая тут мелкая черточка может даже произойти: при случае (ну, очень понадобилось) он способен взять взаймы даже у няньки детей своих какие-нибудь, накопленные ею 10 рублей. Да что же такое, помилуйте, почему же нет? При том старушка-нянька, весьма часто, есть обжившийся близкий и интимный в доме человек. Она почти член семьи, ее ласкают, ей даже самые важные ключи на хранение передают. Добрый генерал, ее барин, давно уже обещал ей место в богадельне на старость, да вот только дела-то эти все мешают ему позаботиться, а давно бы надо там об ней словечно замолвить. А нянька так и напомнить страшится, напоминает разве один разик в год о богадельне, все трепещет досадить такому нервному и обеспокоенному всегда человеку, как ее генерал. «Добрые ведь они, сами вспомнят», думает она подчас, укладывая в постель свои старые кости, об 10 же рублях и напомнить так даже стыдится, у ней своя совесть есть, у старушки. И вот вдруг умирает генерал, и — ни места у старушки, ни десяти рублей. Все это, разумеется, пустяки, и мелочь страшная, но если б вдруг на том свете напомнили генералу, что нянька-то ведь 10 рублей не получила, то он бы страшно покраснел: «какие десять рублей? Неужто! Ах, да ведь в самом деле, года четыре назад! **Mais comment, comment** и как это могло случиться!» И этот долг мучил бы его сильнее, чем иной даже десятитысячный оставленный им на земле! Ему было бы ужасно как стыдно: «о, поверьте, я не хотел того, поверьте, что я даже не думал о том, забыл думать!» Но бедного генерала слушали бы там только ангелы (так как он наверно попал бы в рай), а нянька все-таки осталась бы без десяти рублей на земле, и жалко ей их иногда старушке: «ну, да Бог с ними, грех поминать этим, а человек были самый драгоценный, самый как ни на есть, праведный барин».

И вот что еще: если бы этот прелестный человек как-нибудь опять очутился на земле и воплотился в прежнего генерала — отдал бы он 10 рублей няньке или нет?

Но не все ведь они занимают. Вот приятель, бла-го-р-роднейший Иван Петрович, просит его выдать ему векселей тысяч на шесть: заложу, дескать, в банк, где я состою, и дисконтирую, а вот тебе, дражайший друг, встречные на шесть тысяч. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича он часто встречает потом в клубе, оба забыли, разумеется, и думать о выданных векселях, потому что оба суть самый цвет, так сказать, порядочных людей в нашем обществе, и вдруг, через шесть месяцев, все шесть тысяч падают на плеча генералу: «Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство». Ну, вот тут и бросаются к людям как Занфтлебен и пишут документы, в сто на сто.

Поверьте опять-таки, что я в изображении моем, ни одной чертой не претендую обличать покойного генерала Гартунга: я его совсем не знал и ничего не слыхал о нем лично. Я только имел претензию чуть-чуть начертить характер одного из членов этого общества, но который, однако, если б попался в такую же передрягу, как генерал Гартунг к Занфтлебену, то с ним могло бы произойти совершенно то же самое, как и с Гартунгом, до самоубийства включительно. А потому, мне кажется, в деле Гартунга нечего ни стыдить суд, ни стыдиться суду. Тут ведь фатум, трагедия: генерал Гартунг до самой последней минуты своей считал себя не виновным и оставил записку...

— Да, но ведь вот, однако ж, эта записка, — скажут другие. — Ведь невозможно же, чтобы в такую минуту человек, да еще верующий, как оказывается, мог солгать. Значит, он ничего не похитил, коли так торжественно заявил, что не похитил. Да и сделки тут никакой не могло быть у него даже с совестью: как бы ни был шаток и затемнен смысл человека всей этой путаницей, но уж коли он говорит «я не похитил», то он не может не знать: «похитил он или не похитил?». Это ведь просто дело рук человеческих. Тут просто вопрос: клал в карман или не клал? Как же он мог не знать, если б положил?

Это совершенно справедливо, но вот ведь что может тут быть, и даже наверно: ведь он написал только про

одного себя: «я, дескать, ничего не похитил, и не думал о похищении» — но ведь могли похитить другие.

— Совершенно невозможно, — возразят мне: — если он дал похитить другим и, зная о том как опекун — смолчал, то, стало быть, **и он похитил** с другими! Генерал Гартунг не мог не понимать, что тут нет разницы.

Отвечу: во-первых, можно еще оспорить аргумент, что «если знал и дал похитить, то, стало быть, и он похитил», а во-вторых, тут несомненно есть разница. А в-третьих, генерал Гартунг мог именно написать в этом лишь буквальном смысле, о котором мы говорим: «то есть я, дескать, лично не брал и **не хотел** брать ровно ничего, сделали другие и против моей воли. Я виновен лишь в слабости, но не в мошенничестве, потому что сам ничего не хотел брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сделали другие»... Он именно мог написать в этом смысле свои роковые слова, но в то же время, будучи столь честен и благороден, ни за что не мог бы согласиться, что «коли попустил украсть, значит, сам украл». Он к Богу шел, и он знал, что не хотел ни украсть, ни попустить, а так — само укралось. Да к тому же заметьте, он никак бы и не мог разъяснить в этой записке свои слова пошире: то есть что виновен в послаблении, а не в похищении и проч. Не мог же он, джентльмен, доносить на других, — особенно в такую торжественную минуту, в которую он «простил врагам своим».

А, наконец, и это всего вероятнее, он, может быть, не мог в своем сердце сознаться даже и в послаблении, в слабости, в добродушном попущении. Тут, может быть, была такая сеть обстоятельств, которую он до самой последней минуты, включительно, осмыслить не мог, с тем и ушел на тот свет. «Похищена-де вексельная книга» — и вот толковые люди, которым он вполне доверяется, убеждают его в самом начале, что ведь это просто пустяки, пропала сама как-нибудь, потому что ведь никому она и не нужна. Они выводят ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вред, а не к пользе самим даже наследникам. (Ведь

этот самый аргумент представляла же на суде потом защита, и, кажется, он был справедлив). В этом смысле могло быть и все остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Ведь он дел не знал, и его можно было убедить во всем. «Поверьте, дескать, мы тоже благородные люди, мы, как и вы, не хотим похитить **ничего** у наследников, но дела-то у Занфтлебена остались в таком щекотливом виде, что если там они (наследники) узнают теперь про вексельную книгу и все это, то могут прямо нас обвинить в мошенничестве, а потому надо скрыть от них». Эти «беспорядки Занфтлебена», разумеется, открывались не вдруг, а постепенно, так что Гартунг узнавал истину, или, лучше сказать, терял истину и втягивался в ложь каждый день постепенно. И вот вдруг к нему прямо врывается один из наследников, и если не кричит, что генерал Гартунг вор, то ведь все равно что кричит. Он ведь вошел с торжеством, с победоносной и злой улыбкой и уж вполне уверенный, что теперь смеет сделать в квартире генерала всякую пакость. И тут только генерал вполне узнал, в какую трущобу забился. Потом он совсем потерялся, он стал предлагать компромиссы, сделки и запутал, конечно, себя еще более, а обвиняющая сторона жадно вцепилась в новые компрометирующие его факты насчет компромиссов и сделок. Все пошло в дело. Одним словом, Гартунг умер в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки... судебной ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия: слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за **пороки,** столь распространенные в его обществе. Таких, как он, может быть, 10.000, но погиб один Гартунг. Невинный и высоко честный этот человек, с своей трагической развязкой, конечно, мог возбудить наибольшую симпатию, из всех этих десяти тысяч, а суд над ним приобрести наибольшую огласку по России для предупреждения «порочных»; но вряд ли судьба, слепая богиня, на это именно рассчитывала, поражая его.

III

Ложь необходима для истины. Ложь на ложь дает правду. Правда ли это?

И, однако, во мне все-таки воскресло одно, еще прежнее впечатление, которым хочется поделиться, хотя, может быть, очень наивное. Это уже вообще о нашем суде. Гласный суд с присяжными заседателями принято считать во всем мире чуть не за достигнутое совершенство: «это, так сказать, победа, высший плод ума». Я верю со всеми, потому что вам скажут, например: «ну, выдумайте лучше» — и ведь вы не выдумаете. Следственно необходимо согласиться уже по тому одному, что нельзя лучше выдумать. А, между тем, вот всходит на сцену... то бишь на эстраду, г. прокурор. Представим, что это человек превосходный, умный, совестливый, образованный, с христианскими убеждениями и знающий Россию и русского человека как мало в России знают. Ну-с, а вот этот совестливейший человек прямо начинает с того, что он «даже рад, что случилось это преступление, потому только что пришла, наконец, кара этому злодею, вот этому подсудимому, потому что если б вы только знали, господа присяжные, какая это каналья!» То есть он, разумеется, «канальей» не употребит, но ведь это все равно: он самым вежливейшим, самым мягким и самым гуманным образом выставит его под конец даже хуже канальи, хуже даже всякой канальи. Скорбя сердцем, он деликатнейшим образом передает, что ведь и мать его была такова, что он, наконец, не мог не украсть, потому что самый низкий разврат увлекал его все более и более в бездну. Сделал же он все сознательно и преднамереннейшим образом. Вспомните, как хорошо ему послужил пожар в соседней улице в минуту совершения им преступления, потому что пожар, произведя тревогу, отвлек к себе внимание и дворников и всего околотка. «О, я, разумеется, далек от всякого **прямого** обвинения в поджоге, но, господа присяжные, согласитесь, что тут странное совпадение двух обстоятельств, неизбежно

наводящих на известную мысль, но я молчу, молчу, — но, конечно, вы этого вора, и убийцу (потому что он непременно бы убил, если б встретил кого в квартире) и, наконец, поджигателя, отъявленного, доказанного поджигателя, — конечно, уж вы его ушлете куда-нибудь подальше, и тем дадите возможность вздохнуть добрым людям, хозяйкам спокойно удаляться из квартиры за покупкой провизии, а владельцам домов не трепетать за свое имущество, хотя бы таковое и было застраховано в том или другом страховом обществе. А главное, напрасно я это все вывожу: взгляните на него! Вот он сидит, не смея взглянуть в глаза честным людям, и разве мало одного простого взгляда, чтоб убедиться, что это и вор, и убийца, и поджигатель. Об одном лишь торжественно сожалею, что ему не удалось сделать десять таких же покраж белья, зарезать десять таких же хозяек и поджечь десять таких же домов, потому что тогда самая уже колоссальность преступления потрясла бы граждански-сонливое общество наше и заставила бы его прибегнуть, наконец, к самозащите и выйти из преступного своего гражданского усыпления»...

О, мы знаем, что г. прокурор будет говорить гораздо благороднее. Слова наши карикатура и годятся лишь для юмористической воскресной газетки с куплетами и карикатурами, положим. Положим, это будет даже одно из таких дел, которые возбуждают глубокие социальные и гражданские вопросы, а главное — в нем будут психологические места, а в психологии, как известно, чрезвычайно бойки прокуроры даже во всей Европе. Ну, и что же, все-таки выйдет в заключение то же самое, то есть что жаль, дескать, что не было вместо одного — десяти, тридцати, пятисот отравлений, потому что тогда бы содрогнулись ваши сердца, и вы бы встали как один человек и т. д., и т. д.

Но, возразят мне, что ж тут такого? Положим, ужасно много прокуроров совсем не ораторы, но прокурор, во-первых, чиновник и должен действовать сообразно службе своей, и во-вторых, что прокуроры всегда преувеличивают обвинение — в том нет не толь-

ко ничего предосудительного, но, напротив, все полезное. Ибо так именно и надо. Зато, в противоположность ему, есть защитник подсудимого, которому позволяется вполне опровергать прокурора. Кроме того, даже во всей Европе позволяется доказывать, конечно, с полнейшей вежливостью, что прокурор глуп, нелеп, подловат и что «если кто зажег третьего дня в 3-й линии, на Васильевском, дом, так это именно этот самый человек, потому что он как раз в это самое время был на Васильевском Острове на именинах генерала Михайлова, превосходнейшего и благо-о-р-роднейшего существа, а что он зажег дом, то в этом нет сомнения по тому одному даже (опять психология), что не подожги он этот дом, по вражде с домовладельцем купцом Иваном Бородатым, то ему бы никогда не могло притти в голову такое глупое, такое ни на что не похожее и пошлое обвинение подсудимого в поджигательстве для отвода глаз всей улицы во время совершения этого мнимого и несообразного ни с чем преступления. Собственный поджог его именно и навел на мысль». Наконец, возьмите и то, что защитнику позволяется делать жесты, проливать слезы, скрежетать зубами, рвать свои волосы, стучать стульями (но не замахиваться ими) и, наконец, падать в обморок, если он уже очень благороден и не может вынести несправедливости, что, впрочем, кажется, не позволено прокурору, как бы ни был он благороден, потому что как-то странно было бы вдруг упасть навзничь чиновнику в мундире. Не употребляется это вовсе.

Опять-таки все, что я говорю, — карикатура, одна карикатура, и ничего этого не бывает, а обходится все на самой благородной ноге, я согласен (хотя стульями-то стучали и в обморок-то падывали)! Но ведь я только хлопочу о сущности дела, потому что в самых благороднейших выражениях доходят до того же самого, как и в неблагороднейших.

— Как, что вы, — укажут мне, — да это-то и надо, именно преувеличение-то и надо, с обеих сторон! Присяжный иногда человек не столь образованный, и к тому же занятой, у него там своя лавка, дела, он

подчас рассеян, а подчас так и просто не в силах сам углубиться. А потому именно его надо углубить, показать ему все фазисы дела, даже самые невозможные, чтобы он уже вполне был уверен, что обвинением все, что только может притти в голову, уже исчерпано, и что думать над этим уже больше нечего, равно как защитой подведено все, что только возможно и невозможно предположить к убелению подсудимого, паче горнего снега. А потому, там в особой комнате, сводя итоги, они уже знают, так сказать, механически, что должно выскочить, плюс или минус, так что совестью, по крайней мере, они могут быть совершенно спокойны. В результате ясно, что все это совершенно необходимо для истины, то есть и ожесточенное нападение и ожесточенная защита, и даже так, что ожесточенное нападение обвинителя, если только взять в самом строгом смысле, даже полезнее подсудимому, чем самому обвинителю, так что опять-таки ничего нельзя выдумать лучше.

Одним словом, современный суд не только победа, или высший плод ума, но и самая мудреная вещь. С этим нельзя не согласиться. Суд при том гласный; стекается публика даже сотнями человек — и неужели предположить, что они стекаются из праздности, для спектакля только? Нет, конечно: из какого бы побуждения ни собирались они, а надо, чтобы уходили с впечатлением высшим, сильным, назидательным и целебным. Между тем, все сидят и видят; что тут, в основе, какая-то ложь — о, не в суде, конечно, не в значении приговора, а просто, например, в иных привычках, с такою счастливою легкостью воспринятых у Европы и укоренившихся в наших представителях защиты и обвинения. Я вот ухожу домой и дома про себя думаю: ведь Ивана Христофорыча, прокурора, я лично знаю, умнейший и добрейший человек, а между тем, ведь он лгал, и знал, что лгал. Дело какого-нибудь выговора или двухмесячного заключения он натянул на двадцатилетнюю ссылку в отдаленнейшие места. Пусть это даже надо для самой ясности дела, но все же он лгал, лгал сознательно, а ведь дело-то об шее человека идет.

Как же это так согласить, особенно если он человек с талантом: ведь il en reste toujours quelque chose, особенно если защита плоховата и только стульями умеет стучать. Положим, тут даже самолюбие Ивана Христофоровича разыгралось, чисто человеческая черта, но извинительная ли в таком важном деле? Куда же тут человек-то девался, высший-то человек, гуманный, цивилизованный?

Пусть, пусть, наконец, из этого-то из всего и выходит истина, и выходит, так сказать, механически даже, самым хитрейшим путем, но ведь сбирающаяся на суд публика, пожалуй, и впрямь будет собираться тогда на зрелище, на созерцание механического и хитрейшего пути, и слушая с восторгом, как, например, талантливый защитник так отлично лжет против совести, она чуть не аплодирует ему с своих стульев: «как, дескать, лжет хорошо человек!» Ведь от этого зарождается в массе этой публики цинизм и фальшь, и укореняются незаметно. Жаждут уже не истины, а таланта, лишь бы повеселил и развлек. Тупеет гуманное чувство, которое уже не восстановите кувырканьями в обморок. Ну, а представьте, опять-таки, если лжец действительно с огромным талантом?

Я знаю, что все это лишь праздное с моей стороны нытье. Но, послушайте, учреждение гласного присяжного суда все же ведь не русское, а скопированное с иностранного. Неужели нельзя надеяться, что русская национальность, русский дух, когда-нибудь сгладят шероховатости, уничтожат фальшь... дурных привычек, и дело пойдет уже во всем по правде и по истине. Правда, теперь это невозможно: теперь именно защита и обвинение блистают этими дурными привычками, ибо одни ищут денег, а другие карьеры. Но ведь когда-нибудь можно же будет прокурору даже защищать подсудимого, вместо того чтоб обвинять его, так что защитники, если бы захотели возразить, что даже и той малой доли обвинения, которую прокурор все же оставил на подсудимом, нельзя применить к нему, то присяжные заседатели им просто бы не поверили.

Я даже так думаю, что такой прием скорее бы и

вернее гораздо способствовал к отысканию истины, чем прежний механический способ преувеличения, состоящий в крайности обвинения и в зверстве защиты? Ответят, конечно, что это решительно невозможно, а так как то же самое и в Европе, то и быть не должно, и что **«чем механичнее, тем даже и лучше».**

Вот этот механизм-то, этот механический способ вытаскивать наружу правду, может быть, у нас и заменится... просто правдой. Искусственное преувеличение исчезнет с обеих сторон. Все явится искренним и правдивым, а не игрой в отыскание истины. На сцене будет не зрелище, не игра, а урок, пример, назидание. Правда, адвокатам будут платить гораздо меньше. Но все эти утопии возможны будут, разве когда у нас вырастут крылья и все обратятся в ангелов. Но ведь и судов тогда не будет...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Римские клерикалы у нас в России

Недавно «Московские Ведомости», № 262, сделали в своей передовой статье следующее замечание:

«Третьего дня мы обратили внимание на какую-то партию внутри России, действующую в согласии с ее врагами и готовую помогать туркам в их борьбе с нею, — партию русских англо-мадьяр, которой ненавистно всякое проявление нашего народного духа, всякое действие нашего правительства в этом духе и которая русский патриотизм ставит на одну линию с нигилизмом и революцией, — партия, которая питает гнуснейшими корреспонденциями враждебную нам заграничную печать. Едва была сдана наша статья в печать, как телеграмма нашего петербургского корреспондента передала нам сущность обнародованного «Правительственным Вестником» со-

общения, изобличающего новые проделки этой партии. В то самое время, когда между Плевной и Орхание наша армия имела блистательные успехи, в Петербурге интрига распускает слухи о поражении, будто бы понесенном этими самыми победоносными войсками, стараясь распространить в публике уныние, и старается так усердно, что правительство сочло необходимым предостеречь публику от подобных злоумышленных слухов».

«Новое Время» заметило по этому поводу на другой же день, вскользь, впрочем, что «Московские Ведомости» хватили немножко далеко, и что «Правительственный Вестник» разумел, может быть, просто какую-нибудь болтовню в публике, вовсе не имеющую такого значения. (Излагаю мысль «Нового Времени» своими словами на память).

Весьма может быть, что и так, и что «Правительственный Вестник» и впрямь говорил лишь о какой-нибудь «болтовне». Тем не менее предположение «Московских Ведом.» имеет несомненное основание. Только какие же тут англо-мадьяры, о которых упоминают «Моск. Вед.»? У нас, на наших окраинах, да и внутри свои римские клерикалы найдутся. Теперь уже не май месяц; теперь уже все знают и пишут о клерикальном всемирном заговоре, и даже самые либеральные из наших газет согласились, что заговор этот имеет свою силу. Но странно было бы, если б ватиканский заговор миновал наших римских клерикалов и не употребил их в дело. Смута, в тылу русских армий, чрезвычайно была бы выгодна Ватикану, особенно в настоящую минуту. Вот еще выписка, но уже из «Нового Времени», № 587. «Новое Время», в отделе своем: «Среди газет и журналов», цитует мнение «Голоса», выраженное по поводу некоторых статей в английской «Morning Post» и в некоторых заграничных польских журналах. Вот эта выписка:

«В «Morning Post», от 22 октября, напечатана любопытная, по своей неожиданности, статья, где туркофильская газета сообщает о переговорах, будто бы начатых уже между Россией и Германией, по поводу

уступки Германии Привислянского края по Вислу! Само собою разумеется, что в глазах «Morning Post» это составляет результат сделки, по которой Германия обязуется помочь «приобретениям России на Балканском полуострове». Лондонская газета настойчиво толкует далее, что поляки Привислянского края вовсе не думают теперь о восстании, «не желая попасть еще в горчайшее рабство», то есть во власть пруссакам, и что если в «русской Польше» произойдут какие-нибудь беспорядки, то они будут простым последствием «русско-прусских интриг»... Замечательно, что за несколько дней перед тем, как появилась эта статья в «Morning Post» о том же самом предмете, хотя и в несколько другом тоне, говорил «Dziennik Polski» сообщив, будто бы русское правительство, выводя свои войска из Привислянского края, распространило там воззвание к крестьянам, приглашая их образовать из себя сельскую стражу для наблюдения за панами и для подавления всяких попыток к мятежу. Передавая содержание этих статей, «Голос» удивляется, с чего вдруг стали так усердствовать «Dziennik Polski», и «Morning Post»? Для чего понадобилась им нелепая басня о русском воззвании к привислянским крестьянам и о русско-прусских agents provocateurs, будто бы старающихся возбудить «искусственное восстание» в «конгрессувке»?

«Эти неожиданные выходки должны же иметь какую-нибудь цель. Газеты, их напечатавшие, вероятно, имеют сведения, заставляющие их опасаться возникновения беспорядков в Привислянском крае, и стараются заранее исказить смысл движения, последствий которого они, повидимому, опасаются. Прием этот не нов. Он уже употреблялся поляками и их западными друзьями в 1863 году. Одно это воспоминание заставляет уже признать, что статьи «Dziennik Polski» и MorningPost» не лишены значения и имеют какую-то таинственную связь с прежними толками мадьярской печати о сочувствии поляков к туркам и о их тайном желании усложнить положение России революционною агитацией на нашей западной границе. Лю-

бопытно, что эти статьи совпадают с известием о кандидатуре кардинала Ледоховского на папский престол. Мы не принадлежим, заявляет «Голос», к числу охотников придавать преувеличенное значение всем фантастическим комбинациям, за которые хватаются недоброжелатели России в надежде помешать благоприятной для нее развязке нынешней войны. В данном же случае, дело кажется нам настолько серьезным, что нельзя уже оставить без указания такой факт, каким является неожиданное и ничем, повидимому, не вызванное появление статей «Dziennik Polski» и «Morning Post».

Стало быть, есть же нечто похожее на ветви клерикального заговора, может быть, и у нас? Уже одно известие о кандидатуре Ледоховского несомненно польского происхождения, ибо только одна легкомысленная голова польского заграничного агитатора может серьезно поверить, что римский конклав, наполненный такими тонкими умами, в состоянии был бы так шлепнуться избранием Ледоховского, при чем новый папа только бы и делал, что занимался восстановлением ойчизны, а не римского и всемирного владычества пап. Но это в сторону, а ветви клерикального заговора в России все-таки ясны. «Новое Время» прибавляет к тому же, что —

«Настойчивая в настоящее время полемика «Journal de St.-Pétersbourg» с итальянскими клерикальными газетами, по поводу мнимого угнетения католицизма в Польше, как будто показывает, что существуют признаки какой-то агитации на нашей западной окраине».

Ну, уж вовсе не признаки только. Это, стало быть, именно и есть та **партия,** про которую говорят «Московские Ведомости», что она «действует в согласии с врагами России ... и что ей ненавистно всякое проявление нашего народного духа, всякое **действие нашего правительства в этом духе,** и которая русский патриотизм ставит на одну доску с нигилизмом и революцией, — партия, которая питает гнуснейшими корреспонденциями враждебную нам печать»...

Да, именно европейские корреспонденции из Россия, очень и очень возможно, что ее дело, этой партии. Эта радость о неудачах России и легкомысленное визжание от восторга, что Россия так-де вдруг оказалась «слаба, без финансов, с расстроенным войском, с недовольным и ропчущим народом, с нигилизмом, подточившим общество» — все эти небылицы, несомненно, носят на себе печать столь известного происхождения. О, нельзя, чтоб не нашлись и русские перья, готовые писать в унисон с клерикалами, но эти корреспонденции за границу не могут быть, кажется, написаны русскими: слишком уж было бы это подло. Тем не менее клерикалы может быть, и не очень стараясь, несомненно направляют даже и русские перья у нас дома. Они их вовсе, может быть, и не подговаривают, и в сношения с ними, **прямые** и **надлежащие,** не вступают, потому что эти бойкие либеральные перья принадлежат **иногда** честнейшим людям, которые, выслушав прямое предложение клерикала, может быть, спустили бы его даже с лестницы. Но зато клерикал, особенно у нас обжившийся, отменно знает, что ему и ходить к бойкому перу не нужно, потому что бойкое русское перо ему и даром все напишет, — единственно воображая (о, милые!), что это и честно, и либерально. Бойкое перо возмущается, например, клерикалами, облепившими во Франции Мак-Магона, и пишет грозные против них статьи. Но в то же время он русского римского клерикала не только не заметит, но подчас запоет ему в самый полный унисон. Есть такие, есть. И хитрые наши римские клерикалы даже, может быть, дивятся на них: «Ведь охота же это им этак шлепаться между двух стульев», — кивают они главами своими. «И ведь как бескорыстно! Правда, надобно же быть до конца либеральным. Ведь вот они кричат, что Россия права даже не имеет освобождать славян, да ведь за это им мало сто тысяч дать! И все-то это между двух стульев, поминутно, да поминутно. Как им не больно только? Заживает, что ли, у них так скоро»...

II

Летняя попытка Старой Польши мириться

В начале лета эти агитаторы-клерикалы попробовали у нас сделать демонстрацию даже через русские издания. Волки перерядились в овец и заговорили в тоне как будто посланников всей польской «эмиграции» за границей. Они стали предлагать примирение: примите, дескать, нас, мы видим тоже, что братство славян несомненно и не хотим отстать. Говорили они чрезвычайно нежно и выставили резоны:

«У нас, говорят они, есть инженеры, химики, технологи, ремесленники, бухгалтеры, агрономы и т. п.». Всего этого много в эмиграции. Пустите их к себе! «Разве — говорит житель Литвы, написавший в 172 № «Спб. Вед.» статью, — нет у вас дела для той среды, которая произвела прежде Тенгоборского для России, Воловского для Франции? А в деле искусств, столь обмягчающих нравы и облагораживающих характер, как представителями в польском обществе, в настоящее всемя всесветно известны; Броцкий скульптор, Матейко живописец. Вам эти ли люди не нужны? Что же сказать о сонме литераторов, публицистов, промышленников, фабрикантов и всякого рода деятелей? Вам эти люди не нужны тоже?» («Новое Время», из статьи Костомарова).

Г-н Костомаров великолепно ответил в «Новом Времени» на все эти заискивания. Сожалею, что не имею места сделать выписки из этой превосходной статьи. Рассуждениями ясными и точными доказывает г. Костомаров, что все это лишь нам западня, что наведут они к нам Конрадов Валенродов, предателей; что поляк Старой Польши инстинктивно, слепо ненавидит Россию и русских. Г-н Костомаров допускает, однако же, что есть прекрасные поляки, которые могут жить даже в дружбе с иным русским, спасти его в беде, одолжить его. Это, конечно, правда, но чуть только этот русский, хотя бы даже после двадцати лет дружбы, вдруг бы выразил этому прекрасному поляку свои по-

литические убеждения насчет Польши в русском духе, то этот поляк тотчас же, тут же, стал бы явным или тайным врагом своего русского друга, на всю жизнь, до конца, непримиримым и безграничным. Об этом забыл прибавить г. Костомаров.

Вся эта летняя попытка «примирения», нашедшая русских защитников и такого могучего оппонента как г. Костомаров — есть бесспорно клерикальная к нам подсылка из Европы, отрог всеевропейского клерикального заговора. О, эти поляки Старой Польши уверяют что они вовсе не клерикалы, не паписты, не римляне, и что мы давно должны это знать про них. Но вообразить только, что «Старая Польша», эта польская эмиграция — не держится папы в иезуитском смысле, далека от клерикальных фантазий, — о, какая смешная мысль! Им ли, им ли не держаться Ватикана, когда они так вполне сознают его силу и всегда сознавали? Ведь Ватикан не изменял Старой Польше никогда, а, напротив, поддерживал из всех сил все ее фантазии, когда другие-то государства их уже и слушать не хотели! Нет, они Ватикану не изменят и Ватикан не изменит им. Летняя выходка к примирению была сделана в то время, когда вся эмиграция задвигалась против русских, когда созидались польские легионы, когда аристократы эмиграции являлись в Константинополь с огромными суммами денег (конечно, не своими). Все это примирение было одно только коварство, как определил его г. Костомаров. Кстати: они предлагают нам своих ученых, техников, художников, и говорят: «примите их, они ль вам не нужны!» Тут бы прибавить, что они вероятно считают нас диким народом, и не ведают, что у нас все то, что они предлагают, может быть, и лучше ихнего есть. Но обижаться нечего, а главное: зачем же они не едут? У нас было несколько поляков, которые проявили свой талант, и Россия их почитала, уважала, ставила на высоту, нисколько не разделяя их от русских. К чему же уговариваться? Приезжайте! Примиритесь и покоритесь сами, но знайте, что никогда не будет Старой Польши. Есть Новая Польша, Польша освобожденная царем, Польша возрождающаяся и ко-

торая, несомненно, может ожидать впереди, в будущем, равной судьбы со всяким славянским племенем когда славянство освободится и воскреснет в Европе. Но Старой Польши никогда не будет, потому что ужиться с Россией она не может Ее идеал стать на месте России в славянском мире. Ее девиз, обращенный к России: «Otê-toi de là, que je m'y mette». Любопытно, что польский передовой застрельщик говорит лишь об ученых и художниках. Ну, а предводители эмиграции, аристократы? Вообразить только картину, что Россия поддалась льстивым словам и объявила, что хочет мириться; и вот они видят и надменно спрашивают: «какие ваши условия?»

Потому что если вы предлагаете нам впустить эмигрантов в Россию, а сами они нейдут, **значит они дожидаются условий.** И вот, представьте себе, что Россия их вдруг признает за нечто, за воюющую сторону, и начнет эти переговоры! И вот они перебираются в Россию, магнаты с первого же разу фрондируют, требуют знатных мест и отличий; затем тотчас же кричат на всю Европу, что их обманули, затем начинают польский бунт... И Россия поддастся на такую беду, сделает такую глупость! Разумеется, поляки не могли верить сами, чтобы такая грубая выходка их могла обмануть Россию. Но на чистых сердцем русских сторонников они рассчитывали. Что это дело клерикалов, клерикальный шаг в Россию — в этом нет сомнения. Спросят: для чего же этот шаг? А разве клерикалам не надо зондировать положение, путать мысли, скрывать настоящие свои шаги, приобретать русские перья, волновать Русскую Польшу и проч., и проч.? Да мало ли какие у них могли быть расчеты!

III

Выходка «Биржевых Ведомостей». Не бойкие, а злые перья

Мы говорили сейчас про «бойкие перья». Но есть у нас перья вовсе не бойкие, но отвратительные. И

они тоже (да еще как!) свищут с польскими соловьями в унисон, но поляки их даже и не направляют; все делается бескорыстно, не ведая что творят. Тут просто злоба, обманутые надежды и потерпевшее самолюбие. Такова статья «Биржевых Ведомостей» (№ 257) о г. Иловайском; хоть бы написать-то сумели, а то ведь так против себя и валяют!

Всем известно, что наш ученый, г. Иловайский, был арестован и оскорблен в Галиции. Проезжая с ученою целью Галицию, он обратился, по ошибке, к одному польскому ксендзу с просьбою указать ему местные древности. Потом он уже нашел русского священника, но злобный ксендз тотчас же донес на него, под предлогом, что это русский панславист, пропагатор и агитатор. Г-на Иловайского арестовали безо всякой церемонии, обыскивали, возили из тюрьмы в тюрьму и, наконец-то, заступничеством одного местного ученого, его препроводили до русской границы. У нас это тотчас же разгласилось: «Московские Ведомости» поместили статью. Заговорили наши газеты, но многие без особого жару, а просто как о курьезе. Факт оскорбления русского ученого, ни за что, ни про что, показался, кажется, всем обыкновенным фактом. Сам г. Иловайский напечатал в «Московских Ведомостях» тоже несколько строк на статьи враждебных газет, кротких строк, вялых и сонных. Но зато наши биржевики, которым вся Россия представляется лишь с точки зренья своего кармана и которым до России ровно никакого нет дела, услужили ей удивительную услугу. Вот эта статья «Биржевых Ведомостей»:

...«Что такое начудил г. Иловайский в Галиции? Какую это он затеял там пропаганду?

«Неужели несчастия, переживаемые теперь Россией, недостаточны еще для того, чтобы выгнать дурь из головы наших закорузлых панславистов, и неужели после того, что происходит теперь у всех на глазах, у них хватает духа продолжать юродство и скоморошество с этой всеславянской чепухой, приготовляющей для нас неисчислимые государственные бедствия и всем нам давно уже опротивевшей?

Пока наши отупевшие от ничего-неделанья панслависты ограничивались пересылкой всеславянских колоколов это ни до кого не касалось, и они могли забавляться этим сколько угодно, но когда они вместе с колоколами начинают посылать туда своих пономарей для благовеста — дело получает уже совсем иное значение.

«Кто же призвал и кто уполномочил г. Иловайского на его панславистскую пропаганду?

«Понимает он или не понимает, к каким она может привести последствиям, в особенности теперь, в настоящую минуту? Вы извергаете, господа, ругательства на Клапку за то, что тот подстрекает мадьяр на пособничество туркам, — а что же делаете вы сами, что делает г. Иловайский, под видом изучения славянских древностей? Что, вам мало еще того зла, которое породило ваше прошлогоднее юродство? Чего вы еще хотите? Какую еще новую кашу вы заварить желаете? Чтобы бросить камень в воду, вас достанет на это, мы это хорошо знаем, но вы должны помнить также, что камни, вами бросаемые, приходится иногда вытаскивать всеми народными силами, добывать их ценою кровавых жертв и народного истощения.

«Перестаньте же дурачиться: на все есть свое время. Если до сих пор во всех благоразумных людях вы возбуждали к себе только насмешку, то теперь к вам не иначе будут относиться, как с негодованием».

Эти люди говорят о негодовании! Послушайте, **как смели** вы написать, не зная дела, так утвердительно, на всю Россию и на всю Европу (ибо ваша статья имела в Европе **свое** значение), — как смели вы написать про г. Иловайского: «кто же призвал и кто уполномочил г. Иловайского на его панславистскую пропаганду?» И потом, после смешного сравнения г. Иловайского с Клапкой: «а что же делаете вы сами, что делает г. Иловайский, **под видом изучения славянских древностей?»** Как смели вы написать об этом так **утвердительно,** после того как **совершенно знаете,** что все это неправда? Неужто вы думаете, что вам позволят предавать Россию. Вы спрашиваете о г. Иловай-

ском: «Понимает он или не понимает», а я вас самого спрошу, г. публицист: понимаете ли вы, или не понимаете, что вы наделали! Ведь в Австрии не спросят: какой человек это писал, умный или неумный, образованный или необразованный, знает он хоть что-нибудь в панславизме или ничего не знает и никогда ничего не читал об нем? Ведь в Австрии прямо скажут: «стало быть, правда, что Россия посылает агитаторов? Если б не правда была, как могла бы **так утвердительно,** с таким жаром и так укоризненно обращаться к панславистам большая петербургская, ежедневная, независимая газета, в высшей степени подтверждающая факт рассылки эмиссаров для агитаторства? Ведь писавший это сам русский, скажут они, его бы остановил патриотизм, наконец, и побудил бы скрыть преступленье. Но он не мог скрыть истину, потому что негодование патриота вылилось наружу на панславистов, готовящих, стало быть, действительно, страшные бедствия России, своей отчаянной пропагандой и агитацией в Австрии и в славянских землях. Стало быть, нам нечего извиняться за арест какого-то там Иловайского, напротив, надо усилить аресты и всех русских в Австрии держать впредь под полицейским надзором. Не нам просить извинения, а русское правительство должно просить у нас извинения за то, что так открыто позволяет у себя деятельность зловредных политических, направленных против Австрии, обществ, а к ним пропускает поминутно массами пропагаторов и агитаторов, бунтующих австрийских славян против законного правительства».

Это несомненно скажут в Австрии и статью вашу несомненно примут к сведению в этом самом смысле, г. публицист. Что же это, не предательство, как вы думаете? Не предаете вы интересы России полякам и австрийцам? Не поддерживаете вы политическую смуту и не служите ей? Ведь вы знаете **наверное, вполне, в точности**, что никаких эмиссаров не посылалось никем никогда, как же вы смели написать про г. Иловайского, что он ездил сеять смуту **под видом изучения славянских древностей?** Есть ли кто в России, кто вам

в этом поверит? Между тем, вы выражаетесь об этом деле так утвердительно, как будто знаете его, как свои пять пальцев. Кто же сеет смуту?

Теперь о другом: утолив вашу злобу, написав заведомую неправду, вы позволяете еще себе надеяться, после вашего-то поступка столь явного предательства русских интересов старо-полякам и австрийцам, и всякой бесконечной и вечно агитирующей против нас европейской швали, — на сочувствие к вам русских читателей? Неужели вы так низко об них думаете?

И что за тон? Что за трепетание, что за принижение перед Австрией! «Изволит, дескать, осердиться!» У Гоголя атаман говорит казакам: «милость чужого короля, да и не короля, а милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства». Это атаман говорит про предателей. Неужели вам хочется, чтобы и русские, в трепете животного страха за свои интересы и деньги, склонялись точно так же перед каким-нибудь желтым чоботом? Напротив, не лучшая ли наша политика с Австрией, именно теперь, именно в эту минуту, — политика высшего общественного национального достоинства, а не та, которую вы желаете. Ведь чем более мы выкажем принижения, которого вы так желаете, тем более и в той же степени укрепим и усилим ее домогательства. Да и чего нам бояться Австрии, она никогда не в силах будет извлечь против нас свой меч, если б и захотела того. Напротив, именно теперь настала пора для политики прямой и откровенной, для того, чтобы не вышло потом, при окончании войны, печальных недоразумений. Нам нечего давать на себя векселя. Точно так же мы должны смотреть и на Англию. Они должны понять, по крайней мере, что мы их не можем бояться, и что мы, напротив, в силах им сделать больше зла, чем они нам. Это они должны знать, между тем они об нас имеют ложные сведения, укрепляемые вот именно такими выходками, как «Биржевых Ведомостей». Не в Австрии ли поддерживалось летом убеждение, что сила России была мираж, всех обма-

нувший, и что впредь нельзя считать уже Россию сильной военной державой. Вот тогда-то и возрос ее тон. Не в Англии ли были убеждены, тоже в высших сферах, что 10.000 человек английского войска, высаженные в Трапезунде, порешили бы навсегда всю нашу **задачу** на Востоке и на Кавказе. Мы-то их знаем, а они-то нас, стало быть, не знают. Но плохая услуга России предавать ее интересы недругам нашим и представлять ее в трусливом и приниженном виде, тогда как этого нет нисколько и все ложь.

НОЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Что значит слово «стрюцкие»?

В два года издания моего «Дневника» я, раза два-три, употребил малоизвестное слово «стрюцкие» и получил несколько запросов из Москвы и из губерний: что значит слово «стрюцкие»? Извиняюсь, что не ответил никому до сих пор: все хотел как-нибудь, между строчками, ответить в «Дневнике». Теперь, заканчивая «Дневник», отведу несколько строк и непонятному петербургскому словцу, и если начинаю с этой мелочи первую страницу ноябрьского выпуска, то именно потому, что, откладывая на последнюю страницу, как прежде делывал, почти всегда не находил свободного места для «стрюцких» из-за других тем и каждый раз приходилось откладывать объяснение опять до следующего выпуска.

Слово «стрюцкий, стрюцкие» есть слово простонародное, употребляющееся единственно в простом народе и, кажется, только в Петербурге. Так что это слово, кажется, и изобретено в Петербурге. Пишу: **кажется,** потому что сколько ни расспрашивал людей «компетентных», не мог ни от кого добиться: откуда оно взялось, почему так сложились звуки его, употребляется ли оно хоть где-нибудь в России кроме Петербурга и, наконец, — действительно ли в Петербурге оно изоб-

ретено? Что до меня, то мне опять-таки «кажется» (утвердительнее не могу выразиться), что слово это есть слово чисто петербургское и изобретено собственно петербургским простонародьем, но кем, когда, давно ли? — не знаю. Означает же оно, по неоднократным расспросам моим у народа, и сколько я понял, следующее:

«Стрюцкий» — есть человек пустой, дрянной и ничтожный. В большинстве случаев, а может быть и всегда — пьяница, пропоица, потерянный человек. Кажется, впрочем, стрюцким мог бы быть назван, в иных случаях, и не пьяница. Но главные свойства этого пустого и дрянного пьянчужки, заслужившие ему особое наименованье, выдумку целого нового слова, — это, во-первых, пустоголовость, особого рода вздорность, безмозглость, неосновательность. Это крикливая ничтожность. Кричат вечером в праздник на улице пьяные; слышен спор, исступленный зов городового; в сбившейся в кучу толпе ясно отличается чей-то протестующий, взывающий, жалующийся и угрожающий голос. Много напускного гнева. Вы подходите, осведомляетесь, что такое? В ответ смеются, махают рукой и отходят: «пустяки, стрюцкие!» Слово «стрюцкие» произносится при этом с пренебрежением, с презрением. Всегда с презрением, и если б действительно этот кричащий человек был прибит или обижен, то и тут, кажется, не нашел бы сочувствия, а только презрение, потому что он лишь «стрюцкий», то есть все в нем вздор, и что кричит он — и то все вздор, и что прибили его — и то вздор, самый «нестоющий человек», какой есть. Прибавлю, что стрюцкие большею частью в худом платье, одеты не по сезону, в прорванных сапогах. Прибавлю тоже, что, «кажется», стрюцким обзывается только тот, кто в «немецком» платье. Впрочем, не ручаюсь, но кажется, это так.

Второй существенный признак пьяницы-пропоицы, называемого «стрюцким», кроме вздорности и неосновательности его, — есть недостаточно-определенное положение его в обществе. Мне думается, что человек, имеющий деньги, дом или какое-нибудь, имение,

мало того, имеющий чуть-чуть твердое и определенное место, хотя бы и рабочим на фабрике, не мог бы быть назван «стрюцким». Но если у него есть и заведение, лавка, лавочка или что-нибудь, но ведет он все это неосновательно, как-нибудь, без расчета, то он может попасть в стрюцкие. Итак, «стрюцкий» это ничего не стоящий, не могущий нигде ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающий человек, в пьяном виде часто рисующийся фанфарон, крикун, часто обиженный и всего чаще потому, что сам любит быть обиженным, призыватель городового, караула, властей — и все вместе: пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий презрительный смех: «Э, пустое, стрюцкий».

Повторяю, мне кажется, это слово есть исключительно петербургское. Но употребляется ли в других местах России — не знаю. В простонародьи в Петербурге оно очень распространено. В Петербурге очень много наплывного народа из губерний, а потому довольно вероятно, что словцо может перейти и в другие губернии, если еще не перешло. Войдет, может быть, и в литературу: кажется, и другие писатели кроме меня его употребляли. В этом слове для литератора привлекательна сила того оттенка презрения, с которым народ обзывает этим словом именно только вздорных, пустоголовых, кричащих, неосновательных, рисующихся в дрянном гневе своем дрянных людишек. Таких людишек много ведь и в интеллигентных кругах, и в высших кругах — не правда ли? Только не всегда пьяниц и не в прорванных сапогах, но в этом часто все и различие. Как удержаться и не обозвать иногда и этих высших «стрюцкими», благо слово готово и соблазнительно тем оттенком презрения, с которым выговаривает его народ?

II

История глагола «стушеваться»

Кстати, по поводу происхождения и употребления новых слов. В литературе нашей есть одно слово: «сту-

шеваться», всеми употребляемое, хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее; при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось никем. Теперь же его можно найти не только у литераторов, у беллетристов, во всех смыслах, с самого шутливого и до серьезнейшего, но можно найти и в научных трактатах, в диссертациях, в философских книгах: мало того, можно найти в деловых департаментских бумагах, в рапортах, в отчетах, в приказах даже: всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И, однако, во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек — я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз — я. Появилось это слово в печати, в первый раз, 1 января 1846 г. в «Отечественных Записках», в повести моей: «Двойник, приключения господина Голядкина».

Первая повесть моя, «Бедные люди», была начата мною в 1844 г., была окончена, стала известна Белинскому и была принята Некрасовым для его альманаха «Петербургский Сборник» в 1845 г. Вышел этот альманах в конце 45-го года. Но в этом же 1845 году я и начал летом, уже после знакомства с Белинским, эту вторую мою повесть: «Двойник, приключения господина Голядкина». Белинский, с самого начала осени 45 года, очень интересовался этой новой моей работой. Он повестил об ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту новую повесть «Двойник» я, по окончании, дам ему в «Отечественные Записки», для первых месяцев наступающего 46-го года. Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет пятнадцать спустя, для тогдашнего «Общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что эта

вещь совсем неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46 году этой формы я не нашел и повести не осилил.

Тем не менее, кажется, в начале декабря 45-го года, Белинский настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей». Ну вот тут-то, на этом чтении, и употреблено было мною, в первый раз, слово «стушеваться», столь мигом распространившееся. Повесть все забыли, она и стоит того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили в литературе.

Слово «стушеваться» значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, **на нет.** Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю, с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, **на нет.** Должно быть, в «Двойнике» это словцо было мною употреблено удачно в тех первых же трех главах, которые я прочел у Белинского, при изображении того, как умел кстати исчезнуть со сцены один досадный и хитренький человечек (или вроде того, я забыл). Потому так говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумения в слушателях, напротив, всеми было вдруг понято и отмечено. Белинский прервал меня именно с тем, чтоб похвалить выражение. Все слушавшие тогда(все и теперь живы) тоже похвалили. Очень помню, что похвалил и Иван Сергеевич Тургенев (он верно теперь позабыл). Хвалил потом очень и Андрей Александрович Краевский. Кроме этих существуют и еще лица, которые, я ду-

маю, могут припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новым словцом. Но принялось оно и вошло в литературу не сейчас, а весьма постепенно и неприметно. Помню, что выйдя, в 1854 г., в Сибири из острога, я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу («Записки Охотника», едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом, и вынес упоительное впечатление. Правда, тогда надо мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода!), — итак, начав перечитывать, я был даже удивлен, как часто стало мне встречаться слово «стушеваться». Потом, в шестидесятых годах, оно уже совершенно освоилось в литературе, а теперь, повторяю, я даже в деловых бумагах, публикуемых в газетах, его встречаю, и даже в ученых диссертациях. И употребляется оно именно в том смысле, в котором я в первый раз его употребил.

Впрочем, если я и употребил его в первый раз в литературе, то изобрел его все же не я. Словцо это изобрелось в том классе Главного Инженерного Училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками. Может быть, и я участвовал в изобретении, не помню. Оно само как-то выдумалось и само ввелось. Во всех шести классах Училища мы должны были чертить разные планы, фортификационные, строительные, военно-архитектурные. Умение хорошо начертить план самому, своими руками, требовалось строго от каждого из нас, так что и неимевшие охоты к рисованию поневоле должны были стараться во что бы то ни стало достигнуть известного в этом искусства. Баллы, выставляемые за рисунки планов, шли в общий счет и влияли на величину среднего балла. Вы могли выходить из верхнего офицерского класса на службу превосходным математиком, фортификатором, инженером, но если представленные вами рисунки были плоховаты, то выставляемый за них балл, идя в общий расчет, до того мог уменьшить вам средний балл, что вы могли лишиться весьма значительных льгот при выпуске, например, следующего чина, а потому все старались научиться

рисовать хорошо. Все планы чертились и оттушевывались тушью, все старались добиться, между прочим, уменья хорошо стушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое и на нет: хорошая стушевка придавала рисунку щеголеватость. И вдруг у нас в классе заговорили: «где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» — Или, например, разговаривают двое товарищей, одному надо заниматься: «ну, — говорит один, садящийся за книги, другому, — ты теперь стушуйся». Или говорит, например, верхнеклассник новопоступившему из низшего класса: « я вас давеча звал, куда вы изволили стушеваться?» Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно с стушевания, то есть с уничтожения, с перехода с темного **на нет.** Очень помню, что словцо это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил Училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть.

Написал я столь серьезно такое пространное изложение истории такого неважного словца — хотя бы для будущего ученого собирателя русского словаря, для какого-нибудь будущего Даля, и если я читателям теперь надоел, то зато будущий Даль меня поблагодарит. Ну, так пусть для него одного и написано. Если же хотите, то, **для ясности,** покаюсь, вполне: мне в продолжение всей моей литературной деятельности **всего более** нравилось в ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и когда я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное впечатление; ну, теперь, стало быть, вы поймете, почему я нашел возможным описать такие пустяки даже в особой статейке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Лакейство или деликатность?

Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа, — хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе. О, дома, про себя и между собою, мы свое возьмем, дома весь европеизм по боку — взять лишь, походя, наши отношения семейные, гражданские, чести, долга, в самом огромном большинстве случаев. Да и кто из проповедующих «европейские» идеи серьезно у нас в них верит? Конечно, лишь люди честные и при этом непременно добрые (так что и веряг-то лишь по доброте души), но ведь много ль у нас таких-то? Если уж все говорить, так ведь у нас, может быть, нет ни одного европейца, потому что мы и неспособны быть европейцами. Умы же передовые, биржевые и всячески руководящие берут у нас с европейских идей лишь оброк, и я думаю, что это у нас так и есть, повсеместно. Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят в европейские идеи, потому что и верить-то не во что, ибо никогда и ничто на свете не отличалось такою неясностью, туманностью, неопределенностью и неопределимостью как тот **«цикл идей»**, который мы нажили себе в двухсотлетний период нашего европейничания, – а в сущности не цикл, а хаос обрывков чувств, чужих непонятных мыслей, чужих выводов и чужих привычек, но особенно слов, слов и слов — самых еропейских и либеральных, конечно, но для нас все же слов, и только слов.

Объяснить все это прямо попугайством нельзя. Тоже и лакейством мысли нельзя, русским лакейством мысли перед Европой. Лакейства мысли у нас много и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы все же не лакейство, а скорее наша русская, врожденная нам деликатность перед Европой. Скажут,

что ведь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во многих случаях — да, но нельзя сказать, чтоб всегда. (Я, разумеется, об руководящих плутах, о которых заметил выше, и не говорю: этим европейцам до Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в мутной воде рыбу ловят, все два века ловили).

Вот как говорит, например, англичанин Гладстон о теперешней русской войне с Турцией:

«Что бы ни говорили о некоторых других главах русской истории, освобождением многих миллионов порабощенных народов от жестокого и унизительного ига, Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история, услугу, которая никогда не изгладится из благодарной памяти народов».

Как вы думаете, откровенно спрашивая, мог ли бы произнесть такие слова русский европеец? Да никогда в жизни! Он проглотил бы язык свой прежде, чем это произнести; он от деликатности не то что перед Европой, а перед самим собой покраснеет, если только услышит это, или прочтет по-русски и у русского. Помилуйте, да как мы смеем... в калашный ряд!.. И «**для всего человечества**» — это мы-то, русские! Да мы еще рылом не вышли для этого, у нас еще рожа крива, чтоб «освобождать человечество». И при этом все нелиберальные такие мысли: «Россия освобождает народы» — какая нелиберальная мысль!

Вот искреннее мнение русского европейца чистого типа, и он отрубит себе сначала пальцы, чем напишет то же, что и Гладстон. «Гладстону-де можно, пожалуй, так сочинять; он или не понимает ничего в России, или себе на уме сочиняет, для дальнейших целей» — вот что думает европеец. А иные из них, подобрее и погорячее, тут же, пожалуй, прибавят про себя не без гордости: «а ведь мы, русские европейцы, пожалуй, что и либеральнее европейских-то европейцев, дальше пошли; кто у нас из трезвых умов заикнется теперь о каком-то «освобождении народов?» Вот ретроградство-то! И Гладстон такие вещи говорит не стыдясь!»

Как это все назвать, господа? Лакейством или деликатностью перед Европою?

Я все стою на том, что в европейском периоде нашей истории огромную роль играла деликатность. Ведь, из этих европейцев наших так много людей честнейших, смелых, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и не понимаемой, может быть, самим-то рыцарем, потому что все же это европейская для него тарабарщина, но все же чести, — людей, которые лично себе на ногу наступить не позволят. Ну, как же прямо так-таки и назвать их лакеями? Нет, деликатность заела нас, а не лакейство. Опять-таки, разумеется, перед Европой деликатность: у себя дома мы свое наверстаем.

Дамы, восторженно подносившие туркам конфекты и сигары, разумеется, делали это тоже из деликатности: «как, дескать, мы мило, нежно, мягко, гуманно, европейски просвещены!» Теперь этих дам вразумили отчасти некоторые грубые люди, но прежде, до вразумления, — ну, положим, на другой день после того поезда турок, в который бросали букетами и конфектами, — что если б прибыл другой поезд с турками же, а в нем тот самый баши-бузук, о котором писали, что особенно отличается умением разрывать с одного маху, схватив за обе ножки, грудного ребенка на две части, а у матери тут же выкроить из спины ремень? Да, я думаю, эти дамы встретили бы его визгом восторга, готовы бы были отдать ему не только конфекты, но что-нибудь и получше конфект, а потом, пожалуй, завели бы речь в дамском своем комитете о стипендии имени его в местной гимназии. О, поверьте, что деликатность до всего может у нас дойти, и предположение это вовсе не фантастическое. Смотря на себя в зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюбились в себя: «какие мы гуманные, какие мы либеральные милочки!». И неужели вы думаете, что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тот высокомерный взгляд, который бросает иной европеец теперь на народ наш и на движение его, отрицая во всем народе нашем всякую мысль и движение, «кроме глупо-кликушечьих выходок из тысячей простонародья

какого-нибудь одного дурака», неужели такой взгляд, возможность такого взгляда, обратившаяся в действительность, не стоит изображенной выше фантастической картинки!

Деликатность перед Европой с нами повсеместно. Турецкие пленные потребовали белого хлеба, и им явился белый хлеб. Турецкие пленные отказались работать. Князь Мещерский — очевидец, повествует в своем «Дневнике» с Кавказа, что —

«Пленные наши выехали из Тифлиса. Их хотели везти на перекладных, но они взбунтовались и изволили объявить, что не поедут, ибо не привыкли к русским телегам. Вследствие этого, им поданы были почтовые кареты и рессорные экипажи, с шестернями лошадей к каждому экипажу. На это они изволили заявить свое удовольствие и, вследствие огромного числа забранных под них лошадей, бедные проезжающие по Военно-Грузинской дороге будут сидеть трое суток без лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему их, назначено 50 коп. суточных, и посадили его не в карету, а как сажают прислугу в омнибус! Все это гуманность!» («Моск. Ведом.» № 273).

То есть не гуманность, а именно вот та самая деликатность перед европейским мнением о нас, чуткость, чувствительность: «Европа, дескать, на нас глядит, надо, стало быть, в полном мундире быть и пашам кареты подать».

«Московские Ведомости» далее, в другом своем, 282 номере, передают о целом вопле голосов в Москве, когда увидели москвичи все те неслыханные удобства, с которыми перевозят у нас пленных турок:

«Все пленные рядовые были удобно размещены в вагонах третьего; офицеры — второго класса, а паша занял купе первоклассного вагона. Зачем для них такие удобства? — слышалось в публике. — Наших-то гренадер, небось, вывезли из Москвы в лошадиных вагонах, а для них отпускают особый пассажирский поезд

— Что гренадеры, — замечает в толпе какой-то купчик, — вот даже раненых солдатиков возили в товарных вагонах и соломки под них не успели подкла-

дывать. А паша-то какой откормленный, что твой боров, в товарный бы его, пусть бы с него жиру немного посбавилось.

— Там-то раненых наших прирезывали, жилы из них тянули, медленным огнем жгли, а теперь их холят за то...

Такие голоса (замечают далее «Моск. Вед.») были не единичными, а ими выражалось общее в народе мнение о том, что больно видеть, как баши-бузуки и вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами, пользуется такими большими удобствами сравнительно с нашими воинами»...

То есть мы, собственно, ничего тут особого не видим: деликатность или, так сказать, мундир деликатности перед европейским мнением — вот и все тут; но ведь это, так сказать, два века у нас продолжается, так уж пора попривыкнуть.

Дошло до анекдотов, то вот и еще анекдот. Отметил я его в «Петербургской Газете», а та взяла из письма господина В. Крестовского, писанного с театра военных действий, но куда — не знаю. Откудова заимствовано «Петербургской Газетой», тоже не ведаю. Говорится так:

«В письме г. Крестовского приводится один комический факт:

«Около свиты появился какой-то англичанин в пробковом шлеме и статском пальто горохового цвета. Говорят, что он член парламента, пользующийся вакационным временем для составления корреспонденций «с места военных действий» в одну из больших лондонских газет («Times»); другие же уверяют, что он просто любитель, а третьи, что он друг России. Пускай все это так, но нельзя не заметить, что этот «друг России» ведет себя несколько эксцентрично: сидит, например, в присутствии великого князя в то время, когда стоят все, не исключая даже и его высочества; за обедом встает, когда ему вздумается, из-за стола, где сидит великий князь, и в этот день обратился даже к одному знакомому офицеру с предложением затянуть на него в рукава гороховое пальто. Офицер окинул его

с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог одеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Англичанин в ответ слегка приложился рукою к своему пробковому шлему».

«Петербургская Газета» назвала этот факт комическим. К сожалению, я ровно ничего в нем не вижу комического, а напротив, очень много досадного и портящего кровь. К тому же, в нас как бы укрепилась с детства вера (из романов и из французских водевилей, я думаю), что всякий англичанин чудак и эксцентрик. Но что такое: чудак? Не всегда же дурак, или такой уж наивный человек, который и догадаться не может, что на свете не все же ведь одни и те же порядки, как где-то там у него в углу. Англичане народ очень, напротив, умный и весьма широкого взгляда. Как мореплаватели, да еще просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядков во всех странах мира. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они открыли юмор, обозначили его особым словом и растолковали его человечеству. Такому ли человеку, да еще члену парламента, не знать, где вставать, где сидеть? Да нет страны, в которой этикет имел бы большее приложение как в Англии. Придворный, например, английский этикет есть самый сложный и утонченный этикет в мире. Если этот англичанин член парламента, то, конечно, слишком мог научиться этикету из одного того уже, как один парламент — нижний, сносится с другим — высшим. И именно в том смысле: кто перед кем может сидеть, а кто перед кем обязан вставать. Если он при этом и член высшего общества, то опять-таки нигде нет такого этикета, как на приемах, обедах, балах английской аристократии во время ихнего лондонского сезона. Нет, тут совсем другое, если судить по тому, как изложен анекдот. Тут английская гордость, но не просто гордость, а с **заносчивым вызовом**. Этот «друг России» не может быть большим ее другом. Он сидит, смотрит на русских офицеров и думает: «Господа, я знаю, что вы львы сердцем, вы предпринимаете невозможное и исполняете его.

Страха перед врагом в нас нет, вы герои, вы Баярды все до единого, и чувство чести вам знакомо вполне. Не могу же я не согласиться с тем, что своими глазами вижу. Тем не менее, я англичанин, а вы только русские, я европеец, а перед Европой вы обязаны «деликатностью». Какие бы вы львиные сердца ни носили в себе, а я все-таки высшего типа человек, чем вы. И мне это очень приятно, особенно приятно изучать «деликатность» вашу передо мной, **врожденную** и **неотразимую,** без которой русский не может смотреть на иностранца, тем более на такого иностранца как я. Вы думаете, что это все мелочи; да мелочи-то и утешают меня, весьма забавляют, я поехал прогуляться, я слышал, что вы герои, и приехал посмотреть на вас, но ворочусь все-таки с убеждением, что, как сын Старой Англии (тут у него дрожит от гордости сердце), я все-таки на свете первый человек, а вы всего лишь второстепенные...»

Всего любопытнее в вышеприведенном факте последние строки:

«Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог одеть пальто. **Конечно, более ничего и не оставалось сделать».**

Как так: «конечно»? Почему более **ничего** не оставалось сделать? Напротив, именно можно было сделать совершенно другое, обратное, противоположное: можно было «окинуть его с ног до головы несколько удивленным взглядом, улыбнуться слегка, пожать плечами» и — отойти мимо, так-таки и не дотронувшись до пальто, — вот что можно было сделать. Неужели нельзя было заметить, что просвещенный мореплаватель фокусничает, что тончайший знаток этикета ловит минуту удовлетворения мелочной своей гордости? То-то и есть, что нельзя было, может быть, спохватиться в тот миг, а помешала именно наша просвещенная «деликатность» — не перед англичанином этим деликатность, не перед членом этим парламента в каком-то пробковом шлеме (какой такой пробковый шлем?) — а перед Европой деликатность, перед долгом европейского просвещения «деликатность», в которой мы взро-

сли, погрязли до потери самостоятельной личности и из которой долго нам не выкарабкаться.

Подвоз патронов в турецкую армию из Англии и Америки колоссальный; достоверно теперь вполне, что турецкий солдат в Плевно тратит в день иной раз по 500 патронов; ни средств, ни денег не могло быть у турок, чтобы так вооружить армию. Присутствие англичан и их денег в теперешней войне несомненно. Ихние пароходы доставляют оружие и все необходимое. А у нас иные газеты даже кричат из «деликатности»: «Ах, не говорите этого, ах, не подымайте вы только этого, пусть мы не видим, пусть мы не слышим, а то просвещенные мореплаватели рассердятся и тогда...»

Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему о «деликатности».

Даже если есть какие-нибудь там вексельки и векселечки, выданные нами Европе, в виде разных обещаний, еще перед тем как перешли мы Барбошский мост, то несомненно и это должно было произойти из «деликатности» нашей, из деликатности перед Европой и перед обаянием ее. Но о «деликатности» пока оставим. Я лишь припомню, что в начале главы, начав о деликатности, я прибавил: «что ведь это всего только перед Европой, а у себя-то мы всегда свое наверстаем». Мне хочется, именно, пользуясь случаем, указать, как иногда мы у себя наверстать умеем, реванш возьмем...

II

Самый лакейский случай, какой только может быть

Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования. То есть не все, это первым делом надо заявить, даже далеко не половина, а гораздо меньше, — но все же вознегодовавших было значительное число и раздались голоса. Голоса корреспондентов из армии и потом тотчас же голоса в нашей прессе, особенно в петербургской. Это были

горячие голоса, убежденные, полные самого добродетельного негодования...

Все дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, раздавленных и измученных. Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду». Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь — вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть, — это у за веру-то угнетенных! «Да как они смеют! — загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. — И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»

И поднялись голоса. Послушайте, господа, как вы думаете: вдруг вы получаете или фальшивую или ложно понятую вами телеграмму о том, что близкий вам человек, друг или брат ваш, лежит больной, где-то там ограблен, или под вагон попал, или что-нибудь в этом роде. Вы бросаете все дела ваши и мчитесь к несчастному брату, — и вдруг ничего не бывало: вы встречаете человека, который здоровее вас, сидит за столом и обедает, с криком зовет вас за стол и хохочет о фальшивой вашей тревоге, о вышедшем qui pro quo. Любите вы иль даже не очень любите этого человека, но неужели вы рассердитесь на него за то, что его не ограбили и что он не попал под вагон? Главное за то, что у него такие красные щеки, и что он так исправно

ест обед и пьет вино? Ведь не правда ли, что нет? Напротив, ведь вы порадоваться еще должны, что он жив и здоровее вашего. Ну, конечно, по человечеству немножко и рассердитесь, — но ведь не за то же, что ему не перерезало колесами ноги. Ведь не пойдете же вы сейчас из-за стола писать об нем корреспонденции и анекдоты, чернить его характер, подмечать невыгодные черты... Ну, а ведь про болгар это делали. «У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.

Я только с той стороны говорю, что нашу «деликатность» перед Европой и наш просвещенный европеизм мы таки умеем иногда наверстать по-своему у себя дома, где Европа не видит уже нас и не смотрит, да и по-русски не понимает. А Болгария — это ведь **дома.** Мы их освобождать пришли, значит, все равно что **к себе** пришли, они **наши.** У него там сад и имение, так ведь это имение все равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но все же он должен **чувствовать** и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел — все, что у него есть, это все равно, что **я ему подарил.** Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает — какая обидная неприятность, не правда ли?

А какое лакейство вместо просвещенной-то деликатности, не правда ли? И какой смешной случай! Это самое комическое из наверстаний **своего** «у себя дома» за тяготу неловкого мундира европейской деликатности, в котором мы щеголяем перед Европой. Самый лакейский случай случился с этими пылкими господами и застал **довольно многих** из нас совсем врасплох.

Это уже посерьезнее, чем врасплох подать пальто англичанину.

Потом все обнаружилось, и истина открылась многим из вознегодовавших, хотя не всем, до сих пор не всем. Обнаружилось, во-первых, что болгарин ничем не виноват в том, что он трудолюбив, и что земля его родит во стократ. Во-вторых, в том, что и «косился» — он не виноват. Взять уж одно то, что он четыре столетия — раб, и, встречая новых господ, не верит, что они ему братья, а верит только, что они ему новые господа, да сверх того еще боится прежних господ, и тяжело про себя думает: «А ну как те опять вернутся да узнают, что я хлеб-соль подносил?» Ну, вот от этих-то внутренних вопросов он и косился — и ведь прав был, вполне угадал, бедняжка: после того как мы, совершив наш первый молодецкий натиск за Балканы, вдруг отретировались, — пришли ведь к ним опять турки и что только им от них было — теперь уже достояние всемирной истории! Эти красивые домики, эти посевы, сады, скот — все это было разграблено, обращено в пепел и стерто с лица земли. Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысяч истреблялись болгары огнем и мечом, дети их разрывались на части и умирали в муках, обесчещенные жены и дочери были или избиты после позора, или уведены в плен на продажу, а мужья, — вот те самые, которые встречали русских, да сверх того и те самые, которые никогда не встречали русских, но к которым **могли** когда-нибудь притти русские, все они поплатились за русских на виселицах и на кострах. Их прибивали мучившие их скоты на ночь за уши гвоздями к забору, а на утро вешали всех до единого, заставляя одного из них вешать прочих, и он, повесив десятка два виновных, кончал тем, что сам обязан был повеситься в заключение при общем смехе мучивших их, сладострастных к мучениям скотов, называемых турецкою нацией, и которыми столь восхищались потом иные из деликатнейших барынь наших...

NB. Кстати, еще недавно, уже в половине ноября, писали из Пиргоса о новых зверствах этих извергов. Когда, во время горячей бывшей там стычки, турки временно оттеснили наших так, что мы не успели захватить наших раненых солдат и офицеров, и когда потом в тот же день к вечеру опять наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров обкраденными, голыми, с отрезанными носами, ушами, губами, с вырезанными животами, и, наконец, обгорелыми в сожженных турками скирдах соломы и хлеба куда они предварительно перенесли живых наших раненых. Репрессалии, конечно, жестокая вещь, тем более, что в сущности ни к чему не ведут, как и сказал уже я раз в одном из предыдущих выпусков «Дневника», но строгость с начальством этих скотов была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслух и даже на всю Европу — (пруссаки наверно бы сделали так, потому что они даже с французами так точно делали по причинам в десять раз меньше уважительным, чем те, которые имеем мы против воюющих с нами скотов), — что если усмотрятся совершённые зверства, то ближайшие начальники тех турок, которые совершили зверства, в случае взятия их в плен, будут судимы на месте военным судом и подвержены смертной казни расстрелянием. Это, может быть, и имело бы некоторое влияние на офицеров и пашей турецких. (NB. Мне кажется, всегда можно бы было узнать, сейчас или потом, кто из турецких начальников командовал, например, атакой у Пиргоса). Такой сюрприз, вместо рессорных экипажей, может быть, вразумил бы многих из них. Теперь же этот самый «начальник», попавшись в плен и видя, как его встречают после зверств его, прямо воображает, что он безмерно выше «поганого русского». Европейской деликатности нашей и страху нашему перед Европой, поверьте, этот турок никогда не поверит, да и не поймет этого вовсе, да и не вообразит этой причины вовсе. Деликатный страх перед Европой есть чисто русское дело и изобретение и не может быть понят никогда и никем. А потому, «если ты так кланяешься мне, — рассуждает турецкий началь-

ник, — после того как я, может быть, брату твоему родному вчера еще нос отрезать позволил, то, значит, ты сам чувствуешь себя передо мною низшим, а меня высшим перед собою человеком. Но точно так и должно быть, по воле Аллаха, и нет тут ничего удивительного!» Вот что должен думать про себя пленный турецкий паша и непременно так думает.

Таким образом, когда вознегодовавшие на болгар за то, что они хорошо живут, дожили до печальной с ними развязки, то поневоле поняли, что болгарская жизнь в сущности всего только одна декорация, что все эти домики и садики, и жены, и дети, и несовершеннолетние мальчики и девочки в этих домах, все это в сущности принадлежит турку и берется им, когда он захочет. Он и берет, и в мирное время берет, и во время процветания берет, берет и деньгами и скотами, и женами и девочками, и если сверх того все продолжало оставаться в цветущем виде, то это потому только, что турок не хотел разрушать в конец такую плодородную ниву, имея в виду и впредь почерпать с нее. Напротив, дозволял временем и местами полное процветание, именно для того, чтоб в свое время почерпать и почерпать...

Теперь, конечно, турки рассвирепели и истребляют Болгарию в конец. Они жалеют, что не истребили вовсе. Если мы возьмем Плевну и замедлим двинуться дале, то турки, видя, что, может быть, придется проститься навеки с Болгарией, истребят все, что только можно в ней истребить, пока есть еще время. Замечательны два мнения: у нас утверждают мудрые до сих пор, что без вмешательства русских болгарин жил бы как у Христа за пазухой, и что русские — причина всех его несчастий. А вот известный своими прекрасными и обстоятельными статьями с поля битвы, из нашего лагеря, англичанин Форбес, корреспондент газеты «Daily News», кончил тем, что высказал, наконец, всю свою английскую правду откровенно. Он **искренно** признает,

что турки имели «полное право» истребить все болгарское население к северу от Балкан, в то время, когда русская армия перешла через Дунай. Форбес почти жалеет (политически, конечно), что этого не случилось, и выводит, что болгаре должны быть обязаны вечною благодарностью туркам за то, что те их тогда не прирезали всех поголовно, как баранов. Вспомнив наше русское мнение о «болгарине как у Христа за пазухой» и сопоставив его с мнением Форбеса, можно прямо обратиться к болгарину с таким увещанием: «как же ты после того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно всего не прирезали?» Но странно тут и еще одно, и в глаза бросается, и в истории останется: «неужели, в самом деле, такое право турков может так спокойно и безмятежно признавать столь образованный, как Форбес, член столь просвещенной и великой нации, как Англия? Неужели это последние цветы и плоды английской цивилизации?» Но, заметьте себе, он конечно бы так не выразился, если б вместо болгар дело шло о французах или об итальянцах. Он потому только выразился так, что это были всего только славяне-болгары. Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, кровяное презрение к славянам и славянскому племени! Считаются все равно что за собак! Допускается возможность и разумность прирезать всех до единого, все племя, с женами и детьми. И заметьте еще (это очень важно), это не граф Биконсфильд говорит: тот может выразить такие же разбойничьи и зверские убеждения, принужденный к тому политикой, «английскими интересами», а ведь Форбес — частный человек, не государственный, на которого соблюдение интересов Англии **во что бы то ни стало и чего бы ни стоило** не возложено, да еще человек-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный, по прежним письмам своим. Тут именно, именно причиною какая-то западноевропейская гадливость ко всему, что носит имя славянства. Этих болгар можно заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях! Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, ос-

вободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и станут на ее место? Сознательно, западные люди, конечно, это не могут теперь представить и допустить даже, точно так же как нельзя им представить гнезда клопов — за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут Россия, тут, очевидно, поднята идея совершенно новая, всем на соблазн, на гнев и удивление, тут показалось уже знамя будущего, а так как Россия не «гнездо клопов», как для них болгары, а гигант и сила, не признать которую невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее! Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего...

III

Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать

Кстати, скажу одно **особое** словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира, то есть, стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос. Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что все дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, мало того, что Турецкой империи уже не существует и что Балканский полуостров свободен и живет новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно форме, до последних подробностей, явится эта свобода славян хоть на первый раз, — то есть будет ли это какая-нибудь федерация между освобожденными мелкими племенами (NB. Федерации, кажется, еще очень, очень долго не будет), или явятся небольшие отдельные владения в виде маленьких государств, с призванными из разных владетельных домов государями? Нельзя также пред-

ставить: расширится ли, наконец, в границах своих Сербия, или Австрия тому воспрепятствует, в каком объеме явится Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения станут с новоосвобожденными славянскими народцами, например, румыны, или греки даже, — константинопольские греки и те, другие, афинские греки? Будут ли, наконец, все эти земли и землицы вполне независимы, или будут находиться под покровительством и надзором «европейского концерта держав», в том числе и России (я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия России) — все это невозможно решить заранее в точности, и я не берусь разрешать. Но, однако, возможно и теперь — наверно знать две вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а все славянские племена Балканского полуострова непременно в конце концов освободятся от ига турок и заживут новою, свободною и, может быть, независимою жизнью, и 2) ...Вот это-то второе, что наверно, вернейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось давно высказать.

Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, — у них характер в этом смысле как у всех, — а именно потому, что **такие вещи** на свете иначе и происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении, свою но-

вую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской Империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из всех идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем, — коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну всего русского народа, с царем во главе, поднятую против извергов за освобождение несчастных народностей, — эту войну поняли ли, наконец, славяне теперь, как вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как устроятся — признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощию Европы, которая, опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение наверно существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о

турках станут говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явится, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури, пало, наконец, министерство в Болгарии, и составилось новое из либерального большинства, и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился, наконец, принять портфель президента совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнут хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды

они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себѣ, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия все же всегда будет сознавать, что центр славянского единства — это она, что если живут славяне свободною национальною жизнию, то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставит России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?

Ответ теперь труден и не может быть ясен.

Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширить на счет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относитель-

но славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними, и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекунство и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверчивостью. Все воротятся в родное гнездо. О, конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной матери и освободительнице, и что несомненно и в самом скором времени привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлеченями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и, может быть, еще целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которые они жадно накинутся. После разрешения Славянского вопроса, России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного вопроса. Долго еще не поймут

теперешние славяне, что такое Восточный вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем брать России на себя такую работу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести, наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания — вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному(а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и «выгоднее» ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, все более и более уяснять их себе самой, и все более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.

Будь окончание нынешней войны благополучно — и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Толки о мире. «Константинополь должен быть наш» — возможно ли это? Разные мнения

А про окончание войны все вдруг начали толковать, не только в Европе, но и у нас. Все пустились дебатировать вероятные условия мира. Приятно то, что даже большинство наших политических газет, более или менее, но верно ценит теперь труды, кровь и усилия России, и условия мира предполагает по возможности в размерах этих усилий. Утешительно особенно то, что большинство судящих начинает признавать и самостоятельность России в виду грядущих несомненных европейских вмешательств при заключении мира, и право ее заключить мир сепаратный, личный, не призывая Европы и даже не очень внимая ей, если будет возможно. Участь славян берется тоже в расчет. Толкуют о вознаграждениях, с большим жаром требуют железных турецких мониторов. На присоединение Карса, Эрзерума и на право наше присоединить их к себе многие изъявили полное согласие.

Есть люди, которые, впрочем, до сих пор обижаются даже предположением, что мы что-нибудь смеем присоединить вроде Карса. Зато есть, наконец, и такие, которые толкуют даже о Константинополе, не то что о Карсе, и о том, что Константинополь должен быть наш. Эти толки и рассуждения о мире и об условиях мира будут теперь повторяться неустанно, после каждого крупного нашего военного действия. Мне хочется только заметить, что во всех этих теперешних суждениях наших органов (или почти) кроется как будто какой-то не то что промах, а недосмотр. Именно, все считают Европу... Европой, то есть такой же Европой, как была она с разными варьяциями во все столетие, — то есть те же почти великие державы принимают, то же политическое равновесие имеется в виду и проч. Между тем как Европа с часу на час не та становится теперь,

что была даже назад тому полгода, и даже до того, что за три месяца вперед ручаться теперь невозможно — до того может измениться даже к будущей весне прежний лик ее. Колоссальные роковые текущие факты, которые должны формулироваться и потребовать разрешения, очень, может быть, скоро, берутся в расчет как бы все еще не в тех размерах, в которых они существенно должны предстать перед миром. Даже состав той Европы, которая может вмешаться в наши дела при заключении мира, трудно определить теперь безошибочно. А потому и толковать об условиях мира лишь на прежних данных, недостаточно оценяя того, что все эти прежние данные — двинулись сами с места, текут, улетучиваются, ждут сами новых определений — мне кажется, будет тоже ошибочно... А впрочем, об этом потом. Теперь же, так как уже зашла речь о Константинополе, мне хочется мимоходом отметить одно очень странное и почти неожиданное для меня мнение о ближайших «судьбах Константинополя», выраженное человеком, от которого можно было ожидать совсем другого решения в виду теперешних совершившихся и несомненно имеющих совершиться событий. Николай Яковлевич Данилевский, написавший восемь лет тому назад превосходную книгу: «Россия и Европа», в которой есть лишь одна неясная и не твердая глава, именно о будущей судьбе Константинополя, напечатал недавно в газете «Русский Мир» ряд статей о том же самом предмете. Окончательный вывод его о Константинополе очень оригинален.

Я, впрочем, не буду разбирать во всей подробности.

После превосходных и верных рассуждений, например, о том, что Константинополь, по изгнании турок, отнюдь не может стать вольным городом, вроде, как, например, прежде Краков, не рискуя сделаться гнездом всякой гадости, интриги, убежищем всех заговорщиков всего мира, добычей жидов, спекулянтов и проч., и проч. — Н. Я. Данилевский решает, что Константинополь должен когда-нибудь стать общим городом всех восточных народностей. Все народы будут-де владеть им

на равных основаниях, вместе с русскими, которые тоже будут допущены ко владению им на основаниях равных с славянами. Такое решение, по-моему, удивительно. Какое тут может быть сравнение между русскими и славянами? И кто это будет устанавливать между ними равенство? Как может Россия участвовать во владении Константинополем на **равных** основаниях со славянами, если Россия им неравна во всех отношениях — и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым? Великан Гуливер мог бы, если б захотел, уверять лилипутов, что он им во всех отношениях равен, но ведь это было бы очевидно нелепо. Зачем же напускать на себя нелепость до того, чтоб верить ей самому и насильно? Константинополь должен быть **наш,** завоеван **нами,** русскими, у турок и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать, а мы, конечно, владея им, можем допустить в него и всех славян и кого захотим, еще сверх того, на самых широких основаниях, но это уже будет не федеративное владение вместе со славянами городом. Да взять уже то, что вы федеративного соединения славян между собою еще целый век не добьетесь. Россия будет владеть лишь Константинополем и его необходимым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в нем войско, укрепления и флот, и так должно быть еще долго, долго. О, подхватят и закричат многие: «стало быть, служение-то России славянскому делу, видно, было не столь бескорыстное!» На это легко отвечать, именно тем, что служение России славянам теперь еще не окончится, а будет еще продолжаться в веках, что ею только, и великой центральной силой ее, славяне и будут на свете жить; что за такое служение никогда и ничем нельзя будет заплатить, а что если и займет теперь Россия Константинополь, то единственно потому, что у ней, в задачах ее и в назначении ее, есть кроме славянского и другой вопрос, самый великий для нее и окончательный, а именно Восточный вопрос, и что разрешиться этот вопрос может только в Константинополе. Федеративное же владение Константинополем разными народами может даже умертвить Восточный вопрос,

разрешения которого, напротив того, настоятельно надо желать, когда придут к тому сроки, так как он тесно связан с судьбою и с назначением самой России и разрешен может быть только ею. Не говорю уже о том, что все эти народцы лишь перессорятся между собою в Константинополе, за влияние в нем и за обладание им. Ссорить их будут греки. Завидовать тому, что они владеют такой великолепной точкой Европы и земного шара, будут и западные славяне... Одним словом, Константинополь послужит тогда камнем раздора во всем славянском и восточном мире, что помешает единению славян и остановит ход правильной жизни их. Спасение в таком случае именно в том, если Россия займет Константинополь одна, для себя, за свой счет. Россия может сказать тогда восточным народам, что она потому берет себе Константинополь — «что ни единый из вас, ни все вы вместе не доросли до него, а что она, Россия, доросла». И доросла. Именно теперь наступает этот новый фазис жизни России. Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного мира и глава его есть Россия. России именно нужно и даже **полезно** теперь, на некоторое время, забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, в виду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего «при дверях». Впрочем, оставим до времени разбор всех неудобств общего владения Константинополем, и даже вреда оттого, особенно для славян, заметим только, хоть несколько слов, о судьбе в таком случае константинопольских греков и православия.

Греки ревниво будут смотреть на новое славянское начало в Константинополе и будут ненавидеть и бояться славян даже более, чем бывших магометан. Еще недавний спор болгар с патриаршим престолом может послужить в таком случае примером будущего. Предстоятели православия в Константинополе могут унизиться до интриги, мелких проклятий, отлучений, неправильных соборов и проч., а может быть, упадут и до ереси — и все это из-за национальных причин, из-за национальных оскорблений и раздражений. «Почему славяне выше нас, могут сказать все греки вместе,

почему признается их безусловное право на Константинополь, хотя бы и вместе с нами?» Теперь в то же время заметьте, что Россия, владея Константинополем, имея силу и огромный очевидный авторитет, почти устранит возможность таких вопросов. Даже греки не могли бы ей столь завидовать и досадовать на нее за владение Константинополем, именно потому, что она столь очевидная сила и столь явная владычица судеб Востока. Россия, владея Константинополем, будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян и **всех восточных** народностей, не различая их с славянами. Мусульманское владение было во все эти столетия для всех этих народностей не единительной, но подавляющей силой, и они при нем шевельнуться не смели, то есть вовсе не жили как люди. С уничтожением же мусульманского владычества может наступить в этих народностях, выпрыгнувших вдруг из гнета на свободу, страшный хаос. Так что не только правильная федерация между ними, но даже просто согласие — есть, без сомнения, лишь мечта будущего. А пока новой единительной для них силой и будет Россия, именно тем отчасти, что твердо станет в Константинополе. Она спасет их друг от друга и именно будет стоять на страже их свободы. Она будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его. И, наконец, она же и лишь она одна способна поднять на Востоке знамя новой идеи и объяснить всему Восточному миру его новое назначение. Ибо что такое Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия. Судьбы православия слиты с назначением России. Что же это за судьбы православия? Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее таким образом главнейшей причиной материализма и атеизма Европы, это католичество естественно породило в Европе и социализм. Ибо социализм имеет задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа, и должен был зародиться в Европе естественно, взамен упадшего христианского в ней

начала, по мере извращения и утраты его в самой церкви католической. Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей в православии. С Востока и пронесется новое слово миру навстречу грядущему социализму, которое, может, вновь спасет европейское человечество. Вот назначение Востока, вот в чем для России заключается Восточный вопрос. Я знаю, очень многие назовут такое суждение «кликушеством», но Н. Я. Данилевский слишком может понять то, что я говорю. Но для такого назначения России нужен Константинополь, так как он центр Восточного мира. Россия уже сознает про себя, с народом и царем своим во главе, что она лишь носительница идеи Христовой, что слово православия переходит в ней в великое дело, что уже началось это дело с теперешней войной, а впереди перед ней еще века трудов самопожертвования, насаждения братства народов и горячего материнского служения ее им, как дорогим детям.

Да, это великое христианское дело, эта новая деятельность христианства и православия уже началась, именно в теперешнюю войну и фактом теперешней войны, а Н. Я. Данилевский все еще не верит тому... не верит, очевидно, потому, что не считает пока никого еще **достойным** овладеть Константинополем и даже Россию. Не доросли, что ль, до Константинополя русские - - трудно понять. Конечно, трудно устроить согласное и **равное на правах владение** Константинополем всех восточных народов и народцев, но ведь допускает же автор статьи, что Россия могла бы владеть Константинополем одна, пока, временно, так сказать, более охраняя его, чем смея владеть им, с тем, однако, чтобы после передать его на общее владение народцам (для чего? для чего передать?). Кажется, Н. Я. Данилевский считает, что для самой России будет искусительно и, так сказать, развратительно единоличное владение Константинополем, возбудит в ней дурные завоевательные инстинкты и проч., но, кажется, пора бы, наконец, уверовать в Россию, особенно после подвига теперешней войны. Она доросла-с; даже до Константинополя доросла...

И вдруг автор даже и **пока** не решается доверить России Константинополь. И, представьте, чем кончает: он выводит, что **пока** надо продлить существование Турции (отняв у ней всех славян, Балканы и проч.) и оставить пока Константинополь под властью турок, и что это даже будто бы самое выгодное для России **теперь** решение и в этом почти перст Божий. Но почему же, перст-то Божий почему? Разумеется, автор предполагает при этом новом существовании Турции полнейшее влияние на нее России и, так сказать, зависимость Турции от России. Но для чего такой маскарад? Рассудите: владыка Россия, а все-таки на время надо турку поставить. Заметим, что на такую комбинацию Европа еще скорее не согласится, чем на окончательное завоевание Турции, ибо лучше уже совершившийся факт, чем все еще оспариваемый, продолжаемый, угрожающий новыми войнами в самом близком будущем. Таким образом, автор почти сошелся, в конце концов, с политическим мнением лорда Биконсфильда, то есть, что существование Турции необходимо, и уничтожена она быть не может.

«От Турции останется одна тень, — говорит Н. Я. Данилевский, — но тень эта **должна** (?) еще до поры до времени оттенять берега Босфора и Дарданелл, ибо заменить ее **живым**, и не только живым, но еще здоровым организмом, пока невозможно (!?)»...

Это Россия-то не здоровый и даже не живой еще организм, которым нельзя даже сметь заменить в столице православия гнилье турок? Это для меня удивительно (опять-таки после **подвига** теперешней войны!). Чего-нибудь я тут, наверно, не понимаю. Не разумеет ли автор, просто-напросто, что потому невозможно еще пустить Россию в Константинополь (для единоличного владения или для передачи его потом народам), что Европа не согласится ее впустить. Может быть, автор не верит, что Россия в нынешнюю войну в силах достигнуть такого окончательного результата. Он именно говорит в одном месте своей статьи, «что **занятие** Константинополя русскими встретит самое решительное сопротивление со стороны большинства евро-

пейских держав». Если так, то заключение его о необходимости оставить на время турок в Константинополе становится понятнее; тем не менее, насчет «сопротивления большинства европейских держав» нужно заметить две вещи: 1) что, как сказал я выше, Европа, может быть, скорее найдет примирительный исход в занятии нашем Константинополя, чем в той формуле, которую предлагает г. Данилевский, то есть Турцию обезличенную, под полной опекой России, без Балкан, без славян, с срытыми крепостями, без флота, одним словом «тень» прежней Турции, как выражается автор. Уж, конечно, не этой Турции желало бы «большинство европейских держав» и, оставив на свете лишь «тень Турции», ее тем не надуешь: «все равно, не сегодня, так завтра войдете в Константинополь», скажет она русским. А потому окончательное решение для нее будет решительно предпочтительнее, чем Турция в виде тени. Второе, что можно заметить, это то, что, **может быть,** действительно никогда еще не было (и не будет) такого выгодного для нас момента для занятия Константинополя, как теперь, именно в эту войну, именно в данный или весьма близкий к тому момент, в виду политического положения самой Европы в этот момент.

II

Опять в последний раз «прорицания»

Вы все говорите: «большинство европейских держав» не позволит. Но что такое теперь «большинство европейских держав»? Определимо ли оно даже в настоящую минуту? Повторяю сказанное выше: Европа с часу на час становится не такой, как была прежде, еще недавно, как была, может быть, всего назад еще полгода, так что теперь даже за три месяца вперед ручаться и за дальнейшую неизменяемость ее нельзя. Дело в том, что мы именно накануне самых величайших и потрясающих событий и переворотов в самой Европе и это **без всякого преувеличения.** В данный же момент, теперь, в ноябре, это «большинство европейских дер-

жав», которые могли бы нам сказать в чем-нибудь свое грозное veto при заключении мира — сводится лишь на Англию и — вряд ли еще на Австрию, хотя Англия во что бы то ни стало вовлекает ее в союз и даже надеется на союз и с Францией. Но мы будем (теперь уже это очевидно) не одни. В Европе есть Германия, и та на нашей стороне.

Да, Европу ждут огромные перевороты, такие, что ум людей отказывается верить в них, считая осуществление их как бы чем-то фантастическим. Между тем многое, что еще нынешним летом считалось фантастическим, невозможным и преувеличенным — сбылось в Европе к концу года буквально, и мнение, например, о силе католического всемирного заговора, — мнение, над которым **все** еще летом склонны были смеяться и, по крайней мере, пренебрегать им, разделяется теперь **всеми** и подтвердилось фактами. Напоминаю об этом единственно для того, чтоб читатели поверили и теперешним «предсказаньям» нашим и не сочли бы их фантастическою и преувеличенною картиною, как, вероятно, сочли многие наши летние предсказания в мае, июне, июле и августе, и которые, однако, сбылись до буквальной точности.

Единственный политик в Европе, проникающий гениальным взглядом своим в самую глубь фактов — есть, бесспорно, князь Бисмарк. Самого страшного врага Германии, ее единства и ее обновленного будущего он прозрел, еще задолго назад — в римском католицизме и в порожденном католицизмом чудовище — социализме. (Социализмом проедена Германия). Раздавить католицизм в момент избрания нового папы Бисмарку необходимо. О, он понимает, что он не раздавит его окончательно, и что он только поставит его в известный новый фазис борьбы. Но старый фазис борьбы для католицизма еще продолжается, пока жива Франция. Пока жива Франция, у католицизма есть сильный меч, и есть надежды на европейскую коалицию. Что до Франции, то эта страна в глазах князя Бисмарка — обречена уже судьбе своей. Для него один вопрос: или ей жить, или Германии. Ибо падет Франция — и

католицизм вместе с социализмом войдут в новый фазис. И пока европейские политики, следуя за нескончаемой борьбой Мак-Магона с республиканцами, желают от всего сердца победы республиканцам, **принимая и веря еще,** что республика есть во Франции правительство народное и способное соединить Францию — князь Бисмарк, тем временем, понимает вполне, что Франция отжила свой век, что эта нация разделилась внутренно и окончательно сама на себя навеки, и что в ней никогда уже более не будет твердого и единящего всех авторитетного правления, здорового национального и единящего центра. И хоть слабость Франции могла бы, таким образом, лишь обнадеживать Германию, но князь Бисмарк все же видит, что, повторю это, пока живет Франция, дотоле жив и римский католицизм политически и имеет в руках своих обнаженный меч, мало того, — что католицизм-то может быть, и мог бы еще раз, **на время,** послужить для этой разложившейся страны — единящей идеей, хотя внешнеполитически. Ибо даже и быть не может, чтоб Франция, хотя бы и с республиканцами во главе, могла **не** обнажить, **рано ли поздно ли,** меча за папу и за судьбы католичества. Республиканцы даже сами увидели бы, что оставь они папу и католичество, то и собственное их существование во Франции стало бы невозможным. Правда, сами-то они, может, будут и неспособны понять это даже до самого конца своего, и, таким образом, пребудут до конца не только фаворитами (протеже) князя Бисмарка — которых он, однако же, все равно приговорил уже про себя к смерти, вместе с прочими французскими партиями, имеющими претензию на способность вновь соединить Францию в одно неразрывное целое, — но и рабами Германии, отдающими ей и всю Францию не только в политическое, но и во внутреннее, существенное и духовное рабство, именно тем, что лишают Францию самой самостоятельнейшей из **политических и исторических** идей ее, вырывают у ней то знамя, которое она высоко держала столько веков как представительница романского элемента в европейском человечестве. Но зато те, кото-

рые сгонят за это бездарных и бесполезных республиканцев с места, непременно позаботятся воздвигнуть (Бисмарк знает это), в последний раз, католическое знамя против Германии, — знамя, в которое уже, повторяю это, не верит Франция, уже сама **почти вся** отрицает его, но которое может еще послужить ей **политически** последней точкой опоры и единения против рокового (и последнего тоже) натиска протестантской Германии, вечно протестовавшей против западноевропейских, унаследованных еще от древнего Рима начал целой половины европейского человечества.

А потому князь Бисмарк, вероятнее всего, уже предрешил судьбу Франции. Францию ждет судьба Польши, и политически жить она не будет — или не будет и Германии. Достигнув этого, он принудит тогда воюющее римское католичество (которое будет воевать до скончания мира) войти в новый фазис существования и борьбы за существование — в фазис подземной, рептильной, заговорной войны. И он ждет его в этом новом фазисе. Чем скорее это совершится, тем для него лучше, так как тут он ждет уже соединения обоих врагов Германии и человечества вместе и тем самым раздавить их надеется легче, зараз...

III

Надо ловить минуту

Соединение же обоих врагов произойдет несомненно, только лишь падет политически Франция. Оба врага эти имели с Францией всегда органическую связь. Католичество, почти до последнего времени, было единящей и существенной идеей ее. Социализм же и зародился в ней. Лишив Францию политической жизни, князь Бисмарк думает нанести удар и социализму. Социализм, как наследие католицизма и Франции — ненавистен более всех истинному германцу, и простительно, что представители Германии думают с ним так легко справиться, уничтожив лишь политически Францию,

как источник и начало его. Но вот что произойдет, по всей вероятности, если падет политически Франция: католичество потеряет свой меч и в первый раз обратится к народу, которого оно презирало столько веков, заискивая у королей и императоров земных. Но теперь оно обратится к народу, ибо некуда итти ему больше, обратится именно к предводителям наиболее подвижного и подымчивого элемента в народе, социалистам. Народу оно скажет, что все, что проповедуют им социалисты, проповедовал и Христос. Оно исказит и продаст им Христа еще раз, как продавало прежде столько раз за земное владение, отстаивая права инквизиции, мучившей людей за свободу совести во имя любящего Христа, — Христа, дорожащего лишь свободно пришедшим учеником, а не купленным или напуганным. Оно продавало Христа, благословляя иезуитов и ободряя праведность «всякого средства для Христова дела». Все Христово же дело оно искони обратило лишь в заботу о земном владении своем и о будущем государственном обладании всем миром. Когда католическое человечество отвернулось от того чудовищного образа, в котором им представили, наконец, Христа, то после целого ряда веков протестов, реформаций и проч. явились наконец, с начала нынешнего столетия, попытки устроиться вне Бога и вне Христа. Не имея инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидающих улей и муравейник, люди захотели создать нечто вроде человеческого безошибочного муравейника. Они отвергли происшедшую от Бога и откровением возвещанную человеку единственную формулу спасения его: «Возлюби ближнего как самого себя» и заменили его практическими выводами вроде: «Chacun pour soi et Dieu pour tous» или научными аксиомами вроде «борьбы за существование». Не имея инстинкта животных, по которому те живут и устраивают жизнь свою безошибочно, люди гордо вознадеялись на науку, забыв, что для такого дела, как создать общество, наука еще все равно что в пеленках. Явились мечтания. Будущая Вавилонская башня стала идеалом и, с другой стороны, страхом всего человечества. Но за мечтателями явились

вскоре уже другие учения, простые и понятные всем, вроде: «ограбить богатых, залить мир кровью, а там **как-нибудь само собою все вновь устроится»**. Наконец, пошли дальше и этих учителей, явилось учение анархии, за которою, если б она могла осуществиться, наверно бы начался вновь период антропофагии, и люди принуждены были бы начинать опять все с начала, как тысяч за десять лет назад. Католичество понимает все это отлично и сумеет соблазнить предводителей подземной войны. Оно скажет им: «У вас нет центра, порядка в ведении дела, вы раздробленная по всему миру сила, а теперь, с падением Франции, и придавленная. Я буду единением вашим и привлеку к вам и всех тех, кто в меня еще верует». Так или этак, а соединение произойдет. Католичество умирать не хочет, социальная же революция и новый, социальный период в Европе тоже несомненен: две силы, несомненно, должны согласиться, два течения слиться. Разумеется, католичеству даже выгодна будет резня, кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут-то оно и может надеяться поймать на крючок, в мутной воде, еще раз свою рыбу, предчувствуя момент, когда, наконец, измученное хаосом и бесправицей человечество бросится к нему в объятия, и оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, «земным владыкою и авторитетом мира сего» и тем окончательно уже достигнет цели своей. Картина эта, увы — не фантазия. Я положительно удостоверяю, что ее уже прозирают очень и очень многие на Западе. И, вероятно, прозирают и владыки Германии. Но предводители германского народа в одном ошибаются: в легкости победить и подавить этих двух страшных и уже соединенных врагов. Они надеются на силу обновленной Германии, протестантского и протестующего ее духа против древнего и нового Рима, начал и **последствий** его. Но не они остановят чудовище: остановит и победит его воссоединенный Восток и новое слово, которое скажет он человечеству...

Во **всяком случае** одно кажется ясным, именно: мы **нужны** Германии даже более, чем думаем. И нужны

мы ей не для минутного политического союза, **а навечно.** Идея воссоединенной Германии широка, величава и смотрит в глубь веков. Что Германии делить с нами? Объект ее — все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместо римских и романских начал и впредь стать предводительницею его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего. Это не затеи ума или честолюбия: так сам мир слагается. Есть новые и странные факты и появляются каждый день. Когда у нас, еще на-днях почти, говорить и мечтать о Константинополе считалось даже чем-то фантастическим, в германских газетах заговорили многие о занятии нами Константинополя как о деле самом обыкновенном. Это почти странно сравнительно с прежними отношениями к нам Германии. Надо считать, что дружба России с Германией нелицемерна и тверда и будет укрепляться чем дальше, тем больше, распространяясь и укрепляясь постепенно в народом сознании обеих наций, а потому, может быть, даже не было и момента для России выгоднее для разрешения Восточного вопроса окончательно, как теперь. В Германии, может быть, даже нетерпеливее нашего ждут окончания нашей войны. Между тем, действительно за три месяца нельзя теперь поручиться. Кончим ли мы войну раньше, чем начнутся последние и роковые волнения Европы? Все это неизвестно. Но поспеем ли мы на помощь Германии, нет ли, Германия во всяком случае рассчитывает на нас не как на **временных** союзников, а как на **вечных.** Что же до текущей минуты — опять-таки весь ключ дела во Франции и в избрании папы. Тут может явиться столкновение Франции с Германией, теперь уже несомненное, тем более, что есть разжигатели. Англия об нем особенно постарается, и тогда, может быть, двинется и Австрия. Но об этом обо всем мы говорили еще недавно. Ничего с тех пор не изменилось, что бы могло опровергнуть прежние мнения наши, напротив, подтвердилось...

Во всяком случае, России надобно ловить минуту. А долго ли эта благоприятная европейская наша минута может продолжаться? Пока действуют теперешние великие предводители Германии, эта минута **всего вернее** для нас обеспечена...

ДЕКАБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Заключительное разъяснение одного прежнего факта

Заключая двухлетнее издание «Дневника» теперешним последним, декабрьским выпуском, я нахожу необходимым сказать еще раз одно слово об одном деле, о котором я уже слишком довольно говорил. Положил же я об этом сказать еще в мае месяце, но оставил тогда по особым соображениям, именно до этого последнего выпуска. Это все опять о той мачехе, Корниловой, которая в злобе на мужа выбросила свою шестилетнюю падчерицу в окошко, а та, упав с пятисаженной высоты, осталась жива. Как известно, преступница была судима, осуждена, потом приговор был кассирован, и, наконец, окончательно была оправдана на вторичном суде 22 апреля сего года. (См. «Дневник писателя» октябрь 1876 и апрель 1877 года).

В этом деле мне случилось принять некоторое участие. Председатель суда, а потом и прокурор, в самой зале суда, объявили публично, что первый обвиняющий Корнилову приговор был отменен именно вследствие пущенной мною в «Дневнике» мысли, что «не влияло ли на поступок преступницы ее беременное состояние?» Я эту мысль провел и развил вследствие чрезвычайных и странных психических особенностей, которые сами собою неотразимо бросались в глаза и останавливали

внимание при чтении подробностей совершённого преступления. Впрочем, это все уже известно читателям. Известно, может быть, тоже, что после самого строгого следствия и самых упорных и настоятельных доводов прокурора, присяжные все-таки оправдали Корнилову, пробыв в зале совещания не более десяти минут, и публика разошлась, горячо сочувствуя оправданию. И вот, тем не менее, мне тогда же, в тот же день, пришла на ум мысль, что в подобном важном деле, где затронуты самые высшие мотивы гражданской и духовной жизни, всего бы желательнее, чтобы все могло быть разъяснено до самой последней возможности, чтоб уже не оставалось ни в обществе, ни в душе присяжных, вынесших оправдание, никаких сомнений, колебаний и сожалений о том, что несомненная преступница была отпущена без наказания. Тут затронуты дети, детская судьба (часто ужасная у нас на Руси и особенно в бедном классе), детский вопрос — и вот оправдывается, при сочувствии публики, убийца ребенка! И вот я этому сам отчасти способствовал (по свидетельству самого суда)! Я-то действовал по убеждению, но меня, после произнесенного приговора, вдруг начало мучить сомнение: не осталось ли в обществе недовольства, недоумения, неверия в суд, негодования даже? В прессе нашей сказано было об этом оправдании Корниловой мало, — тогда заняты были не тем, предчувствовалась война. Но в «Северном Вестнике», в новородившейся тогда газете, как раз я прочел статью, полную негодования на оправдание и даже злобы на мое участие в этом деле. Статья эта написана недостойным тоном, да и не я один подвергся тогда негодованию «Сев. Вестника»; подвергся и Лев Толстой за «Анну Каренину», подвергся злым и недостойным насмешкам. Я лично и не ответил бы автору, но в статье этой я именно увидел то, чего опасался от некоторой части нашего общества, то есть сбивчивого впечатления, недоумения, негодования на приговор. И вот я решил ждать все восемь месяцев, чтоб в этот срок убедиться самому по возможности еще более, окончательно, в том, что приговор не повлиял дурно на подсу-

димую, что, напротив, милосердие суда, как доброе семя, пало на хорошую почву, что подсудимая действительно была достойна сожаления и милосердия, что порывы неизъяснимого фантастического почти буйства, в припадке которого она совершила свое злодеяние, — не возвращались и не могут возвратиться к ней вовсе и никогда более, что это именно добрая и кроткая душа, а не разрушительница и убийца (в чем я убежден был во все время процесса) и что действительно преступление этой несчастной необходимо было объяснить каким-нибудь особым случайным обстоятельством, болезненностью, «аффектом» — вот именно теми болезненными припадками, которые бывают довольно часто (при совокупности и других, конечно, неблагоприятных условий и обстоятельств) у беременных женщин в известном периоде беременности, — и что, наконец, стало быть, ни присяжным, ни обществу, ни публике, бывшей в зале суда и с горячим сочувствием выслушавшей приговор, — уже нечего более сомневаться в таком приговоре, в его целесообразности, и раскаиваться в своем милосердии.

И вот теперь, после этих восьми месяцев, я именно в силах и могу кое-что сообщить и прибавить по этому, впрочем, может быть, слишком уже наскучившему всем делу. Буду отвечать именно как бы обществу, то есть той части его, которая, по предположению моему, могла не согласиться с совершившимся приговором, усумниться в нем и вознегодовать на него — если, впрочем, таковая часть недовольных была в нашем обществе. А так как из всех этих недовольных мне известен (не лично, однако же) всего лишь тот один «Наблюдатель», написавший грозную статью в «Северном Вестнике», то и буду отвечать этому наблюдателю. Вернее всего то, что я на него нисколько не подействую никакими доводами, но, может быть, буду понятен читателям.

«Наблюдатель», коснувшись в статье своей дела Корниловой, придал этому делу с первой строки самое высшее значение: он в негодовании указывал на судьбу детей, беззащитных детей, и сожалел, что не каз-

вили подсудимую строжайшим приговором. Дело, стало быть, шло о Сибири, о ссылке двадцатилетней женщины с рожденным ею уже в тюрьме ребенком на руках (и который тоже, стало быть, ссылался на Сибирь вместе с нею), о разрушении молодого семейства. В таком случае, кажется, следовало бы первым делом тщательно, серьезно и беспристрастно отнестись к обсуждаемым совершившимся фактам. И вот, поверят ли: этот «Наблюдатель» **не знает** дела, о котором судит, говорит наобум, сочиняет сам из головы небывалые обстоятельства и бросает их прямо на голову бывшей подсудимой; в зале суда, **очевидно,** не находился, прений не слушал, при приговоре не присутствовал, — и при всем том — ожесточенно и озлобленно требует казни человека! Да ведь дело-то об участи человеческой идет, нескольких даже существ зараз, о том идет, чтоб разорвать жизнь человеческую пополам, безжалостно, с кровью. Положим, несчастная уже была оправдана, когда «Наблюдатель» вышел с своей статьей — но ведь такие нападения влияют на общество, на суд, на общественное мнение, они отзовутся на будущем подобном же подсудимом, они, наконец, обижают оправданную, благо она из темного люда, а потому беззащитна. Вот, однако, эта статья, то есть все место, относящееся до дела Корниловой; делаю самые существенные выписки и исключаю весьма немногое.

II

Выписка

....

...«Гораздо труднее присяжным представить самих себя в положении беременной женщины; а еще труднее — в положении шестилетней девочки, которую эта женщина вышвырнула из окна четвертого этажа. Надо иметь всю ту силу воображения, которою, как известно, отличается среди всех нас г. Достоевский, чтобы вполне войти в положение женщины и уяснить себе всю неотразимость аффектом беременности.

«Он действительно вошел в это положение, ездил к одной даме в тюрьму, был поражен ее смирением, и в нескольких нумерах своего «Дневника» выступил горячим ее защитником. Но г. Достоевский слишком впечатлителен, и при том «болезненные проявления воли», это — прямо по части автора «Бесов», «Идиота» и т. д., ему извинительно иметь к ним слабость. Я смотрю на дело проще и утверждаю, что после таких примеров, как оправдания жестокого обращения с детьми, этому обращению, которое в России, как и в Англии, очень нередко, не предстоит уже и тени устрашения. Из скольких случаев жестокости с детьми один попадает судебному рассмотрению? Есть дети, которых вся жизнь, утро, полдень и вечер каждого дня — не что иное как ряд страданий. Это — невинные существа, терпящие такую участь, в сравнении с которой работа отцеубийц в рудниках — блаженство, с отдыхом, с отсутствием вечного, неумолимого страха, с полным душевным спокойствием, насколько оно не нарушается совестью. Из десяти тысяч, а, вероятно, из сотни тысяч случаев жестокости с детьми, один всплывает на судебную поверхность; один, какой-нибудь, почему-либо наиболее замеченный. Например, мачеха вечно бьет (?) несчастное шестилетнее существо, и, наконец, выбрасывает его из четвертого этажа; когда узнает, что ненавистное ей дитя не убилось, она восклицает «ну, живуча». Ни внезапности проявления ненависти к ребенку, ни раскаяния после совершения убийства нет; все цельно, все логично в проявлении одной и той же злой воли. И эту женщину оправдывают. Если в таких ясных до очевидности случаях жестокости с детьми у нас оправдывают, то чего же ожидать в других случаях, менее резких, более сложных? Оправдания, конечно, оправдания и оправдания. В Англии, в грубых классах городских roughs нередки, как я уже заметил, случаи жестокости с детьми. Но желал бы я, чтобы мне показали один пример подобного оправдания английскими присяжными. О, когда перед нашими присяжными является раскольник, худо отозвавшийся о куполе церкви — тогда другое дело. В Англии он

даже и к суду не был бы призван, у нас он не жди оправдания. Но жестокость над девочкой — стоит ли губить за это молодую женщину! Ведь она все-таки мачеха, то есть почти мать жертвы; как бы там ни было, поит, кормит ее и еще больше бьет. Но этим последним русского человека не удивишь. Приятель рассказывал мне, что ехал он на-днях на извозчике, и тот все время стегал лошадь. На вопрос о том извозчик отвечал: «Ее должность такая! Ей должно быть вечно и нещадно битой».

«Твоя судьба, в продолжение веков, русский человек! Ведь, может быть, и мачеху били в детстве; и вот ты входишь в это и говоришь — Бог с ней. Но ты так не делай. Ты пожалей маленьких; тебя теперь бить не будут, и не оправдывай жестокость над тем, кто уже родился не рабом.

«Мне скажут: вы нападаете на институт присяжных, когда и без того... и так далее. Не нападаю я на институт, и в уме не имею нападать на него, он хорош, он бесконечно лучше того суда, в котором не участвовала общественная совесть. Но я беседую с этой совестью о таком-то и таком-то ее проявлении...

...«Но бить ребенка какой-нибудь год и потом выкинуть на верную смерть — это другое дело. «Муж оправданной, — пишет г. Достоевский в вышедшем на-днях «Дневнике», — увез ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом». Как трогательно. Но горе бедному ребенку, если он остался в том доме, куда вошла «счастливая»; горе ему, если он когда-нибудь попадет в отцовский дом.

«Аффект беременности» — ну, выдумано новое жалкое слово. Как бы силен этот аффект ни был, однако женщина под влиянием его не бросалась ни на мужа, ни на соседних жильцов. Весь аффект ее исключительно предназначался для той беззащитной девочки, которую она тиранила целый год без всякого аффекта. На чем же остановились присяжные в оправдании? На том, что один психиатр признал «болезненное состояние души» подсудимой во время совершения

преступления; трое других психиатров заявили только, что болезненное состояние беременной женщины могло повлиять на совершение преступления; а один акушер, профессор Флоринский, которому едва ли не лучше известны все проявления состояния беременности, выразил прямо несогласие с такими мнениями. Стало быть, четверо из пятерых экспертов не признали, что в данном случае преступление положительно было совершено в состоянии «аффекта беременности» и затем невменяемости. Но присяжные оправдали. Эк, велико дело: ведь не убился же ребенок; а что его били, так ведь «его должность такая».

III

Искажения и подтасовки и — нам это ничего не стоит

Вот выписка, вот обвинение, много негодования и на меня. Но теперь и я спрошу «Наблюдателя»: как могли вы до такой степени исказить факты в таком важном обвинении и выставить все в таком ложном и небывалом виде? Да когда же было битье, систематическое **мачехино** битье? Вы пишете прямо и точно.

«Мачеха **вечно бьет** несчастное шестилетнее существо и, наконец, выбрасывает его из четвертого этажа»...

Потом:

«Но бить ребенка **какой-нибудь год** и потом выкинуть на верную смерть»...

Восклицаете про ребенка:

«Горе ему, если он когда-нибудь попадет в отцовский дом».

И, наконец, влагаете в уста присяжных зверскую фразу:

«Эк, велико дело: ведь не убился же ребенок, а что его били, так ведь «его должность такая».

Одним словом, вы все факты подменили, и все дело представили так, что преступление, по-вашему, произошло будто бы единственно от ненависти мачехи к

ребенку, которого она мучила и била год и кончила тем, что выбросила его из окошка. Вы представили подсудимую нарочно зверем, ненасытно злобною мачехою, единственно, чтоб оправдать свою статью и возбудить негодование общества на милосердный приговор присяжных. И мы в праве заключить, что сделали вы этот подмен единственно с этою указанною мною сейчас целью — потому в праве, что не могли же вы и не имели права не узнать подробнейшим образом обстоятельств такого дела, в котором сами берете на себя произнести приговор и требуете казни.

Между тем, зверя, зверской мачехи, ненавидящей ребенка и ненасытной к истязанию его — **никогда и совсем** не было. И это положительно подтвердилось следствием. Первоначально действительно выдвинута была мысль, что мачеха мучила ребенка и из ненависти к нему решилась убить его. Но впоследствии обвинение совсем оставило эту мысль: слишком ясно стало, что преступление совершилось совсем из других мотивов, чем ненависть к ребенку, из причин совершенно объяснившихся на суде и при которых ребенок был не при чем. Кроме того, на суде не оказалось и свидетелей, которые бы могли подтвердить жестокость мачехи, — **мачехино битье.** Было только одно свидетельство одной только женщины, жившей тут же в коридоре рядом (где живет много людей), что секла, дескать, очень больно ребенка, но и это свидетельство выяснилось потом защитой, как «коридорная сплетня» — не более... Было же то, что обыкновенно бывает в этакого рода семействах, при их степени образования и развития, то есть, что ребенка за шалости действительно наказывали оба, и отец, и мачеха, но иногда лишь, то есть очень редко, и не бесчеловечно, а «отечески», как они выражаются сами, то есть до сих пор, к несчастью, во всех таких русских семействах, по всей Руси, и при этом, однако, любя крепко детей и заботясь об них (и весьма даже часто) гораздо сильнее и больше, чем бывает это в иных интеллигентных и богатых, европейски-развитых русских семействах. Тут только неуменье, а не жестокость. Корнилова же была

даже весьма хорошей мачехой, ходила и наблюдала за ребенком. Наказание же ребенка было лишь один раз **жестокое:** мачеха высекла его один раз утром при пробуждении **за то, что не умеет проситься ночью.** Никакой тут ненависти к нему не было. Когда я ей заметил, что за это нельзя наказывать, что сложение детей и природа их различны, что шестилетний ребенок еще слишком мал, чтоб всегда уметь проситься, то она ответила: «а мне сказали, что так надо сделать, чтоб отучить, и что его иначе не отучишь». В этот раз она ударила ребенка бечевкой «шесть раз, но так, что вышли рубцы», — и вот эти-то рубцы и видела та женщина в коридоре, единственная свидетельница единственного случая жестокости, и о них-то и показывала с суде. За эти же рубцы муж, воротясь с работы, немедленно наказал жену, то есть побил ее. Это человек строгий, прямой, честный и неуклонный прежде всего, хотя, как видите, отчасти и с обычаями прежних времен. Бивал он жену редко и не бесчеловечно (так сама она говорит), а единственно из принципа мужней власти — так выходит по его характеру. Ребенка своего он любил (хотя чаще еще мачехи наказывал и сам девочку за шалости), но не такой он человек, чтоб дать ребенка напрасно в обиду, хотя бы и жене своей. Итак, единственный случай строгого наказания (до рубцов), обнаружившийся на суде, обращен обвинителем «Северного Вестника» в систематическое, зверское, мачехино битье целый год, в мачехину ненависть, которая, возрастая все более и более, кончилась швырком ребенка за окошко. А она об ребенке и не думала даже за пять минут до совершения своего ужасного преступления.

Вы, г. Наблюдатель, засмеетесь и скажете: да разве наказание розгами до рубцов не жестокость, не **мачехино** битье? **Да,** наказание до рубцов есть зверство, это так, но ведь этот случай (единичность его была подтверждена на суде, для меня же подтверждена теперь положительно), повторяю, это ведь не есть же систематическое, постоянное, зверское мачехино битье целый год, это только **случай** и вышедший из неуме-

ния воспитывать, из ложного понимания, как нужно научить ребенка, а вовсе не из-за ненависти к нему, или потому, что «его должность такая». Таким образом, ваше изображение этой женщины, как злой мачехи, и то лицо, которое определилось на суде из действительных фактов — совершенная разница. Да, она вышвырнула ребенка, преступление страшное и зверское, но ведь не как злобная же мачеха она это совершила, — вот об чем прежде всего вопрос в ответ на ваше голословное обвинение. Для чего же вы поддерживаете такое лютое обвинение, если сами знаете, что его доказать нельзя, что на суде оно было оставлено и что совсем не было свидетелей, его подтверждающих. Неужели для одного лишь литературного эффекта! Ведь выставляя на вид и доказывая, что это сделала **мачеха,** заключившая этим убийством целый год истязаний ребенка (небывалых вовсе), — вы тем самым извращаете впечатление малосведующего в этом деле читателя, исторгаете из его души сожаление и милосердие, которых он поневоле не может ощущать, прочтя статью вашу, к извергу мачехе; тогда как, не будь в глазах его эта мачеха выставлена вами, как мучительница ребенка, она бы, может быть, и заслужила в его сердце хотя малое снисхождение, как больная, как болезненно-потрясенная, раздраженная беременная женщина, что ясно из фантастических, диких и загадочных подробностей события. Справедливо ли так поступать общественному деятелю, человечно ли?

Но вы еще и не то говорите. Вы написали, и опять-таки твердо и точно, как изучивший все дело до мельчайшей подробности наблюдатель:

«Аффект беременности» — ну, выдумано новое жалкое слово. Как бы силен этот аффект ни был, однако, женщина под влиянием его **не бросалась на мужа,** ни на соседних жильцов. Весь аффект ее исключительно предназначался для беззащитной девочки, которую она тиранила целый год без всякого аффекта. На чем же основались присяжные в оправдании?»

Но на чем же вы-то остановились, г. Наблюдатель,

чтоб соорудить такое совершенное искажение дела? «Не бросалась на мужа!» Но об том только и говорилось на суде, что ссоры с мужем дошли у ней, наконец (и только в несколько последних дней, впрочем), до бешенства, до исступления, которое и привело к преступлению. Ссоры же были вовсе не из-за ребенка, потому что ребенок был тут буквально не при чем, **не думала она в эти дни даже о нем вовсе.** «Вовсе мне его и не надо было тогда», как выразилась она сама.

Не для вас, а для читателей моих постараюсь обозначить оба эти характера, ссорившихся мужа и жены так, как я их и прежде еще до приговора понимал, и как они еще более уже после приговора, при самом пристальном наблюдении моем, разъяснились мне. Нескромности относительно этих двух лиц не может быть тут очень большой с моей стороны: уж много и без того было оглашено на суде. Да и делаю я это собственно к их оправданию. Итак, вот в чем дело. Муж, прежде всего, человек твердый, прямой, честнейший и добрейший (то есть даже великодушный, как доказал он впоследствии), но несколько слишком пуританин, слишком наивно и даже сурово следующий раз навсегда принятому взгляду и убеждению. Тут и некоторая разница в летах с женой, он много старше, тут и то еще, что он вдовец. Человек он работающий целый день и хотя ходит в немецком платье и смотрит как бы «образованным» человеком, но человек никакого особенного образования не получивший. Замечу еще, что в наружности его несомненный вид собственного достоинства. Прибавлю, что он не очень разговорчив, не очень весел и смешлив, может быть, даже обращение его несколько и тяжело. Она взята им за себя еще очень молодая. Это была честная девушка, по ремеслу швея, добывавшая мастерством порядочные деньги.

Как они сошлись, не знаю. Вышла она за него по охоте, «по любви». Но очень скоро началась разладица и хотя долго не доходило до крайностей, но недоумение, разъединение и даже, наконец, озобление нарастали с обеих сторон, хотя и медленно, но твердо и неуклонно. Дело в том, а, может быть, в том и вся причина,

что оба, несмотря на возрастающее озлобление, любили друг друга даже слишком горячо и так до самого конца. Любовь-то и ожесточала требования с обеих сторон, усиливала их, прибавляла к ним раздражение. А тут как раз и ее характер. Это характер довольно замкнутый и как бы несколько гордый. Бывают такие и меж женщин и меж мужчин, которые хоть и питают в сердце даже самые горячие чувства, но при этом всегда как-то стыдливы на их обнаружение; в них мало ласки, мало у них ласкающих слов, обниманий, прыгания на шею. Если за это их назовут бессердечными, бесчувственными, то они тогда еще более замыкаются в себя. При обвинениях они редко стараются разъяснить дело сами, напротив, оставляют эту заботу на обвинителя: «сам, дескать, угадай; коли любишь, должен узнать, что я права». И если он не узнает и озлобляется более и более, то и она озлобляется все более и более. И вот этот муж с самого начала стал круто (хоть и вовсе не жестоко) упрекать ее, читать ей наставления, учить ее, попрекать прежней женой своей, что было ей особенно тяжело. Все, однако, шло не особенно дурно, но так, однако, всегда стало выходить, что при упреках и обвинениях с его стороны, начинались с ее стороны ссоры и злобные речи, а не желание объясниться, покончить недоумение как-нибудь окончательным разъяснением, указанием причин. Об этом даже и забыли, наконец. Кончилось тем, что в ее сердце (у ней первой, а не у мужа), начались угрюмые чувства, разочарование вместо любви. И все это возрастало притом довольно бессознательно, — тут жизнь рабочая, тяжелая, об чувствах-то и некогда слишком думать. Он уходит на работу, она занимается хозяйством, стряпает, полы даже моет. У них по длинному коридору в казенном здании маленькие комнаты, по одной на каждое семейство служащих в этом казенном заведении женатых работников. Случилось так, что она с позволения мужа, ушла на именины, в семейный дом, к тому мастеру, у которого все свое детство и отрочество училась своему мастерству и с которым и она, и муж продолжали быть знакомыми. Муж, занятый работою, остался на

этот раз дома. На именинах оказалось очень весело, было много приглашенных, угощение, начались танцы. Пропировали до утра. Молодая женщина, привыкшая у мужа к довольно скучному житью в одной тесной комнате и к вечной работе — видно, вспомнила свое девичье житье, и провеселилась **на балу** так долго, что и забыла о сроке, на который была отпущена. Кончилось тем, что уговорили ее заночевать в гостях, к тому же возвращаться домой было очень далеко. Вот тут-то и рассердился муж, первый раз ночевавший без жены. И рассердился очень: на другой день, бросив работу, пустился за ней к гостям, разыскал ее и — тут же при гостях **наказал.** Возвратились они домой уже молча и два дня и две ночи потом не говорили друг с другом вовсе и не ели вместе. Узнал я все это отрывками, она же сама мало разъяснила мне, несмотря на мои вопросы, тогдашнее свое состояние духа. «Не помню я, об чем тогда и думала, все эти два дня, а все думалось. На нее (на девочку) я тогда **и не смотрела вовсе.** Я все помню, как это сделалось, но как я это сделала, уже и не знаю, как сказать». И вот, на третий день утром, муж рано ушел на работу, девочка еще спит. Мачеха возится за печкой. Девочка, наконец, просыпается; мачеха машинально, по обыкновению, ее умывает, обувает, одевает и сажает за кофей... — «и не думаю я о ней вовсе». Ребенок сидит, пьет свою чашку, кушает, — «и вот вдруг я на нее тогда поглядела».

IV

Злые психологи. Акушеры-психиатры

Послушайте, г. Наблюдатель, вы утверждаете твердо и точно, что все дело произошло без колебаний, обдуманно, спокойно, била, дескать, целый год, наконец обдумала, спокойно взяла решение и выбросила за окно младенца: «**ни внезапности** проявления ненависти к ребенку, — пишете вы в негодовании, — ни раскаяния после совершения убийства нет, все цельно, все логично в проявлении **одной и той же** злой воли. И эту женщину

оправдывают». Вот собственные слова ваши. Но, ведь, от обвинения в предумышленности преступления отказался сам прокурор, известно ли вам это, г. Наблюдатель, — отказался публично, гласно, торжественно, в самый роковой момент суда. А прокурор, однако, обвинял преступницу с жестокою настойчивостью. Как же вы-то, г. Наблюдатель, утверждаете уже после прокурорского отступления, что не было внезапности, а, напротив, — все было цельно и логично в проявлении одной и той же злой воли? Цельно и логично! Стало быть, обдуманно, стало быть, преднамеренно. Припомню все еще раз быстрыми штрихами: она велит девочке встать на подоконник и выглянуть за оконко, и когда девочка посмотрела за окно, она приподняла ее за ножки и выбросила с высоты 5½ сажен. Затем заперла окно, оделась и пошла в участок доносить на себя. Скажите, неужели это цельно и логично, а не фантастично? И во-первых, для чего поить-кормить ребенка, если уж дело было замышлено давно в уме ее, для чего ждать, пока та выпьет кофе и съест свой хлеб? Как можно (и естественно ли) даже не заглянуть за окно, уже выбросив девочку. И позвольте, к чему доносить на себя? Ведь если все вышло из злобы, из ненависти к девочке, «которую она била целый год», то для чего, убив эту девочку, придумав и исполнив, наконец, это давно и спокойно замышленное убийство, идти тотчас же доносить на себя? Ненавистной девочке пусть смерть, а ей-то для чего себя губить? Кроме того, если сверх ненависти к ребенку был и еще мотив, чтоб убить его, то есть ненависть к мужу, желание отомстить мужу смертию его ребенка, то ведь она прямо могла сказать мужу, что шалунья девочка сама влезла на окошко, и сама вывалилась, ведь все равно цель была бы достигнута, отец был бы поражен и потрясен, а обвинить ее в умышленном убийстве никто бы в мире тогда не мог, хотя бы и могло быть подозрение? Где доказательства? Если бы даже девочка и осталась жива, то кто бы мог поверить ее лепету? Напротив, убийца тем вернее и полнее достигла б всего, к чему стремилась, то есть отмстила бы гораздо злее и больнее мужу, который, если б даже и подозре-

вал ее в убийстве, то именно тем пуще бы мучился ее безнаказанностью, видя, что наказать ее, то есть предать правосудию, невозможно. Наказав же себя сама тут же, погубив всю свою участь в остроге, в Сибири, в каторге, она тем самым давала мужу удовлетворение. Для чего же все это? И кто одевается, наряжается в этом случае, чтоб идти губить себя? О, скажут мне, она не просто хотела лишь отмстить ребенку и мужу, она хотела и брак разорвать с мужем: сошлют на каторгу, брак разорван! Но уж не говоря о том, что об разрыве брака можно бы было распорядиться и придумать иначе, чем губя, девятнадцати лет, всю жизнь и свободу свою, — не говоря уже об этом, согласитесь, что человек, решающийся погубить себя сознательно, броситься в разверзшуюся под ногами бездну без всякой оглядки, без малейшего колебания, — согласитесь, что в этой человеческой душе должно было быть страшное чувство в ту минуту, мрачное отчаяние, позыв к гибели неудержимый, позыв броситься и истребить себя — а если так, то можно ли, можно ли сказать, сохраняя здравый смысл, что «ни **внезапности**, ни раскаяния в душе не было!» Не было если раскаяния, то были мрак, проклятие, сумасшествие. Уж, по крайней мере, нельзя сказать, что было все цельно, все логично, все предумышленно, без внезапности. Нужно быть самому в «аффекте», чтоб утверждать это. Не иди она доносить на себя, останься дома, солги людям и мужу, что ребенок убился сам — было бы действительно все логично и цельно, и без внезапности и в проявлении злой воли; но погубление и себя тут же, не вынужденное, а добровольное, уж, конечно, свидетельствуетъ, по крайней мере, об ужасном и возмущенном душевном состоянии убийцы. Это мрачное душевное состояние продолжалось долго, несколько дней. Выражение: «ну, живуча» было выставлено защитником экспертом же (а не обвинением), при обрисовке им перед судом того мрачного, холодного, как бы омертвевшего духовного состояния подсудимой после совершения ею преступления, а не как злобную, холодную, нравственную бесчувственность с ее стороны. Моя вся беда была в том, что я, прочитав тогда первый при-

говор суда и пораженный именно странностью и фантастичностью всех подробностей дела, и взяв в соображение сообщенный в тех же газетах факт о ее беременности, на пятом месяце, во время совершения убийства, не мог, совершенно невольно, не подумать: не повлияла ли тут и беременность, то есть как я писал тогда, не случилось ли так дело: «посмотрела она на ребенка и подумала в злобе своей: вот бы выбросить за окошко! Но будучи не беременна — подумала бы, может быть, по злобе своей, да и не сделала бы, не выбросила, а беременная — взяла, да и сделала?» Ну, вот вся беда моя в том, что я тогда так подумал и так написал. Но неужели с одних этих слов только кассировали приговор и потом оправдали убийцу? Вы смеетесь, г. Наблюдатель, над экспертами! Вы утверждаете, что лишь один из них пяти сказал, что преступница действительно была в аффекте беременности, а что трое других лишь выразились, что могло быть влияние беременности, но не сказали положительно, что оно действительно было. Из этого вы выводите, что лишь один эксперт оправдал подсудимую **положительно,** а четверо нет. Но ведь такое рассуждение ваше неверно: вы слишком много требуете от совести человеческой. Довольно и того, что трем экспертам, очевидно, не хотелось оправдать подсудимую **положительно,** то есть взять это себе на душу, но факты до того были сильны и очевидны, что эти ученые всетаки поколебались и кончилось тем, что они не могли сказать: **нет,** прямо и просто, а **принуждены** были сказать, что «действительно могло быть влияние болезненное в момент преступления». Ну, а для присяжных ведь это и приговор: коли не могли не сказать, что «могло быть», значит, пожалуй, и впрямь оно было. Такое сильное сомнение присяжных естественно не могло не повлиять и на их решение, и это совершенно так и следовало по высшей правде: неужели же убить приговором ту, в полной виновности которой трое экспертов явно сомневаются, а, четвертый, Дюков, эксперт именно по душевным болезням, прямо и твердо приписывает все злодеяние тогдашнему расстроенному душевному состоянию преступницы? Но «Наблюдатель» особенно

ухватился за г. Флоринского, пятого эксперта, не согласившегося с мнением четырех экспертов: он, дескать, акушер, он больше всех должен знать в болезнях женщин. Это почему же он должен знать в душевных болезнях больше самих экспертов-психиатров? Потому, что он акушер, и занимается не психиатрией, а совсем другим делом? Не совсем и это логично.

V

Один случай, по-моему, довольно много разъясняющий

Теперь расскажу один случай, который, по-моему, может кое-что разъяснить в этом деле окончательно и послужить прямо той цели, с которою предпринял я эту статью. На третий день после оправдательного приговора над подсудимой Корниловой (22 апреля 1877 г.), они, муж и жена, приехали ко мне утром. Еще накануне они оба были в детском приюте, в котором помещена теперь пострадавшая девочка (выброшенная из окошка), и теперь, на другой день, снова туда отправлялись. Кстати, участь ребенка теперь обеспечена и нечего восклицать: «Горе теперь ребенку!..» и т. д. Отец, когда жену взяли в острог, сам поместил ребенка в этот детский приют, не имея никакой возможности присматривать за ним, уходя с утра до ночи на работу. А по возвращении жены, они решились ее оставить там в приюте, потому что там ей очень хорошо. Но на праздники они часто берут ее к себе домой. Она гостила у них и недавно на Рождестве. Несмотря на свою работу, с утра до ночи, и на грудного еще ребенка (родившегося в остроге) на руках, мачеха находит иногда и теперь время урваться и сбегать в приют к девочке, снести ей гостинцу и проч. Когда же была еще в остроге, то, вспоминая свой грех перед ребенком, она часто мечтала, как бы повидаться с ним, сделать хоть что-нибудь так, чтоб ребенок забыл о случившемся. Эти фантазии были как-то странны от такой сдержанной, даже мало доверчивой женщины, какою была Корнилова во все время

под судом. Но фантазиям этим суждено было осуществиться. Перед Рождеством, с месяц назад, не видав Корниловых месяцев шесть, я зашел к ним на квартиру, и Корнилова первым словом мне сообщила, что девочка «прыгает к ней в радости на шею и обнимает ее каждый раз, когда она приходит к ней в приют». И когда я уходил от них, она мне вдруг сказала: «Она забудет...»

Итак, они ко мне заехали утром на третий день по оправдании ее... Но я все отступаю, отступлю и еще раз на минутку. Наблюдатель юмористично и зло острит надо мною в своей статье за эти посещения мои Корниловой в остроге. «Он действительно вошел в это положение (то есть в положение беременной женщины), — говорит он про меня: — ездил к одной даме в тюрьму, был поражен ее смирением и в нескольких номерах «Дневника» выступил горячим ее защитником». Во-первых, к чему тут слово «дама», к чему этот дурной тон? Ведь Наблюдателю отлично известно, что это не дама, а простая крестьянка, работница с утра до ночи; она стряпает, моет полы и шьет на продажу, если урвет время. Бывал же я у нее в остроге ровно по разу в месяц, сиживал мунут по 10, много четверть часа, не более, большею частью в общей камере для подсудимых женщин, имеющих грудных младенцев. Если я с любопытством присматривался к этой женщине и старался уяснить себе этот характер, — то что же в том дурного, подлежащего насмешкам и юмору? Но вернемся к моему анекдоту.

Итак, приехали они с визитом, сидят у меня, оба в каком-то проникнутом серьезном состоянии духа. Мужа я до тех пор мало знал. И вдруг он говорит мне: «третьего дня, как мы воротились домой — (это после оправдания, стало быть, часу в двенадцатом ночи, а встает она в пять часов утра), — то тотчас сели за стол, я вынул Евангелие и стал ей читать». Признаюсь, когда он сообщил это, мне вдруг подумалось, глядя на него: «да он не мог иначе сделать, это тип, цельный тип, это можно бы было угадать». Одним словом, это пуританин, человек честнейший, серьезнейший, несомненно добрый и великодушный, но который ничего не уступит

из своего характера и ничего не отдаст из своих убеждений. Этот муж смотрит на брак со всею верою, именно как на таинство. Это один из тех супругов, и теперь еще сохранившихся на Руси, которые, по старому русскому преданию и обычаю, придя от венца и уже затворившись с нововенчанною женою в спальне своей, первым делом бросаются перед образом на колени и долго молятся, прося у Бога благословения на свое будущее. Подобно тому он поступил и тут: вводя вновь свою жену в дом и возобновляя с ней расторгнутый страшным преступлением ее брак свой, он первым делом развернул Евангелие и стал ей читать его, нисколько не удерживаясь в мужественной и серьезной своей решительности хотя бы тем соображением, что женщина эта почти падает от усталости, что она страшно была потресена еще готовясь к суду, а в этот последний роковой для нее день суда вынесла столько подавляющих впечатлений, нравственных и физических, что уже, конечно, не грешно бы было даже и такому строгому пуританину, как он, дать ей прежде хоть каплю отдохнуть и собраться с духом, что было бы даже и сообразнее с целью, которую он имел, развертывая перед ней Евангелие. Так что мне даже показался этот поступок его чуть ли не неловким, — слишком уже прямолинейным, в том смысле, что он именно мог не достигнуть цели своей. Слишком виновную душу, и особенно если она сама уже слишком чувствует свою виновность и много уже вынесла из-за того муки, не надо слишком явно и **поспешно** укорять в ее виновности, ибо можно достигнуть обратного впечатления, и особенно в том случае, если раскаяние и без того уже в душе ее. Тут человек, от которого она зависит, поднявшийся над ней в высшем ореоле судьи, имеет как бы нечто в ее глазах беспощадное, слишком уже самовластно вторгающееся в ее душу, и сурово отталкивающее ее раскаяние и возродившиеся в ней добрые чувства: «Не отдых, не еда, не питье нужны такой, как ты, а вот садись и слушай, как надо жить». Когда они уже уходили мне удалось заметить ему мельком, чтоб он принимался вновь **за это дело** не столь строго или,

лучше сказать, не так бы спешил, не так бы прямо ломил и что так, может быть, было бы вернее. Я выразился кратко и ясно, но все же думал, что он, может быть, меня не поймет. А он вдруг мне и замечает на это: «А она мне тогда же, как только вошли в дом, и как только мы стали читать, и рассказала все, как вы ее, в последнее посещение ваше учили добру, в случае, если б ее в Сибирь сослали и усовещевали, как ей надо в Сибири жить...»

А это вот как было: действительно я, ровно накануне дня суда, заехал к ней в острог. Твердых надежд на оправдание не было у нас ни у кого, ни у меня, ни у адвоката. У ней тоже. Я застал ее с виду твердою, она сидела и что-то шила, ребенку ее немного нездоровилось. Но была она не то что грустна, а как бы подавлена. У меня же в голове насчет ее ходило несколько мрачных мыслей, и я именно заехал с целью сказать ей одно словцо. Сослать ее, как мы твердо надеялись, могли лишь на поселение, и вот едва совершеннолетняя женщина, с ребенком на руках, пустится в Сибирь. Брак расторгнут; на чужой стороне, одной, беззащитной и еще недурной собою, такой молодой, — где ей устоять от соблазна, думалось мне. Подлинно на разврат толкает ее судьба, я же знаю Сибирь: соблазнять там страшно много охотников, туда очень много едет из России неженатых людей, служащих и аферистов. Упасть легко, но зато сибиряки, простой народ и мещане — это самые безжалостные к падшей женщине люди. Мешать ей не помешают, но раз замаравшая свою репутацию женщина никогда уже не восстановит ее: вечное ей презрение, слово укора, попреки, насмешки, и это до самой старости, до могилы. Прозвище особое дадут. А ребеночек ее (девочка) как раз **принуждена** будет наследовать карьеру матери: из дурного дома не найдет хорошего и честного жениха. Но другое дело, если сосланная мать соблюдет себя в Сибири честно и строго: молодая женщина, соблюдающая себя честно, пользуется огромным уважением. Всякий-то ее защищает, всякий-то ей пожелает угодить, всякий-то перед ней шапку снимет. Дочку она наверно пристроит. Даже сама может со вре-

менем, когда разглядят ее и уверятся в ней, вновь в честный брак вступить, в честную семью. (В Сибири о прошлом, то есть за что сослан, ни в острогах, ни куда бы ни сослали жить, не спрашивают, редко любопытствуют. Может быть, это оттого даже, что чуть ли не вся-то Сибирь, в три эти столетия, произошла от ссыльных, населилась ими). Вот все это мне и вздумалось высказать этой молодой, едва совершеннолетней женщине. И даже я нарочно выбрал, чтоб сказать ей это, именно этот последний день перед судом: характернее останется в памяти, строже напечатлеется в душе, подумалось мне. Выслушав меня, как ей следует жить в Сибири, если сошлют ее, она мрачно и серьезно, не подымая на меня почти глаз, поблагодарила меня. И вот усталая, измученная потрясенная всем этим страшным многочасовым впечатлением суда, а дома сурово посаженная мужем слушать Евангелие, она не подумала тогда про себя: «Хоть бы пожалел-то меня, хоть бы до завтрава отложил, а теперь накормил бы, дал отдохнуть». Не обиделась и тем, что **так над ней возвышаются** (NB. Обида за то, что слишком уже **над нами возвышаются,** может быть у самого страшного, самого сознающего свое преступление преступника и даже у самого раскаивающегося), а, напротив — не нашла что лучше мужу сказать, как сообщить ему **поскорей,** что вот и в остроге ее учили тоже добру люди, что вот как учили ее жить на чужой стороне, честно и строго соблюдая себя. И уж явно она сделала это потому, что знала, что рассказ об этом доставит удовольствие ее мужу, впадет в его тон, ободрит его: «значит, она впрямь раскаивается, впрямь хочет жить хорошо», подумает он. Так он как раз и подумал, а на мой совет: не пугать ее слишком поспешной строгостью с ней, прямо сообщил мне, конечно, с радостью в душе: «нечего бояться за нее и осторожничать, она была сама рада быть честной»...

Не знаю, но мне кажется, что все это понятно. Поймут читатели, для чего я и сообщаю это, По крайней мере, теперь хоть надеяться можно, что великое милосердие суда не испортило преступницу еще более, а, напротив, даже очень может быть, что пало на хоро-

шую почву. Ведь она и прежде, и в остроге, и теперь считает себя несомненной преступницей, а оправдание свое приписывает единственно лишь великому милосердию суда. «Аффекта беременности» она сама не понимает. И точно, она несомненная преступница, она была в полной памяти, совершая преступление, она помнит каждое мгновение, каждую черточку совершённого преступления, она только не знает и даже себе самой не может никак уяснить до сих пор: **«Как это она могла тогда это сделать и на это решиться!»** Да, г. Наблюдатель, суд помиловал действительную преступницу, действительную, несмотря на несомненный теперь и роковой «аффект беременности», столь осмеянный вами, г. Наблюдатель, и в котором я глубоко и уже непоколебимо теперь убежден. Ну, а теперь решите сами: если б разорвали брак, отторгли ее от человека, которого она несомненно любила и любит, и который для нее составляет все ее семейство, и одинокую, двадцатилетнюю, с младенцем на руках, беспомощную сослали в Сибирь — на разврат, на позор (ведь это падение-то в Сибири наверно же бы случилось) — скажите, что толку в том, что погибла, истлела бы жизнь, которая теперь, кажется, возобновилась вновь, возвратилась к истине в суровом очищении, в суровом покаянии и с обновившимся сердцем. Не лучше ли исправить, найти и восстановить человека, чем прямо снять с него голову. Резать головы легко по букве закона, но разобрать по правде, по-человечески, по-отечески, всегда труднее. Наконец, ведь вы знали же что вместе с молодою, двадцатилетнею матерью, то есть неопытною и наверно впереди жертвою нужды и разврата — ссылается и младенец ее... Но позвольте мне вам сказать о младенцах словечко особо.

VI

Враг ли я детей? О том, что значит иногда слово «счастливая»

Вся ваша статья, г. Наблюдатель, есть протест «против оправдания жестокого обращения с детьми». То,

что вы заступаетесь за детей, конечно, делает вам честь, но со мной-то вы обращаетесь слишком высокомерно.

«Надо иметь всю ту силу воображения, — говорите вы обо мне, — которою, как известно, отличается среди нас г. Достоевский, чтобы вполне войти в положение женщины и уяснить себе всю неотразимость аффектов беременности.... Но г. Достоевский слишком впечатлителен, и при том «болезни проявления воли», это прямо по части автора — «Бесов», «Идиота» и т. д., ему извинительно иметь к ним слабость. Я смотрю на дело проще и утверждаю, что после таких примеров, как оправдания жестокого обращения с детьми, этому обращению, которое в России, как и в Англии, очень нередко, не предстоит уже и тени устрашения». — И т. д., и т. д.

Во-первых, о «слабости моей к болезненным проявлениям воли» я скажу вам лишь то, что мне действительно, кажется, иногда удавалось, в моих романах и повестях, **обличать** иных людей, считающих себя здоровыми, и доказать им, что они больны. Знаете ли, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть ли не до убеждения в своей непогрешимости. Ну, вот на таких-то мне и случалось много раз указывать моим читателям и даже, может быть, доказать, что эти здоровяки далеко не так здоровы, как думают, а, напротив, очень больны, и что им надо идти лечиться. Что ж, я не вижу в этом ничего дурного, но г. Наблюдатель слишком жесток ко мне, потому что фраза его об «оправдании жестокого обращения с детьми» прямо и ко мне относится; он только «капельку» смягчает ее: «ему-де извинительно». Вся статья его написана прямо для доказательства, что во мне, от пристрастия моего к «болезненным проявлениям воли», до того извратился здравый смысл, что я скорее готов пожалеть истязателя ребенка, зверя-мачеху и убийцу, а не истязуемую жертву, не слабую, жалкую девочку, битую, поруганную и наконец, убитую. Это мне обидно. В противополож-

ность моей болезненности, г. Наблюдатель прямо, поспешно и откровенно указывает на себя, выставляет свое здоровье: «Я, дескать, смотрю на дело проще (чем г. Достоевский) и утверждаю, что после таких примеров, как оправдания жестокого обращения с детьми» и т. д., и т. д. Итак, я оправдываю жестокое обращение с детьми — страшное обвинение! Позвольте же и мне, в таком случае, защитить себя. Не стану указывать на прежнюю тридцатилетнюю мою литературную деятельность, чтоб решить вопрос: большой ли я враг детей и любитель жестокого обращения с ними, но напомню лишь о двух последних годах моего авторства, то есть об издании «Дневника писателя». Когда был процесс Кронеберга, мне случилось-таки, несмотря на все мое пристрастие к «болезненным проявлениям воли», заступиться за ребенка, за жертву, а не за истязателя. Следственно и я **иногда** беру сторону здравого смысла, г. Наблюдатель. Теперь я даже сожалею, зачем вы не выступили тогда тоже в защиту ребенка, г. Наблюдатель; наверно бы вы написали самую горячую статью. Но я что-то не помню ни одной горячей тогда статьи за ребенка. Следственно вы тогда не подумали заступиться. Потом, еще недавно, прошлым летом, мне случилось заступиться за малолетних детей Джунковских, тоже подвергавшихся истязаниям в родительском доме. О Джунковских тоже вы ничего не написали; впрочем и никто не написал, дело понятное, все были заняты такими важными политическими вопросами. Наконец, я бы мог указать даже не на один, а на несколько случаев, когда я, в эти два года, в «Дневнике» заговаривал о детях, об их воспитании, об их жалкой судьбе в наших семействах, о детях-преступниках в наших заведениях для исправления их, даже упомянул об одном мальчике у Христа на елке, — происшествие, конечно, лживое, но, однако, и не свидетельствующее прямо об моей бесчувственности и равнодушии к детям. Я вам скажу, г. Наблюдатель, вот что: когда я прочел в газете в первый раз о преступлении Корниловой, о неумолимом приговоре над нею и когда я невольно был поражен соображением: что, может быть, преступница вовсе не так преступна,

как оно кажется (заметьте, г. Наблюдатель, что о «мачехином битье» и тогда почти ничего не говорилось в газетных отчетах о процессе, и обвинение это даже и тогда уже не поддерживалось), — то я, решившись написать что-нибудь в пользу Корниловой, слишком понимал тогда и то, на что я решался. Я в этом прямо теперь вам признаюсь. Я ведь отлично знал, что я пишу статью несимпатичную, что я заступаюсь за истязателя, и против кого же, против малого ребенка. Я предугадывал, что меня обвинят **иные** в бесчувственности, в самомнении, в «болезненности» даже: «заступается-де за мачеху, убившую ребенка!» Я слишком предчувствовал эту «прямолинейность» обвинения от некоторых судей, — вот как от вас, например, г. Наблюдатель, так что я даже некоторое время и колебался, но кончилось тем, что, наконец, все же решился: «Если я верю, что тут правда, то стоит ли служить лжи из-за искания популярности?» — вот на чем я остановился в конце концов. Кроме того, меня ободрила и вера в моих читателей: «Они разберут, наконец, подумал я, что ведь нельзя же меня обвинить в желании оправдать истязание детей, и если я заступаюсь за убийцу, выставляя свое подозрение в ней болезненного и сумасшедшего состояния во время совершения ею злодейства, то ведь не заступаюсь же я тем самым за самое злодейство и не рад же ведь я тому, что били и убили ребенка, а напротив, может быть, очень и очень пожалел ребенка, не менее кого другого...»

Вы зло посмеялись надо мною, г Наблюдатель, за одну фразу в статье моей об оправдании подсудимой Корниловой:

«Муж оправданной, — пишет г. Достоевский в вышедшем на-днях «Дневнике» (говорите вы), — увез ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом». Как трогательно (прибавляете вы), но горе бедному ребенку и т. д., и т. д.

Мне кажется, что я не могу написать такой глупости. Правда, вы цитуете мою фразу точно, но вы что сделали: вы перерезали ее пополам и там, где ничего

не стояло, поставили точку. Смысл-то и вышел тот, который вам хотелось выставить. У меня точки на этом месте нет, фраза продолжается, есть и другая половина ее, и думаю, что вместе с этой другой, вами отброшенной половиной, фраза вовсе не так бестолкова и «трогательна», как она представляется. Вот эта фраза моя, но вся целиком, без выкидок.

«Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом почти после годового отсутствия, **с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизнь и явного Божьего перста во всем этом деле, — хотя бы только начиная с чудесного спасения ребенка»...**

Видите ли, г. Наблюдатель, я даже готов оговориться и извиниться перед вами в сейчас высказанном вам упреке за перерезанную надвое мою фразу. Действительно, я сам замечаю теперь, что фраза, может быть, вовсе не так ясна, как я надеялся, и что можно ошибиться в смысле ее. Ее нужно несколько пояснить, и я сделаю это теперь. Тут все дело в том, как я понимаю слово «счастливая». Счастье оправданной я ставил не в том только, что ее отпустили на волю, а в том, что она «вошла в дом свой с впечатлением огромного, вынесенного ею урока **на всю жизнь** и с предчувствием над собой явного перста Божия». Ведь нет выше счастья, как увериться в милосердии людей и в любви их друг к другу. Ведь это вера, целая вера, на всю уже жизнь! А какое же счастье выше веры? Разве эта бывшая преступница может теперь усумниться в людях хоть когда-нибудь, в людях как в человечестве и в его целом, великом целесообразном и святом назначении? Войти к себе в дом погибавшему, пропадавшему, с таким могущественным впечатлением новой великой веры, есть величайшее счастье, какое только может быть. Мы знаем, что иные самые благородные и высокие умы весьма даже часто страдали всю жизнь свою неверием в целесообразность великого назначения людей, в их доброту, в их идеалы, в божеское происхождение их и умирали в грустном разочаровании. Вы, конечно, улыбнетесь надо мной и скажете, может быть, что я и тут фантазирую, и что у

темной, грубой Корниловой, вышедшей из черни и лишенной образования, не может быть в душе ни таких разочарований, ни таких умилений. Ох, неправда! Назвать только они, эти темные люди, не умеют это все по-нашему и объяснить это нашим языком, но чувствуют они, сплошь и рядом, так же глубоко, как и мы, «образованные люди» и воспринимают чувства свои с таким же счастьем, или с такою же грустью и болью, как и мы же.

Разочарование в людях, неверие в них бывает и у них так же, как и у нас. Если б Корнилову сослали в Сибирь и она бы там упала и погибла, — неужели вы думаете, что она бы не почувствовала в какую-нибудь горькую минуту жизни весь ужас своего падения и не унесла бы на сердце своем, может быть, до гроба озлобления, тем более горького, что оно было бы для нее беспредметно, ибо кроме себя она не могла бы никого обвинить, потому что, повторяю вам это, она вполне уверена, и до сих пор, что она **несомненная преступница,** и только не знает, как это так тогда случилось над нею. Теперь же, чувствуя, что она преступница, и считая себя таковою и вдруг прощенная людьми, облагодетельствованная и помилованная, как могла бы она не почувствовать обновления и возрождения в новую и уже высшую прежней жизнь. Ее не один кто-нибудь простил, но умилосердились над нею **все,** суд, присяжные, все общество, стало быть. Как могла бы она после того не вынести в душе своей чувства огромного долга впредь на всю жизнь свою, перед всеми, ее пожалевшими, то есть перед всеми людьми на свете. Всякое **великое** счастье носит в себе и некоторое страдание,ибо возбуждает в нас высшее сознание. Горе реже возбуждает в нас в такой степени ясность сознания, как великое счастье. Великое, то есть высшее счастье **обязывает** душу. (Повторю: выше нет счастья, как уверовать в доброту людей и любовь их друг к другу). Когда сказано было великой грешнице, осужденной на побитие камнями: «Иди в свой дом и не греши», — неужели она воротилась домой, чтобы грешить? А потому весь вопрос и в деле Корниловой заключается лишь в том: на какую

почву упало семя. Вот почему мне и показалось необходимым написать теперь эту статью. Прочитав семь месяцев назад ваше нападение на меня, Г. Наблюдатель, я именно решился подождать отвечать вам, чтобы дополнить мои сведения. И вот, мне кажется, что по некоторым собранным мною чертам я уже безошибочно мог бы сказать теперь, что семя упало на добрую почву, что человек воскрешен, что никому это не сделало зла, что душа преступницы именно подавлена и раскаянием и вечным благотворным впечатлением безграничного милосердия людей, и что трудно теперь сердцу ее стать злым, испытав на себе столько доброты и любви. Несомненным же «аффектом беременности», который так возмущает вас, г. Наблюдатель, повторяю вам это, она вовсе не думает оправдываться. Одним словом, мне показалось вовсе не лишним уведомить об этом, кроме вас, г. Наблюдатель, и всех читателей моих и всех тех милосердных людей, которые тогда оправдали ее. А об девочке, г. Наблюдатель, тоже не заботьтесь и не восклицайте о ней: «Горе ребенку!» Ее судьба тоже теперь довольно хорошо устроилась и — «она забудет», есть серьезная надежда и на это.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле

Умер Некрасов. Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все еще не верил в возможность близкой смерти. За неделю до смерти с ним был паралич правой стороны тела, и вот 28-го

утром я узнал, что Некрасов умер накануне, 27-го, в 8 часов вечера. В тот же день я пошел к нему. Страшно изможденное страданием и искаженное лицо его как-то особенно поражало. Уходя, я слышал, как псалтирщик четко и протяжно прочел над покойным: «Несть человек, иже не согрешит». Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу, взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова. Эти первые четыре стихотворения, которыми начинается первый том его стихов, появились в «Петербургском сборнике», в котором явилась и моя первая повесть. Затем, по мере чтения (а я читал подряд), передо мной пронеслась как бы вся моя жизнь. Я узнал и припомнил и те из стихов его, которые первыми прочел в Сибири, когда, выйдя из моего четырехлетнего заключения в остроге, добился, наконец, до права взять в руки книгу. Припомнил и впечатление тогдашнее. Короче, в эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни! Как поэт, конечно. Лично мы сходились мало и редко и лишь однажды вполне с беззаветным, горячим чувством, именно в самом начале нашего знакомства, в сорок пятом году, в эпоху «Бедных людей». Но я уже рассказывал об этом. Тогда было между нами несколько мгновений, в которые, раз навсегда, обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненое в самом начале жизни сердце, и эта-то **никогда не зажившая** рана его и была началом и источником всей страстной страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которою он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему

маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то уж, конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, с существом столь любившим его. Я думаю, что ни одна потом привязанность в жизни его не могла бы так же, как эта, повлиять и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потом, помню, мы как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не долее нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. Затем, много лет спустя, когда я уже воротился из Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу в убеждениях, уже тогда начинавшуюся, встречаясь, говорили иногда друг другу даже странныя вещи — точно как будто в самом деле что-то продолжалось в нашей жизни, начатое еще в юности, еще в сорок пятом году, и как бы не хотело и не могло прерваться, хотя бы мы и по годам не встречались друг с другом. Так однажды в шестьдесят-третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут об вас думал, когда написал это (то есть об моей жизни в Сибири), — это об вас написано». И, наконец, тоже в последнее время, мы стали опять иногда видать друг друга, когда я печатал в его журнале мой роман «Подросток»...

На похороны Некрасова собралось несколько тысяч его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессия выноса началась в 9 часов утра, а разошлись с кладбища уже в сумерки. Много говорилось на его гробе речей, из литераторов говорили мало. Между прочим, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими не-

сколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его. Высказал также мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». В самом деле (устраняя всякий вопрос о художнической силе его поэзии, и о размерах ее), — Некрасов, действительно был в высшей степени своеобразен и действительно приходил с «новым словом». Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно останется за Некрасовым. В этом смысле он, в ряду поэтов (то есть приходивших с «новым словом»), должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был **выше** Пушкина и Лермонтова, и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «да выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться. Но вот что вышло потом: в «Биржевых Ведомостях» г. Скабичевский, в послании своем к молодежи по поводу значения Некрасова, рассказывая, что будто бы когда **кто-то** (то есть я), на могиле Некрасова, «вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все (то есть вся учащаяся молодежь) **в один голос, хором** прокричали: «он был выше, выше их». Смею уверить г. Скабичевского, что ему не так передали и что мне твердо помнится (надеюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнул всего один голос: «выше, выше их» и тут же прибавил, что Пушкин и Лермонтов были «байронисты» — прибавка, которая гораздо свойственнее одному голосу и мнению, чем **всем**, в один и тот же момент, то есть тысячному хору — так что факт этот свидетель-

ствует, конечно, скорее в пользу моего показания о том, как было это дело. И затем уже, сейчас после первого голоса, крикнуло еще несколько голосов, но всего только несколько, тысячного же хора я не слыхал, повторяю это и надеюсь, что в этом не ошибаюсь.

Я потому так на этом настаиваю, что мне все же было бы чувствительно видеть, что **вся** наша молодежь впадает в такую ошибку. Благодарность к великим отшедшим именам должна быть присуща молодому сердцу. Без сомнения, иронический крик о байронистах и возгласы: «выше, выше», — произошли вовсе не от желания затеять над раскрытой могилой дорогого покойника литературный спор, что было бы неуместно, а что тут просто был горячий порыв заявить как можно сильнее все накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга к великому и столь сильно волновавшему нас поэту, и который, хотя и в гробе, но все еще к нам так близок (ну, а те-то великие прежние старики уже так далеко!). Но весь этот эпизод, тогда же, на месте, зажег во мне намерение объяснить мою мысль яснее в будущем № «Дневника» и выразить подробнее, как смотрю я на такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и в нашей поэзии, каким был Некрасов, и в чем именно заключается, по-моему, суть и смысл этого явления.

II

Пушкин, Лермонтов и Некрасов

И во-первых, словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хотя был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозгла-

шенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый **исход** еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему. Это именно было как бы отворенный клапан; по крайней мере, среди всеобщих и глухих стонов даже большею частью бессознательных, это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и стоны человечества. Как было не откликнуться на него и у нас, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму, как Пушкин? Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствию к Европе и к европейскому человечеству издали, а потому, что у нас, и в России, как раз к тому времени, обозначилось слишком много новых, неразрешенных и мучительных тоже вопросов, и слишком много старых разочарований... Но величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, **нашел великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него.** Этот исход был — народность, **преклонение перед правдой народа русского.** «Пушкин был явление великое, чрезвычайное». Пушкин был «не только

русский человек, но и первым русским человеком». Не понимать русскому Пушкина — значит не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто. Не говорю уже о том, что он, всечеловечностью гения своего и способностью откликаться на все многоразличные духовные стороны европейского человечества, и почти перевоплощаться в гении чужих народов и национальностей, засвидетельствовал о человечности и всеобъемлемости русского духа и тем как бы провозвестил и о будущем предназначении гения России во всем человечестве, как всеединяющего, всепримиряющего и всевозрождающего в нем начала. Не скажу и о том даже, что Пушкин первый у нас, в тоске своей и в пророческом придвидении своем, воскликнул:

Увижу ли народ освобожденный
И рабство, павшее по манию Царя!

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина к народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывал до него. «Не люби ты меня, а полюби ты **мое»** — вот что вам скажет всегда народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему.

Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных. Но народу **надо,** чтоб его не за одни страдания его любили, а чтоб полюбили и **его самого.** Что же значит **полюбить его самого?** «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вот что это значит, и вот как вам ответит народ, а иначе он никогда нас за своего не признает, сколько бы вы там об нем ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядит, какими бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал, как надо любить народ, не приготовлялся, не учился: он сам вдруг оказался народом. Он преклонился перед правдой народною, он признал народную правду как свою правду. Несмотря на все пороки народа и многие смердящие

привычки его, он сумел различить великую суть его духа тогда, когда никто почти так не смотрел на народ, и принял эту суть народную в свою душу как свой идеал. И это тогда, когда самые наиболее гуманные и европейски развитые любители народа русского сожалели откровенно, что народ наш столь низок, что никак не может подняться до парижской уличной толпы. В сущности эти любители всегда презирали народ. Они верили, главное, что он раб. Рабством же извиняли падение его, но раба не могли ведь любить, раб все-таки был отвратителен. Пушкин первый объявил, что русский человек **не раб,** и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов (в целом, конечно, в общем, не в частных исключениях) — вот тезис Пушкина. Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом (хотя и состоит в рабстве) — черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу. Он признал и высокое чувство собственного достоинства в народе нашем (опять-таки в целом, мимо всегдашних и неотразимых исключений), он предвидел то спокойное достоинство, с которым народ наш примет и освобождение свое от крепостного состояния — чего не понимали, например, замечательнейшие образованные русские европейцы уже гораздо позднее Пушкина и ожидали совсем другого от народа нашего. О, они любили народ искренно и горячо, но по-своему, то есть по-европейски. Они кричали о зверином состоянии народа, о зверином положении его в крепостном рабстве, но и верили всем сердцем своим, что народ наш, действительно, зверь. И вдруг этот народ очутился свободным с таким мужественным достоинством, без малейшего позыва на оскорбление бывших владетелей своих: «Ты сам по себе, а я сам по себе, если хочешь — иди ко мне, за твое хорошее всегда тебе от меня честь». Да для многих наш крестьянин по освобождении своем явился странным недоумением. Многие даже решили, что это в нем от неразвитости и тупости, остатков прежнего рабства. И это теперь, что же было во времена Пуш-

кина? Не я ли слышал сам, в юности моей, от людей передовых и «компетентных», что образ Пушкинского Савельича в «Капитанской дочке», раба помещиков Гриневых, упавшего в ноги Пугачеву и просившего его пощадить барченка, а «для примера и страха ради повесить уж лучше его, старика», — что этот образ не только есть образ раба, но и апофеоз русского рабства!

Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с презрением. Пушкин любил все, что любил этот народ, чтил все, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его. Умаление Пушкина, как поэта, более исторически, более архаически преданного народу, чем на деле — ошибочно и не имеет даже смысла. В этих исторических и архаических мотивах звучит такая любовь и такая **оценка народа,** которая принадлежит народу **вековечно,** всегда, и теперь и в будущем, а не в одном только каком-нибудь давно-прошедем историческом народе. Народ наш любит свою историю главное за то, что в ней встречает незыблемою ту же самую святыню, в которую сохранил он свою веру и теперь, несмотря на все страдания и мытарства свои. Начиная с величавой, огромной фигуры летописца в «Борисе Годунове», до изображения спутников Пугачева, — все это у Пушкина — народ в его глубочайших проявлениях, и все это понятно народу, как собственная суть его. Да это ли одно? Русский дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде. В великих, неподражаемых, несравненных песнях будто бы западных славян, но которые суть явно порождение русского великого духа, вылилось все воззрение русского на братьев славян, вылилось все сердце русское, объявилось все мировоззрение народа, сохраняющееся и доселе в его песнях, былинах, преданиях, сказаниях, высказалось все, что любит и чтит народ, выразились его идеалы героев, царей, на-

родных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы. А такие прелестные шутки Пушкина, как, например, болтовня двух пьяных мужиков, или Сказание о Медведе, у которого убили Медведицу — это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное в его созерцании народа. Если б Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие художественные сокровища для понимания народного, которые влиянием своим наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма, — к народной правде, к народной силе и к сознанию народного назначения. Вот это-то поклонение перед правдой народа вижу я отчасти (увы, может быть, один я из всех его почитателей) — и в Некрасове, в сильнейших произведениях его. Мне дорого, очень дорого, что он «печальник народного горя» и что он так много и страстно говорил о горе народном, но еще дороже для меня в нем то, что в великие, мучительные и восторженные моменты своей жизни, он, несмотря на все противоположные влияния и даже на собственные убеждения свои, преклонялся перед народной правдой всем существом своим, о чем и засвидетельствовал в своих лучших созданиях. Вот в этом-то смысле я и поставил его как пришедшего после Пушкина и Лермонтова с тем же самым отчасти новым словом, как и те (потому что «слово» Пушкина до сих пор еще для нас новое слово. Да и не только новое, а еще и не узнанное, не разобранное, за самый старый хлам считающееся).

Прежде чем перейду к Некрасову, скажу два слова и о Лермонтове, чтоб оправдать то, почему я тоже поставил и его как уверовавшего в правду народную. Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный, — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если б он перестал возиться с больною личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим ев-

ропеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ. И вот он раз пишет бессмертную песню о том, как молодой купец Калашников, убив за бесчестье свое государева опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном перед грозные его очи, отвечает ему, что убил он государева слугу Кирибеевича «вольною волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Раб Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта XVI-го столетия, писавшего все к тому же царю Ивану свои оппозиционные и почти ругательные письма из-за границы, где он безопасно приютился. Написав одно письмо, он призвал раба своего Шибанова и велел ему письмо снести в Москву и отдать царю лично. Так и сделал раб Шибанов. На Кремлевской площади он остановил выходившего из собора царя, окруженного своими приспешниками, и подал ему послание своего господина, князя Курбского. Царь поднял жезл свой с острым наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, оперся на жезл и стал читать послание. Шибанов с проколотой ногой не шевельнулся. А царь, когда стал потом отвечать письмом князю Курбскому, написал, между прочим: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что он сам устыдился раба Шибанова. Этот образ русского «раба», должно быть, поразил душу Лермонтова. Его Калашников говорит царю без укора, без попрека за Кирибеевича, говорит он, зная про верную казнь, его ожидающую, царю «всю правду истинную», что убил его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного **«печальника горя народного».** Но это имя досталось Некрасову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже, за Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное, и я уже сказал почему — за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тем замечательнее в Некрасове, что он всю жизнь свою был под влиянием людей, хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нем, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды, и всегда ставивших европейское просвещение свое несравненно выше истины духа народного. Не вникнув в русскую душу и не зная чего ждет и просит она, им часто случалось желать нашему народу, со всею любовью к нему, того, что прямо могло бы послужить к его бедствию. Не они ли в русском народном движении, за последние два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народного, которую он, может быть, в первый раз еще выказывает в такой полноте и силе и тем свидетельствует о своем здравом, могучем и неколебимом доселе живом единении в одной и той же великой мысли и почти предузнает сам будущее предназначение свое. И мало того, что не признают правды движения народного, но и считают его почти ретроградством, чем-то свидетельствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. Некрасов же, несмотря на замечательный, чрезвычайно сильный ум свой, был лишен однако серьезного образования, по крайней мере, образование его было небольшое. Из известных влияний он не выходил во всю жизнь, да и не имел сил выйти. Но у него была своя,

своеобразная сила в душе, не оставлявшая его никогда, — это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, зверское подобие, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его и даже частию уверовать и в будущее предназначение его. О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться. Он мог воскликнуть в недавно напечатанном в первый раз экспромпте его, с тревожным укором созерцая освобожденный уже от крепостного состояния народ,

...Но счастлив ли народ?

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если б его спросили, «чего же пожелать народу и как это сделать?», то он, может быть, дал бы и весьма ошибочный, даже пагубный ответ. И уж, конечно, его нельзя винить: политического смысла у нас еще до редкости мало, а Некрасов, повторяю, был всю жизнь под чужими влияниями. Но сердцем своим, но великим поэтическим вдохновением своим, он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт. Всякий выходящий из народа, при самом малом даже образовании, поймет уже много у Некрасова. Но лишь при образовании. Вопрос о том, поймет ли Некрасова теперь прямо весь народ русский — без сомнения, вопрос явно немыслимый. Что поймет «простой народ» в шедеврах его: «Рыцарь на час», «Тишина», «Русские женщины»? Даже в великом «Власе» его, который может быть понятен народу (но не вдохновит нисколько народ, ибо все это поэзия давно уже вышедшая из непосредственной жизни), народ отличит два-три фальшивые штриха наверно. Что разберет народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его: «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший

о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. Не говорю в будущем, — в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучше и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходить в очень тяжкие минуты свои к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать свое измученное сердце, — ибо любовь к народу у Некрасова была лишь **исходом его собственной скорби по себе самом...**

Но прежде чем разъясню, как понимаю я эту «собственную скорбь» дорогого нам усопшего поэта по себе самом, не могу не обратить внимание на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессе сейчас после смерти Некрасова, почти во всех статьях, говоривших о нем.

III

Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке

Все газеты, чуть только заговаривали о Некрасове, по поводу смерти и похорон его, чуть только начинали определять его значение, как тотчас же и прибавляли без изъятия, некоторые соображения о какой-то «практичности» Некрасова, о каких-то недостатках его, пороках даже, о какой-то двойственности в том образе, который он нам оставил о себе. Иныя газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, в каких-нибудь двух строках, но важно то, что все-таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избежать не могли. В других же изданиях, говоривших о Некрасове обширнее, выходило и еще страннее. В самом деле: не формулируя обвинений в подробности и как бы избегая того, от глубокой и искренней почтительности к покойному, они все-таки пускались... оправдывать его, так что выходило еще непонятнее. «Да в

чем же вы оправдываете? — срывался невольно вопрос; — если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотим знать, нуждается ли еще он в оправданиях наших?» Вот какой зажигался вопрос. Но формулировать не хотели, а с оправданиями и с оговорками спешили, как будто желая поскорее предупредить кого-то и, главное, опять-таки, — как будто и не могли никак избежать этого, хотя бы, может быть, и хотели того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть в него, то и вы, и всякий, кто бы вы ни были, несомненно придете к заключению, чуть лишь размыслите, что случай этот совершенно нормальный, что, заговорив о Некрасове, как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем, как и о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин — до того связаны, до того оба необъяснимы один без другого, и до того взятые вместе объясняют друг друга, что, заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете.

Но что же мы можем сказать, и что именно мы видим? Произносится слово «практичность», то есть умение обделывать свои дела, но и только, а затем спешат с оправданиями: «он-де страдал, он с детства был заеден средой», он вытерпел еще юношей в Петербурге, бесприютным, брошенным, много горя, а следовательно и сделался «практичным» (то есть как будто и не мог уж не сделаться). Другие идут даже дальше и намекают, что без этой-то ведь «практичности» Некрасов, пожалуй, и не совершил бы столь явно полезных дел на общую пользу, напр., совладал с изданем журнала и проч., и проч. Что же, для хороших целей оправдывать, стало быть, дурные средства? И это говоря о Некрасове-то, человеке, который потрясал сердца, вызывал восторг и умиление к доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, все это говорится, чтоб извинить, но, мне кажется, Некрасов не нуждается в таком извинении. В извинениях на подобную тему всегда заключается как бы нечто принизительное, и как бы затемняется и умаляется образ из-

виняемого чуть не до пошлых размеров. В самом деле, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тем как бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при известных обстоятельствах, чуть не необходима. А если так, то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: «я упал, я упал». И это в бессмертной красоты стихах, которые он в ту же ночь запишет, а назавтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого, — **и необходима.** Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства — не более, и даже в самом пошлом его значении, потому что он эти стихи сам похваливает, сам на них любуется, ими совершенно доволен, их печатает, на них рассчитывает: придадут, дескать, блеск изданию, взволнуют молодые сердца. Нет, если все это оправдывать, да не разъяснив, то мы рискуем впасть в большую ошибку и порождаем недоумение, и на вопрос: «кого вы хороните?» — мы, провожавшие гроб его, принуждены бы были ответить, что хороним «самого яркого представителя искусства для искусства, какой только может быть». Ну, а было ли это так? Нет, **воистину это не было так,** а хоронили мы воистину «печальника народного горя» и вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя, и сам с отвращением и самобичеванием отвергал дешевое примирение.

Нужно выяснить дело, выяснить искренно и беспристрастно, и что выяснится, то принять как оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни на какие дальнейшие соображения. Тут надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы как можно точнее добыть из выяснений фигуру покойного, лицо его; так наши сердца требуют, для того, чтоб не оставалось у нас о нем ни малейшего такого недоумения, которое невольно чернит память, оставляет нередко и на высоком образе недостойную тень.

Сам я знал «практическую жизнь» покойного ма-

но, а потому приступить к анекдотической части этого дела не могу, но если б и мог, то не хочу, потому что прямо окунусь в то, что сам признаю сплетнею. Ибо я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного, по крайней мере, половина, а может быть и все три четверти — чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, — не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случалось — то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое? Нечто мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что — что же означают тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что «он упал», эта страстная исповедь перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь? Опять-таки в анекдотическую сторону дела вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта, как бы предсказана им же самим, еще на заре дней его, в одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных, кажется, еще до знакомства с Белинским (и потом уж позднее обделанных и получивших ту форму в которой явились они в печати). Вот эти стихи:

Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.
    В руках была палка предлинная,
    Котомка пустая на ней,
    На плечах шубенка овчинная,
    В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени, —
В кармане моем миллион.

Миллион — вот демон Некрасова! Что ж, он любил так золото, роскошь, наслаждения и, чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и

унизительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпою людей не желала. Не то, чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они не так страшны, как об них говорят (наверно думалось ему), но они, все, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет до их интереса. Вот тогда-то и начались, может быть, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: «в кармане моем миллион».

Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним. По крайней мере, мне так казалось всю потом жизнь. Но этот демон все же был низкий демон. Такого ли **самообеспечения** могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная так отзываться на все святое и не покидавшая веры в него. Разве таким самообеспечением ограждают себя столь одаренные души? Такие люди пускаются в путь босы и с пустыми руками, и на сердце их ясно и светло. Самообеспечение их не в золоте. Золото — грубость, насилие, деспотизм! Золото может казаться обеспечением именно той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал. Неужели картины насилия и потом жажда сластолюбия и разврата могли ужиться в таком сердце, в сердце человека, который сам бы мог воззвать к иному: «брось все, возьми посох свой и иди за мной»,

Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Но демон осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел.

За то и заплатил страданием, страданием всей жизни своей. В самом деле, мы знаем лишь стихи, но что мы знаем о внутренней борьбе его с своим демоном, борьбе несомненно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрых делах Некрасова; он об них не публиковал, но они несомненно были, люди уже начинают свидетельствовать об гуманности, нежности этой «практичной» души. Г-н Суворин уже публиковал нечто; я уверен, что обнаружится много и еще добрых свидетельств, не может быть иначе. «О, — скажут мне, — вы тоже ведь оправдываете, да еще дешевле нашего». Нет, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопрос, — вопрос окончательный и всеразрешающий.

IV

Свидетель в пользу Некрасова

Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой-то Гекубе: «что ему Гекуба?» спрашивал Гамлет. Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, то есть способный **искренно** заплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь!) в бессмертной красоты стихах и назавтра же способный действительно утешиться... этой красотою стихов. Красотою стихов и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стихов, как на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь в этом смысле? Или, напротив того, скорбь поэта не проходила и после стихов, не удовлетворялась ими; красота их, сила, в них выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, будучи не в силах совладать с своим вечным демоном, с страстями, победившими его на всю жизнь, он и опять падал, то спокойно ли примирялся с своим падением, не возоб-

новлялись ли его стоны и крики еще сильнее в тайные святые минуты покаяния, — повторялись ли, усиливались ли в сердце его с каждым разом так, что сам он, наконец, мог видеть ясно, чего стоит ему его демон и как дорого заплатил он за те блага, которые получил от него. Одним словом, если он и мог **примиряться** моментально с демоном своим, и даже сам мог пускаться оправдывать «практичность» свою в разговорах с людьми, то оставалось ли такое примирение и успокоение навечно, или, напротив, улетало мгновенно из сердца, оставляя по себе еще жгуче боль, стыд и угрызения? Тогда, — если б только можно было решить этот вопрос — тогда нам что ж бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что, будучи не в силах совладать с соблазнами своими, он не покончил с собой, например, как тот древний печерский многострадалец, который, тоже будучи не в силах совладать с змием страсти, его мучившей, закопал себя по пояс в землю и умер, если не изгнав своего демона, то уж, конечно, победив его. В таком случае, мы сами, то есть каждый из нас, очутились бы в унизительном и комическом положении, если б осмелились брать на себя роль судей, произносящих такие приговоры. Тем не менее поэт, который сам написал о себе:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан,

тем самым как бы и признал над собой суд людей как «граждан». Как лицам нам бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то из нас? Мы только не говорим лишь о себе вслух и прячем нашу мерзость, с которою вполне миримся, внутри себя. Поэт плакал, может быть, о таких делах своих, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их. Ведь мы знаем о падениях его, о демоне его из его же стихов. Не было бы этих стихов, которые он в покаянной искренности своей не убоялся огласить, то и все, что говорилось о нем, как о человеке, о «практичности» его и о прочем — все это умерло бы само собою, и стерлось бы из памяти людей, понизилось

бы прямо до сплетни, так что всякое оправдание его оказалось бы вовсе и не нужным ему. Замечу кстати, что для практического и столь умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а, стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем. Тем не менее, повторяю, на суд граждан он должен итти, ибо сам признал этот суд. Таким образом, если б тот вопрос, который поставился у нас выше: удовлетворялся ли поэт стихами своими, в которые облекал свои слезы, и примирялся ли с собою до того спокойствия, которое опять позволяло ему пускаться с легким сердцем в «практичность», или же, напротив того, — примирения бывали лишь моментальные, так что он сам презирал себя, может быть, за позор их, потом мучился еще горче и больше, и так во всю жизнь, — если б этот вопрос, повторяю, мог бы быть разрешен в пользу второго предположения, то уж, конечно, тогда мы бы тотчас могли примириться и с «гражданином» Некрасовым, ибо собственные страдания его очистили бы перед нами вполне нашу память о нем. Разумеется, тут сейчас является возражение: если вы не в силах разрешить такой вопрос (а кто может его разрешить?), то и ставить его не надо было. Но в том-то и дело, что его можно разрешить. Есть свидетель, который может его разрешить. Этот свидетель — народ.

То есть любовь к народу! И, во-первых, для чего бы «практическому» человеку так увлекаться любовью к народу. Всякий занят своим делом: один практичностью, другой печалью по народе. Ну, положим, прихоть, так ведь поиграл и отстал. А Некрасов не отставал во всю жизнь. Скажут: народ для него — эта та же «Гекуба», предмет слез, облеченных в стихи и дающих доход. Но я уже не говорю о том, что трудно до того подделать такую искренность любви, какая слышится в стихах Некрасова (об этом спор может быть бесконечный), но я о том только скажу, что мне ясно, почему Некрасов так любил народ, почему его так тянуло к нему в тяжелые минуты жизни, почему он шел к нему

и что находил у него. Потому, как сказал я выше, что любовь к народу была у Некрасова как бы **исходом его собственной скорби по себе самом.** Поставьте это, примите это — и вам ясен весь Некрасов, и как поэт и как гражданин. В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил все свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное, это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и перед чем они преклоняются. Он отрывался, напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шел и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление. Не избрал бы он себе такой исход, **если б не верил в него.** В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего святее, незыблемее, истиннее, перед чем преклониться. Не мог же он полагать все самооправдание лишь в стишках о народе. А коли так, то, стало быть, и он преклонялся перед **правдой народною.** Если не нашел ничего в своей жизни более достойного любви, как народ, то, стало быть, признал и **истину народную** и **истину в народе,** и что истина есть и сохраняется лишь в народе. Если не вполне сознательно, не в убеждениях признавал он это, то сердцем признавал, неудержимо, неотразимо. В этом порочном мужике, униженный и унизительный образ которого так его мучил, он находил, стало быть, и что-то истинное и святое, что не мог не почитать, на что не мог не отзываться всем сердцем своим. В этом смысле я и поставил его, говоря выше об его литературном значении, тоже в разряд тех, которые признавали правду народную. Вечное же искание этой правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том,

что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями. А если так, то он, стало быть, страдал всю свою жизнь... И какие же мы судьи его после того? Если и судьи, то не обвинители.

Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его, как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...

V

К читателям

Декабрьский и последний выпуск «Дневника» так сильно запоздал по двум причинам: по болезненному моему состоянию в продолжение всего декабря и вследствие непредвиденного перехода в другую типографию из прежней, прекратившей свою деятельность. На новом непривычном месте неизбежно затянулось дело. Во всяком случае беру вину на себя и испрашиваю всего снисхождения читателей.

На многочисленные вопросы моих подписчиков и читателей о том: не могу ли я хотя время от времени выпускать №№ «Дневника» в будущем 1878 году, не стесняя себя ежемесячным сроком, спешу отвечать, что, по многим причинам, это мне невозможно. Может быть, решусь выдать один выпуск и еще раз поговорить с

моими читателями. Я ведь издавал мой листок сколько для других, столько и для себя самого, из неудержимой потребности высказаться в наше любопытное и столь характерное время. Если выдам хоть один выпуск, оповещу о том в газетах. Не думаю, что буду писать в других изданиях. В других изданиях я могу поместить лишь повесть или роман. В этот год отдыха от **срочного** издания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания «Дневника» неприметно и невольно. Но «Дневник» я твердо надеюсь возобновить через год. От всего сердца благодарю всех, столь горячо заявивших мне о своем сочувствии. Тем, которые писали мне, что я оставляю свое издание в самое горячее время, замечу, что через год наступит время, может быть, еще горячее, еще характернее, и тогда еще раз послужим вместе доброму делу.

Я пишу: **вместе,** потому что прямо считаю многочисленных корреспондентов моих моими сотрудниками. Мне много помогли их сообщения, замечания, советы и та искренность, с которою все обращались ко мне. Как жалею, что столь многим не мог ответить, за неимением времени и здоровья. Прошу вновь у всех, которым не ответил до сих пор, их доброго, благодушного снисхождения. Особенно виноват перед многими из писавших ко мне в последние три месяца. Той особе, которая писала «о тоске бедных мальчиков, и что она не знает, что им сказать» (писавшая, вероятно, узнает себя по этим выражениям) — пользуюсь теперь последним случаем сообщить, что я глубоко и всем сердцем был заинтересован письмом ее. Если б только возможно было, то я бы напечатал мой ответ на ее письмо в «Дневнике», и лишь потому оставил мою мысль, что перепечатать все письмо ее нашел невозможным. А между тем оно так ярко свидетельствует о горячем, благородном настроении в большей части нашей молодежи, о таком искреннем желании ее послужить всякому доброму делу на общее благо. Скажу этой корреспондентке лишь одно: может быть, русская-то женщина и спасет нас всех, все общество на-

ше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой **делать дело** и это до жертвы, до подвига. Она пристыдит бездеятельность других сил и увлечет их за собою, а сбившихся с дороги воротит на истинный путь. Но довольно; отвечаю многоуважаемой корреспондентке здесь в «Дневнике» на всякий случай, так как подозреваю, что прежний, сообщенный ею адрес ее теперь уже не мог бы служить.

Очень многим корреспондентам я потому не мог ответить на их вопросы, что на такие важные, на такие живые темы, которыми они столь интересуются, и нельзя отвечать в письмах. Тут нужно писать статьи, целые книги даже, а не письма. Письмо не может не заключать недомолвок, недоумений. Об иных темах решительно нельзя переписываться.

Той особе, которая просила меня заявить в «Дневнике», что я получил ее письмо о брате ее, убитом в теперешнюю войну, спешу сообщить, что меня искренно тронули и потрясли и ее скорбь о потерянном друге и брате, и в то же время и ее восторг о том, что ее брат послужил прекрасному делу. С удовольствием спешу сообщить этой особе, что я встретил здесь одного молодого человека, знавшего покойного лично и подтвердившего все, что она мне писала о нем.

Корреспонденту, написавшему мне длинное письмо (на 5 листах) о Красном Кресте, сочувственно жму руку, и искренно благодарю его и прошу не оставлять переписки и впредь. Я непременно вышлю ему то, о чем он просил.

Нескольким корреспондентам, спрашивавшим меня недавно **по пунктам,** непременно буду отвечать каждому особо, равно как и спрашивавшему о том: «кто есть стрюцкий?» (Надеюсь, корреспонденты узнают себя по эти выражениям). Корреспондентов из Минска и из Витебска особенно прошу извинить меня, что так замедлил им отвечать. Отдохнув, примусь за ответы и отвечу всем по возможности. Итак, пусть не сетуют и пусть подождут на мне.

Мой адрес остается прежним, прошу лишь озна-

чать дом и улицу, а не адресовать в редакцию «Дневника писателя».

Еще раз всех благодарю. Авось до близкого и счастливого свидания. Время теперь славное, но тяжелое и роковое. Как много висит на волоске именно в настоящую минуту, и как-то заговорим обо всем этом через год!

Последняя страничка

(Из журнала «Гражданин» за 1878 г.)

Во время трехмесячного перерыва, мы, в свое время, в июле месяце, получили за подписью «Друга Кузьмы Пруткова» нижеследующий фельетон, настоящий смысл которого, признаться, для нас не совсем ясен; притом же мы несколько не верим рассказанному событию, тем более, что и пруда на Елагином острову, по отзыву знатоков, не оказывается. Во всяком случае, мы не совсем понимаем, что сей сон значит, но, однако, помещаем его. **Ред.**

ИЗ ДАЧНЫХ ПРОГУЛОК КУЗЬМЫ ПРУТКОВА И ЕГО ДРУГА

Тритон

Вчера, 27-го июля, на Елагином острове, на закате солнца, в прелестное тихое время, вся гуляющая великосветская публика была невольною свидетельницею забавного приключения. На поверхности пруда вдруг показался выплывший Тритон, по-русски водяной, с зелеными влажными волосами на голове и бороде, и, удерживаясь на волнах, начал играть и выделывать разные штуки. Он нырял, вскрикивал, смеялся, плескался водой, стучал своими длинными и крепкими зелеными зубами, скрежеща ими на публику. Появление его произвело обычное в таких случаях впечатление. Дамы бросились к нему со всех сторон кормить его конфектами, протягивая к нему свои бонбоньерки. Но мифологическое существо, выдерживая древний харак-

тер водяного сатира, принялось выделывать перед дамами такие телодвижения, что все они бросились от него с визгливым смехом, пряча за себя своих наиболее взросших дочерей, на что водяной, видя это, крикнул им вслед несколько весьма и весьма бесцеремонных выражений, что усугубило веселость. Он скоро, впрочем, исчез, оставив по себе на поверхности воды лишь несколько водяных кругов, а в публике недоумение. Стали сомневаться и не верить, хотя видели собственными глазами, — конечно, мужчины, дамы же все стояли за то, что это был настоящий Тритон, точь-в-точь как бывают на столовых бронзовых часах. Некоторые выразили мысль, что это будто бы какой-то Пьер Бобо, всплывший для оригинальности. Разумеется, предположение не устояло, потому что Пьер Бобо всплыл бы непременно во фраке и в фоколях, хотя бы и мокрых. Тритон же был точь-в-точь как ходили древние статуи, то есть без малейшей одежды. Но явились скептики, которые начали даже утверждать, что все происшествие есть ничто иное как политическая аллегория и тесно связано с Восточным вопросом, только лишь разрешившимся в данную минуту на Берлинском конгрессе.

Несколько минут продолжалась даже идея, что это английские штуки и что все это проделывает все тот же великий жид*) для британских интересов, с хитрою целью отвлечь нашу публику, начиная с дам, рядом эстетически шаловливых картин от воинственного задора. Немедленно, впрочем, поднялись возражения, основанные на том, что лорд Биконсфильд теперь за границей, что его теперь встречают в Лондоне, и что слишком много нам, русским медведям, чести, чтоб сам он залез в русский пруд для эстетического наслаждения наших дам с политическими целями, что у него и без того своя дама в Лондоне и проч., и проч. Но слепота и азарт наших дипломатов неудержимы: начали кричать, что если не сам Биконсфильд, то почему же не быть г. Полетике, издателю «Биржевых Ведомостей», жаждущему мира, и что именно его-то могли

*) Разумеется, лорд Биконсфильд.

бы избрать англичане для представления Тритона. Но и это все быстро рухнуло в том соображении, что хотя г. Полетика, может быть, и способен на телодвижения, но все-таки без достаточной античной грации, из-за которой все прощается, и которая однако могла бы прельстить наших дачниц. Подоспел притом какой-то господин, который как раз сообщил, что г. Полетику видели в том же часу совсем на противуположном краю Петербурга в одном месте. Таким образом предположение об античном Тритоне всплыло опять на поверхность, несмотря на то, что сам Тритон давно уже сидел в воде. Замечательнее всего, что за античность и мифологичность Тритона особенно стояли дамы. Им чрезвычайно этого хотелось, конечно, для того, чтоб прикрыть откровенность своего вкуса, так сказать, классицизмом его содержания. Так мы ставим в наши комнаты и сады раздетые совершенно статуи, именно потому, что мифологические, а следовательно и классические антики, и, однако, не подумаем вместо статуй поставить, например, обнаженных слуг, что еще можно было сделать во времена крепостного права; даже и теперь можно, и тем скорее, что слуги исполнили бы все это не только не хуже, но даже и лучше статуй, потому что они во всяком случае натуральнее. Вспомните тезис о яблоке натуральном и яблоке нарисованном. Но так как не будет мифологичности, то этого и нельзя. Спор зашел на почве чистого искусства так далеко, что, говорят, был даже причиною нескольких семейных ссор мужей с своими прекрасными половинами, стоявшими за чистое искусство, в противоположность политическому и современному направлению, которое мужья их усматривали в совершившемся факте. В этом последнем смысле имело особенный и почти колоссальный успех мнение известного нашего сатирика, г. Щедрина. Быв тут же на гуляньи, он не поверил Тритону, и, рассказывали мне, хочет включить весь эпизод в следующий же номер «Отечественных Записок» в отделе «Умеренности и Аккуратности». Взгляд нашего юмориста очень тонок и чрезвычайно оригинален: он полагает, что всплывший Тритон про-

сто-напросто переодетый, или, лучше сказать, раздетый донага квартальный, отряженный еще до начала сезона, тотчас же после весенних наших петербургских волнений, на все лето в пруд Елагинского острова, на берегах которого столь много гуляет дачников, для подслушивания из воды преступных разговоров, буде таковые окажутся. Догадка эта произвела впечатление потрясающее, так что даже дамы перестали спорить и задумались. К счастью, известный наш исторический романист г. Мордовцев, случившийся тут же, сообщил один исторический факт из истории нашей Северной Пальмиры, никому не известный, всеми забытый, но из которого оказалось ясным, что всплывшее существо — настоящий Тритон и сверх того совершенно древний. По сведениям г. Мордовцева, добытым из древних рукописей, этот самый Тритон доставлен был в Петербург еще во времена Анны Монс, единственно чтоб понравиться которой Петр, как известно г. Мордовцеву, совершил свою великую реформу. Античное чудище привезено было вместе с двумя карликами, бывшими тогда в чрезвычайной моде, и шутом Балакиревым. Все это привезено было из немецкого городка Карлсруэ, Тритон же в кадке с карлсруйской водой для того, чтобы по переходе в Елагин пруд мог тотчас же найти около себя сопровождавшую его стихию. Но когда опрокинули в пруд карлсруйскую кадку, то злой и насмешливый Тритон, не взирая на то, что за него так дорого заплатили, нырнул в воду и ни разу потом не появился на поверхности, так что о нем все забыли до самого июля сего года, когда ему вдруг почему-то вздумалось о себе напомнить. В прудах же они могут жить припеваючи по нескольку даже веков. Никогда ученое сообщение не принималось публикою с таким восторгом, как это. Позже всех пришли русские естественные ученые, иные даже с других островов: гг. Сеченов, Менделеев, Бекетов, Бутлеров и tutti quanti. Но они застали лишь вышеупомянутые круги на воде, да умножившийся скептицизм. Конечно, они не знали на что решиться и стояли как потерянные, на всякий случай отрицая явление. Всех более заслу-

жил симпатии один очень ученый профессор зоологии: он пришел позже всех, но в совершенном отчаянии. Он бросался на всех и ко всем, расспрашивал о Тритоне с жадностью и почти плакал, что его не увидит и что зоология и свет потеряли такую тему! Но окружающие городовые отвечали нашему зоологу не могузнаньем, военные смеялись, биржевики смотрели свысока, а дамы, как трещотки, окружив профессора, сообщали ему лишь о телодвижениях, так что наш скромный ученый принужден был, наконец, заткнуть себе пальцами уши. Горестный профессор тыкал палочкой в воду близ того места, где скрылся Тритон, бросал маленькими камушками, выкрикивал: «кусь, кусь, сахарцу дам!» но все тщетно, — Тритон не выплыл... Впрочем, все остались довольны... Прибавьте ко всему прелестный летний вечер, заходящее солнце, дамские обтянутые туалеты, сладостное ожидание мира во всех сердцах и вы дорисуете сами картину. Замечательно, что Тритон проговорил сказанные им несколько в высшей степени нецензурных слов на чистейшем русском языке, несмотря на то, что он по происхождению немец, да сверх того еще родился где-нибудь в древних Афинах, вместе с тогдашней Минервой. Кто же научил его по-русски — вот вопрос? Да-с, Россию-таки начинают изучать в Европе! По крайней мере, оживил собою общество, заснувшее было под шум войны, всех усыпившей, и разбудил его для внутренних вопросов. И за то спасибо! В этом смысле надо бы желать не одного, а нескольких даже Тритонов, и не только в Неве, но и в Москве-реке*); и в Киеве, и в Одессе, и везде, во всякой даже деревне. В этом смысле их даже можно бы разводить нарочно: пусть будят общество, пусть всплывают... Но довольно, довольно! будущее впереди. Мы вдыхаем новый воздух всею новою, жаждущею вопросов грудью, так что, может быть, все это устроится само собой вместе с русскими финансами.

(Сообщено)
Друг Кузьмы Пруткова

*) В этой реке особенно.

32

Дневник писателя

за 1880 год

Единственный выпуск

АВГУСТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине

Речь моя о Пушкине и о значении его, помещаемая ниже и составляющая основу содержания настоящего выпуска «Дневника писателя» (единственного выпуска за 1880 год)*), была произнесена 8 июня сего года в торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности, при многочисленной публике, и произвела значительное впечатление. Иван Сергеевич Аксаков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы предводителем славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь «составляет событие». Не для похвальбы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вот что: если моя речь составляет событие, то только с одной и единственной точки зрения, которую обозначу ниже. Для сего и пишу это преди-

*) Издание «Дневника писателя» надеюсь возобновить в будущем 1881 году, если позволит мое здоровье.

словие. Собственно же в речи моей я хотел обозначить лишь следующие четыре пункта в значении Пушкина для России.

1) То, что Пушкин, первый, своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека беспокоющегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские (в «Войне и Мире» Льва Толстого) и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую больную язву составившегося у нас после великой Петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознанием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна, и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной, ибо

2) он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как в «Капитанской дочке», и во множестве других образов, мелькающих

в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пугачевского бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть — это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народа. Тут уже надобно говорить всю правду: не в нынешней нашей цивилизации, не в «европейском» так называемом образовании (которого у нас, к слову сказать, никогда и не было), не в уродливостях внешне-усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее и **только в нем.** Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду: «Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены». Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно.

Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения — способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, перевоплощения почти совершенного. Я сказал в моей речи, что в Европе были величайшие художественные мировые гении: Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого из них не видим этой способности, а видим ее только у Пушкина. Не в отзывчивости одной тут дело, а именно в изумляющей полноте перевоплощения. Эту способность, понятно, я не мог не отметить в оценке Пушкина, именно как характернейшую особенность его гения, принадлежащую из всех всемирных художников ему только одному, чем и отличается он от них от всех. Но не для умаления такой величины европейских гениев, как Шекспир и Шиллер, сказал я это; такой глупенький вывод из моих слов мог бы сделать только дурак. Всемирность, **всепонятность** и неисследимая глубина мировых типов человека арийского племени, данных Шекспиром на веки веков, не подвергается мною ни малейшему сомнению. И если б Шекспир создал Отелло действительно **венецианским** мавром, а не англичанином, то только придал бы ему ореол местной наци-

ональной характерности, мировое же значение этого типа осталось бы попрежнему то же самое, ибо и в итальянце он выразил бы то же самое, что хотел сказать, с такою же силою. Повторяю, не на мировое значение Шекспиров и Шиллеров хотел я посягнуть, обозначая гениальнейшую способность Пушкина перевоплощаться в гении чужих наций, а желая лишь в самой этой способности и в полноте ее отметить великое и пророческое для нас указание, ибо

4) способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере, в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с Петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, **в основании своем,** но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей, я, конечно, не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется, ясно. И не надо, не надо возмущаться сказанным мною: «что нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру». Смешно тоже и уверять, что прежде чем сказать новое слово миру «надобно нам самим развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о «новых словах» таким совершенным (будто бы) организмам, как народы Европы». Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы, или научной. Я про-

сто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь **нравственная** черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная лишь служить **экономически** преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное. Повторяю, я, конечно, не мог доказать «этой фантазии моей», как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелепость. Основные нравстренные сокровища духа, в основной сущности своей, по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив в Европе, в этой Европе, где накоплёно столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций — все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно-новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство». Между тем, на этот, именно на

этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете как теперь: ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим духом народным была спасена Россия. И, наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для того чтоб иметь право любить человечество и носить в себе всеединящую душу, для того чтоб заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они непохожи на нас; для того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтоб ей только одной все досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать (а народы такого духа ведь есть в Европе!) — если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? А еще толкуют о естественных науках! «Этого народ не позволит», сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен.

Четырьмя этими пунктами я обозначил значение для нас Пушкина, и речь моя, повторяю, произвела

впечатление. Не заслугами своими произвела она это впечатление (я напираю на это), не талантливостью изложения (соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ее, и, осмелюсь сказать это, — некоторою неотразимостью выставленных мною фактов, несмотря на всю краткость и неполноту моей речи. Но в чем же, однако, заключалось «событие»-то, как выразился Иван Сергеевич Аксаков? А вот именно в том, что славянофилами, или так называемой русской партией (Боже, у нас есть «русская партия»!) сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их, и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали — историческою необходимостью, историческим фатумом, так что в конце концов и в итоге, если когда-нибудь будет он подведен, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренно любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений «русских иноземцев». Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы стать, пожалуй, «событием», ибо представители славянофильства тут же, сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь — да и заявил это в самой речи моей, — что честь этого нового шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что заслуга этого нового, если хотите, слова вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению «партии» нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз если не высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь

во-время уловить минуту. Теперь вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, так что «западникам и славянофилам не об чем будет и спорить, как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как все отныне разъяснено». С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы «событием». Но увы, слово «событие»» произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники, не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениальною, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно, не в первых ли «попыхах» увлечения произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна, я ведь и сам знаю, что она не гениальна и нисколько не был обольщен похвалами, так что от всего сердца прощу им их разочарование в моей гениальности, — но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники чуть-чуть подумав (Nota bene: я не об тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напираю):

«А, — скажут, может быть, западники (слышите: только «может быть», не более), — а, вы согласились-таки, наконец, после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей стороне тоже была правда, и склонили ваши знамена — что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно: обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали, за исключени-

ем разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем, — но... тут, видите ли, является опять некоторая новая запятая, и это надобно как можно скорее разъяснить. Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях наших совпадали будто бы с народным духом и таинственно направлялись им, ваше-то положение — все-таки остается для нас более чем сомнительным, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути, напротив — оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к соединению человечества, — ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы попрежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, — если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор чорт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ как наш — не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами.

«Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его, о, конечно нет! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы оснуем и начнем, с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой, ну, хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколько бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы, многочисленнейшими и всякими средствами, подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ — наш. Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! — Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количеством же миллионов нас не испугаете. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уж во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв наш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных ве-

щах как le Pravoslavié и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не итти за Европой.

«А потому ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями, так и быть, сделаем вам эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим «началам» — уж извините, мы не можем принять»...

Вот какой может быть грустный вывод. Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста многих, очень многих, просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, — все эти смерды-то «направления» (а их как песку морского), о, там непременно наскажут в этом роде и, может быть, даже уж и насказали. (Nota bene. Насчет веры, например, уже было заявлено в одном издании, со всем свойственным ему остроумием, что цель славянофилов — это перекрестить всю Европу в православие). Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представителей нашего европеизма. И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то честь им и слава и за это, и мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то есть признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединящее его стремление, то и тогда уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере из основного, из главного. Тогда действительно моя речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю в последний раз, была бы событием (она не достойна такого наимено-

вания), а великое Пушкинское торжество, послужившее событием нашего единения, — единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПУШКИН

(Очерк)

Произнесено 8 июня в заседании Общества Любителей Российской Словесности

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его, и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало **«Онегина»**, например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается **«Онегин»** во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, Пар-

ни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в **«Цыганах»**, — поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В типе Алеко, герое поэмы **«Цыгане»**, сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в **«Онегине»**, где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо-реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически небходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории. Это

все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой Петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции — и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому придан некоторый благодушный русский характер, — но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и о нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «избранных», довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя. Алеко, конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей: у него все это как-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо. В чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться, и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних; да так и быть должно: «правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жиз-

нью». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно! Ну, и что же в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству и даже весьма вероятно обладая крепостными людьми, он позволил себе, по вольности своего дворянства, маленькую фантазийку прельститься людьми, живущими «без закона», и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленною, но страстною верой бросается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где может быть мое счастье, здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов!» И что же оказывается: при первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обагряет свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его — без отмщения, без злобы, величаво и простодушно:

Оставь нас, гордый человек;
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним.

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по нем, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду, или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и

это), к закону терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в **«Евгении Онегине»**, поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностию, какой и не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй.

Онегин приезжает из Петербурга, — непременно из Петербурга, это несомненно необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом, когда он восклицает в тоске:

> Зачем, как тульский заседатель,
> Я не лежу в параличе?

Но теперь, в начале поэмы, он пока еще на половину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить

> Бес благородный скуки тайной.

В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слыхал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, — и тогда, как и теперь, немногих, смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, эта апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в **«Дворянском Гнезде»** Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». Это она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог

он узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства». Но это только слова: она прошла в его жизни мимо него неузнанная и неоцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировою тоскою своею и с пролитою в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее и, кипя здоровьем и силою, восклицать с проклятиями:

Я молод, жизнь во мне крепка,
Чего мне ждать, тоска, тоска!

Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившею дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбрион» останавливается, наконец, в раздумьи, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:

Уж не пародия ли он?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно ко-

снулась ее души, и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротив, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину:

Но я другому отдана,
И буду век ему верна.

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака — нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась итти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «я вас люблю», потому ли, что она, «как русская женщина» (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием честей, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она «другому отдана, и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклинаний молила мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом, и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастьи дру-

того? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастии? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастие, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столько пострадавшим? Нет, чистая русская душа решает вот как: «пусть, пусть я одна лишусь счастия, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастен же и Онегин: одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в поэме. Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в

литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению. Я вот так думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если б умер ее старый муж, и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера? Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец, увидал вдруг женщину, которою прежде пренебрег, в новой блестящей, недосягаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет, — свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, — вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье» было так возможно; так близко!». И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нем Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он в сущности, любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии, и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, — это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни».

О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого не мало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть и кто он такой? Не итти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.

Итак, в **«Онегине»** в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят как изваянные. Еще раз напомню: говорю не как литературный критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инокалетописца, например, можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для

нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, — стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни, —

сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе, а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь «господа» о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом **взаправду,** доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. Возьмите сказание о «Медведе» и о том, как убил мужик его боярыню-медведицу, или припомните стихи:

Сват Иван, как пить мы станем.

и вы поймете, что я хочу сказать.

Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такою ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уж в наши дни. Но не в поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой (в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности.

Еще и еще раз повторяю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли, например, явиться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его. Но организм этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэти-

ческие образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из **«Фауста»**, вот **«Скупой Рыцарь»** и баллада **«Жил на свете рыцарь бедный»**. Перечтите **«Дон-Жуана»**, и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме: **«Пир во время чумы»!** Но в этих фантастических образах слышен гений Англии; эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери со стихами:

Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,

это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой...

Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, — но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот, рядом с этим религиозным мистицизмом, религиозные же строфы из Корана или **«Подражания Корану»:** разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот **«Египетские Ночи»,** вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его

поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше-утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только-что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловече-

скому воссоединению со всеми племенами великого Арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, **всечеловеком,** если хотите). О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художествен-

ной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: «это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя Христос». Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и Сам Он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Придирка к случаю

Четыре лекции на разные темы по поводу одной лекции, прочитанной мне г. А. Градовским. С обращением к г. Градовскому

I

Об одном самом основном деле

Я уже было заключил мой «Дневник», ограничив его моей «Речью», произнесенною 8 июня в Москве, и предисловием к ней, которое я написал, предчувствуя гам, действительно поднявшийся потом в нашей прессе после появления моей «Речи» в «Московских Ведомостях». Но прочтя вашу критику, г. Градовский, я приостановил печатание «Дневника», чтобы прибавить к нему и ответ на ваши нападки. О, предчувствия мои оправдались, гам поднялся страшный: и гордец-то я, и трус-то я, и Манилов, и поэт, и полицию надо бы привесть, чтоб сдерживать порывы публики, — полицию моральную, полицию либеральную, конечно. Но почему же бы и не настоящую? И настоящая полиция ведь у нас теперь либеральна, отнюдь не менее возопивших на меня либералов. Воистину немного не доставало до настоящей! Но оставим это пока, перейду прямо к ответу вам на ваши пункты. Прямо признаюсь с самого начала, что лично нечего бы мне с вами ни делить, ни толковать. Мне с вами столковаться нельзя; убеждать или разубеждать вас, стало быть, я вовсе не имею в виду. Читая и прежде иные ваши статьи, я, конечно, всегда удивлялся течению мыслей. Итак, почему же я вам теперь отвечаю? Единственно имея в виду других, которые нас рассудят, то есть читателей. Для этих других и пишу. Я слышу, я предчувствую, вижу даже, что возникают и идут новые элементы, жаждущие нового слова, истосковавшиеся от старого либерального подхихикивания над всяким словом надежды на Россию, от старого прежнего, либерально-

беззубого скептицизма, от старых мертвецов, которых забыли похоронить, и которые все еще считают себя за молодое поколение, от старого либерала-руководителя и спасителя России, который за все двадцатипятилетие своего пребывания у нас обозначился, наконец, как «без толку кричащий на базаре человек», по выражению народному. Одним словом, захотелось мне **многое** высказать уже кроме ответа на замечания ваши, так что я, отвечая теперь, как бы придрался лишь к случаю.

Вы прежде всего задаетесь вопросом и даже упрекаете меня, почему я не вывел яснее: откуда взялись наши «скитальцы», о которых я говорил в моей «Речи»? Ну, это история длинная, нужно начинать слишком издалека. К тому же, что бы я вам на этот счет ни ответил, вы все-таки не согласитесь, потому что у вас уже предвзято и подготовлено ваше собственное решение о том, откуда они завелись и как завелись: «От тоски, дескать, жить с Сквозниками-Дмухановскими и от гражданской скорби по неосвобожденным еще тогда крестьянам». Вывод достойный современного либерального человека, вообще говоря, у которого все, что касается до России, давно уже решено и подписано, с необычайною, русскому либералу лишь свойственною легкостью. Тем не менее вопрос этот сложнее, чем вы думаете, гораздо, несмотря на столь окончательное решение ваше. Об «Скозниках и об скорби» скажу в своем месте, но прежде всего позвольте поднять одно прехарактерное ваше словцо, высказанное опять-таки с легкостью, уже доходящею почти до резвости, и которое я не могу обойти. Вы говорите:

«Так или иначе, но уже два столетия мы находимся под влиянием европейского просвещения, действующего на нас чрезвычайно сильно, благодаря «всемирной отзывчивости» русского человека, признанную г. Достоевским за нашу национальную черту. Уйти от этого просвещения нам некуда, да и не-зачем. Это факт, против которого нам ничего нельзя сделать, по той причине, что всякий русский человек, пожелавший

сделаться просвещенным, **непременно** получит это просвещение из западно-европейского источника. за полнейшим отсутствием источников русских».

Сказано, конечно, игриво; но вы произнесли и важное слово: «Просвещение». Позвольте же спросить, что вы под ним разумеете: науки Запада, полезные знания, ремесла или просвещение духовное? Первое, то есть науки и ремесла, действительно не должны нас миновать и уходить нам от них действительно некуда, да и не-зачем. Согласен тоже вполне, что неоткуда и получить их, кроме как из западно-европейских источников, за что хвала Европе и благодарность наша ей вечная. Но ведь под просвещением я разумею (думаю, что и никто не может разуметь иначе) — то, что буквально уже выражается в самом слове «просвещение», то есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни. Если так, то позвольте вам заметить, что такое просвещение нам нечего черпать из западно-европейских источников за полнейшим присутствием (а не отсутствием) источников русских. Вы удивляетесь? Видите ли: в спорах я люблю начинать с самой сути дела, с самого начала спорного пункта разом.

Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, — но это возражение пустое: все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел: «Господи сил с нами буди!» и тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что кроме Христа у него тогда ничего не оставалось, а в нем, в этом гимне, уже в одном вся правда Христова. И что в том, что народу мало читают проповедей, а дьячки бормочат неразборчиво, — самое колоссальное обвинение на нашу церковь, придуман-

ное либералами, вместе с неудобством церковно-славянского языка, будто бы непонятного простолюдину (А старообрядцы-то? Господи!). Зато выйдет поп и прочтет: «Господи, Владыко живота моего» — а в этой молитве **вся суть христианства,** весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает тоже он наизусть многие из житий святых, пересказывает и слушает их с умилением. Главная же школа христианства, которую прошел он, это — века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-Утешителем, Которого и принял тогда в свою душу навеки, и Который за то спас от отчаяния его душу! Впрочем, что же я вам это все говорю? Неужто я вас убедить хочу? Слова мои покажутся вам, конечно, младенческими, почти неприличными. Но повторяю в третий раз: не для вас пишу. Да и тема эта важная, о ней надо особо и много еще сказать, и буду говорить, пока держу перо в руках, а теперь выражу мою мысль лишь в основном положении: если наш народ просвещен уже давно, приняв в свою суть Христа и Его учение, то вместе с Ним, с Христом, уж, конечно, принял и **истинное** просвещение. При таком основном запасе просвещения науки Запада, конечно, обратятся для него лишь в истинное благодеяние. Христос не померкнет от них у нас, как на Западе, где, впрочем, не от наук Он померк, как утверждают либералы же, а еще прежде наук, когда сама церковь западная исказила образ Христов, преобразившись из церкви в Римское государство и воплотив его вновь в виде папства. Да, на Западе воистину уже нет христианства и церкви, хотя и много еще есть христиан, да и никогда не исчезнут. Католичество воистину уже не христианство и переходит в идолопоклонство, а протестантизм исполинскими шагами переходит в атеизм и в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение.

О, конечно, вы тотчас же возразите мне, что христианство и поклонение Христу вовсе не заключает в себе и собою весь цикл просвещения, что это только

лишь одна ступень, что нужны, напротив, науки, гражданские идеи, развитие, и пр., и пр. На это мне нечего вам отвечать, да и неприлично, ибо хотя вы и правы отчасти, насчет наук, например, но зато никогда не согласитесь, что христианство народа нашего есть, **и должно остаться навсегда,** самою главною и жизненною основой просвещения его! Я вот в моей «Речи» сказал, что Татьяна, отказавшись итти за Онегиным, поступила по-русски, по русской народной правде, а один из критиков моих, оскорбившись, что у русского народа есть правда, вдруг возразил мне вопросом: «А свальный грех?» Таким критикам разве можно отвечать? Главное, оскорблены тем, что русский народ может иметь свою правду, а стало быть, действительно просвещен. Да разве свальный грех существует в целом народе нашем и существует **как правда?** Принимает ли его весь народ за правду? Да, народ наш груб, хотя и далеко не весь, о, не весь, в этом я клянусь уже как свидетель, потому что я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам к «злодеям причтен был», работал с ним настоящей мозольной работой, в то время когда другие, «умывавшие руки в крови», либеральничая и подхихикивая над народом, решали на лекциях и в отделении журнальных фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его». Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского либерала». Но пусть, пусть народ наш грешен и груб, пусть зверин еще его образ: «Сын на матери ехал, молода жена на пристяжечке» — с чего-нибудь да взялась эта песня? Все русские песни взяты с какой-нибудь были — заметили вы это? Но будьте же и справедливы хоть раз, либеральные люди: вспомните, что народ вытерпел во столько веков! Вспомните, кто в зверином образе его виноват наиболее, и не осуждайте! Ведь смешно осуждать мужика за то, что он не причесан у французского парикмахера из Большой Морской, а ведь почти до этих

именно обвинений и доходит, когда подымутся на русский народ наши европейские либералы и примутся **отрицать** его: и личности-то он себе не выработал, и национальности-то у него нет! Боже мой, а на Западе, где хотите и в каком угодно народе, — разве меньше пьянства и воровства, не такое же разве зверство, и при этом ожесточение (чего нет в нашем народе) и уже истинное, заправское невежество, настоящее непросвещение, потому что иной раз соединено с таким беззаконием, которое уже не считается там грехом, а именно стало считаться правдой, а не грехом. Но пусть, все-таки пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем есть неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду! Он согрешит, но всегда скажет, рано ли, поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. То именно и важно, во что народ верит как в свою правду, в чем ее полагает, как ее представляет себе, что ставит своим лучшим желанием, что возлюбил, чего просит у Бога, о чем молитвенно плачет. А идеал народа — Христос. А с Христом, конечно, и просвещение, и в высшие, роковые минуты свои народ наш всегда решает и решал всякое общее, всенародное дело свое по-христиански. Вы скажете с насмешкой: «плакать — это мало, воздыхать тоже, надо и делать, надо и быть». А у вас-то у самих, господа русские просвещенные европейцы, много праведников? Укажите мне ваших праведников, которых вы вместо Христа ставите? Но знайте, что в народе есть и праведники. Есть положительные характеры невообразимой красоты и силы, до которых не коснулось еще наблюдение ваше. Есть эти праведники и страдальцы за правду, — видим мы их

иль не видим? Не знаю; кому дано видеть, тот, конечно, увидит их и осмыслит, кто же видит лишь образ звериный, тот, конечно, ничего не увидит. Но народ, по крайней мере, знает, что они есть у него, верит, что они есть, крепок этою мыслью и уповает, что они всегда в нужную всеобщую минуту спасут его. И сколько раз наш народ спасал отечество? И еще недавно, засмердев в грехе, в пьянстве и в бесправии, он обрадовался духовно, весь в своей целокупности, последней войне за Христову веру, попранную у славян мусульманами. Он принял ее, он схватился за нее как за жертву очищения своего за грех и бесправие, он посылал сыновей своих умирать за святое дело, и не кричал, что падает рубль, и что цена на говядину стала дороже. Он жадно слушал, жадно расспрашивал и сам читал о войне, и мы тому все свидетели, много нас есть тому свидетелей. Я знаю: подъем духа народа нашего в последнюю войну, а тем более причины этого подъема, не признаются либералами, смеются они над этой идеей. «У этих, дескать, смердов собирательная идея, у них гражданское чувство, политическая мысль — разве можно это позволить?». И почему, почему наш европейский либерал так часто враг народа русского? Почему в Европе называющие себя демократами всегда стоят за народ, по крайней мере на него опираются, а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов всегда почти служит в руку всему тому, что подавляет народную силу, и кончает господчиной. О, я ведь не утверждаю, что они враги народа сознательно, но в бессознательности-то и трагедия. Вы будете в негодовании от этих вопросов? Пусть. Для меня это все аксиомы, и уж, конечно, я не перестану их разъяснять и доказывать, пока только буду писать и говорить.

Итак, кончим: науки это так, а «просвещения» нечего нам черпать из западно-европейских источников. А то, пожалуй, зачерпнем такие общественные формулы, как например: Chacun pour soi et Dieu pour tous, или: après moi de déluge. О, сейчас же закричат: «А у нас нет таких поговорок, не говорят у нас, что ли: «Старая хлеб-соль не помнится» и сотни других афо-

ризмов в этом же роде?». Да, поговорок в народе много всяких: ум народа широк, юмор тоже, развивающееся сознание всегда подсказывает отрицание — но это все только **поговорки**, в нравственную правду их народ наш не верит, над ними сам шутит и смеется, в целом своем, по крайней мере, их отрицает. А осмелитесь ли вы утверждать, что chacun pour soi et Dieu pour tous есть только поговорка, а не общественная уже формула, всеми принятая на Западе, и которой **все** там служат и в нее верят? По крайней мере, все те, которые стоят над народом, которые держат его в узде, которые обладают землей и пролетарием и стоят на страже «европейского просвещения». Зачем же нам такое просвещение? Поищем у себя иного. Наука дело одно, а просвещение иное. С надеждой на народ и на силы его, может, и разовьем когда-нибудь уже в полноте, в полном сиянии и блеске это Христово просвещение наше. Вы скажете мне, разумеется, что все это длинное разглагольствование не ответ, однако же, на вашу критику. Пусть. Я считаю сам это лишь предисловием, но только необходимым. Как и вы у меня, то есть в моей «Речи», отмечаете и находите такие пункты разногласия с вами, которые сами считаете самыми важными и важнейшими, так и я прежде всего отметил и выставил такой пункт у вас, который считаю самым основным разногласием нашим, наиболее препятствующим нам притти к соглашению. Но предисловие, кончено, приступим к вашей критике и теперь уже без отступлений.

II

Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. Анекдоты

Вы пишете, критикуя мою «Речь»:

«Но Пушкин, выводя Алеко и Онегина с их отрицанием, не показал, что именно «отрицали» они, и было бы в высшей степени рискованно утверждать, что они отрицали именно «народную правду», коренные

начала русского миросозерцания. Этого не видно нигде».

Ну, видно или не видно, рискованно или нет утверждать, мы к этому возвратимся сейчас, а прежде вот то, что вы говорите о Дмухановских, от которых будто бы бежал Алеко к цыганам:

«Но действительно, мир тогдашних скитальцев, — пишете вы, — был миром, отрицавшим другой мир. Для объяснения этих типов необходимы другие типы, которых Пушкин не воспроизвел, хотя и обращался к ним по временам с жгучим негодованием. Природа его таланта мешала ему спуститься в этот мрак и возвести в «перл создания» сов, сычей и летучих мышей, наполнявших подвальные этажи русского жилища **(не верхние ли?)**. Это сделал Гоголь — великая оборотная сторона Пушкина. Он поведал миру, отчего бежал к цыганам Алеко, отчего скучал Онегин, отчего народились на свет «лишние люди», увековеченные Тургеневым. Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановские. Держиморды, Тяпкины-Ляпкины — вот теневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многих иных. Это фон, без которого непонятны фигуры последних. А ведь эти гоголевские герои были русскими — ух, какими русскими людьми! У Коробочки не было мировой скорби, Сквозник-Дмухановский превосходно умел объясняться с купцами, Собакевич насквозь видел своих крестьян, и они насквозь видели его. Конечно, Алеко и Рудины всего этого вполне не видали и не понимали: они просто бежали, куда кто мог: Алеко к цыганам, Рудин в Париж, умирать за дело, для него совершенно постороннее».

Они **просто,** видите ли, бежали. О, фельетонная легкость решения! И как просто все это у вас выходит, как все у вас готово и предрешено! Подлинно готовые слова говорите. Кстати, к чему вы завели речь о том, что все эти гоголевские герои были русскими, — «ух, какими русскими людьми!». К спору нашему это вовсе и не подходит. Да и кто не знает, что они были русские люди? Да, и Алеко и Онегин были русские; да, и мы с вами русские люди; да, русским же, вполне

русским был и Рудин, убежавший в Париж умирать за дело, для него совершенно, будто бы, постороннее, как вы утверждаете. Да ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь постороннним, — как было бы англичанину или немцу, — ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое, давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была собственно в том, что он на своей ниве работы не нашел, и умер на другой ниве, но вовсе не столь чуждой ему, как вы утверждаете. Но вот в чем, однако же, дело: все эти Сквозники и Собакевичи хоть и русские люди, но русские люди испорченные, от почвы оторванные и хоть знающие народный быт с одной стороны, но ничего не знающие с другой, даже не подозревающие, что она существует, другая-то эта сторона, — в этом все и дело. Души народной, того, чего народ жаждет, чего молитвенно просит, они и не подозревали, потому что страшно презирали народ. Да и душу-то они в нем отрицали даже, кроме разве ревизской. «Собакевич насквозь видел своих крестьян», утверждаете вы. Это невозможно. Собакевич видел в своем Прошке только силищу, которую можно продать Чичикову. Вы утверждаете, что Сквозник-Дмухановский превосходно умел объясняться с купцами. «Помилосердуйте! Да перечтите сами монолог городничего к купцам в пятом акте: так говорят разве только с собаками, а не с людьми, это ли значит «превосходно» говорить с русским человеком? Неужто вы хвалите? Да лучше бы прямо по зубам или за волосы. В детстве моем я видел раз на большой дороге фельдъегеря, в мундире с фалдочками, в трехуголке с пером, страшно тузившего в загорбок ямщика кулаком на всем лету, а тот исступленно стегал свою запаренную, скачущую во весь опор тройку. Этот фельдъегерь был, разумеется, по рождению русский, но до того ослепший и оторвавшийся от народа, что не мог иначе и объясняться с русским человеком, как своим огромным кулачищем вместо всякого разговора. А, между тем, ведь он всю жизнь свою провел

с ямщиками и с разным русским народом. Но фалдочки его мундира, шляпа с пером, его офицерский чин, его вычищенные петербургские сапоги ему были дороже, душевно и духовно, не только русского мужика, но, может быть, и всей России, которую он искрестил всю взад и вперед и в которой он, по всей вероятности, ровно ничего не нашел примечательного и достойного чего-нибудь иного, кроме как его кулака или пинка вычищенным его сапогом. Ему вся Россия представлялась лишь в его начальстве, а все, что кроме начальства, почти недостойно было существовать. Как такой может понимать суть народа и душу его! Это был хоть и русский, но уже и «европейский» русский, только начавший свой европеизм не с просвещения, а с разврата, как и многие, чрезвычайно многие начинали. Да-с, этот разврат не раз принимался у нас за самый верный способ переделать русских людей в европейцев. Ведь сын такого фельдъегеря будет, может быть, профессором, то есть патентованным уж европейцем. Итак, не говорите о понимании ими сути народной. Нужно было Пушкина, Хомяковых, Самариных, Аксаковых, чтоб начать толковать об настоящей сути народной (до них хоть и толковали об ней, но как-то классически и театрально). И когда они начали толковать об «народной правде», все смотрели на них как на эпилептиков и идиотов, имеющих в идеале — «есть редьку и писать донесения». Да, донесения. Они до того всех удивили на первых порах своим появлением и своими мнениями, что либералы начали даже сомневаться: не хотят ли де они писать на них донесения? Решите сами: далеко или нет от этого глупенького взгляда на славянофилов ушли многие современные либералы?

Но к делу. Вы утверждаете, что Алеко убежал к цыганам от Держиморды. Положим, что это правда. Но хуже всего то, что вы-то сами, г. Градовский, вполне убежденно признаете права Алеко на всю таковую брезгливость его: «Не мог, дескать, не убежать к цыганам, ибо уж слишком гадок был Держиморда». А я утверждаю, что Алеко и Онегин были тоже в

своем роде Держиморды, и даже в ином отношении и похуже. Только с тою разницею, что я не обвиняю их за это вовсе, вполне признавая трагичность судьбы их, а вы их хвалите за то, что они убежали: «Дескать, такие великие и интересные люди могли ли ужиться с такими уродами?». Вы ужасно ошибаетесь. Вы вот сами выводите, что Алеко и Онегин вовсе не отрывались от почвы и вовсе не отрицали народную правду. Мало того: «вовсе-де и они не горды были» — вот что вы даже утверждаете. Да тут гордость прямое, логическое и неминуемое последствие их отвлеченности и оторванности от почвы. Ведь не можете же вы отрицать, что они почвы не знали, росли и воспитывались по-институтски. Россию узнавали в Петербурге на службе, с народом были в отношениях барина к крепостному. Пусть они даже и жили в деревне с мужиком. Мой фельдъегерь всю жизнь с ямщиками знался, и ничего другого не признал в них кроме достойного своего кулачища. Алеко и Онегин к России были высокомерны и нетерпеливы, как все люди, живущие от народа отдельной кучкой, на всем на готовом, то есть на мужичьем труде и на европейском просвещении, тоже им даром доставшемся. Именно тем, что все интеллигентные люди наши, известной исторической подготовкой, чуть не во все века нашей истории, обратились лишь в праздных белоручек, — тем и объясняется их отвлеченность и оторванность от родной почвы. Не Держимордой он погиб, а тем, что не умел объяснить себе Держиморду и происхождение его. Слишком для этого горд был. Не умев же объяснить, не нашел возможности и работать на родной ниве. Тех же, которые верили в эту возможность, считал за глупцов или тоже за Держиморд. И не только перед Держимордой был горд наш скиталец, но и перед всей Россией, ибо Россия, по его окончательному выводу, содержала в себе только рабов да Держиморд. Если же заключала что-нибудь в себе поблагороднее, то это их, Алек и Онегиных, а более ничего. После этого гордость приходит уже сама собой: пребывая в отвлечении, они естественно начинали удивляться своему благородству

и высоте своей над гадкими Держимордами, в которых не умели ничего объяснить. Если б не были они горды, то увидали бы, что и сами они Держиморды, и, прозрев это, может быть, нашли бы тогда именно в этом прозрении и исход к примирению. К народу же чувствовали уже не столько гордость, сколько омерзение, и это сплошь. Вы всему этому не поверите, вы, напротив, говоря, что иные черты Алек и Онегиных действительно неприглядны, высокомерно начинаете журить меня за узость взгляда, за то, что «лечить симптомы и оставлять корень болезни едва ли рассудительно». Вы утверждаете, что я, говоря: «смирись, гордый человек» — обвиняю Алеко лишь в личных его качествах, упуская корень дела, «как будто, дескать, вся суть дела лишь в личных качествах гордящихся и не желающих смириться». «Не решен вопрос, говорите вы, перед чем гордились скитальцы; остается без ответа и другой: перед чем следует смириться». Все это с вашей стороны очень уж высокомерно: я, кажется, прямо ведь вывел, что «скитальцы» продукт исторического хода нашего общества, стало быть, не сваливаю же всю вину на них только одних **лично** и на их **личные** качества. Вы это у меня читали, это написано, напечатано, стало быть, зачем же вы искажаете? Выписывая у меня тираду: «Смирись», вы пишете:

«В этих словах г. Достоевский выразил «святая святых» своих убеждений, то, что составляет одновременно силу и слабость автора «Братьев Карамазовых». В этих словах заключен великий **религиозный** идеал, мощная проповедь **личной нравственности,** но нет и намека на идеалы **общественные».**

А затем, после этих слов, тотчас же начинаете критиковать идею «личного совершенствования в духе христианской любви». К вашему мнению о «личном самосовершенствовании» я перейду сейчас, но прежде выверну перед вами всю вашу подкладку, которую вы, кажется, хотели бы скрыть, именно: Вы не за то только, что я обвиняю «скитальца», на меня уж так рассердились, а за то, что я, напротив, не признаю его за идеал нравственного совершенства, за русского здо-

рового человека, каким только он может и должен быть! Признавая, что в Алеко и Онегине есть «неприглядные черты», вы только хитрите. На ваш внутренний взгляд, который вы почему-то не хотите обнаружить вполне, «скитальцы» — нормальны и прекрасны, прекрасны уже тем, что убежали от Держиморд. Вы с негодованием смотрите, если осмелятся в них признать хоть даже какой-нибудь недостаток. Вы говорите уже прямо: «Было бы нелепо утверждать, что они погибали от своей гордости и не хотели смириться перед народной правдой». Вы, наконец, с жаром утверждаете и настаиваете, что это они освобождали крестьян. Вы пишете:

«Скажем больше: если в душе лучших из этих «скитальцев первой половины нашего столетия» и сохранялся какой-нибудь помысел, то это именно был помысел о народе, самая жгучая из их ненавистей была обращена именно к рабству, тяготевшему над народом. Пусть они любили народ и ненавидели крепостное право по-своему, по-«европейски», что ли. Но кто же, как не они, подготовили общество наше к упразднению крепостного права? Чем могли, и они послужили «родной ниве», сначала в качестве проповедников освобождения, а потом в качестве мировых посредников первой очереди».

То-то вот и есть, что «скитальцы» ненавидели крепостное право «по-своему, по-европейски», в том-то и вся сила. То-то вот и есть, что ненавидели они крепостное право не ради русского мужика, на них работавшего, их питавшего, а стало быть, ими же в числе других и угнетенного. Кто мешал им, если уж до того их одолевала гражданская скорбь, что к цыганам приходилось бежать, али на баррикады в Париж, — кто мешал им просто-запросто освободить хоть своих крестьян с землей и снять таким образом гражданскую скорбь, по крайней мере, хотя с своей-то личной ответственности? Но об таких освобождениях что-то мало у нас было слышно, а гражданских воплей раздавалось довольно. «Среда, дескать, заедала, и как же де ему своего капиталу лишиться?». Да почему же не лишить-

ся, когда уж до такой степени дело доходило от скорби по крестьянам, что на баррикады бежать приходилось? То-то вот и есть, что в «местечке Париже-с» все-таки надобны деньги, хотя бы и на баррикадах участвуя, так что крепостные-то и присылали оброк. Делали и еще проще: закладывали, продавали или обменивали (не все ли равно?) крестьян и, осуществив денежки, уезжали в Париж способствовать изданию французских радикальных газет и журналов для спасения уже всего человечества, не только русского мужика. Вы уверяете, что их всех заедала скорбь об крепостном мужике? Не то чтоб о крепостном мужике, а вообще отвлеченная скорбь о рабстве в человечестве: «Не надо де ему быть, это непросвещенно, Liberté, дескать, Egalité et Fraternité». Что же до русского мужика лично, то, может быть, скорбь по нем даже и вовсе не томила этих великих сердец так ужасно. Я знаю и запомнил множество интимных изречений даже весьма и весьма «просвещенных» людей прежнего доброго старого времени. «Рабство, без сомнения, ужасное зло, — соглашались они интимно между собой, — но если уже все взять, то наш народ — разве это народ? Ну, похож он на парижский народ девяносто третьего года? Да он уж свыкся с рабством, его лицо, его фигура уже изображает собою раба, и, если хотите, розга, например, конечно, ужасная мерзость, говоря вообще, но для русского человека, ей-Богу, розочка еще необходима: русского мужика надо посечь; русский мужичокъ стоскуется, если его не посечь, уж такая-де нация», — вот что я слыхивал в свое время, клянусь, от весьма даже просвещенных людей. Это «трезвая правда-с». Онегин, может быть, и не сек своих дворовых, хотя, право, трудно это решить, ну, а Алеко, я уверен, что посекал, — и не от жестокости ведь сердца, а почти даже из жалости, почти для доброй цели: «Ведь это-де для него необходимо, ведь без розочки он не проживет, сам ведь он приходит и просит: посеки меня, барин, сделай человеком, сбаловался совсем! Что ж делать с такою природою, скажите пожалуйста, ну и удовлетворишь его, посечешь!» По-

вторяю, чувство к мужику в них доходило зачастую до гадливости. А сколько презрительных анекдотов ходило между них о русском мужике, презрительных и похабных, об его рабской душе, об его «идолопоклонстве», об его попе, об его бабе, и говорили все это с самым легким сердцем такие иногда люди, у которых их собственная семейная жизнь изображала собою нередко почти дом терпимости, — о, разумеется, не всегда от худого чего-нибудь, а иногда именно лишь от излишнего жару к восприятию последних европейских идей, à la Лукреция Флориани, например, по-нашему понятых и усвоенных со всею русской стремительностью. Русские люди были во всем-с! О, русские скорбящие скитальцы бывали иногда большими плутами, г. Градовский, и вот именно эти самые анекдотики о русском мужике и презрительное мнение о нем почти всегда утоляли в сердцах их остроту гражданской их скорби по крепостному праву, придавая ей таким образом лишь отвлеченно-мировой характер. А ведь с отвлеченно-мировым характером скорби весьма и весьма можно ужиться, питаясь духовно созерцанием своей нравственной красоты и полета своей гражданской мысли, ну, а телесно все-таки питаясь оброком с тех же крестьян, да еще как питаясь-то! Да чего: вот недавно еще один старожил, наблюдатель того времени, привел анекдот в журнале об одной встрече самых сильнейших русских тогдашних либеральных и мировых умов с русской бабой. Тут уже были отъявленные скитальцы, так сказать, уже патентованные, заявившие в этом смысле себя исторически. Летом, видите ли, именно в сорок пятом году, на прекрасную подмосковную дачу, где давались «колоссальные обеды», по замечанию самого старожила, съехалось раз множество гостей: гуманнейшие профессора, удивительнейшие любители и знатоки изящных искусств и кой-чего прочего, славнейшие демократы, а впоследствии знатные политические деятели уже мирового даже значения, критики, писатели, прелестнейшие по развитию дамы. И вдруг вся компания, вероятно после обеда с шампанским, с кулебяками и с птичьим молоком (с чего же нибудь

да названы же обеды «колоссальными») направилась погулять в поле. В глуши, во ржи, встречают жницу. Летняя страда известна: встают мужики и бабы в четыре часа и идут хлеб убирать, работают до ночи. Жать очень трудно, все двенадцать часов нагнувшись, солнце жжет. Жница как заберется обыкновенно в рожь, то ее и не видно. И вот тут-то, во ржи, и находит наша компания жницу, — представьте себе, в «примитивном костюме» (в рубашке?!). Это ужасно! Мировое, гуманное чувство возбуждено, тотчас раздался оскорбленный голос: «Одна только русская женщина из всех женщин ни перед кем не стыдится!». Ну, разумеется, тотчас и вывод: «Одна русская женщина из всех такая, перед которой никто и ни за что не стыдится» (то есть так и не должно стыдиться, что ли?). Завязался спор. Явились и защитники бабы, но какие защитники и с какими возражениями им пришлось бороться! И вот такие-то мнения и решения могли раздаваться в толпе скитальцев-помещиков, упившихся шампанским, наглотавшихся устриц, — а на чьи деньги? Да ведь на ее же работу! Ведь на вас же она, мировые страдальцы, работает, ведь на ее же труд вы наелись. Что во ржи, где ее не видно, мучимая солнцем и потом, сняла паневу и осталась в одной рубашке — так она и бесстыдна, так уж и оскорбила ваше стыдливое чувство: «из всех, дескать, женщин всех бесстыднее», — ах вы, целомудренники! А «парижские-то увеселения» ваши, а резвости в «местечке Париже-с», а канканчик в Баль-Мабиле, от которого русские люди таяли, даже когда только рассказывали о нем, а миленькая песенка:

Ma commère, quand je danse,
Comment va mon cotillon?

с грациозным приподнятием юбочки и с подергиванием задком, — это наших русских целомудренников не возмущает, напротив — прельщает? «Помилуйте, да ведь это у них так грациозно, этот канканчик, эти подергивания, — это ведь изящнейший article de Paris в своем роде, а ведь тут что: тут баба, русская баба,

обрубок, колода!». Нет-с, тут уж даже не убеждение в мерзости нашего мужика и народа, тут уж в чувство перешло, тут уж личное чувство гадливости к мужику сказалось, — о, конечно, невольное, почти бессознательное, совсем даже не замеченное с их стороны. Признаюсь, совсем даже не могу согласиться с столь капитальным положением вашим, г. Градовский: «Кто ж, как не они, подготовили общество наше к упразднению крепостного права?». Отвлеченной болтовней разве послужили, источая гражданскую скорбь по всем правилам, — о, конечно, все в общую экономию пошло и к делу пригодилось. Но способствовали освобождению крестьян и помогали трудящимся по освобождению скорее такого склада люди, как, например, Самарин, а не ваши скитальцы. Такого типа людей, как Самарин, типа уже совершенно непохожего на скитальцев, явилось на великую тогдашнюю работу ведь очень не мало, г. Градовский, а об них вы, конечно, ни слова. Скитальцам же это дело, по всем признакам, очень скоро наскучило и они опять стали брезгливо будировать. Не скитальцы бы они были, если бы поступили иначе. Получив выкупные, стали остальные земли и леса свои продавать купцам и кулакам на сруб и на истребление и, выселяясь за границу, завели абсентеизм... Вы, конечно, с моим мнением не согласитесь, г. профессор, но ведь что же и мне-то делать: никак не могу ведь и я согласиться признать этот образ столь дорогого вам русского высшего и либерального человека за идеал настоящего нормального русского человека, каким будто бы он был в самом деле, есть теперь и должен быть даже в будущем. Не много путного сделали эти люди в последние десятилетия на родной ниве. Это будет повернее, чем ваш дифирамб во славу этих прошлых господ.

III

Две половинки

А теперь перейду к вашим взглядам на «личное самосовершенствование в духе христианской любви»

и на совершенную, будто бы, недостаточность его сравнительно с «идеалами общественными» и, главное, с «общественными учреждениями». О, вы сами начинаете с того, что это самый важный пункт в нашем разномыслии. Вы пишете:

«Теперь мы дошли до самого важного пункта в нашем разномыслии с г. Достоевским. Требуя смирения пред народною правдой, пред народными идеалами, он принимает эту «правду» и эти идеалы как нечто готовое, незыблемое и вековечное. Мы позволим себе сказать ему — нет! **Общественные** идеалы нашего народа находятся еще в процессе **образования развития.** Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа».

Я уже отвечал вам отчасти насчет «правды» и идеалов народных в начале статьи, в первом отделении ее. Эту правду и эти идеалы народные вы находите прямо недостаточными для развития общественных идеалов России. Религия, дескать, одно, а общественное дело другое. Живой, целокупный организм режете вашим ученым ножом на две отдельные половинки и утверждаете, что эти две половинки должны быть совершенно независимы одна от другой. Посмотрим же ближе, разберем эти обе половинки отдельно каждую, и, может быть, что-нибудь выведем. Разберем сначала половинку о «самосовершенствовании в духе христианской любви». Вы пишете:

«Г-н Достоевский призывает работать над собой и смирить себя. Личное самосовершенствование в духе христианской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой деятельности, большой или малой. Но из этого не следует, чтоб люди, **лично совершенные в христианском смысле,** непременно образовали совершенное общество (?!). Позволим себе привести пример.

«Апостол Павел поучал рабов и господ в их взаимных отношениях. И те, и другие могли послушать и обыкновенно слушали слово апостола, они **лично** были хорошими христианами, но **рабство** через то не освящалось и оставалось учреждением безнравственным. Точно так же г. Достоевский, а равно и каждый из нас,

знал превосходных христиан-помещиков и таковых же крестьян. Но **крепостное право** оставалось мерзостью пред Господом, и русский Царь Освободитель явился выразителем требований не только **личной,** но и **общественной** нравственности, о которой в старое время не было надлежащих понятий, несмотря, на то, что «хороших людей» было, может быть, не меньше, чем теперь.

«Личная и общественная нравственность не одно и то же.Отсюда следует, что никакое **общественное** совершенствование не может быть достигнуто **только** чрез улучшение личных качеств людей, его составляющих. Приведем опять пример. Предположим, что, начиная с 1800 года, ряд проповедников христианской любви и смирения принялся бы улучшать нравственность Коробочек и Собакевичей. Можно ли предположить, чтоб они достигли отмены крепостного права, чтоб не нужно было **властного** слова для устранения этого «явления»? Напротив. Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христианка и настоящая «мать» своих крестьян, и пребыла бы в этом убеждении, несмотря на все доводы проповедника...

«Улучшение людей в смысле **общественном** не может быть произведено только работой «над собой» и «смирением себя». Работать над собой и смирять свои страсти можно и в пустыне и на необитаемом острове. Но, как существа **общественные,** люди развиваются и улучшаются в работе **друг подле друга, друг для друга** и **друг с другом.** Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства **общественных учреждений,** воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести».

Видите, сколько я из вас выписал! Все это ужасно высокомерно и страшно досталось «личному самосовершенствованию в духе христианской любви»: в гражданских, дескать, делах почти ни к чему непригодно. Курьезно вы, однако же, понимаете христианство! Представить только, что Коробочка и Собакевич стали настоящими христианами, уже **совершенными** (вы сами

говорите о совершенстве) — можно ли де их убедить тогда отказаться от крепостного права? Вот коварный вопрос, который вы задаете и, разумеется, отвечаете на него: «нет, нельзя убедить Коробочку даже и совершенную христианку». На это прямо отвечу: если б только Коробочка стала и могла стать **настоящей,** совершенной христианкой, то крепостного права в ее поместьи уже не существовало бы вовсе, так что и хлопотать бы не о чем было, несмотря на то, что все крепостные акты и купчие оставались бы у ней попрежнему в сундуке. Позвольте еще: ведь Коробочка и прежде была христианкой, и родилась таковою? Стало быть, говоря о новых проповедниках христианства, вы разумеете хоть и прежнее по сути своей христианство, но усиленное, **совершенное,** так сказать, уже дошедшее до своего идеала? Ну, какие же тогда рабы и какие же господа, помилуйте! Надо же понимать хоть сколько-нибудь христианство! И какое дело тогда Коробочке, **совершенной** уже христианке, крепостные или некрепостные ее крестьяне? Она им «мать», настоящая уже мать, и «мать» тотчас же бы упразднила прежнюю «барыню». Это само собою бы случилось. Прежняя барыня и прежний раб исчезли бы, как туман от солнца, и явились бы совсем новые люди, совсем в новых между собою отношениях, прежде неслыханных. Да и дело-то совершилось бы неслыханное: явились бы **повсеместно** совершенные христиане, которых и в единицах-то прежде было так мало, что и разглядеть трудно было. Ведь вы сами же сделали такое фантастическое предположение, г. Градовский, ведь вы сами же въехали в такую удивительную фантазию, а въехали — так и принимайте последствия. Уверяю вас, г. Градовский, что крестьяне Коробочки сами бы тогда не пошли от нее, по той простой причине, что всяк ищет, где ему лучше. В учреждениях, что ли, ваших было бы ему лучше, чем у любящей их, родной уже матери помещицы? Смею уверить вас тоже, что если при апостоле Павле сохранялось рабство, то это именно потому, что возникавшие тогдашние церкви еще не были **совершенны** (что видим и из посланий апостола). Те же члены

церквей, которые лично достигали тогда совершенства, уже не имели и не могли иметь рабов, потому что таковые обращались в братьев, а брат, воистину брат, не может иметь своего брата у себя рабом. По-вашему же как бы выходит, что проповедь христианства была бессильна. Вы вот, по крайней мере, пишете, что проповедью апостола рабство не освящалось. А ведь другие ученые, особенно историки европейские, во множестве укоряли христианство за то, что оно будто бы освящает рабство. Это значит не понимать сути дела. Предположить только, что у Марии Египетской есть крепостные крестьяне, и что она не хочет их отпустить на волю. Что за абсурд! В христианстве, в настоящем христианстве, есть и будут господа и слуги, но раба невозможно и помыслить. Я говорю про настоящее, совершенное христианство. Слуги же не рабы. Ученик Тимофей прислуживал Павлу, когда они ходили вместе, но прочтите послания Павла к Тимофею: к рабу ли он пишет, даже к слуге ли, помилуйте! Да это именно «Чадо Тимофее», возлюбленный сын его. Вот, вот именно такие будут отношения господ к своим слугам, если те и другие станут уже совершенными христианами! Слуги и господа будут, но господа уже будут не господами, а слуги не рабами. Представьте, что в будущем обществе есть Кеплер, Кант и Шекспир: они работают великую работу для всех, и все сознают и чтут их. Но некогда Шекспиру отрываться от работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И поверьте, непременно придет к нему служить другой гражданин, сам пожелает, своей волей придет и будет выносить у Шекспира ненужное. Что ж он будет унижен, раб? Отнюдь нет. Он знает что Шекспир полезнее его бесконечно: «Честь тебе и слава, скажет он ему, и я рад послужить тебе; хоть каплей и я послужу тем на общую пользу, ибо сохраню тебе часы для великого твоего дела, но я не раб. Именно сознавшись в том, что ты, Шекспир, выше меня своим гением, и придя к тебе служить, я именно этим сознанием моим и доказал, что по нравственному достоинству человеческому я не ниже тебя нисколько и, как

человек, тебе равен». Да он и не скажет этого тогда, уже по тому одному, что и вопросов таких тогда не возникнет вовсе, да и немыслимы они будут. Ибо все будут воистину новые люди, Христовы дети, а прежнее животное будет побеждено. Вы скажете, конечно, что это опять-таки фантазия. Но ведь не я же начал фантазировать первый, а вы сами: ведь вы же предложили Коробочку, уже **совершенную христианку** с «крепостными **детьми»,** которых она не хочет отпустить на волю; это почище моей фантазии.

Умные люди тут рассмеются и скажут: «хорошо же, после того, хлопотать о самосовершенствовании в духе христианской любви, когда настоящего христианства, стало быть, нет совсем на земле, или так мало, что разглядеть трудно, иначе (по моим же, то есть, словам) мигом все бы уладилось, всякое рабство уничтожилось. Коробочки переродились бы в светлых гениев и всем бы оставалось только запеть Богу гимн? Да, конечно, господа насмешники, настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и есть). Но почем вы знаете, сколько именно надо их, чтоб не умирал идеал христианства в народе, а с ним и великая надежда его? Примените к светским понятиям: сколько надо настоящих граждан, чтоб не умирала в обществе гражданская доблесть? И на это тоже вы не ответите. Тут своя политическая экономия, совсем особого рода, и нам неизвестная, даже вам неизвестная, г. Градовский. Скажут опять: если так мало исповедников великой идеи, то какая в ней польза? А вы почему знаете, к какой это пользе в конце концов приведет? До сих пор, повидимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль. Вот другое дело теперь, когда что-то новое надвигается в мире повсеместно и надо быть готовым. Да и дело-то тут вовсе не в пользе, а в истине. Ведь если я верю, что истина тут, вот именно в том, во что я верю, то какое мне дело, если б даже весь мир не поверил моей истине, насмеялся надо мной и пошел иною дорогой? Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной

пользой, а стремит их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной. Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной? А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе все, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все наши гражданские идеалы. Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»! Ничего не получите кроме нравственной формулы: «Chacun pour soi et Dieu pour tous». С такой формулой никакое гражданское учреждение долго не проживет, г. Градовский.

Но я пойду далее, я намерен вас удивить: узнайте, ученый профессор, что общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого вашим ученым ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место с успехом, в виде отдельного «учреждения», таких идеалов, говорю я, — нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать! Да и что такое общественный идеал, как понимать это слово? Конечно, суть его в стремлении людей отыскать себе формулу общественного устройства, по возможности безошибочную и всех удовлетворяющую — ведь так? Но формулы этой люди не знают, люди ищут ее все шесть тысяч лет своего исторического периода и не могут найти. Муравей знает формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья (хоть не знают по-человечески, так знают по-своему, им больше не надо), но человек не знает своей формулы. Откуда же, коли так, взяться идеалу гражданского устройства в обществе человеческом? А следите исторически, и тотчас увидите, из чего он берется. Увидите, что он есть единственно только продукт нравственного самосовершен-

ствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков. При начале всякого народа, всякой национальности, идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, **ибо она же и создавала ее.** Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и создавалась граждански новая национальность. Взгляните на евреев и мусульман: национальность у евреев сложилась только после закона Моисеева, хотя и началась еще из закона Авраамова, а национальности мусульманские явились только после Корана. Чтоб сохранить полученную духовную драгоценность, тотчас же и влекутся друг к другу люди, и тогда только, ревностно и тревожно, «работою **друг подле друга, друг для друга и друг с другом»** (как вы красноречиво написали) — тогда только и начинают отыскивать люди: как бы им так устроиться, чтоб сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую **гражданскую** формулу совместного жития, которая именно помогла бы им выдвинуть на весь мир, в самой полной ее славе ту нравственную драгоценность, которую они получили. И заметьте, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В каком характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят. **Сами же по себе** никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нрав-

ственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось. А, стало быть, «самосовершенствование в духе религиозном» в жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и **есть исповедание полученной религии,** а «гражданские идеалы» сами, без этого стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят, да и зародиться не могут. Вы скажете, может быть, что вы и сами говорили, что «личное самосовершенствование есть начало всему» и что вовсе ничего не делили ножом. То-то и есть, что делили, что разрезывали живой организм на две половинки. Не **«начало** только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности и только оно одно. Для него и живет гражданская формула нации, ибо и создалась для того только, чтоб сохранять его, как первоначально полученную драгоценность. Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования **в том духе, который зародил ее,** тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего более охранять. Таким образом, никак нельзя сказать то, что вы сказали в следующей вашей фразе:

«Вот почему в весьма великой степени общественное совершенство людей зависит от совершенства **общественных учреждений,** воспитывающих в человеке если не христианские, то гражданские доблести.

«Если не христианские, то гражданские доблести»! Разве не виден тут ученый нож, делящий неделимое, разрезающий целокупный живой организм на две отдельные мертвые половинки, нравственную и гражданскую? Вы скажете, что «в общественных учреждениях» и в сане «гражданина» может заключаться величайшая нравственная идея, что «гражданская идея» в нациях уже зрелых, развившихся, всегда заменяет первоначальную идею религиозную, которая в нее и вырождается, и которой она по праву наследует. Да, так многие утверждают, но мы такой фантазии еще не видали в осуществлении. Когда изживалась нравственно-рели-

гиозная идея в национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения, с единственною целью «спасти животишки» — других целей гражданского единения тогда не бывает. Вот теперь французская буржуазия единится именно с этою целью «спасения животишек» от четвертого ломящегося в ее дверь сословия. Но «спасение животишек» есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца. Единятся, а сами уже навострили глаза, как бы при первой опасности поскорее рассыпаться врознь. И что тут может спасти «учреждение» как таковое, как взятое само по себе? Были бы братья, будет и братство. Если же нет братьев, то никаким «учреждением» не получите братства. Что толку поставить «учреждение» и написать на нем: Liberté, Egalité, Fraternité? Ровно никакого толку не добьетесь тут «учреждением», так что придется, — необходимо, неминуемо придется — присовокупить к трем «учредительным—словечкам четвертое: «ou la mort», «fraternité ou la mort» — пойдут братья откалывать головы братьям, чтоб получить чрез «гражданское учреждение» братство. Это только пример, но хороший. Вы, г. Градовский, как и Алеко, ищете спасения в вещах и в явлениях внешних: «пусть-де у нас в России поминутно глупцы и мошенники (на иной взгляд, может, и так), но стоит лишь пересадить к нам из Европы какое-нибудь «учреждение» — и, по-вашему, все спасено. Механическое перенесение к нам европейских форм (которые там завтра же рухнут), народу нашему чуждых и воле его не пригожих, есть, как известно, самое важное слово русского европеизма. Кстати, вот вы, г. Градовский, осуждая наше неустройство, стыдя тем Россию и указывая ей на Европу, изволите говорить:

«А пока что, мы не можем справиться даже с такими несогласиями и противоречиями, с которыми Европа справилась давным-давно»...

Это Европа-то справилась? Да кто только мог вам это сказать? Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно

уже созидавшийся в ней без церкви и без Христа (ибо церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в государство), с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все, все общее и все абсолютное, — этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и, если ему не отворят, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедываемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жиды, все это рухнет в один миг и бесследно — кроме разве жидов, которые и тогда найдутся как поступить, так что им даже в руку будет работа. Все это «близко, при дверях». Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай Бог вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мне, смеясь: «Хорошо же вы любите Европу, коли так ей пророчите». А я разве радуюсь? Я только предчувствую, что подведен итог. Окончательный же расчет, уплата по итогу, может произойти даже гораздо скорее, чем самая сильная фантазия могла бы предположить. Симптомы ужасны. Уж одно только стародавне-неестественное и политическое положение европейских государств может послужить началом всему. Да и как бы оно могло быть естественным, когда неестественность заложена в основании их и накоплялась веками? Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственно цели и слагались до сих пор **все** гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой. Эта неестественность, и эти «неразрешимые» политические вопросы (всем известные, впрочем) непременно должны привести к огромной, окончательной, разделочной политической войне, в которой все будут замешаны, и которая разразится в нынешнем еще столетии, может, даже в наступающем десятиле-

тии. Как вы думаете; выдержит там **теперь** длинную политическую войну общество? Фабрикант труслив и пуглив, жид тоже, фабрики и банки закроются все, чуть-чуть лишь война затянется или погрозит затянуться, и миллионы голодных ртов, отверженных пролетариев брошены будут на улицу. Уж не надеетесь ли вы на благоразумие политических мужей и на то, что они не затеят войну? Да когда же на это благоразумие можно было надеяться? Уж не надеетесь ли вы на палаты, что они не дадут денег на войну, предвидя последствия? Да когда же там палаты предвидели последствия и отказывали в деньгах чуть-чуть настойчивому руководящему человеку? И вот пролетарий на улице. Как вы думаете, будет он теперь попрежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Это после политического-то социализма, после интерналки, социальных конгрессов и парижской коммуны? Нет, теперь уже не попрежнему будет: они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки. Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только, въявь и воочию обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского. Тогда и вы, гг. доктринеры, может быть, спохватитесь и начнете искать у нас «народных начал», над которыми теперь только смеетесь. А теперь-то вы, господа, теперь-то — указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те самые учреждения, которые там завтра же рухнут, как изживший свой век абсурд, и в которые и там уже многие умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции. Да и кто, кроме отвлеченного доктринера, мог принимать комедию буржуазного единения, которую видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на земле? Они-де у себя давно справились: это после двадцати-то конституций менее чем в столетие, и без малого после десятка революций? О, может быть, только тогда, освобожденные на миг от Европы, мы займемся уж сами, без европейской опеки, нашими общественными идеалами, и непременно исходящими из Христа и личного самосовершенствования, г. Градов-

ский. Вы спросите: какие же могут быть у нас свои общественные и гражданские идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданские, и наши общественные идеалы — лучше ваших европейских, крепче ваших и даже — о ужас! — либеральнее ваших! Да, либеральнее, потому что исходят прямо из организма народа нашего, а не лакейски-безличная пересадка с Запада. Теперь я, конечно, не могу об этом распространиться, ну хоть по тому одному, что и без того статья длинна вышла. Кстати, вспомните: что такое и чем таким стремилась быть древняя христианская церковь? Началась она сейчас же после Христа, всего с нескольких человек, и тотчас, чуть не в первые дни после Христа, устремилась отыскивать свою «гражданскую формулу», всю основанную на нравственной надежде утоления духа по началам личного самосовершенствования. Начались христианские общины — церкви, затем быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле национальность — всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. Но она была гонима, идеал созидался под землею, а над ним, поверх земли тоже созидалось огромное здание, громадный муравейник — древняя Римская империя, тоже являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственных стремлений всего древнего мира: являлся человекобог, империя сама воплощалась как религиозная идея, дающая в себе и собою исход всем нравственным стремлениям древнего мира. Но муравейник не заключился, он был подкопан церковью. Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бельведерский — Христа. Явился компромисс: империя приняла христианство, а церковь римское право и государство. Малая часть церкви ушла в пустыню и стала продолжать прежнюю работу: явились опять христианские общины, потом монастыри — все только лишь пробы, даже до наших дней. Оставшаяся же огромная часть церкви разделилась впоследствии, как известно, на две половины. В западной половине государство одолело, на-

конец, церковь совершенно. Церковь уничтожилась и перевоплотилась уже окончательно в государство. Явилось папство — продолжение древней Римской империи в новом воплощении. В восточной же половине государство было покорено и разрушено мечом Магомета, и остался лишь Христос, уже отделенный от государства. А то государство, которое приняло и вновь вознесло Христа, претерпело такие страшные вековые страдания от врагов, от татарщины, от неустройства, от крепостного права, от Европы и европеизма, и столько их до сих пор выносит, что настоящей общественной формулы, в смысле духа любви и христианского самосовершенствования, действительно, еще в нем не выработалось. Но не вам бы только укорять его за это, г. Градовский. Пока народ наш хоть только носитель Христа, на него одного и надеется. Он назвал себя крестьянином, то есть христианином, и тут не одно только слово, тут идея на все его будущее. Вы, г. Градовский, безжалостно укоряете Россию за ее неустройство. А кто мешал до сих пор ей устроиться во все эти два последние века, и особенно в последнее пятидесятилетие? А вот, все подобные вам, русские европейцы, г. Градовский, которые у нас все два века не переводились, а теперь особенно на нас насели. Кто враг органическому и самостоятельному развитию России на собственных ее народных началах? Кто насмешливо не признает даже существование этих начал и не хочет их замечать! Кто хотел переделать народ наш, фантастически «возвышая его до себя» — попросту наделать все таких же, как сами, либеральных европейских человеков, отрывая, от времени до времени, от народной массы по человечку и развращая его в европейца даже хоть фалдочками мундира? Этим я не говорю, что европеец — развратен; я говорю только, что переделывать русского в европейца так, как либералы его переделывают — есть сущий разврат зачастую. А ведь в этом-то состоит весь идеал ихней программы деятельности: именно в отлупливании по человечку от общей массы — экой абсурд! Это они так хотели все восемьдесят миллионов народа нашего от-

колупать и переделать? Да неужели же вы серьезно думаете, что наш народ весь, всей массой своей, согласится стать такою же безличностью, как эти господа русские европейцы?

IV

Одному смирись, а другому гордись. Буря в стаканчике

До сих пор я только препирался с вами, г Градовский, теперь же хочу вас и упрекнуть за намеренное искажение моей мысли, главного пункта в моей «Речи».

Вы пишете:

«Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем (то есть в народе нашем), чтоб он мог **требовать себе поклонения** и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г. Достоевский.

«Странное дело! Человек, казнящий гордость в лице отдельных скитальцев, призывает к гордости целый народ, в котором он видит какого-то всемирного апостола. Одним он говорит: «Смирись!». Другому говорит: «Возвышайся!».

И далее:

«А тут, не сделавшись как следует народностью, вдруг мечтать о всечеловеческой роли! Не рано ли? Г-н Достоевский гордится тем, что мы два века служили Европе. Признаемся, это «служение» вызывает в нас не радостное чувство. Время ли венского конгресса и вообще эпохи конгрессов может быть предметом нашей «гордости»? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли национальное движение в Италии и Германии и косились даже на единоверных греков? И какую ненависть нажили мы в Европе именно за это «служение»!

Остановлюсь сначала на этой последней, маленькой, почти невинной передержке. Да разве я, сказав, что «мы в последние два века служили Европе, может быть, даже более, чем себе» — разве я хвалил то, **как** мы служили? Я только хотел отметить факт служения, и

факт этот истинен. Но факт служения и то, **как** мы служили — два дела совсем разные. Мы могли наделать очень много политических ошибок, да и европейцы их делают во множестве поминутно, но не промахи наши я хвалил, я только факт нашего служения (почти всегда бескорыстного) обозначил. Неужели вы не понимаете, что это две вещи разные? «Г-н Достоевский гордится тем, что мы служили Европе», говорите вы. Да вовсе и не гордясь я это сказал, я только обозначал черту нашего народного духа, черту многознаменующую. Так отыскать прекрасную, здоровую черту в духе национальном значит уж непременно гордиться? А что вы говорите про Меттерниха и про конгрессы? Это вы-то меня будете в этом учить? Да я еще, когда вы были студентом, про служение Меттерниху говорил, да еще посильнее вашего, и именно за слова о неудачном служении Меттерниху (между другими словами, конечно) — тридцать лет тому назад известным образом и ответил. Для чего же вы это исказили? А вот, чтоб показать: «Видите ли, какой я либерал, а вот поэт, восторженный-то любитель народа, слышите, какие ретроградные вещи мелет, гордясь нашим служением Меттерниху». Самолюбие, г. Градовский.

Но это, конечно, пустяки, а вот следующее не пустяки.

Итак, сказав народу: «возвышайся духом» значит сказать ему: «гордись», значит склонять его к гордости, учить его гордости? Вообразите, г. Градовский, что вы вашим родным детям говорите: «Дети, возвышайте дух ваш, дети, будьте благородны!» — неужели же это значит, что вы их гордости учите, или что вы сами, уча их, гордитесь? А я что сказал? Я говорил о надежде «стать братом всех людей в конце концов», прося подчеркнуть слово «в конце концов». Неужели же светлая надежда, что хоть когда-нибудь в нашем страдающем мире осуществится братство, и что и нам, может быть, **позволят стать братьями** всех людей — неужели эта надежда есть уже гордость и призыв к гордости? Да ведь я прямо, прямо сказал в конце «Речи»: «Что же, разве я про экономическую славу гово-

рю, про славу меча иль науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено»... Вот мои слова. И неужто в них призыв к гордости? Сейчас после приведенных слов моей «Речи» я прибавил: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его?» Это слово-то Христово значит призыв к гордости, а надежда вместить это слово есть гордость? Вы в негодовании пишете, «что нам слишком рано требовать себе поклонения». — Да какое же тут требование поклонения — помилуйте! Это желание-то вседлужения, стать всем слугами и братьями и служить им своею любовью, значит требовать от всех поклонения? Да если тут требование поклонения, то святое, бескорыстное желание вседлужения становится тотчас абсурдом. Слугам не кланяются, а брат не коленопреклонений пожелает от брата.

Представьте, г. Градовский, что вы сделали какое-нибудь доброе дело, или идете только делать его, и вот вы, дорогою, в добром умилении вашем думаете и воображаете: «как обрадуется этот несчастный неожиданной помощи, которую я ему несу, как воспрянет духом, как воскреснет, пойдет расскажет о своей радости своим домашним, своим детям, заплачет с ними»... Думая и воображая это, вы, конечно, сами почувствуете умиление, иногда даже слезы (неужели этого с вами никогда не случалось?), и вот подле вас умный голос вам в ухо: «Это ты гордишься, воображая все это себе! Это ты от гордости проливаешь слезы!» Помилуйте, да одна уже надежда на то, что и мы, русские, можем хоть что-нибудь значить в человечестве и хотя бы в конце концов удостоимся братски послужить ему, — одна уж эта надежда вызвала восторг и слезы восторга в тысячной массе слушателей. Я ведь не для похвальбы, не из гордости это припоминаю, я только обозначаю серьезность момента. Дана была только светлая надежда, что и мы можем быть чем-нибудь в человечестве, хотя бы **только** братьями другим людям,

и вот один только горячий намек соединяет всех в одну мысль и в одно чувство. Обнимались незнакомые и клялись друг другу впредь быть лучшими. Ко мне подошли два старика и сказали мне: «Мы двадцать лет были врагами друг другу и вредили друг другу, а по вашему слову мы помирились». В одной газете поспешили заметить, что весь этот восторг ничего не выражает, что было-де такое уж настроение «с целованием рук», и что напрасно ораторы всходили и говорили и доканчивали свои речи... «Что бы они ни сказали, все тот же-де был бы восторг, ибо такое уж благодушное настроение в Москве объявилось». А вот поехал бы этот журналист сам туда и сказал бы что-нибудь от себя: кинулись ли бы к нему так, как ко мне, или нет? Отчего же три дня перед тем говорили речи и были огромные овации говорящим, но того, что случилось после моей речи, ни с кем там не было? Это был единственный момент на празднике Пушкина и не повторялся. Видит Бог, не для восхваления своего говорю, но момент этот был слишком серьезен, и я не могу о нем умолчать. Серьезность его состояла именно в том, что в обществе ярко и ясно объявились новые элементы, объявились люди, которые жаждут подвига, утешающей мысли, обетования дела. Значит, не хочет уже общество удовлетворяться одним только нашим либеральным хихиканьем над Россией, значит, мерзит уже учение о вековечном бессилии России! Одна только надежда, один намек, и сердца зажглись святою жаждою всечеловеческого дела, всебратского служения и подвига. Это от гордости они зажглись? Это от гордости пролились слезы? Это к гордости я их призывал? Ах, вы!

Видите ли, г. Градовский: серьезность этого момента вдруг многих испугала в нашем либеральном стаканчике, тем более, что это было так неожиданно. «Как? До сих пор мы так приятно и себе полезно хихикали и все оплевывали, а тут вдруг... да это ведь бунт? Полицию!» Выскочило несколько перепуганных разных господ: «Как же с нами-то теперь? Ведь и мы тоже писали... куда же нас теперь денут? Затереть,

затереть это все поскорее и чтоб не осталось и следа, разъяснить скорее на всю Россию, что это только такое благодушное настроение в хлебосольной Москве случилось, миленький моментик после ряда обедов, а более ничего, ну, а бунт укротить полицией! И принялись: и трус-то я, и поэт-то я, и ничтожен-то я, и нулевое-то значение имеет моя речь, — одним словом, сгоряча поступили даже неосторожно: публика могла и не поверить. Надо было, напротив, это дело сделать умеючи, подойти хладнокровнее, даже хоть что-нибудь и похвалить в моей «Речи»: «дескать, все-таки есть течение мыслей», а затем, мало-по-малу, мало-по-малу, все и заплевать, и затереть, к общему удовлетворению. Одним словом, поступили не столь искусно. Явился пробел, его надо было поскорее восполнить, и вот немедленно отыскался солидный, опытный уже критик, соединяющий безотчетность нападений с надлежащею комильфотностью. Этот критик были вы, г. Градовский: вы написали, вас прочли, и все успокоились. Вы послужили общему и прекрасному делу, по крайней мере, вас везде перепечатали: «не выдерживает, дескать, строгой критики речь поэта; поэты поэтами, а вот умные-то люди стоят на страже и всегда во-время обкатят холодной водой мечтателя». В самом конце вашей статьи вы просите меня извинить вам выражения, которые я, в статье вашей, мог бы счесть резкими. Я, кончая мою статью, не прошу у вас извинения за резкости, г. Градовский, буде таковые в статье моей есть. Я отвечал не лично А. Д. Градовскому, а публицисту А. Градовскому. Лично я не имею ни малейших причин не уважать вас. Если же не уважаю ваши мнения и остаюсь при том, то чем смягчу, прося извинений? Но мне тяжело было видеть, что весьма серьезная и знаменательная минута в жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена ошибочно. Тяжело было видеть, что идею, которой служу я, волокут по улице. Вот вы-то ее и поволокли.

Я знаю, мне скажут со всех сторон, что не стоило и смешно было писать такой длинный ответ на вашу довольно короткую, сравнительно с моей, статью.

Но повторяю, ваша статья послужила только предлогом: мне хотелось кое-что вообще высказать. Я намерен с будущего года «Дневник писателя» возобновить. Так вот этот теперешний номер «Дневника» пусть послужит моим profession de foi на будущее, «пробным», так сказать, номером.

Скажут еще, пожалуй, что я моим вам ответом уничтожил весь смысл моей «Речи», произнесенной в Москве, где сам призывал обе партии русские к единению и примирению и признавал законность той и другой. Нет, совсем нет, смысл «Речи» не уничтожен, а, напротив, — еще более закреплен, ибо именно я обозначаю в моем вам ответе, что обе партии, в отчуждении одна от другой, во вражде одна с другой, сами ставят себя и свою деятельность в ненормальное положение, тогда как в единении и в соглашении друг с другом могли бы, может быть, все вознести, все спасти, возбудить бесконечные силы и воззвать Россию к новой, здоровой, великой жизни, доселе еще невиданной!

Дневник писателя

за 1881 год

ЯНВАРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Финансы. Гражданин, оскорбленный в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны

Господи, неужели и я, после трех лет молчания, выступлю, в возобновленном «Дневнике» моем, с статьей экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю с статьей экономической. А что теперь поветрие на экономизм — в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как не быть экономистом, кто может теперь не быть экономистом: падение рубля, дефицит! Этот всеобщий экономический вид появился у нас наиболее в последние годы, после нашей турецкой кампании. О, и прежде у нас рассуждали много о финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по преимуществу, — и опять-таки, конечно, все

это произошло натурально: рубль упал, займы на военные расходы и проч. Но тут, кроме собственно рубля, была и отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: «мы, дескать, говорили, мы предрекали». Особенно пустились в экономизм те, которые говорили тогда, в семьдесят шестом и седьмом годах, что денежки лучше великодушия, что Восточный вопрос одно баловство и фикция, что не только подъема духа народного нет, не только война не народна и не национальна, но, в сущности, и народа-то нет, а есть и пребывает попрежнему все та же косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все русские Ферситы (а их много развелось в интеллигенции нашей) были тогда страшно оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин в Ферсите был оскорблен. Вот и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-по-малу примкнули к ним уже и не Ферситы, даже бывшие «герои» примкнули. Все понемногу надулись, некоторые, впрочем, очень. Правда, и мир невыгодный поспособствовал, Берлинская конференция (NB. Кстати об этой Берлинской конференции: меня тогда одна баба в глуши, в захолустьи, на проселочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг спрашивает: «Батюшка, скажи ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили, не слыхать ли чего?» Подивился я тогда на эту бабу. Но об этом, то есть о тогдашнем подъеме духа народного, потом). Я только хочу теперь сказать, что об рубле и о дефиците все теперь пишут, и уж, конечно, тут отчасти и стадность: все пишут, все тревожатся, так как же и мне не тревожиться, подумают, что не гражданин, не интересуюсь. Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская тревога, есть боль, есть болезненные сомнения за будущее, — не хочу душой кривить. Но, однако же, хоть и истинные гражданские боли, а почти везде все на тему: зачем-де у нас все это не так, как в Европе? «В Европе-де везде хорош талер, а у нас рубль дурен. Так как же это мы не Европа, так зачем же это

мы не Европа?» Умные люди разрешили, наконец, вопрос, почему мы не Европа и почему у нас не так, как в Европе: «Потому-де, что не увенчано здание». Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то еще никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего, что вместо здания всего только несколько белых жилетов, вообразивших, что они уже здание, и что увенчание, если уж и начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета. Тут сделаем необходимую оговорку: увенчание снизу на первый взгляд, конечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, и противоречит всему, что было и есть в этом роде в Европе. Но так как у нас все своеобразно, все не так, как в Европе, а иногда так совсем наоборот, то и в таком важном деле, как увенчание здания, дело это может произойти наоборот Европе, к удивлению и негодованию наших русских европейских умов. Ибо, к удивлению Европы, наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своем роде уже здание, — не фундамент только, а именно здание, — хотя и не завершенное, но твердое и незыблемое, веками выведенное, и действительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя еще и не вполне развитую, нашего будущего уже архитектурно-законченного здания, в себе одном предчувствующее. Впрочем, все эти возгласы европейцев наших об увенчании, если уж всю правду сказать, имеют характер, именно как и сказали мы выше, более стадный и механически-успокоительный, чем рассудочный и действительно гражданский, нравственно-гражданский. И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно **механически**-успокоительные утешения, всегда легки и приятны и чрезвычайно сподручны: «Нужна-де только европейская формула и все как раз спасено: приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль талером». Главное, что приятно в этих механических успокоениях, — это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я правед-

ников не трогаю. Праведники везде есть, даже и из европейцев русских, и я их чту. Но согласитесь, что у нас, в большинстве случаев, все это как-то танцуя происходит. Чего думать, чего голову ломать, еще заболит: взять готовое у чужих и тотчас начнется музыка, согласный концерт —

Мы верно уж поладим,
Коль рядом сядем.

Ну, а что коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? То есть их бы и можно пустить и должно, потому что все ж они русские люди (а многие так и люди хорошие), если б только они, со всей землей, захотели смиренно, в ином общем великом деле, свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор, целых два столетия, были особо, а тут вдруг и соединятся! Это ведь не водевиль, это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека и притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру, посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы, азартом препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном и лаптем, — чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже невольно. «Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, ска-

жут они, а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и «научим народ его правам и обязанностям». (Это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, — обязанностям! Ах, шалуны!). «Русское общество не может-де пребывать в уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти». Так ведь, выходя с таким настроением, можно (и даже неминуемо) дойти опять до закрепощения народного, зипуна-то и лаптя, хотя не прежним крепостным путем, так интеллигентной опекой и ее политическими последствиями, —

А народ опять скуем!

Ну, и, разумеется, кончат тем, что заведут для одних себя говорильню. Заведут, да и сами себя и друг друга, с первого же шагу, не поймут и не узнают, — и это наверно случится так. Будут лишь в темноте друг об друга стукаться лбами. Не обижайтесь, господа: это и не с таким обществом, целых два века оторванным от всякого дела и не имеющим никакой самобытной культуры, как ваше, случалось, когда доходила до него очередь в первый раз свой совет сказать, это и с культурнейшими народами случалось. Но так как те все-таки за собой имели вековую культуру, и, что прежде всего, всегда более или менее на народ опирались, то и оправлялись скоро, и выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не без предварительных шишек на лбу. Ну, а вы, наши европейцы, на что обопретесь, чем сладитесь? — тем только, что рядом сядете. А сколько, сколько расплодилось у нас теперь говорунов? Точно в самом деле готовятся. Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он умный или иной какой? — и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего-то не разберешь. Курицу-ль впредь яйца учат, или курица будет попрежнему на яйцах

сидеть, — ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно народившийся; художественная литература его еще не затрагивала. Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала. Все больше типами сороковых годов пробиваются, много что пятидесятых. Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла.

II

Возможно-ль у нас спрашивать европейских финансов?

А что же финансы? Что ж финансовая-то статья? — скажут мне. Но опять-таки: какой я экономист, какой финансист? Да и не смею я вовсе писать о финансах. Почему же осмелился-то и собираюсь писать? А вот именно потому, что уверен, что, начав о финансах, перееду совсем на другое, и выйдет у меня не финансовая, а совсем иная какая-нибудь статья. Вот этим только я и ободрен. Ибо и недостоин я вовсе писать о финансах, так как сам знаю, что смотрю на наши финансы совсем не с европейской точки и не верую даже, что ее можно к нам приложить — и именно потому, что мы вовсе не Европа и что все у нас до того особливо, что мы, в сравнении с Европой, почти как на луне сидим. В Европе, например, рабское, феодальное отношение низших сословий к высшим уничтожалось веками и, наконец-то, раздалась революция; все, одним словом, совершилось культурно и исторически. У нас же крепостное право рушилось в один миг со всеми последствиями, и, слава Богу, без малейшей революции. И вот, казалось бы, откудова быть потрясению, то есть капитальному, очень большому? Правда и то: все, что вдруг падает, падает всегда очень опасно, то есть с большим потрясением. Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что весь этот мерзостный исторический грех наш уп-

разднился разом по великому слову Освободителя. Тем не менее закон природы нельзя миновать, и потрясение вышло большое. Пусть бы большое, но почему столь великое? Разумеется, на все законы истории, и уж, без сомнения, есть весьма многие, которые и теперь ясно различают, почему все так вышло. Но, не развивая эту тему дальше — (велика она и огромна, историку будущего века разве только по силам) — не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на иные частности, что прежде всего бросаются в глаза и смущают. Вот, например, посмотрите: рухнуло крепостное право, мешавшее всему, даже правильному развитию земледелия, — и вот тут-то бы, кажется, и зацвести мужику, тут-то бы, кажется, и разбогатеть ему. Ничуть не бывало: в земледелии мужик съехал прямо на минимум того, что может ему дать земля. И, главное, в том беда, что еще неизвестно: найдется ли даже и впредь такая сила (и в чем именно она заключается), чтоб мужик решился возвыситься над минимумом, которой дает ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажут умники: вопрос пустой и уже всем понятный, но я твердо уверен, что еще далеко не разрешенный и несравненно огромнейший, несравненно более захватывающий в себе содержания, чем предполагают его. Затем посмотрите опять: все прежнее барское землевладение упало и понизилось до жалкого уровня, а вместе с тем видимо началось перерождение всего бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ — ибо во что же, казалось, бы, переродиться ему? Вот бы и прекрасно и уж лучше, кажется, нельзя бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенция, предводящая его, сам он жаждет и ищет ее. Но, к сожалению, и это у нас пока еще в идеале и представляется лишь прелестным журавлем, летающим в небе; в действительности же далеко не так. Захочет ли сословие и прежний помещик стать интеллигентным народом? — вот вопрос, и, знаете ли: самый важный, самый капитальный, какой только есть у нас теперь и от которого зависит, может быть, все наше будущее! А между тем во-

прос этот далеко еще не решен, и даже представить нельзя, каким путем разрешится. Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом властию силы, уж, конечно, не прежним крепостным правом, но не захочет ли, например, оно, вместо единения с народом, из самого образования своего создать новую властную и разъединительную силу и стать над народом аристократией интеллигенции, его опекающей. Захочет ли оно искренно признать народ своим братом по крови и духу, впредь навсегда, почтит ли оно то, что чтит народ наш, согласится ли возлюбить то, что возлюбил народ даже более самого себя. А ведь без этого никогда и никто не сойдется с нашим народом, ибо то, что он чтит и любит, у него крепко, и он не поступится им ни для какой интеллигенции, как бы ни жаждал ее сам. Все это у нас страшно насущно и страшно не решено. И вообще у нас все теперь в вопросах. И, что главное, все ведь это требует времени, истории, культуры, поколений, а у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того не ожиданным предписанием начальства. Конечно, все произошло и идет не по вине чьей-нибудь, и уж, если хотите, так даже и исторически, но согласитесь и с тем, что такой истории не знала Европа. Как же спрашивать с нас Европы, да еще с европейской системой финансов? Я, например, верю как в экономическую аксиому, что не железнодорожники, не промышленники, не миллионеры, не банки, не жиды **обладают** землею, а прежде всех лишь одни земледельцы; что кто обработывает землю, тот и ведет все за собою, и что земледельцы и суть государство, ядро его, сердцевина. А так ли у нас, не навыворот ли в настоящую минуту: где наше ядро и в ком? Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими? Вот у нас строятся железные дороги и, опять факт, как ни у кого: Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных

дорог, да еще при своем-то богатстве. А у нас последние пятнадцать-шестнадцать тысяч верст железных дорог в десять лет выстроились, да еще при нашей-то нищете и в такое потрясенное экономически время, сейчас после уничтожения крепостного права! И, уже, конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее. На разрушенное землевладение и создались железные дороги. А разрешен ли у нас до сих пор вопрос о единичном, частном землевладении? Уживется ли впредь оно рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетариате и кабаке основанной? А ведь без здравого разрешения такого вопроса что же здравого выйдет? Нам именно здравые решения необходимы, — до тех пор не будет спокойствия, а ведь только спокойствие есть источник всякой великой силы. Как же спрашивать у нас теперь европейских бюджетов и правильных финансов? Тут уж не в том вопрос, почему у нас нет европейской экономии и хороших финансов, а вопрос лишь в том: как еще мы устояли? Опять-таки крепкой, единительной, всенародной силой устояли.

А спокойствия у нас мало, спокойствия духовного особенно, то есть самого главного, ибо без духовного спокойствия никакого не будет. На это особенно не обращают внимания, а добиваются только временной, материальной глади. Спокойствия в умах нет, и это во всех слоях, спокойствия в убеждениях наших, во взглядах наших, в нервах наших, в аппетитах наших. Труда и сознания, что лишь трудом «спасен будеши» — нет даже вовсе. Чувства долга нет, да и откуда ему завестись: культуры полтора века не было правильной, пожалуй, что и никакой. «К чему я стану трудиться, коли я самой культурой моей доведен до того, что все, что кругом меня, отрицаю? А если и есть колпаки, которые думают спасти здание какими-то европейскими измышлениями, — то я и колпаков отрицаю, а верю лишь в то, что чем хуже, тем лучше, и вот вся моя философия». Уверяю вас, что у нас теперь это очень многие говорят, про себя по крайней мере, а

нные так и вслух. И, однако, говорящий такие афоризмы человек сам-то ведь из костей и плоти. «Чем хуже, тем лучше, — говорит он, но это ведь только для других, для всех, — а самому-то мне пусть будет как можно лучше» — вот ведь как он разумеет свою философию. Аппетит же у него волчий. Мужчина с медведя, а нервы у него женские, расстроенные, избалованные; жесток и сластолюбив, ничего перенесть не может, «да и к чему-де утруждать себя и переносить?» Пресеклись обеды в ресторане, пресеклись кокотки, так для чего же и жить, — бац и пулю в лоб. Еще хорошо, если себе пулю в лоб, а то ведь пойдет да другого обокрадет, законно-юридическим образом. А ход-то дела не ждет, бедность нарастает всеобщая. Вон купцы повсеместно жалуются, что никто ничего не покупает. Фабрики сокращают производство до минимума. Войдите в магазин и спросите, как дело идет: «прежде, скажут вам, к празднику человек, по крайней мере, полдюжины рубах себе купит, а теперь все по одной берут». Спросите даже в ресторанах модных — так как это последнее место, где бедность появляется. «Нет, скажут вам, уж теперь не кутят попрежнему, все прижались, много что придет и обыкновенный обед спросит» — и это ведь прежний щеголь, бонбансник. Выкупные прожили. Теперь еще все-таки валят последние леса, а повалят — и ничего уж не будет. А какие уж теперь леса? Поедете по железной дороге, заметьте у станций дрова: прежде все-таки бревна рубили, а теперь совсем не редкость встретить какие-то тоненькие палочки вместо дров, — не дерево, а кусты уж рубят, подросточки. Вам, конечно, наблюдение это покажется мелочью в виду прочих громадных вопросов нашего времени. Но ведь про леса наши финансисты решительно игнорируют, точно и не хотят знать, как будто даже по какому-то принципу. А без лесов ведь и финансы понизятся в страшном размере, если все-то сообразить и в самую глубь войти. Но в лесном вопросе все как будто слово дали себе лишь скользить по поверхности, пока не пришла беда. Она придет вдруг, ибо все пока успокоены тем, что цена лесу на рынке все еще стоит

подходящая, и знать не хотят, что она, так сказать искусственная, от усиленного предложения тех, которые валят леса и кусты даже, потому что уже все прожили. Повалят, и вдруг ничего не окажется, нечего будет предложить. Но об этом потом. Я ведь начал речь о повсеместной нищете и, обратном ей, развитии аппетитов.

Я хочу только, между прочим, заметить, что страшно развелось много капитанов Копейкиных, в бесчисленных видоизменениях, начиная с настоящих, до великосветских и раздушенных. И все-то на казну и на общественное достояние зубы точат. Разумеется, все они быстро превратятся у нас если не в разбойников на больших дорогах, как было с настоящим Копейкиным, то в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные так и прикрывать себя юридически не станут. Иной даже гордо скажет: «Я потому таков, что все отрицаю и отрицанию способствую». О, разве нет Копейкиных-либералов? Они слишком поняли, что в моде либреализм и что на нем можно выехать. Кто их не видывал: либерал всесветный, атеист дешевый, над народом величается своим просвещением в пятак цены! Он самое пошлое из всех пошлых проявлений нашего лжелиберализма, но все-таки у него неутолимо развит аппетит, а потому он опасен. Вот такие-то первые и примыкают прежде всех ко всякой идее о пересадках извне для механического врачевания, группируются и составляют толпу, которую ведут весьма часто весьма честные люди, в сущности не виноватые в том, что у них такой контингент: «Пусть всякая перемена, только чтоб без труда и готовая, говорит либеральный Копейкин; все-таки лучше мне будет с внешней-то переменой, с какой бы там ни было, чем теперь, потому что наверное найду, чем поживиться на первых порах», — так ведь с этой стороны он очень опасен, хотя всего только Копейкин. Но оставим Копейкина. Все сказанное теперь еще только самый малый краюшек на тему о том, что у нас нет спокойствия. Сам вижу, что предисловие мое вышло слишком уж длинно. Но к финансам, к финансам!

III

Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю в нечто духовное

По свойству натуры моей, начну с конца, а не с начала, разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, доходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе, потому что иной окончательный вывод, высказанный прямо, без подготовлений, без предварительных доказательств, способен иногда просто удивить и смутить, а пожалуй, так вызвать и смех. а у меня, — я уже предчувствую — именно такой вывод, что над ним можно сразу рассмеяться, если не подготовить к нему читателя предварительно. Мысль моя, формула моя — следующая: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения. не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы».

Ну, разумеется, тотчас же раздается смех: «Это-де все знают, скажут мне, в вашей формуле нет ровно ничего неизвестного; кто ж не знает, что не надо истощать корней, что, засушив корни, плодов не получишь» и т. д., и т. д. Но, однако же, дайте оговориться, я еще не всю мою мысль сказал, и, увы, в том-то и беда моя, что если б я даже целую книгу написал, развивая эту мысль мою, то и тогда (о, опять-таки предчувствую это) — не смел бы разъяснить ее настолько, чтоб ее можно было понять **во всей полноте.** Ибо в этой мысли заключается некий своего рода фатум.

Видите ли: об оздоровлении корней, конечно, все знают и какой же наш министр финансов более или менее о них не заботился, а уж особенно министр нынешний: он прямо приступил к корням, и вот уже соляной налог уничтожен. Ожидаются и еще реформы,

и чрезвычайные, капитальные, именно «корневые». Кроме того всегда, и прежде, и десять лет тому, употреблялись многие средства на оздоровление корней: назначались ревизии, устраивались комиссии для исследования благосостояния русского мужика, его промышленности, его судов, его самоуправления, его болезней, его нравов и обычаев, и пр., и пр. Комиссии выделяли из себя подкомиссии на собрание статистических сведений, и дело шло как по маслу, то есть самым лучшим административным путем, какой только может быть. Но я вовсе, вовсе не про то говорить теперь начал. Мало того, не только подкомиссии, но даже и такие капитальные реформы, как отмена соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы, — по-моему, суть лишь одни паллиативы, нечто внешнее и не с самого корня начатое, — вот что я хочу выставить. С самого корня будет то, когда мы, если не совсем, то хоть на половину забудем о текущем, о злобе дня сего, о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, об дефиците, об рубле, о банкротстве даже, которого, впрочем, никогда у нас и не будет, как ни пророчат его нам злорадно заграничные друзья наши. Одним словом, когда обо всем, обо всем текущем позабудем и обратим внимание лишь на одно оздоровление корней, и это до тех пор, пока получим действительно обильный и здоровый плод. Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее, или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (то есть современное, теперешнее наше текущее) изменится все радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем. И что же: я, разумеется, понимаю, что все, что я сказал сейчас, покажется диким, что не думать о рубле, о платежах по займам, о банкротстве, о войске нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять и, повидимому, прежде всего. Но уверяю же вас, что и я понимаю это. Видите, я вам признаюсь: я нарочно поставил мою мысль ребром и желания мои довел до идеала почти невозможного. Я думал, что именно начав с абсурда и стану

понятнее. Я и сказал: «Что если б мы хоть **на половину** только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше внимание на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности?» Но я сейчас же готов смягчить мою формулу, и вот что вместо нее предложу: **не на половину** забыть о текущем, — от половины я отказываюсь, — а всего бы только на одну двадцатую долю, но с тем (непременно с тем), чтобы, начав с двадцатой доли забвения текущего, в каждый следующий год прибавлять к прежней доле еще по одной двадцатой и дойти — ну, дойти, например, таким образом, до трех четвертей забвения. Важна тут не доля, **а важен тут принцип,** который взять, поставить перед собой и затем уже следовать ему неуклонно. О, на это все тот же вопрос: куда ж девать текущее-то, — не похерить же его, как несуществующее? Я и не говорю: похерить; знаю сам, что существующее нельзя сделать несуществующим, — но знаете, господа, иногда и можно. Ведь если только перестать лишь на одну двадцатую долю ежегодно удостоивать его столь болезненно-тревожного внимания, как теперь, а обратить это болезненно-тревожное внимание, в размере тоже одной двадцатой доли ежегодно, на нечто другое, то дело-то представится почти что и не фантастическим, а совсем даже возможным к началию, тем более, что о текущем (повторяю это), пренебрегаемом на одну двадцатую долю ежегодно, уже по тому одному нечего беспокоиться, что оно все не утратится, вовсе не похерится, а,повторяю это, оно само собою преобразится в нечто совсем иное, чем теперь, само подчинится новому принципу и войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему, к самому даже лучшему. Мне скажут, что я говорю загадками и, однако же, это ничуть. Для примера и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное словцо на тему о том, каким образом можно сразу начать переходить от текущего к «оздоровлению корней».

Ну что, если б, например, Петербург согласился

вдруг каким-нибудь чудом сбавить своего высокомерия во взгляде своем на Россию, — о, каким бы славным и здоровым первым шагом послужило бы это к «оздоровлению корней»! Ибо что же Петербург, — он ведь дошел до того, что решительно считает себя всей Россией, и это от поколения к поколению идет нарастая. В этом смысле Петербург как бы следует примеру Парижа, несмотря на то, что на Париж совсем не похож! Париж уж так сам собою устроился исторически, что поглотил всю Францию, все значение ее политической и социальной жизни, весь смысл ее, — и отнимите Париж у Франции — что при ней останется; одно географическое определение ее. И вот у нас воображают иные почти так же, как и в Париже, что в Петербурге слилась вся Россия. Но Петербург совсем не Россия. Для огромного большинства русского народа Петербург имеет значение лишь тем, что в нем его Царь живет. Между тем, и это мы знаем, петербургская интеллигенция наша, от поколения к поколению, все менее и менее начинает понимать Россию, именно потому, что, замкнувшись от нее в своем чухонском болоте, все более и более изменяет свой взгляд на нее, который у иных сузился, наконец, до размеров микроскопических, до размеров какого-нибудь Карлсруэ. Но выгляните из Петербурга, и вам предстанет море-океан земли Русской, море необъятное и глубочайшее. И вот сын петербургских отцов самым спокойным образом отрицает море народа русского и принимает его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. «Велика-де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному». Танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны отечества, а «чернорабочие крысы», как называл их Иван Александрович Хлестаков, изучают отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают. А между тем, море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно от-

деляясь от Петербурга. И не говорите, что живет он хотя мощною жизнью, но еще бессознательною, как уверены до сих пор не только петербуржцы, но даже и понимающие Россию иные немногие русские люди. О, если б знали, как это неверно, и уже сколько сознания накопилось в народе русском, например, хотя бы только в теперешнее царствование! Да, сознание уже растет, растет, и уже столь многое народом понятно и осмыслено, что петербургские люди и не поверили бы. Это видится тем, которые видеть умеют, это предчувствуется и только еще не обнаруживается в целом, хотя сильно обнаруживается по местам, по углам, по домам и по избам. Где же обнаружиться еще в целом — ведь это океан, океан! Но если когда обнаружится или только начнет обнаруживаться, то в какое внезапное удивление повергнет оно петербургского и интеллигентного человека! Правда, долго он будет отрицать и не верить своим пяти чувствам, долго не сдастся европейский человечек, — иные так и умрут не сдавшись. Но чтобы избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, повторяю это, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию! Проникновения бы капельку больше, понимания, смирения перед великой землей Русской, перед морем-океаном, — вот бы чего надо. И каким бы верным первым шагом послужило это к «оздоровлению корней»...

— Но позвольте, — прервут меня, — все это пока лишь только старые, истрепанные славянофильские бредни, совсем даже не реальное, а какое-то даже духовное; но что такое «оздоровление корней», — вы еще это не разъяснили? И что за корни? Какие корни? Что вы под этим разумеете?

— Вы правы, господа, правы, — начнем об самих «корнях».

IV

Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно и как можно оздоровить — это, без сомнения, все тот же русский народ, все тот же море-океан, о котором я сейчас мою речь завел. Я про простой наш народ теперь говорю, про простолюдина и мужика, про платежную силу, про мозольные рабочие руки, про море-океан. О, как не знать мне, что сделало и делает для него беспрерывно наше правительство в нынешнее царствование, начиная с освобождения его от крепостной зависимости? Да, оно заботится о его нуждах, о его просвещении, лечении, прощает ему даже недоимки при случае, — одним словом, делает и заботится много, кто ж про это не знает. Но я не про это хочу начать речь: я разумею лишь духовное оздоровление этого великого корня, который есть начало всему. Да, он духовно болен, о, не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Какая же она, как она называется? Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как сказать: «Жажда правды, но неутоленная». Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит. Хотелось бы мне ограничиться тут лишь финансовой точкой взгляда на эту болезнь, но придется прибавить и несколько старых слов. С самого освобождения от крепостной зависимости, явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после великого освобождения его. Затребовалось новое слово, стали закипать новые чувства, стало глубоко вериться в новый порядок. После первого периода посредников первого призыва наступило вдруг нечто иное, чем ожидал народ. Наступил

порядок, в который народ и рад был уверовать, но мало что в нем понимал. Не понимал он его, терялся, а потому и не мог уверовать. Являлось что-то внешнее, что-то как бы ему чужое и не его собственное. Пережевывать эту тему столь давно пережеванную нечего: другие расскажут про это лучше моего, — прочтите хоть в журнале «Русь». Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство; народ теперь именно «обеспокоен» нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей «в народ», то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к народу. А то, при самой малой умелости, и они бы проникли, как проникла и штунда. О, надо беречь народ. Сказано: «Будут времена, скажут вам: Се здесь Христос, или там, не верьте». Вот и теперь как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас наверху. Ну, разве не волнуется народ разными необычными слухами о переделе, например, наделов, о новых золотых грамотах? Недавно им читали по церквам, чтоб не верили, что ничего не будет, и вот, верите ли: именно после этого чтения и утвердилась, по местам, еще более мысль, что «будет»: «Даром бы читать не стали, а коли уж зачали читать, значит «будет». Вот что они заговорили тотчас же после чтения, по крайней мере по местам. Я именно знаю случай: покупали крестьяне у соседнего помещика землю и сошлись было в цене, а после этого чтения отступились: «И без денег возьмем». Посмеиваются и ждут. Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно о нравствен-

ном беспокойстве народа. И вот что главное: народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно «начальство». Есть суд, но и то «начальство»; есть община, наконец, мир, но и то как будто бы уж теперь тянет к чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаниями, как народ выбирает своих выборных, — в присутствии «начальства», непременного члена какого-нибудь, и что из этого происходит. Но анекдотов этих тысячи, пересчитывать не буду. Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному-де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все делается, так стану-де и я кулаком, — и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум. Ведь уж, кажется, дано управление, начальство, тут-то бы и успокоиться, — ан вышло почему-то наоборот. Вон насчитали, что у народа, теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движений. А главное, народ один, без советников. Есть у него только Бог и царь, — вот этими двумя силами и двумя великими надеждами он и держится. А другие советники все проходят мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенция, например, сплошь проходит мимо народа, ибо хотя и много в интеллигенции нашей толковых людей, но зато о народе русском мало кто имеет понятия. У нас только стрищают да беспрерывно жалуются: «Зачем-де не «оживляется» общество, и почему-де никак нельзя оживить его, и что же это за задача такая?» А потому нельзя оживить, что вы на народ не опираетесь, и что народ не с вами духовно и вам чужой. Вы как бы составляете верхнюю

зону над народом, обернувшую землю Русскую, и для вас-то собственно, по крайней мере, как говорят и пишут у вас же. Преобразователь и оставил народ крепостным, чтобы он, служа вам трудом своим, дал вам средство к европейскому просвещению примкнуть. Вы и просветились в два-то столетия, а народ-то от вас отдалился, а вы от него. «Да не мы ли, скажете вы, об народе болеем, не мы ли об нем столь много пишем, не мы ли его и к нему призываем?». Так, вы все это делаете, но русский народ убежден почему-то, что вы не об нем болеете, а об каком-то ином народе, в вашу голову засевшем и на русский народ не похожем, а его так даже и презираете. Это презрительное отношение к народу — в некоторых из нас даже совсем бессознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остаток крепостного права. Началось же оно с тех пор, как был умерщвлен граждански народ для нашего европейского просвещения и пребывает в нас несомненно доселе, когда и воскрес народ, и, знаете, нам даже и невозможно уже теперь сойтись с народом, если только не совершится какого чуда на земле Русской. Тут, повторю, весьма старые мои же слова: народ русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно. **В сущности** в народе нашем кроме этой «идеи» и нет никакой, и все из нее одной и исходит, по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтоб все, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного. Но и самые преступник и варвар хоть и грешат, а все-таки молят Бога, в высшие минуты духовной жизни своей, чтоб пресекся грех их и смрад и все бы выходило опять из той излюбленной «идеи» их. Я знаю, надо мною смеялись наши интеллигентные люди: «той идеи» даже и признавать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад его

(которым сами же они виной были, два века угнетая его), указывают на предрассудки, на индиферентность будто бы народа к религии, а иные так даже воображают, что русский народ просто-напросто атеист. Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно-противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным) — цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созиждилась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в среде многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов **всесветным единением во имя Христово.** Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши. О, есть много и других «идей» в народе, с которыми вы никогда не сойдетесь и признаете их прямо татарскими в европейском миросозерцании вашем. Об них, об этих остальных идеях я теперь и упоминать не буду, хотя это чрезвычайно важные идеи, которых правды вы вовсе не понимаете. Но теперь я об этой лишь главной идее народа нашего говорю, об чаянии им грядущей и зиждущейся в нем, судьбами Божьими, его церкви вселенской. И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского (а у многих ведь из них, из европей-

цев-то наших, сердце чистое, справедливости и любви жаждущее), а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть и каким себе напредставит его. А так как народ никогда таким не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение. Ибо вышесказанная формула имеет и обратное значение, то есть никогда народ не примет такого русского европейца за своего человека: «Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таков как я, мой брат, несмотря на то, что ты одет не так, что ты барин, что ты начальство и что даже и по-русскому-то иной раз сказать хорошо не умеешь», — вот что вам скажет народ, ибо народ наш широк и умен. Он и не верующего в его святыню, хорошего человека, иной раз почтит и полюбит, выслушает его, если тот умен, за совет поблагодарит и советом воспользуется. Ужиться народ русский со всяким может, ибо много видал видов, многое заметил и запомнил в долгую, тяжелую жизнь свою двух последних веков. (А вот вы даже и с этим не соглашаетесь, что он многое запомнил и заметил, а стало быть и сознал, и что, стало быть, не совсем же он только косная масса и платежная сила, какими вы его определили). Но ужиться, и даже любовно ужиться, с человеком — дело одно, а **своим** человеком признать его — это совсем уже другое. А без этого признания не будет и единения.

Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющие нас с народом, чрезвычайно велики, и что народ остался один, в великом уединении своем, и кроме царя своего, в которого верует нерушимо, — ни в ком и нигде опоры теперь уже не чает и не видит. И рад бы увидеть, да трудно ему разглядеть. А между тем — о, какая бы страшная, зиждительная и благословенная сила, новая, совсем уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом! Единение духовное, то есть. О, господа министры финансов, не такие бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какие соста-

вляете ныне! Молочные реки потекли бы в царстве, все идеалы ваши были бы достигнуты разом! — «Да, но как это сделать, и неужели же виною тому европейское просвещение наше?». О, совсем не просвещение, да, по правде, его у нас и нет вовсе даже доселе, а разъединение-то все-таки пребывает и действительно вышло как бы во имя европейского просвещения, которого нет у нас. Но настоящее просвещение тут не виновато. Я даже так думаю: будь у нас настоящее, заправское просвещение, то и разъединения бы никакого не произошло у нас вовсе, потому что и народ просвещения жаждет. Но улетели мы от народа нашего, просветясь, на луну, и всякую дорогу к нему потеряли. Как же нам, таким отлетевшим людям, брать на себя заботу оздоровить народ? Как сделать, чтоб дух народа, тоскующий и обеспокоенный повсеместно, ободрился и успокоился? Ведь даже самые капиталы и движение их нравственного спокойствия ищут, а без нравственного спокойствия или прячутся, или непроизводительны. Как сделать, чтоб дух народа успокоился в правде и видя правду? Может быть, правда-то есть и теперь, но надо, чтоб он ей поверил. Как внедрить в его душу, что правда есть в Русской земле, и что высоко стоит ее знамя. Как сделать, например, чтоб он в свой суд уверовал, в свое представительство и признал его за плоть от плоти своея и за кость от костей своих? О, я не пускаюсь в подробности, где мне, и если даже начать все разъяснять и описывать, то, думаю, и «всему миру не вместить бы книг сих». Но если бы только хоть обеспечена была правда народу в будущем, так чтобы он вполне уверовал, что придет она непременно, если б только хоть капельку выбралась муха из тарелки с патокой, то и тогда бы совершилось дело великое и неисчислимое. Прямо скажу: вся беда от давнего разъединения интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. Как же помирить верхний пояс с море-океаном и как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения?

V

Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму научиться

На это есть магическое словцо, именно: «Оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов; народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь все то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. И разъединенный един и сообща един, ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою местную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно мужик, один только заправский мужик. Правда, с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят и правдивое слово скажут, — такова уж наша народная особенность. Как же это сделать? О, люди власть имеющие это могут лучше решить, чем я, — я же только верю в одно, что формул особенных совсем не потребуется. Народ наш за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которых ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на уме, и не только никогда не бывало, но никогда и не будет, потому что у него другой взгляд на это дело, особливый, совсем его собственный. Да, в сем случае, народ наш, — такой народ, как наш, — может быть вполне удостоен доверия. Ибо кто же его не видал около царя, близь царя, у царя? Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что «царь им отец»? Кто думает так, тот ничего не понимает в России! Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий,

организм народа, слиянного с своим царем воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам еще два века назад крепостной кабалой и крестным страданием народа русского, нам служившего. Вот и ждал народ освободителя своего и дождался. — ну, так как же они не настоящие, не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя (как было, например, с династиями прежних королей во Франции), а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились, — так как же народу отречься от дальнейших надежд? Как же, напротив, не усилиться им, не утвердиться, ибо царь после крестьянской реформы не в идее только, не в надежде лишь, а на деле ему стал отцом. Да ведь это отношение народа к царю, как к отцу, и есть у нас то настоящее, адамантовое основание, на котором всякая реформа у нас может зиждиться и созиждется. Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая живая связь народа с царем своим, и из нее у нас все и исходит. Кто же бы и помыслить мог, например, хотя бы о той же крестьянской реформе, если б заранее не знал и не верил, что царь народу отец, и что именно вера народа в царя, как в отца своего, все спасет, все убережет, удалит беду? Увы, плох тот экономист-реформатор, который обходит настоящие и действительно живые силы народные из какого-нибудь предубеждения и чуждого верования. Да, мы уже по тому одному не с народом и не можем понять его, что хоть и знаем и понимаем его отношения к царю, но вместить не можем в себя во всей полноте самого главного и необходимого пунк-

та в судьбах наших: что отношение это русского народа к царю своему есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира; что это не временное только дело у нас, не переходящее, не признак лишь детства народного, например, его роста и проч., как заключил бы иной умник, но вековое всегдашнее и никогда, по крайней мере еще долго, очень долго оно не изменится. Так как же после этого (уже потому только одному) народ наш не особлив от всех народов и не заключает в себе особой идеи? Не ясно ли, напротив, что народ наш носит в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой. Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу, а так как она совсем особливая и как ни у кого, то история наша **не может быть похожею на историю других европейских народов**, тем более ее рабской копией. Вот чего не понимают у нас умники, верующие, что все у нас переделается в Европу безо всякой особливости, и ненавидящие особливости, от чего, конечно, дело может кончиться даже бедой. А что у нас все основное как нигде в Европе, то вот вам тому первый пример: у нас свобода (в будущем нашем, когда мы переживем период лжеевропеизма нашего, это наверно так будет) — у нас гражданская свобода может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе, или даже в Северной Америке, и именно на этом же адамантовом основании она и созиждется. Не письменным листом утвердится, а созиждется лишь на детской любви народа к царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и немыслимо у других, у договорных народов, детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не бывало видано, ибо не изменят дети отцу своему и, как дети, с любовью примут от него всякую поправку всякой ошибки и всякого заблуждения их.

Итак, этакому-то народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную об них правду. Но, повторю это, пусть скажет сначала один;

мы же, «интеллигенция народная», пусть станем пока смиренно в сторонке и сперва только поглядим на него, как он будет говорить, и послушаем. О, не из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время нашу интеллигенцию, — не приписывайте мне их, пожалуйста, — но предложил бы я это (уж извините, пожалуйста) — из целей лишь чисто **педагогических.** Да, пускай в сторонке пока постоим и послушаем, как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать, совсем без нашей помощи, и об деле, именно об заправском деле в самую точку попадет, да и нас не обидит, коли об нас речь зайдет. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же научимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете: «Сами же вы говорили, как податлив народ на нелепые слухи, — какой же мудрости ожидать от него?» Так, но одно дело слухи, а другое — единение в общем деле. Явится целое, а целое повлияет само на себя и вызовет разум. Да, это будет воистину школою для всех нас и самою плодотворнейшею школою. Увидав от народа столько деловитости и серьезности, мы будем озадачены, и уж, конечно, явятся из нас, что не поверят глазам своим, но таких будет слишком мало, ибо все действительно искренние, все воистину жаждущие правды, а главное дело, заправского дела и общей пользы, — такие все присоединятся к премудрому слову народному; все же неискренние разом обнаружат все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не уверуют, — то это какие-нибудь староверы и доктринеры сороковых и пятидесятых годов, старые, неисправимые дети, и они будут только смешны и безвредны. Все же кроме них в первый раз прочистят глаза свои и очистят понимание свое. Действие может быть чрезвычайно важное по последствиям, ибо... ибо тут-то в этой-то форме, может быть, и возможно начало и первый шаг духовного слияния всего интеллигентного сословия нашего, столь гордого пред народом, с народом нашим. Я про духовное лишь

слияние говорю, — его только нам и надо, ибо оно страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст. Светлая, свежая молодежь наша, думаю я, тотчас же и прежде всех отдаст свое сердце народу и поймет его духовно впервые. Я потому так, и прежде всех, на молодежь надеюсь, что она у нас тоже страдает «исканием правды» и тоской по ней, а, стало быть, она народу сродни наиболее и сразу поймет, что и народ ищет правды. А познакомясь столь близко с душою народа, бросит те крайние бредни, которые увлекли было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях. О, я верю, что не фантазирую и не преувеличиваю тех благих последствий, которые могли бы из столь хорошего дела выйти. Пало бы высокомерие и родилось бы уважение к земле. Совсем новая идея вошла бы вдруг в нашу душу и осветила бы в ней все, что пребывало до сих пор во мраке, светом своим обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знает, может быть, это было бы началом такой реформы, которая по значению своему даже могла бы быть выше крестьянской: тут произошло бы тоже «освобождение» — освобождение умов и сердец наших от некоей крепостной зависимости, в которой и мы тоже пробыли целых два века у Европы, подобно как крестьянин, недавний раб наш, у нас. И если б только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то уж, конечно, была бы лишь последствием великой первой реформы в начале царствования. Ибо тогда материально пала двухвековая стена, отделявшая народ от интеллигенции, а ныне стена эта уже духовно падет. Что же выше, что же может быть плодотворнее для России, как не это духовное слияние сословий? Свои в первый раз узнают своих. Стыдившиеся доселе народа нашего, как варварского и задерживающего развитие, устыдятся прежнего стыда своего и пред многим смирятся и многое почтут, чего прежде не чтили и что презирали. И когда ответит народ, когда доложит все об себе и замолкнет его смиренное слово, — спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцию нашу, ну хоть лишь мне-

ния ее о том, что сказал народ, и вы сейчас же увидите последствия. О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллигенты, и последнее слово за ними. Но пример народа, сказавшего прежде их свое слово, во всяком случае, избавил бы нас от многих промахов и дурачеств, если б нам самим пришлось прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажет тогда наша интеллигенция народу противоречиво, а лишь облечет его истину в научное слово и разовьет его во всю ширину своего образования, ибо все же ведь у нее наука или начала ее, а наука народу страшно нужна. Да если б и захотел кто из них противоречить, если б и явились какие-нибудь несогласия с основными началами народа нашего, то все-таки не осмелились бы так сильно восстать против духа народного, то есть против взгляда его на дело, — вот что важно, и даже очень.

Да, весьма может быть, что духовное спокойствие началось бы у нас именно с этого шага. Явилась бы надежда и уже общая, неразделенная, стали бы ярко сознаваться и выясняться перед нами и цели наши. А это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь наш интеллигент совсем не знает или весьма не твердо и сбивчиво знает о том, какие суть и могут быть впредь наши цели, то есть национальные, государственные. В этом у нас очень слабо, именно теперь, в данную минуту. А эта сбивчивость, это незнание есть, без сомнения, источник великого беспокойства и неустройства, и не только теперь, а и несравненно горшего в будущем. Все это могло бы быть разъяснено, освещено или дало бы хоть первоначальное указание к тому, чем осветить и как разъяснить, навело бы на мысль... А, впрочем, на эту тему довольно; я сказал, как умел. Пусть не поймут всего, если не сумел высказаться, — беру вину на себя, — но то, что поймут, пусть примут в безобидном и мирном смысле. Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, — как в святыню верую, глав-

ное, в спасительное их назначение, в великий народный охранительный и зиждительный дух, и жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное.

И почему бы все это мечта? Я ведь не про всю обширность дела говорю. Я ведь говорю лишь о мужике, о его собственных первоначальных делах, лишь до него относящихся. Разве нет у него таких дел, особливых и единственно ихних, о которых бы надо было узнать, в виде, так сказать, почина и предисловия ко всякой дальнейшей, хотя бы даже и гораздо обширнейшей реформе? А между тем получатся выгоды чрезвычайные: получатся факты, узнается правда о многом, добудется драгоценный материал, который убережет многих из нас от фантастических надежд, от перековерканий на западный лад, от преувеличений. А главное, — это еще раз повторю, — получится тон и смысл, получится тот самый дух, в котором только и может совершиться все что-нибудь дальнейшее и обширнейшее. На это дело как бы печать ляжет, печать национальная и глубоко-консервативная. И печати этой и впоследствии никто не избегнет, даже самые фантастические умы, и те соблазнятся и добровольно примут ее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Остроумный бюрократ. Его мнение о наших либералах и европейцах

Но, кончив эту первую мою главу, прерву пока и статью о финансах, ибо чувствую, что пишу очень скучно. Но прерву лишь на время. Мне еще хотелось бы поговорить и о других корнях, о других началах, которые, представляется мне, — можно бы оздоровить. Потому еще прерываю, что на двух листках моего «Дневника» и без того не уписал бы всей статьи, так

что и поневоле пришлось бы отложить до следующих, грядущих номеров...

Напрасно, не надо и в следующих номерах, — брезгливо прервут меня голоса (я уж предчувствую эти голоса), — все это не финансы, а... баловство. Все это не реально (хотя не понимаю, почему бы так?), все это мистического какого-то содержания, а не насущного, не текущего! В следующих номерах дайте повесть.

Странные голоса! Да ведь я именно и стою на том, чтоб нам отвернуться от многого в теперешнем нашем насущном и текущем и создать себе иное насущное и текущее, и несравненно даже реальнейшее, чем теперешнее, в которое мы въехали и в котором сидим, — извините, пожалуйста, — тоже как муха в патоке, — в этом вся моя мысль. То есть именно в повороте голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор — вот моя мысль. Власть имеющие могли бы начать такое дело, и с этой стороны мои мечты становятся даже вовсе не столь фантастическими, ибо если начнет власть, то многое могло бы даже сейчас же осуществиться. Принципы, принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и свободить. Не популярна, кажется, эта мысль: без движения мы давно уже привыкли быть, а в патоке-то даже и сладко стало сидеть. Правда, я опять увлекся, и мне тут же сейчас же могут напомнить, что ведь я и доселе, столько уж написав, все еще не собрался разъяснить: какое именно теперешнее текущее я подразумеваю, и какое именно будущее текущее ему предпочитаю. Вот это-то именно я и хочу разъяснять неустанно в будущих моих номерах «Дневника». Но, чтоб кончить теперь, приведу одну встречу, которую я имел с одним довольно даже остроумным бюрократом, который мне изрек одну довольно любопытную вещь, вот именно насчет некоторых принципов, касающихся изменения нашего теперешнего «текущего». Разговор зашел в одном обществе как раз о финансах и об экономии, но специально в смысле бережливости финансовых средств наших, прикопления их, употре-

бления в дело так, чтобы ни одна копейка не терялась, не пошла в расход фантастический. Про экономию в этом смысле у нас говорят теперь поминутно, да и правительство занимается этим же неустанно. У нас контроль, ежегодное сокращение в штатах. Заговорили в последнее время даже о сокращении армии, предлагали в газетах и цифру, именно на пятьдесят тысяч солдат, а другие так уверяли, что и на половину сократить можно армию нашу: ничего-де от того не будет. Все это и прекрасно бы, но вот что, однако, невольно лезет в соображение: армию-то мы сократим, на первый случай, хоть тысяч на пятьдесят, а денежки-то у нас и промелькнут опять между пальцами, туда да сюда, уж, конечно, на государственные потребности, но на такие, которые, может быть, и не стоят такой радикальной жертвы. Сокращенные же пятьдесят тысяч войска, уж мы никогда опять не заведем, или с большой потугой, потому что, раз уничтожив, трудно это опять восстановлять, а войско-то нам ух как нужно, особенн теперь, когда все-то там держат против нас камень за пазухой. На эту дорогу вступать опасно но только **теперь,** при теперешнем, то есть текущем, на которое пойдут денежки. Только тогда и будем уверены, что святые эти денежки действительно на настоящее дело пошли, когда вступим, например, на скончательную, на суровую, на угрюмую экономию, на экономию в духе и силе Петра, если б тот положил экономить. А способны ли мы на это при «вопиющих»-ю нуждах нашего текущего, которыми мы столь связали себя? Замечу, что если б мы сделали или начали так, то это и было бы одним из первых шагов на повороте с прежнего фантастического текущего на новое, реальное и надлежащее. Мы вот довольно часто сокращаем штаты, персонал чиновников, а, между тем, в результатах выходит, что и штаты и персонал как бы все увеличиваются. А способны ли мы вот к такому, например, сокращению, чтобы с сорока чиновников сразу съехать на четырех? Что четыре чиновника сплошь и рядом исполнят то, что делают сорок — в этом сомнения, конечно, никто не может иметь, особенно при со-

кращении бумажного делопроизводства и вообще при радикальном преобразовании теперешних формул ведения дел? Вот на эту-то тему и зашла речь в нашей компании. Заметили, что это большая ломка, во всяком случае. Другие возражали, что ведь у нас и гораздо капитальнейшие реформы происходили, чем эта. Третьи прибавляли, что новым чиновникам, то есть вот этим четверым, заместившим сорок, можно бы жалованье даже утроить — и слишком охотно будут работать, вовсе без ропота. Но если и утроить, и на четырех, стало быть, пошло бы столько же, чего стоят теперешние двенадцать, то и тогда мы сократим расходы чуть не на три четверти против теперешнего

Тут-то меня и остановил мой бюрократ. Замечу, прежде всего, что, к величайшему моему удивлению, даже и он нисколько не возразил против возможности четырьмя заменить сорок: «И при четырех, дескать, дело будет итти», стало быть, не счел же этого невозможным. Но он возразил на иное, именно на принцип, на ошибочность и преступность провозглашаемого принципа. Привожу возражения его не дословно, даже слишком в моей редакции. Повторяю, привожу именно потому, что мысли его показались мне любопытными в своем роде и заключавшими в себе некоторую почти пикантную даже идею. Он, конечно, не удостоил пускаться со мною в подробности, так как я в таком деле не специалист, «понимаю мало» (в чем уж, конечно, спешу и сам сознаться), — но принцип-то, он надеялся, я пойму.

— Сокращение чиновников, с сорока на четырех, — начал он строго и с проникновением, — не только не полезно для дела, но даже и вредно уже по самому существу своему, несмотря на то, что действительно государственный расход уменьшился бы значительно. Но не только с сорока на четырех нельзя сокращать и вредно, но и с сорока на тридцать восемь, и вот почему: потому что вы зловредно посягнули бы тем на основной принцип. Ибо вот уже почти двести лет, с самого Петра, мы, бюрократия, составляем в государстве **все**; в сущности, мы-то и есть государство и

все — а прочее лишь привесок. По крайней мере, до недавнего времени, до освобождения крестьян так было. Все выборные прежние должности, ну там дворянские, например, сами собою, силою тяготения, так сказать, принимали наш дух и смысл. И мы, созерцая это, вовсе не беспокоились, потому что принцип, указанный двести лет тому, нисколько не нарушался. Вот после крестьянской реформы действительно потянуло было чем-то новым: явилось самоуправление, ну там земство и прочее... Оказалось теперь ясно, что и все это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик, нашу же душу и тело, в нас перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашим давлением (это ошибочная мысль), — а именно само собою, ибо от вековых привычек отучаться трудно, а если хотите, то и не надо, особенно в таком основном и великом национальном деле. Вы можете мне не поверить, но если способны вникнуть, то, конечно, поймете. Ибо что мы такое? Мы **все, все** и до сих пор, и продолжаем быть всем, — и опять-таки вовсе не очень стараясь о том, сами, не натужась, так сказать, нимало, а именно невольно, естественным ходом дела. Кричат давно, что у нас дело канцелярское, не живое, а мертвое, бумажное, и что Россия из этого выросла. Может быть, выросла, но пока все еще мы одни ее держим, зиждем и сохраняем, чтобы не рассыпалась! Ибо то, что вы называете канцелярской мертвечиной, то есть мы-то сами, как установление, а затем и вся наша деятельность, — все это составляет, если прибегнуть к сравнению, как бы, так сказать, скелет в живом организме. Рассыпьте скелет, рассыпьте кости, погибнет и живое тело. Пусть, пусть дело делается по-мертвому, зато по системе, по принципу, по великому принципу, позвольте вам это сказать. Пусть дело канцелярски делается, пусть даже плохо, не полно, но ведь как-нибудь делается же, и, главное, все стоит и не падает, — именно то-то и главное, что пока не падает. Я согласен и готов уступить вам, что мы на самом-то деле, пожалуй, что и не **все**, — с, мы достаточно умны, чтобы понять, что мы не восполняем всего в России, а

особенно теперь; но пусть не все, зато все-таки **нечто,** то есть нечто уже реальное, действительно существующее, хотя, конечно, может быть, отчасти и бестелесное. Ну, а что там у вас, чем вы-то бы нас заместили, так, чтоб мы уже могли с уверенностью отстраниться, в виду того, что и у вас явилось бы тоже **нечто,** способное нас заместить так, чтобы ничего не упало? Но ведь у вас все эти самоуправления и земства, — ведь это все еще пока журавль в небе, журавль до сих пор прекрасный и в небе летающий, но на землю еще не слетавший. Стало быть, он все-таки нуль, хоть и прекрасен, а мы хоть и не прекрасны и надоели, но зато мы **нечто** и уже вовсе не нуль. Вы вот нас все сплошь обвиняете за журавля: зачем-де он до сих пор не слетел, что в этом-де мы виноваты, что это будто мы стараемся преобразить прекрасного журавля в наш образ и дух. Это конечно, очень бы хорошо было с нашей стороны, если б действительно тут только наша вина была, ибо мы доказали бы тем, что стоим за вековой, основной и благороднейший принцип и бесполезный нуль обращаем в полезное нечто. Но поверьте, что мы тут вовсе не виноваты, то есть слишком мало, и что прекрасный журавль сам в нерешимости, сам не знает, чем ему стать окончательно, то есть нами ли или вправду чем-то самостоятельным, сам колеблется, сам не верит себе, даже почти потерялся. Уверяю вас, что полез он к нам своею собственною доброю волею, а вовсе без нашего давления. Выходит, что мы, так сказать, как естественный какой-то магнит, к которому все тянется даже доселе и долго еще будет тянуться. Вы опять не верите, вам смешно? А я так пари готов держать в чем угодно! Попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птичке вполне, разрешите ей все возможности, предпишите, например, вашему земству даже формально за номером и со строгостью: «отселе-де быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлем», и поверьте, что все они там, все какие есть журавли, сами собою, еще пуще запросятся к нам и кончат тем, что станут чиновниками уже вполне, дух наш и образ примут, все у нас ско-

пируют. Даже выборный мужик к нам запросится, польстит ему это очень. Недаром же два столетия развивались вкусы. И вот вы хотите, чтобы мы, то есть нечто твердое и на ногах стоящее, променяли бы самих себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекрасного журавля? Нет, уж мы лучше свою синицу в руках попридержим. Мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее, ну, там, станем как-нибудь добродетельнее или что, — а на призрак, на внезапно приснившийся сон мы не променяем наше действительное, реальное **нечто,** ибо нечем и некем нас заместить, это верно! Мы сопротивляемся уничтожению, так сказать, по инерции. Инерция-то эта в нас и дорога, потому что, по правде-то, ею лишь однею все и держится в наше время. А потому и сокращаться даже на тридцать восемь с сорока (а не то что с сорока на четырех) было бы делом глубоко-вредным и даже безнравственным. Гроши получите, а разрушите принцип. Уничтожьте-ка, измените-ка теперь нашу формулу, если только у вас хватит совести посягнуть на такое дело: да ведь это будет изменой всему нашему русскому европеизму и просвещению, — знаете ли вы это? Это будет отрицанием того, что и мы государство, что и мы европейцы, это измена Петру! И знаете, ваши либералы (впрочем и наши тоже), стоящие столь рьяно в газетах за земство против чиновничества, в сущности противоречат сами себе. Да ведь земство, да ведь все эти новости и «народности» — ведь это и есть те самые «народные начала» или начинающаяся формула тех «начал», об которых кричит столь ненавистная европейцам нашим «Русская Партия» (может, слышали, их так в Берлине обозвали) — те самые «начала», которые так неистово отрицает наш русский либерализм и европеизм, над которыми он смеется и не хочет их признавать даже существующими! О, он их очень боится! Ну, что-де коли они в самом деле есть и осуществятся, так ведь тогда в некотором роде сюрприз-с! Значит все ваши европейцы по-настоящему с нами, а мы с ними, и это

бы они давно должны бы были понять и себе зарубить. Если хотите, то мы не только заодно с ними, а мы и совсем одно и то же: в них, в них самих наш дух заключен и даже наш образ, в европейцах-то ваших, и это так! Да я вам вот что прибавлю: Европа, то есть русская Европа, Европа в России — это мы-то лишь одни и есть. Это мы, мы воплощение всей формулы русского европеизма и всю ее заключаем в себе. Мы одни и ее толкователи. И не понимаю, почему бы не давать им за их европеизм установленных знаков отличия, если уж мы с ними так безгрешно сливаемся? С удовольствием станут носить, и этим даже можно бы было привлечь. Но у нас не умеют. А они-то нас бранят — подлинно своя своих не познаша! А чтоб кончить об ваших земствах и всех этих новшествах, то я вам скажу раз навсегда: Нет-с! Ибо дело это длинное, а не столь короткое. На то нужна своя предварительная культура, своя история и, может быть, тоже двухвековая. Ну вековая, ну хоть даже полвековая, так как ныне век телеграфов и железных дорог, и все отношения сокращены и облегчены. Так ведь все же полвековая, все же ведь не сейчас. «Сейчас или тотчас» — это все русские мерзостные словечки. Сейчас ничего не народится, кроме нам же подобных. И долго еще так будет.

Тут мой бюрократ гордо и осанисто замолчал, и, знаете, я и не возражал ему, потому что в его словах было именно как бы «нечто», какая-то грустная правда, действительно существующая. Разумеется, я с ним не согласился в душе. И при том таким тоном говорят лишь люди отходящие. А все-таки в его словах было «нечто»...

II

Старая басня Крылова об одной свинье

А чтобы обо всем этом, наконец, совсем уже кончить, приведу одну маленькую, очень хорошенькую басенку Крылова, должно быть, всеми теперь забытую, ибо до Крылова ли в наш теперешний деловой и мету-

щийся век? Эта басенка невольно припомнилась мне, еще когда я начал собираться писать мою статью о финансах и об оздоровлении корней. У Крылова она имеет прекрасное нравоучение, но на другую тему, на тему о других корнях. Но это все равно, она и к нам подходящая. Вот эта басня:

Свинья под дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним,
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит —
Ей с дуба Ворон говорит: —
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
— «Пусть сохнет, — говорит Свинья: —
Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».
— «Неблагодарная! — промолвил Дуб ей тут: —
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».

Хороша басенка? И неужели мы согласимся походить на такой портрет?

III

Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?

Геок-Тепе взят, текинцы разбиты и хотя еще вполне не усмирены, но наша победа несомненна. В обществе и в печати возликовали. А давно ли еще в обществе, да и в печати отчасти, к этому делу относились чрезвычайно равнодушно. Особенно после неудачи генерала Ломакина и в начале приготовлений к вторичному наступлению. «И зачем нам туда, и чего нам далась эта Азия, сколько денег истрачено, тогда как у нас голод, дифтерит, нет школ, и проч., и проч.». Да, эти мнения раздавались, и мы их слышали. Не все вообще были этого мнения, — о, нет, — но все же

надо сознаться, что к нашей наступательной политике в Азии в последнее время весьма многие стали было относиться неприязненно. Правда, помогла тут и неизвестность о предпринятой экспедиции. В самое последнее только время стали проскакивать у нас известия из иностранных газет, и только под самый конец раздались по всей России телеграммы Скобелева. Тем не менее и во всяком случае трудно сказать, чтобы общество наше было проникнуто ясным сознанием нашей миссии в Азии и того, что собственно для нас значит и могла бы значить впредь Азия. Да и вообще вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России все еще как будто существуют в виде какого-то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться. «Мы, дескать, Европа, что нам делать в Азии?». Бывали даже и очень резкие голоса: «уж эта наша Азия, мы и в Европе-то не можем себе порядка добыть и устроиться, а тут еще суют нам и Азию. Лишняя вовсе нам эта Азия, хоть бы ее куда-нибудь деть!» Эти суждения иногда и теперь раздаются у умников наших, от очень их большого ума, конечно.

С победой Скобелева пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее: «Вот, дескать, и еще один свирепый и гордый правоверный народ Белому Царю поклонился». И пусть пронесется гул. Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости Белого Царя и в несокрушимости меча его. А ведь после неудачи генерала Ломакина непременно, должно быть, пронеслось по всей Азии сомнение в несокрушимости меча нашего — и русский престиж наверно был поколеблен. Вот почему мы и не можем остановиться на этой дороге. У этих народов могут быть свои ханы и эмиры, в уме и в воображении их может стоять грозой Англия, силе которой они удивляются — но имя Белого Царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше Индийской императрицы превыше даже самого калифова имени. Пусть калиф, но Белый Царь есть царь и калифу. Вот какое убеждение надо, чтоб утвердилось!

И оно утверждается и нарастает ежегодно, и оно нам необходимо, ибо оно их приучит к грядущему.

— Для чего и к какому грядущему? Какая необходимость в грядущем захвате Азии? Что нам в ней делать?

Потому необходимость, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!

Я предчувствую негодование, с которым прочтут иные это ретроградное предположение мое (а оно для меня аксиома). Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века. Но особенно этот стыд усилился в нынешнем девятнадцатом веке и дошел почти до чего-то панического, дошел до «металла и жупела» московских купчих. Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), — этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых Бог знает, сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты. Но толчок Петра, вдвинувшего нас в Европу, необходимый и спасительный вначале, был все-таки слишком силен, и тут отчасти уже не мы виноваты. И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за **своих,** за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии

«спасать царей», то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтобы служить Европе и сделать ее счастливою. В двенадцатом году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, как советовали и желали тогда некоторые немногие прозорливые русские люди, а двинулись всей стеной осчастливить Европу, освободив ее от похитителя. Конечно, вышла картина яркая: с одной стороны шел деспот и похититель, с другой — миротворец и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не в картине, а в том, что этот похититель был именно тогда в таком положении, в первый раз во всю свою карьеру, что помирился бы с нами крепко-накрепко и искренно, и надолго, может быть, навсегда. За условие, что мы не будем ему мешать в Европе, он отдал бы нам Восток, и теперешний Восточный вопрос наш, — гроза и беда нашего текущего и нашего будущего, — был бы уже теперь давно разрешен. Похититель это сам говорил потом, и наверно не лгал, говоря, ибо ничего-то бы он не мог лучше сделать, как впредь быть с нами в союзе, с тем, чтоб у нас был Восток, а у него Запад. С европейскими народами он бы наверно справился и тогда. Они же были слишком еще слабы тогда, чтоб нам помешать на Востоке, даже Англия. Наполеон, может быть, и пал бы потом, или после его смерти династия его, а Восток остался бы все-таки за нами. (У нас тогда было бы море, и мы могли бы даже и на море Англию встретить). Но мы все отдали за картинку. И что же: все эти освобожденные нами народы тотчас же, еще не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе все, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, несмотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы и столетия и даже доныне? Не мы ли способствовали укреплению германских держав, не мы ли со-

здали им силу to того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да, сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно выйдет. Не мы ли, по их зову, ходили укрошать их междоусобие, не мы ли сберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот — не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда? Кончилось тем, что теперь всякий-то в Европе, всякий там образ и язык держит у себя за пазухой давно уже припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть! Мы сыграли там роль Репетилова, который, гоняясь за фортуной,

Приданого взял шиш, по службе ничего.

Но почему эта ее ненависть к нам, почему они все не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвредность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначение наше — это служить Европе и ее благоденствию. (Потому что разве не так, не то же ли самое делали мы во все столетие, разве сделали мы что для себя, разве добились чего себе? Все на Европу пошло!). Нет, они не могут увериться в нас! Главная причина именно в том состоит, что они не могут никак нас **своими признать.**

Они ни за что и никогда не поверят, что мы воистину можем участвовать вместе с ними и наравне с ними в дальнейших судьбах их цивилизации. Они признали нас чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся. Турки, семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина. Идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество — вот причина? И это несмотря на то, что наши «русские европейцы» изо всех сил уверяют Европу, что у нас нет никакой идеи, да и впредь быть не может, что Россия и не способна иметь идею, а способна лишь подражать.

что дело тем и кончится, что мы все будем подражать, и что мы вовсе не азиаты, не варвары, а совсем, совсем как они, европейцы. Но Европа нашим русским европейцам на этот раз, по крайней мере, не поверила. Напротив, в этом случае она, так сказать, совпала в заключениях своих с славянофилами нашими, хотя их не знает вовсе, и только разве слышала об них кое-что. Совпадение же именно в том, что и Европа верит, как и славянофилы, что у нас есть «идея», своя, особенная и не европейская, что Россия может и способна иметь идею. Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ничего не знает, — ибо если б знала, так тотчас же бы успокоилась, даже обрадовалась. Но узнает непременно когда-нибудь, и именно когда наступит самая критическая минута в судьбах ее. Но теперь она не верит; признавая за нами идею, она боится ее. И, наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя там и бывают иногда с нами вежливы. Они, например, охотно сознаются, что русская наука может выставить уже несколько замечательных деятелей, представить несколько хороших работ, даже послуживших уже их европейской науке в пользу. Но ни за что, однако же, не поверит теперь Европа, что у нас в России могут родиться не одни только работники в науке (хотя бы и очень талантливые), а и гении, руководители человечества вроде Бэкона, Канта и Аристотеля. Этому они никогда не поверят, ибо в цивилизацию нашу не верят, а нашей грядущей идеи еще не знают. По-настоящему, они и правы: ибо и впрямь не будет у нас ни Бэкона, ни Ньютона, ни Аристотеля, доколе мы не станем сами на дорогу и не будем духовно самостоятельными. Во всем остальном то же, в наших искусствах, в промышленности: Европа нас готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями.

Но от окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум. А, между тем Азия — да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем, — опять восклицаю

это! И если б совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи — о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, — ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело — вот что необходимо!

IV

Вопросы и ответы

— Да зачем, зачем? — послышатся голоса уже раздраженные, — азиатские наши дела и теперь требуют от нас беспрерывно войска и затрат непроизводительных. И какая там промышленность? Где их товары, где найдете там потребителей наших товаров? И вот вы приглашаете нас, неизвестно зачем, отвернуться от Европы навеки!

— Не навеки (продолжаю я стоять на своем), — а временно, и опять-таки не совсем, не совершенно ведь оторвемся, как бы ни отрывались. Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не надо. Это «страна святых чудес», и изрек это самый рьяный славянофил. Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными. Я про будущее великое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, и меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои, — точно я какое мерзское, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово.

Но, может быть, не забудется это слово мое. Об этом, впрочем, теперь довольно. Но все же мы в праве о перевоспитании нашем и об исходе нашем из Египта позаботиться. Ибо мы сами из Европы сделали для себя как бы какой-то духовный Египет.

— Позвольте, — прервут меня, — да чем же нам

Азия придаст самостоятельности? Заснем там по-азиатски, а не станем самостоятельными!

— Видите ли, — продолжаю я, — с поворотом в Азию, с новым на нее взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая еще нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, тотчас найдем что нам делать, а с Европой, в два века, мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями.

—Ну, так как же вы подымете нас в Азию, коль у нас лентяи? Да и кто у нас подымется первый, если б даже и доказать всем, как дважды два, что там наше счастье?

— В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Постройте только две железные дороги, начните с того, — одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия.

— Мало захотели! — засмеются мне, — где средства, и что получим: себе убыток и только.

— Во-первых, если б мы, в последние двадцать пять лет, всего только по три миллиона в год на эти дороги откладывали (а три-то миллиона у нас просто сквозь пальцы иной раз мелькнут), — то было бы уже теперь выстроено на семьдесят пять миллионов азиатских дорог, то есть слишком тысячу верст, как ни считать. Затем, вы толкуете про убыток. О, если б вместо нас жили в России англичане или американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки? И знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля, — все бы нашли, все бы разыскали, и материал, и как его употребить. Они бы призвали

науку, заставили бы землю родить им сам-пятьдесят — ту самую землю, про которую мы все еще думаем здесь, что это лишь голая, как ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу к ним, изыскали бы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги бы новые к ним провели!

— Ну, так как же вы восклицаете про науку, и сами склоняете нас к измене науке и просвещению, приглашая нас стать азиатами.

— Да науки-то там еще больше потребуется! (восклицаю и я), — ибо что мы теперь в науке: недоучки и диллетанты. А там станем деятелями, сама необходимость прижмет и заставит, чуть лишь подымется самостоятельный предприимчивый дух — тотчас же и в науке явимся господами, а не прихвостнями, как сплошь и рядом ныне. А главное — цивилизаторская миссия наша в Азии, с первых шагов (и это несомненно) поймется и усвоится нами. Она возвысит наш дух, она придаст нам достоинства и самосознания, — а этого сплошь у нас теперь нет или очень мало. Стремление в Азию, если б только оно зародилось меж нами, послужило бы, сверх того, исходом многочисленным беспокойным умам, всем стосковавшимся, всем обленившимся, всем без дела уставшим. Устройте исток воде — и исчезнет плесень и вонь. А раз затянувшись в дело — уже не будут скучать, все переродятся. Даже иная бездарность, с израненным, ноющим самолюбием, нашла бы там свой исход. Ибо часто в одном месте бездарность воскресает в другом — чуть не гением. Это часто и в европейских колониях происходит. И не опустеет Россия, не бойтесь: начнется постепенно, пойдут сначала немногие, но скоро об них придут слухи и увлекут других. И все-таки для моря русского это будет даже и незаметно. Освободите муху из патоки, расправьте ей даже как можно крылья, и все-таки потянется туда самый ничтожный процент населения, будет даже и неприметно. А там, — ух как там будет приметно! Где в Азии поселится «Урус», там сейчас

становится земля русскою. — Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем и ей же пути разъяснила. Но для всего этого нужен новый принцип и поворот. И всех менее потребовал бы он ломки и потрясений. Пусть только хоть немного проникнутся (но проникнутся), что в будущем Азия наш исход, что там наши богатства, что там у нас океан; что, когда в Европе, уже от одной тесноты только, заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага, и, мало-помалу, пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами; когда детей будут растить в воспитательных домах (на три четверти подкидышами), тогда — тогда у нас все еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши будут расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собою чистое небо. Да, много там наших надежд заключено и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не можем во всем объеме! Не одно только золото там в почве спрятано. Но нужен новый принцип. Новый принцип и потребные на дело деньги родит. Ибо к чему нам, если уж все говорить, — к чему нам (и особенно в теперешнюю минуту) содержать там, в Европе, хотя бы столько посольств с таким столь дорого стоющим блеском, с их тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом. И что нам там (и именно теперь) до каких-то Гамбетт, до папы и его дальнейшей участи, хотя бы и угнетал его Бисмарк? Не лучше ли, например, на время, в глазах Европы, прибедниться, сесть на дорожке, шапочку перед собой положить, грошики собирать: дескать, «la Russie опять se recueille». А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем временем созидаться! Скажут: к чему ж унижаться? Да и не унизимся вовсе! Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не то что не унизимся, а разом повысимся, вот как будет! Европа хитра и умна, сейчас догадается и, поверьте, начнет нас тот-

час же уважать! О, конечно, самостоятельность наша её, на первых порах, озадачит, но отчасти ей и понравится. Коль увидит, что мы в «угрюмую экономию» вступили и решились по одежде протягивать ножки, увидит, что и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережем и ценим, а не делаем его из бумажки, то и они тоже тотчас же наш рубль на своих рынках, ценить начнут. Да чего, — увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам деньги предлагать, — и предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому, как надо каждое дело делать...

— Постойте, — слышится голос, — вот вы, однако же, про Гамбетту, но нам нельзя там бросать. Хоть бы тот же Восточный вопрос на первый случай: ведь он остается; как же мы уйдем от него?

Насчет Восточного вопроса я бы вот что сказал в эту минуту: ведь в эту минуту у нас, в политических сферах, не найдется, может быть, ни единого политического ума, который бы признавал за здравое, что Константинополь должен быть наш (кроме разве как в отдаленном, загадочном еще нашем грядущем). А коли так, так чего же нам больше ждать? Вся суть Восточного вопроса в эту минуту заключается в союзе Германии с Австрией, да еще в австрийских захватах в Турции, поощряемых князем Бисмарком. Мы можем и будем, конечно, протестовать, в крайних уж каких-нибудь случаях, но пока эти обе нации вкупе — что же мы можем сделать теперь без огромных для нас потрясений? Заметьте, что союзникам, может, только того и надо, чтоб мы, наконец, рассердились. Славянские же народы мы можем попрежнему поощрять и любить, даже помогать им чем можно при случае. К тому же очень-то они не погибнут в какой-нибудь срок. А срок может даже очень скоро кончиться. Ведь только бы мы вид показали, что в Европу столь вмешиваться как прежде мы уже не желаем, то они там, без нас-то оставшись, может, еще скорей перессорятся. Ведь никогда-то не поверит Австрия, что Германия ее

столь возлюбила единственно за ее прекрасные глаза. Ведь она слишком знает, напротив, что Германии все-таки надо, в конце концов, ее австрийских немцев к германскому единству присоединить. А своих немцев Австрия ни за что не уступит, даже если б давали Константинополь за них — до того их дорого ценит! Материал-то для распрей, стало быть, там уже есть. А тут еще под боком у Германии все тот же неразрешенный французский вопрос, теперь для нее уже вечный. А тут, сверх того, даже самое объединение Германии, вдруг оказывается, не только не завершено, а даже грозит колебанием. А тут, оказывается, и социализм европейский не только не умер, а даже очень и очень продолжает грозить, одним словом, нам стоит только дождаться и не вмешиваться даже когда звать начнут, и чуть только грянет там — у них распря, и затрещит их «политическое равновесие», — разом покончить и Восточный вопрос, выбрав мгновение как и во франко-прусскую бойню, вдруг заявить, как тогда насчет Черного моря мы заявили: «не желаем-де австрийских захватов в Турции признавать», и разом исчезнут захваты, может быть, и с Австрией вместе.

Вот и наверстаем все, что на время как будто бы упустили...

—Ну, а Англия? Вы упускаете Англию. Увидав наше стремление в Азию, она тотчас же взволнуется.

— «Англии бояться — никуда не ходить», — возражаю я переделанною на новый лад пословицей. — Да и ничем новым она не возволнуется, ибо все тем же волнуется и теперь. Напротив, теперь-то мы и держим ее в смущении и неведении насчет будущего, и она ждет от нас всего худшего. Когда же поймет настоящий характер всех наших движений в Азии, то, может быть, сбавит многое из своих опасений... Впрочем, я согласен, что не сбавит и что до этого еще ей далеко. Но, повторяю: Англии бояться — никуда не ходить! А потому и опять-таки: «Да здравствует победа у Геок-Тепе! Да здравствует Скобелев и его солдатики, и вечная память «выбывшим из списков» богатырям! Мы в наши списки их занесем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дневник писателя за 1877 г.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май-Июнь

Июль-Август

Страницы

Сентябрь

Октябрь

40

Ноябрь

Декабрь

Дневник Писателя за 1880 год.
Единственный выпуск.

Август

Дневник Писателя за 1881 год.

Январь

Imprimerie de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.